АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВ

Угловая палата

УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Издается с 1967 года
Второй выпуск

АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВ

Угловая палата

Повести

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1988

84Р7
Т 760

Послесловие Ю А Мешкова
Редактор Е В Черияк

Т $\frac{4702010200-083}{М 158(03)-88}$ 46-88
ISBN 5—7529—0079—4

Угловая палата

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Город был освобожден тринадцатого июля. Майор Валиев узнал об этом утром следующего дня и сразу поспешил к Олегу Павловичу. Потоптался, понудился у двери: не было особого желания видеть сегодня Козырева, разговаривать с ним. Но разве без начальника госпиталя обойдешься тут! А-а, шайтан бы все побрал...

Стук невольно получился нервным и учащенно громким, как пулеметная очередь. Самому стало неловко.

Олег Павлович Козырев брился. Не оборачиваясь (видел начхоза в приставленное к стопке книг зеркало), спросил неокрепшим после сна голосом:

— Ты что, Мингали Валиевич, на пожар?

После такого вопроса «Здравствуй» и «Доброе утро» уже не годились. Вот и ладно. Ответил:

— Возможно, на пожар. Вильно взят.

Козырев был осведомлен, потому и на ногах в такую рань.

— Торопишься? Хвалю. Кого с собой?

— Медсестру потолковее.

— Мужика, может, надежнее?

— Мужиков у коменданта раздобуду. Штат подсобников заполнять надо. Об этом голова болит. Женщина с местными женщинами скорее контакт найдет,— холодно излагал свое решение майор Валиев.

— Кого? Конкретнее.

В поездку просилась неизменный ассистент Козырева рябоватая двадцатипятилетняя Серафима; готова была поехать и другая хирургическая сестра — всегда угрюмая Тамара Зубарева; храбрилась и толстушка Надя Перегонова, некогда закончившая ускоренные курсы военных фельдшеров, но так и не ставшая фельдшером. После вчерашней разгрузки палат — кого в тыл

для дальнейшего лечения, кого для продолжения службы — госпиталь полуопустел, и можно было без урона для общего дела взять в поездку всех троих, но такой многочисленный отряд Валиеву был ни к чему, и выбор пал совсем на другого человека. Сказал об этом Козыреву.

— Маша Кузина со мной поедет.

— Ну-ну...

Олег Павлович прибрал бритву в ящик стола, сняв рубашку, подошел к раковине. Из открытого крана выцедилась струйка не толще вязальной спицы. Олег Павлович сбоку посмотрел на недружелюбно настроенного Мингали Валиевича. Задело за живое. Но Козырев умел управлять собой. Подавив недоброе, он извинительно кивнул на круглый столик с графином:

— Полей, пожалуйста.

Мингали Валиевич лил гортанно булькающую воду в составленные ковшиком мускулистые руки и взглядывал на выразительно-властный профиль Олега Павловича. Цветуще молод. Благородно красив. Хирург — каких поискать. «Руфине ли Хайрулловне было совладать с собой?» — подумал Валиев и понял, что мысль эта — не что иное, как шаг к оправданию Олега Павловича, желание удержать прежнее к нему расположение.

Пофыркивая, Козырев плескал на лицо воду и наставлял:

— Город немного знаю, бывал до войны. Говорят, не очень разрушен. Найдешь. В центр не лезь. Лучше на окраине, поближе к железной дороге. Военные казармы на том берегу Вилии. Парк там старинный. Посмотри. Правда, авиация сильно работала по мосту, могла прихватить, это — рядом. Ну, там увидишь... Документы заготовь, чтобы не получилось, как в тот раз...

— Заготовлю.

— «Виллис» возьмешь?

— Тебе он тут нужнее. В Вильно из интендантства собираются. С ними уедем.

Они долго бродили по коридорам, коридорчикам, лабиринтовым закоулкам трехэтажного кирпичного здания, не оставляли без внимания ни одной двери: за каждой могли быть драгоценные квадратные метры будущих

госпитальных палат, перевязочных, операционных, процедурных, ординаторских. На верхнем этаже Мингали Валиевич присел на усыпанный известковой шелухой подоконник, усталым движением стянул фуражку с веснушчатой, в обводе волос лысины, одышливо повздыхал. В окно без рамы (ее вынесло тугой волной взрыва) веяло густым жаром пропеченной земли, чадом дотлевающих головешек, тошнотно подванивало трупным разложением.

Поглядывая на сестрицу, Мингали Валиевич думал: «Вот так-то, Мария Карповна, хотела ты того или не хотела, а вышло по-моему, как я захотел. Завтра Коле-солдату в тыл глубокий, ну и — не в обиду будь сказано — скатертью дорога. Нахрапистый да бывалый по женской части... Возможно, и правда у него затеплилось что-то к тебе, только надолго ли? На вечерок, на два? Как ты-то потом? Глупая, доверчивая телушка. Лизнули разок за ушком — и все, прислонилась, лишилась рассудка...»

Из той дали, куда передвинулся фронт, приходило перекатливое громыхание — то утихающее, то нарастающее, как при отходящей грозе. Осушая вспотевшую лысину несвежим платком, Мингали Валиевич сказал:

— Под Каунасом, однако.— Сказал и тут же засомневался в сказанном. Махнул рукой, протер клеенчатый заоколыш фуражки, возразил себе: — Н-нет, до Каунаса еще топать да топать.— Дрыгнул сапогом вдоль коридора: — Вот это все успеем заполнить до отказа.

Вид у Мингали Валиевича был далеко не молодцеватый. Помятая диагоналевая гимнастерка, бязевый подворотничок давно потемнел, интендантские погоны с двумя просветами горбатились, на одном вместо майорской звездочки выпирала проволочная загогулина с оловянным следом припайки, кобура сбилась на живот и тяжело оттягивала двуряднодырчатый, слабо затянутый офицерский ремень без портупеи, весомо набитая полевая сумка, служившая не только хранилищем бумаг, но и, когда необходимо, сиденьем, подушкой и еще бог знает чем, давно просилась на выброс.

Сухощавое, со впалыми щеками татарское лицо Валиева — то ли запыленное, то ли от усталости — было пепельно-серым и одрябшим. Не коснулись дорожно-фронтовые передряги лишь его шоколадно-ясных глаз. Они весело, даже озорно выглядывали из приплюс-

нутых век, зорко впивались в окружающее. Мингали Валиевич, сдерживая чих, быстро-быстро пошевелил подвижно-чуткими ноздрями небольшого, с горбинкой носа, перетерпел и, спрятав платок, стал шумно листать затертый и большой — с ученическую тетрадь — блокнот с неумело вычерченными в нем планами помещений всех этажей, обход которых только что закончился.

Просмотр блокнотных страничек удовлетворил Мингали Валиевича, и он, подняв на свою спутницу веселый взгляд крайне довольного человека, восхищенно произнес:

— Ах, как повезло нам с тобой, Мария Карповна! Среди развалин отыскать такие хоромы!

Мария Карповна разделила его радость восторженной улыбкой. Если доволен Мингали Валиевич, значит, должна быть довольна и она. Хотя, будь постарше, имей рациональный житейский опыт, Мария Карповна, возможно, была бы сдержанней, могла бы и возразить, немного охладить оптимизм майора Валиева, сказать, что облюбованное здание в таком состоянии, когда кидать шапки вверх глупо и бессмысленно. Еще не одна спина сломается, пока эта загаженная, с искореженными рамами, оторванными дверями, обвалившейся штукатуркой и пробоинами в кочегарке немецкая казарма примет божеский вид и станет соответствовать своему новому, высокому назначению.

Но Марии Карповне было семнадцать с хвостиком, и была она все же не Марией Карповной, а всего лишь Машенькой Кузиной. Невеликая ростом, дивной густоты волосы заплетены в толстую и тяжелую косу, глаза у Машеньки робкие, бархатисто-темные, а ножки с чуточной кривулинкой. Весь персонал госпиталя так и звал ее — Машенька, только начхоз майор Валиев по имени-отчеству: Мария Карповна, хотя в душе, когда звал-величал, теплилось ласковое татарское слово «балякач» — малышечка.

Весной сорок третьего года, когда эвакогоспиталь стоял в какой-то деревушке (теперь и названия не припомнишь), пришла она в материнской плюшевой кофте, в растрепанных ботинках. «Возьмите, за-ради бога, пораненных перевязывать научусь, стану от болезней лечить». Да кто осмелится взять на тяжкую работу

такую крохотную, худенькую, прямо по пословице: «Кабы не губы да зубы, так бы и душа вон». Второй раз с мамкой пришла. Женщина с полными страдания глазами — от того, что уже было пережито, и от того, что скажет сейчас,— с поразившей всех мольбой стала упрашивать:

— Нет у меня парня, чтобы убийц покарать. Под Москвой убитый папанька ее, Карп Иванович. Примите, она дюжая, проворная. Пусть обихаживает защитников наших, их детишек от сиротства бережет. Мы ничего, мы проживем. Настюха подросла, заменит ее... Паспорта нету, не дают в колхозе, вот справка из сельсовета. Шестнадцать годков Машеньке, грамотная, шесть классов... Примите!

Втолковывали девчушке, что трудно санитаркой: покалеченных купать-умывать, кормить их с ложечки, подкроватные посудины подавать-убирать.

— Что тут трудного? — воскликнула Машенька.— Такие же дети, только большие.

Олег Павлович ни за что не хотел ее брать, но услышал это, изломал бровь в удивлении, открыл один глаз пошире и, хмыкнув усмешливое: «Тоже мне, Филипп Пинель» [1], ушел, оставив последнее слово за своим замполитом Пестовым.

Взяли девчушку Кузину, потом не пожалели ни разу.

«Дети», правда, оказались не только большими, но и непомерно тяжелыми для Машеньки. Не хватало сил, когда надо было под солдатскую попу горшок подвести. Такой плоский, с горлышком вместо ручки. Раненые входили в ее положение, как могли, взвешивали над матрацем свое полуживое, огрузшее в болезнях тело.

Иван Сергеевич Пестов и раньше сильно хворал — донимала левая парализованная рука, а перед наступлением на Литву вдруг забуянила еще и язва желудка: согнула и пожелтила Пестова, и стал он как огурец перезрелый. Свалились на Мингали Валиевича новые обязанности, вроде как стал у майора медслужбы Козырева заместителем по политчасти. Но какой он замполит, если не коммунист даже. Конечно, политинформации

---

[1] Филипп Пинель — крупнейший французский психиатр конца XVIII века, который постоянно сравнивал своих пациентов с детьми.

там, политзанятия всякие парторг проводит, да и то не всегда — он начальник хирургического отделения, из операционной не вылазит. Чувствуя неловкость, робость даже, Мингали Валиевич проводил и политинформации: читал сводки Совинформбюро, интересные статьи из газет. Что касается дисциплины и всего другого в коллективе девчонок... Проявлял и об этом заботу.

Вот и за девчушкой, подростком этим, глаз нужен. Что она видела в своей жизни? Однолетки ее уже на гумно бегали водить хороводы под гармошку, лифчики мамкины примеряли, с парнями на сеновалы целоваться да трогаться прятались. Им что, у них не висели на шее голопузые братишки и сестренки. Иные так насеноваливались, что родители хватали их своими святыми руками за грешные волоса, волтузили и поспешно, как придется, выталкивали замуж. А в замужестве опять волоса в горсти — за грех ранний...

Знала Маша Кузина про любовь — подружки жарко в уши нашептывали, но мало что понимала: любопытно до ужаса, манит, как в сказке занятной,— и только. От приглушенной и тайной откровенности подруг билось сердечко овечьим хвостиком и сухота в горле становилась такой, что и не сглотнешь сразу. Но уходили подружки — и забывалось зазорное таинство, выветривалось. Буренку накормить-подоить, огород полить-прополоть... Да что там сказывать!

Безустальной, работящей была и в госпитале. Через какое-то время определили Машу Кузину на курсы медицинских сестер, выучили. Ассистировать хирургу не годилась, конечно, но палатной сестрой стала незаменимой. От одного ее ласкового, светлого взгляда, от сострадательного и певучего голоска измученной солдатской душе становилось намного легче и вроде бы раны утишали свое нытье.

Как повзрослела малость — подругами обзавелась, перестала им выкать, с интересом на парней, мужиков запоглядывала. Зашевелилось никем не потревоженное, созревающее в жилках, забродило хмелем, стало взрываться ликующе-нежданно и неразборчиво. Оказалась такой влюбчивой — прямо беда. Так и хотелось Мингали Валиевичу ухватить ее за раздобревшие щечки, заглянуть в темноту глазенок, вселить через них рассудочность — туда, вглубь, к самому сердчишку: «Прозрей, Мария Карповна, ведь за сорок иному, детишки у него,

а ты подружкам о любви своей во все колокола. Верно, любовь это, но такая любовь, которая от доброты твоей и жалости ко всему живому, а тут, на войне, и не совсем живому: увечному, беспомощному, печально или бешено страдающему. Любовь придет еще к тебе, придет та, которая воистину любовь. Не спеши, «не расплетай косы до вечерней росы», не обманись, балякач ты моя милая».

Во многих влюблялась, дошла очередь и до Коли — красавца солдата. Да вот Мингали Валиевич сообразил кое-что, забрал Машу Кузину с собой в квартирьеры.

Порадовавшись, что удалось найти вот это здание, понаблюдав за отраженной радостью на Машенькином лице, Мингали Валиевич мрачно пошутил:

— Весь госпитальный комфорт в наличии: трехэтажный корпус — для отделений и палат, парк — для прогулок, кладбище — для... Далеко возить не придется...

Примыкающий к зданию парк, местами выщербленный бомбежкой и артобстрелом, отгораживала от узкой улочки высокая каменная стена, а за домами и садами, образующими эту улочку, парк вроде бы продолжался: взбираясь на пологий склон холма, теснились все те же вековые сосны, липы, каштаны, худосочная ольха и косматые ивы. Только в прогляди деревьев белели и серели могильные плиты и мрачные католические кресты с Христовым распятием.

Июльские сумерки сгустились быстро, но ожидаемой прохлады не принесли. Развороченные побоищем, накаленные дневным зноем улицы города продолжали дышать жаром. Бродивший по-над цветным булыжником мостовых смрад трупного разложения поднимался теперь с натепленным воздухом в верхние, разряженные слои атмосферы, и Валиев с Машей Кузиной поспешили перебраться в полуподвал — непрогретый, захламленный имуществом швейной мастерской и сравнительно чистый.

Пока Машенька сооружала подобие лежанок из тюков шинельного сукна и серого подкладочного материала, Мингали Валиевич отыскал картонку, по-ребячьи мусля карандаш, вывел на этой картонке: «Эвакогоспиталь п/п 01042», подумал малость и добавил в скобках: «Хозяйство Козырева О. П.». Потом сказал Машеньке:

— Это я сейчас на ворота пришлепаю, а с утра пораньше право на хоромы застолблю в комендатуре. Так

что охранная грамота у тебя, Мария Карповна, будет надежная.

Внутри у Машеньки все занемело. Вот дуреха так дуреха! Зачем вызвалась? Ведь Надя Перегонова хотела ехать, Серафима рвалась... Так нет, выскочила: «Можно, я поеду?» Поехала... Коля там... Если вчера подали эшелон, то уехал уже, не увидит теперь никогда... Что суется Мингали Валиевич, какое ему дело? Не маленькая, поди... Машенька явственно ощутила сейчас нетерпеливую, заплутавшую в лямочках Колину руку, и, как тогда, в сладком страхе затрепыхало сердечко. Обняла бы, прижала, а там пускай, что будет... Машенька отряхнулась от грезы, застыдилась. Как не совестно тебе, Машка! О чем ты? Срам ведь, срам... Мамоньки, заскочит же в голову... Тут такое задание важное, а ты... Подумай лучше, как одна тут будешь до приезда всего персонала. Сегодня еще ничего, тихо, а завтра освобожденный город наводнят десятки тыловых учреждений фронта, все кинутся искать дома поцелее да получше. Скандалы, ругань.

У Машеньки заранее прошелся по коже тоскливый холодок. А тут еще Мингали Валиевич:

— Ты не сиди тут сложа руки, знакомься с населением, вербуй рабочих на кухню, уборщиц, санитарок...

Скажет тоже — вербуй! Нашел вербовщика. Вот как бы этот домище не провербовать. Тогда Олег Павлович с потрохами съест... Мамонька родненькая, да как же все это будет!

Словно читая ее мысли, Мингали Валиевич властно подбодрил:

— Ты, Мария Карповна, не обмирай без времени. Мою картонку могут и сорвать, в кусты забросить, а вот через бумажку коменданта города перешагнуть никто не посмеет. А может, лучше всего, Мария Карповна, тебе мой пистолет оставить?

— Вот еще! — тряхнула косой Машенька.

— А что, объявится какой шайтан, ты ему эту машинку к носу — чем пахнет?

— Да не говорите вы глупостей, Мингали Валиевич! — возмутилась Машенька.

— Не хочешь — не надо,— усмехнулся Валиев.

Не придется Кузиной заниматься тем, чем он пугает ее, все будет улажено им самим, ее забота — люди. Да ладно, тревога о деле, волнения только на пользу пойдут Марии Карповне.

Мингали Валиевич вытянул из сапога гудящую от долгой ходьбы ногу, не раскручивая портянки, посидел немного, пошевелил ступней, понаслаждал ногу и принялся стягивать второй сапог.

Машенька уже лежала на тюках шинельного сукна, которое, если не конфискует более могущественная организация, станет трофеем «Хозяйства Козырева О. П.», лежала на боку, подложив ладошку под щеку и не сняв сапог. Мингали Валиевич с упреком выговорил:

— Разденься, Мария Карповна, отдохни как следует. Или меня стесняешься? Так я отвернуться могу, а то выйду, послушаю, как фронт гудит.

Блаженно размякшая Машенька едва собрала силы сесть, стащить сапоги. Не заботясь, смотрит на нее или отвернулся майор Валиев, сняла гимнастерку и снова легла в припепленное гнездышко, прикрыв обнаженные плечи все той же вывернувшейся наизнанку гимнастеркой. Во мраке полуподвала увидела, как забелел исподним Мингали Валиевич, как, покряхтывая, улегся на бугристую, малоуютную для изношенного тела постель из военной поживы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Разведгруппа ушла в тыл к немцам еще до взятия Вильно — в начале июля. Предстояла глубокая разведка. Очень глубокая — аж под Вилкавишкис. Помимо главной задачи необходимо было найти отряд «Дайвонос партизанс» и восстановить с ним связь, передать инструкции штаба партизанского движения на период, когда начнется форсирование Немана.

Руководители операции не знали тогда, что в тот район передислоцировался особый полицейский батальон фашистского выкормыша Импулявичуса и вытеснил отряд в другой район, и потому разведчики не нашли «Дайвонос партизанс», но главную задачу выполнили почти исчерпывающе: у каждого из группы в тайнике одежды имелся зашифрованный маршрут планируемого наступления армии прорыва с пометками немецких оборонительных сооружений, которые встретятся ей на пути и которые придется взламывать в ходе движения или, когда надо, оставлять за спиной на съедение другим, следом наступающим. К середине августа Третий Белорус-

ский фронт намерен был выйти на государственную границу и, если не иссякнут к тому времени силы, форсировать реку Шешупе и захватить плацдарм на территории Восточной Пруссии.

Их было двенадцать: одиннадцать мастеров спорта, комсомольцев — лейтенантов и младших лейтенантов. Двенадцатым был командир группы. Тоже спортсмен, боксер, бывший одесский беспризорник капитан Аронов. Он старше всех, ему двадцать три, и он — коммунист. Им чертовски везло на пути туда — потеряли только четверых. Повезло, что эти четверо отличнейших ребят были убиты, а не ранены.

Дико, кощунственно говорить — повезло, что парни убиты. Но иначе не скажешь. И они, мертвые, когда были живые, говорили: повезет, если будут убиты, не повезет, если будут ранены. Вот их имена: Николай Кожевин из Перми, Евгений Перевалов из Тюмени, Виктор Смородинов из Нижнего Тагила, Юрий Окишев из Москвы.

Каждый из восьми оставшихся, не тронутых ни осколком, ни пулей, тоже страстно хотел, чтобы не ранило. Пусть уж сразу насмерть. Кровное фронтовое братство обязывает спасти раненого, вынести к своим, а это означает провал задания.

Двенадцать наших парней, физически сильных, разносторонне подготовленных и натренированных, умных и отчаянных, закаливших нервы до стальной упругости, трезво сознавали, куда и зачем они вызвались идти, отчетливо представляли, что такое везет и что такое не везет.

Везло на пути к Вилкавишкису — потеряли только четырех. Везло группе и на обратном пути. Удачно выходили к объектам, ранее снятым на кроки, и вносили уточнения, обнаруживали и фиксировали новые объекты, ловко ускользали от огневого общения с противником. Повезло, что с противником было всего три стычки, и пятеро из восьми остались живы, продолжали нести к своим добытые разведданные и память о семерых.

Троих из этих восьми потеряли в последней стычке: сшиблись все же с бандой националиста Импулявичуса. Потеряли харьковского чемпиона по боксу Павла Иванца, альпиниста из Камышлова Демьяна Каширина и Иорама Мтварадзе, прозванного на курсах Лунным Витязем [1] за фамилию и невероятную силу.

---

[1] М т в а р е — луна *(груз.)*.

Отбиваясь от полусотни литовских белоповязочников, отряд капитана Аронова углублялся, как показывала карта, в болотистый и пустынный лесной массив. Но черт бы побрал эти карты, заготовленные, видимо, задолго до войны! Чтобы оказаться в сосняке с густым подлеском и окончательно оторваться от преследования, им оставалось перейти ручей, обозначенный на карте синей жилкой, но на месте ручья оказался пруд, разлившийся на целый километр. Шумела на водосбросе вода, шлепало плицами колесо водяной мельницы, а за кирпичным мельничным зданием виднелось несколько жилых домов Оттуда и высыпали немцы с собаками на длинных ременных лонжах. Ароновские ребята были зажаты с двух сторон.

— Кому-то надо остаться, сковать их тут,— загнанно прохрипел младший лейтенант Мтварадзе.

— Одного мало,— хмуро поправил его командир группы капитан Аронов, и это была жестокая правда. Повернулся к Ивану Малыгину: — Иван, душа из тебя вон, но доведи группу. Я остаюсь здесь.— Обвел взглядом друзей, сказал Иораму Мтварадзе: — Останешься со мной

Мтварадзе решительно, не сомневаясь в своей правоте, отрубил:

— С тобой группа, капитан. С тобой все, за чем ходили. Остаюсь я и...— повстречав взгляд Демьяна Каширина, закончил: — Со мной — вот он, Демьян, и Паша Иванец. Все, точка, капитан. Не медли! — И, как бы извиняясь за непозволительную резкость, выбирая из родного языка самые теплые слова, притронулся к Аронову: - Иди, Миша-джан, уводи людей, батоно.

Заняв каменное строение мельницы, Мтварадзе, Каширин и Иванец активным боем держали возле себя полицаев и немцев, давая возможность пятерым уйти как можно дальше.

Что стало с Иванцом, Кашириным, Мтварадзе, возможно, никто и никогда не узнает — ни в Харькове, ни в Камышлове, ни в Махарадзе, который Иорам по старинке называл Озургети. Во всяком случае, пятеро, продолжавшие продвигаться к фронту, были убеждены, что их друзья все сделали как надо. На самую последнюю минуту, для себя, разведчики всегда сберегают связку гранат.

Но какая подлая эта война. Удача отвернулась от разведчиков уже в конце рейда: до Немана, на правом

берегу которого уже должны быть наши, оставалось какнх-то тридцать — сорок километров.

В тех местах хуторам тесно, что семечкам в подсолнухе. Как ни стереглнсь, приметил кто-то. На засаду наскочили в полночь. Рукопашный бой был скоротечным и жесточайшим до безумия. Ребята показали, на что они способны, когда на одного — пятеро. И все же группа была выключена нз дела. Погиб снбнрский охотннк Олег Самарин. Командир разведчиков, коммунист, бесприютный одессит в прошлом Михаил Аронов н цирковой борец нз Омска лейтенант Сергей Ерастов были изувечены взрывами гранат. Свердловчанин Иван Малыгин, заместитель командира группы, вобрал в себя беспередышливую, на полрожка, автоматную очередь, и лишь могучий органнзм еще позволял ему жнть. Только его земляк Вадим Пучков отделался сравнительно легко: пуля пробороздила лопатку по касательной. Но активность лейтенанта Пучкова как боевой еднннцы тоже оставалась крайне ограннченной — на его плечи легла забота о тронх, получнвшнх ранения.

Едва продираясь через непролазь ольшаника, Вадим Пучков оттащил младшего лейтенанта Самарнна в глубь зарослей, укрыл собранным на ощупь сушняком. Больше ничего для него не мог сделать: жгучие мысли о трех, которые еще живы, торопнлн назад.

Онн лежали все там же — под шатровой елью. Капитан Аронов неведомо как, какими снлами, но сумел намотать бинт поверх маскировочного комбннезона на свой распоротый жнвот н теперь пытался как-то помочь другнм двум товарнщам, но у него ннчего не получалось — мешалн темнота н собственная слабость. Прикосновення, попытки вслепую отыскать раны на теле Ерастова и Малыгнна прнносили только мучения — н ребятам, и ему самому. Пучков опустился на коленн рядом с Ароновым, вытолкнул из стянутого удушьем горла:

— Сейчас, капнтан, вот только фонарик...

Аронов перебил вопросом:

— Где крокн? Крокн Сереги Самарнна?

О-о, черт! Пучков метнулся обратно к ольшаннку, где оставил Самарина. Он не смел забывать о кроках даже в том случае, когда была бы возможность похоронить Серегу Самарнна!

Вадим прностановился на мгновение, вскинул голову. Небо, затянутое с вечера тучами, начинало мало-помалу

светлеть. Надо спешить уйти отсюда. Он знал: всех немцев уложить не удалось, сколько-то скрылось, и они могли вернуться к рассвету с подмогой.

Пучков прополз до груды хвороста, рукой распознал место — складку рубашки, где шифровка, срезал кинжалом. Метрах в десяти от зарослей вонзил кинжал в почву, расшатал дернистую рану земли, вогнал в нее обрывок материи, примял, пригладил место, где навек укрылась шифровка разведки. Кроки теперь оставались только у них, пока живых. И нельзя было забывать ни на минуту, что и у них они не должны оставаться долго. Большой кровью добытые данные надо доставить туда, откуда ушла группа, тем, кто их направил в разведку.

От места схватки с немецкой засадой еще до начала нерадостного рассвета сумели отдалиться километров на пять. Не сохранилось в памяти, затуманилось, забылось, как это удалось: сами шли-ползли или тащил Вадим Пучков. Так или иначе, расстояние преодолели приличное, следы, насколько можно, приглушили перетертой смесью табака и перца.

Отлеживались в густом сосновом перелеске, ставшем парным и душным, когда взошло солнце. Капитан Аронов угасал быстро. Строгостью глаз отталкивал флягу с водой, отстранял участливую руку со свежим бинтом — берег для других, сознавая, что его ничто не оживит, не поднимет на ноги.

Высшая целесообразность в данных обстоятельствах — это наступить на свое сердце, покинуть раненых, ставших обузой на пути к цели, и во что бы то ни стало доставить разведданные по назначению. Они, эти данные, оградят от смерти сотни жизней других товарищей, увеличат число мертвых во вражеском стане. Такое поведение логично и отвечает установленному заданию. Ведь когда идешь в атаку и рядом падает истекающий кровью друг, ты не бросаешься к нему со своим милосердием — воинский долг обязывает продолжать атаку. В атаке, этом частном виде войны, все предусмотрено мудро, мудро даже с учетом того, что война сама по себе — безумие: следом идут санитары, следом идут похоронные команды. Они перевяжут твоего друга, они снимут шапки над могилой убитых. Милосердие — их обязанность, твоя обязанность продвигаться вперед и убивать врага, тогда, быть может, не

будешь убит ты, не будет убит еще кто-то из тех, кто наступает рядом с тобой. Вот оно, твое боевое милосердие!

Но опыт военных поступков не может быть однозначным. В данной ситуации Вадим Пучков даже во имя наивысшего смысла не мог растоптать свое сердце. Главенствующее положение заняли теперь человечность и человеколюбие. Закон целесообразности переставал быть законом, следовать ему означало перестать быть человеком, означало разрушение в человеке всего человеческого.

В исключительных обстоятельствах желать себе или другу не тяжкого ранения, а смерти — это человечно; оставить на произвол беспомощных даже под давлением тактических или стратегических соображений — бесчеловечно. Вот от каких корней родилось и стало потом расхожим выражение: «Я бы с ним пошел (или не пошел) в разведку».

И все же капитан Аронов пытался поставить целесообразность на первое место: суровостью затухающего взгляда требовал, чтобы лейтенант Пучков шел дальше один, требовал и в то же время понимал, что никуда Вадим Пучков не уйдет, не бросит товарищей, лишенных сил противостоять даже одному задрипанному полицаю.

Умер капитан Аронов совсем неслышно, в полдень, а через час, постонав, прокатив по щеке тягучие и мутные слезинки, умер Сергей Ерастов.

Вадим Пучков ковырял могилу до самого вечера и похоронил все же Аронова и Ерастова, а потом неимоверным напряжением воли заставил себя уснуть. Надо было набраться сил для двоих — для себя и Ивана Малыгина.

Иван Малыгин и Вадим Пучков жили в одном и том же заводском поселке в Свердловске на соседних улицах. Виделись время от времени, враждовали улица с улицей, бывало, что дрались, мирились — и никогда не думали, что могут сойтись так близко. Свела, накрепко связала дружбой учеба на спецкурсах, а потом и совместные вылазки в неприятельский тыл. Вот этот изувеченный и беспомощный теперь Иван Малыгин, когда Вадиму Пучкову грозило отчисление с курсов, до

одури, до припадков бешенства занимался с ним и помог научиться всему, чем сам овладел успешнее других: переносить голод и жажду, управлять психикой, безоружным обезоруживать противника, стрелять с обеих рук из любого оружия, любого положения и многим другим способам и действиям, которые потом не раз пригождались в дальних и близких разведках. Все курсанты — спортсмены в прошлом, они и здесь называли себя многоборцами.

Могучее тело Ивана Малыгина, искусно развитое, с детства не знавшее болезней, сейчас, лишенное способности двигаться, огрузло, многократно утяжелилось, и более мелкий по комплекции Вадим Пучков смотрел на друга с отчаянной тоской. Он не представлял, как понесет или поволочит Малыгина дальше, но твердо знал одно — будет делать это до последнего вздоха.

Часть дня Пучков затратил на перевязки товарища. Жгутами из поясных шнуров комбинезона остановил кровотечение, в шинах из черемуховых стволов закрепил в неподвижности ноги и правую руку, обрезком подушечки индивидуального пакета заткнул рану на груди и наложил бинт. Собственную рану, чтобы заботиться о ней, считал незначительной. Борозда от пули на левой лопатке подсохла сама собой, знать о себе давала только тогда, когда терлась о гимнастерку.

В том же черемушнике срезал ветки подлиннее и смастерил подобие волокуши.

Силы у Ивана Малыгина оставалось ничтожно мало, но этой малости хватало, чтобы не терять сознание, трезво рассуждать и оценивать обстановку. Он открыл глаза, спросил Вадима Пучкова:

— Можешь определить, где находимся?

— Приблизительно сориентировался. До Немана километров тридцать осталось, не меньше.

Малыгин снова закрыл глаза, думая и восстанавливая силы, изрядно иссякшие во время перевязок.

— Тайник с рацией найдешь? — трудно, с паузами спросил Малыгин.

— Не беспокойся, Ваня. Найдем.

Тогда, в начале июля, перейдя фронт, они пошли на север и в десяти километрах от Немана в горелом лесу оборудовали тайник, в котором оставили портативную рацию. Потом, круто повернув, шли строго на запад. До Вилкавишкиса шли четырнадцать дней, за это время

фронт должен был продвинуться вплотную к Вильно, а сейчас уже подойти к Неману. Но натренированный слух Пучкова не улавливал ни единого звука боя даже ночью. Не слышно тех, кто может принять их сигналы, да, собственно, нечем и просигналить — до рации еще надо добраться.

Вадим Пучков тащил товарища всю ночь. Продвижение было позорно медленным. Выносливость, физическая подготовленность каждого офицера, отбираемого в группу, учитывались по высшей категории трудности и с плюсовой поправкой на особые осложнения. Осложнения для Вадима Пучкова оказались выше его предполагаемых возможностей.

Скользящее ранение пулей можно назвать царапиной и не придавать ему значения, когда ты не один, когда есть кому присмотреть за твоей царапиной. Но сейчас ранение раздражающе напоминало о себе. Едва подсохнув, борозда на левой лопатке начала лопаться, гноиться и кровоточить.

Давали о себе знать жажда и голод. Считанные капли воды и обломок шоколада, уместившийся в спичечном коробке, Вадим берег для обескровленного Ивана Малыгина.

Но всего сильнее изнуряла дума — каково Ивану? Разведчики не ходят проторенными тропами. Волокуша то и дело цеплялась за корни, валежник, стволы деревьев, проваливалась в дождевые вымоины, вползала на бугры и камни и еще черт знает на что, не различимое в темноте.

Лежащий на волокуше Иван, сцепив зубы, какое-то время стоически переносил эти муки, но однажды, когда Пучков вместе с волокушей угодил в яму, Иван потерял сознание. Пучков с трудом вытащил товарища, проверил дыхание и снова впрягся в черемуховые оглобли. Все чаще и чаще посещала его и становилась навязчивой мысль, что ни до горелого леса, где тайник, и тем более до Немана добраться он не сможет.

Занималось туманное утро. Не известно, сколько бы еще шел сопревший Вадим Пучков, если бы не новая оказия. Туман стлался над землей плотным пологом. Вадим не видел собственных ног, не видел волокуши с Малыгиным, только ее тяжесть показывала, что он там,

не потерялся. Вадим стремился до полного рассвета пройти как можно больше и двигался на одном упорстве, ничего не видя и не слыша. Когда сорвался в овраг, ему бы выпустить из рук волокушу, а он, инстинктивно боясь потерять товарища, еще крепче вцепился в черемуховые палки. К счастью, туман поднялся из оврага, и он быстро нашел откатившегося в сторону Малыгина. Там, в овраге, когда Малыгин пришел в себя, и произошел этот разговор.

Малыгин не раз настаивал бросить его, он не мог не настаивать на этом, как не мог бы и Вадим Пучков, окажись он на месте Ивана. Но все эти просьбы и начальственные повеления лишь задевали слух Вадима, не больше. И вдруг после того проклятого падения в овраг Иван сказал такое, отчего Пучков оторопел. Сказал Малыгин вяло, изнуренно, но можно было разобрать, что сказал, хотя и не верилось ушам своим.

— Добить хочешь? — сипло спросил Малыгин.

Вадим еще не успел переварить услышанное, как раздался тот же севший от долгого молчания и слабости умоляющий голос:

— Прости, Вадим... Черт те что... Прости...

Молчали долго. Потом Малыгин заговорил снова:

— Пока туман — тащи. Палку срежь мне, буду отталкиваться, помогать.

Вадим Пучков оторвался от своих тяжелых дум, требовательно прикрикнул на Ивана:

— Лежи! Не смей шевелиться!

Он понял, догадался, о чем сейчас думал Иван, а когда услышал — тащи, окончательно утвердился, что понял правильно. «Добить хочешь?» — вырвалось у измученного, полуживого Малыгина непроизвольно: от адских страданий, от гнилостного духа его могучего когда-то тела, от ненавистной Ивану беспомощности. Но неосознанно вырвавшееся натолкнуло Ивана Малыгина на другую мысль: не хочет Вадим оставить его живого, пускай оставит мертвым, он сам лишит себя жизни. Только тогда, быть может, доберется Вадим до своих.

«Если буду волочить дальше,— подумал Пучков,— Иван не выдержит, окончательно истечет кровью. Иван понял это и захотел этого... Ну нет, Ваня, этот номер у тебя не пройдет».

— Постарайся уснуть,— хмуро сказал Пучков Малыгину.— Пошурую поблизости, может, вода где.

— Оставь... мой. На всякий случай.

Пистолет Малыгина давно лежал в кармане Вадима. Негде его хранить затянутому в повязки Ивану, и не смог бы он, случись надобность, воспользоваться им. Сейчас, на остановке, в отсутствие Вадима, смог бы — левой рукой, которая еще действовала.

На просьбу Ивана хотелось зло сказать: «А черта лысого не хочешь?», но Вадим только предупредил:

— Я поблизости буду.

Пучков ушел, не переставая думать: «Поклялся волочь Ивана до последнего вздоха. Выходит, не своего — его последнего вздоха».

Ручей отыскался неподалеку. Умытый, освежившийся и приободренный, Вадим скоро вернулся с полной флягой. Влажным платком протер лицо Малыгина, хотел скормить обломок шоколада, но Иван не расцепил зубов.

— Не надо, мутит,— через силу произнес он.— Проглоти сам.

Пучков прибрал кроху съестного обратно в коробку и взялся за перевязку Ивана. Обмыл раны на груди и ногах, сменил тампон, наложил новые повязки. Пропитанные кровью марлевые ленты простирнул в ручье, расстелил на скрытой кустами поляне. Лучше бы на кустах развесить, но поосторожничал.

Ничего, ручей рядом, успокаивал себя Пучков, сутки ни с места, полный отдых. Здоровое, сильное сердце Ивана отдохнет, погоняет кровь по уцелевшим жилам, подживит тело, а тогда снова можно вперед. Разумно размышлял Вадим, но покой и свежий воздух не велика подмога обескровленному, осажденному полчищами бактерий организму Ивана. Требовалось что-то еще, более существенное.

А что существенное в западне этой? И неужели западня? Неужто не выкрутимся? Вадим перебирал все варианты — и чисто теоретического плана, и те, что проверены на практике в подобных передрягах. Обошлось же тогда, под Смоленском. Семнадцать суток пробирались к своим, Вадим нес в ноге две пули. Правда, Лунный Витязь — Иорам Мтварадзе, хотя и с перебитой рукой, шел на своих двоих и помогал ему, Вадиму. Правда и в другом: дважды удалось подхарчиться горячим, а сухари не переводились до конца рейда. И тех трех изувеченных ребят удалось пристроить у колхоз-

ников, которые обещали подлечить их и переправить к партизанам... Н-нет, та азведка в сравнении с этой — прогулка.

Может, использовать опробованный вариант — доверить Ивана попечению местных жителей? Хороший вариант, да не совсем. Все прежние вылазки в глубокий тыл врага велись на земле, где всегда можно было найти надежную поддержку населения, теперь разведчики находились на территории Прибалтики, а здесь Советская власть существовала без году неделя. Нельзя, конечно, думать, что тут кругом враждебно настроенные люди. Но и распахнуться перед каждым встречным-поперечным было бы верхом беспечности. Конечно, иной хуторской крестьянин всей бы душой принял раненого офицера Красной Армии, разведчика, да вот рядом с такой сердобольной душой немало и черных душ — кулачья и буржуазных националистов. Так что отмахнется крестьянин, испугается — и за себя, и за того, кого ему предложат укрыть. Тем более тяжелораненого, требующего за собой постоянного присмотра. Человек не предмет, который ни пить, ни есть не просит, которому не нужны йод и бинты, который можно сунуть в потайное место и не оглядываться на него до прихода советских войск.

Посображал Вадим Пучков вот таким образом, взвесил все доводы за и против и... решился. Когда на рассвете ходил к ручью, по некоторым приметам догадался о близости жилья. Тогда подумал об осторожности, о том, что надо ускорить передислокацию, сейчас подумал о другом: до того как перебраться на новое место, не нанести ли визит на хутор? Посидит в скрадке, приглядится, что за хуторяне, чего они стоят? Вдруг да и пристроит у них Ивана Малыгина! А не пристроит, то, может, поживится чем. Конечно, мысль о том, чтобы надежно пристроить Ивана — совершенно дохлая, такой вероятности с гулькин нос, а вот поживиться... Огород-то наверняка есть, а то, даст бог, под стрехой какая-нибудь травка сушится. Он уж выберет нужную. Подлечит Ивана, вольет в него капельку силы, а тогда сам черт не страшен.

Рисковал Вадим Пучков. Боком могла выйти вылазка к жилью. Но что он мог еще сделать?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

4 июля 1944 года, прорвав оборону противника, Третий Белорусский фронт, имея слева Второй Белорусский, справа — Первый Прибалтийский, начал наступательную операцию, которая войдет потом в историю Великой Отечественной войны как Вильнюсско-Каунасская. Две армии — пятая общевойсковая и пятая гвардейская танковая — с упорными боями продвигались в направлении столицы Литвы, называвшейся в ту пору на польский манер — Вильно. 7 июля они вплотную подошли к городу и начали штурм, а к исходу 9 июля полностью окружили вальнюсский гарнизон врага. Пять суток длились уличные бои и завершились полным разгромом противника.

Госпиталь майора медицинской службы Козырева скоро совсем опустеет: уедут в стационарные самые тяжелые, отправятся в распоряжение кадров фронта комиссованные, и хозяйство Олега Павловича, свернув свое имущество, с остатками выздоравливающих, признанных годными к возвращению в строй, перебазируется в Вильно, вот в это облюбованное Валиевым и Машенькой здание.

Можно без ошибки сказать, что гигантский механизм фронта четко бы сработал и без их участия, эвакогоспиталь не остался бы под открытым небом. Не далее как завтра представители санитарного управления фронта явятся сюда и без суеты, с властной твердостью и безоговорочностью определят места тем учреждениям, конкуренция которых испугала Машеньку, и, не исключено, укажут эвакогоспиталю именно это здание. Но уж так повелось на войне — не первый день и не первый год — по искони русскому обычаю: на кого-то там надейся, но и сам не плошай. Практика не раз показывала, что этот обычай не так уж плох. Придерживался его и майор Валиев, хотя за децентрализованную квартирьерскую деятельность по головке гладили редко. Исключая, разумеется, начальника госпиталя Козырева.

Держа в уме совершенно секретный план передислокации «Хозяйства Козырева О. П.», Мингали Валиевич внимательно следил за наступательными действиями фронта и появлялся под стенами города, куда метилось перебазирование госпиталя, едва ли не одновременно со

штурмующими частями; бродил по дымящимся еще развалииам, успевал выцыгаиить у трофейиых команд толику содержимого аптечиых складов, пересиливая иеловкость, презирая себя за подхалимский тои, поздравлял новоиспечеииого комеидаита города с вступлеиием в высокую должиость и с его помощью добывал саперов для проверки и размииироваиия облюбоваииого объекта, заручался согласием иа вербовку рабочей силы, успевал изладить докумеит, ограждающий его владеиия от посягательств иастыриых коикуреитов. Когда приходил приказ о передислокации с его простраииыми приложеииями — когда, куда, с кем, каким траиспортом и т. д.,— приказ этот, по сути, наполовиiiу бывал выполиеииым.

...Майор Валиев заворочался, закряхтел иа своем шишкастом ложе, ие нашел положеиия лучше и сел, стал иатягивать бриджи. Заметил, как встрепеиулась Машеиька, сказал ей:

— Уторкались мы с тобой, умаялись, Мария Карповиа, до смерти прибили сон-то. Пойду покурю иа свежем воздухе.

Невидио для Валиева Машеиька поморщила носик.

— Какой там свежий... Видели за водокачкой? Даже сюда доиосит.

— Да-а, жарит солнце, поскорей убирать надо,— принюхиваясь к запаху тлена, проговорил Валиев.— Скажу комендаиту, чтобы здесь в первую очередь. Выделят тебе в подчииеиие десяток плеииых фрицев...

Машеиька уловила подтруииваиие, перебила сердито:

. — И ие думайте. Брошу все, следом за вами вернусь.

Мингали Валиевич хохотиул, стал нашаривать сапоги. Машеиька запротестовала:

— Ну куда вы, Мингали Валиевич, курите здесь.

— Тряпиц тут горы. Не запалить бы.

— В углу котелки свалеиы.

— А-а, тогда ладио...

Забренчали потревожеииые котелки, вспыхиула спичка и иеверио, искажеиио показала лицо Валиева — уж очеиь старым виделось оио при тусклом огоиьке. Машеиька спросила:

— Мингали Валиевич, до войиы вы тоже по хозяйствениой части работали?

— Что-то вроде этого, Мария Карповна,— затяжкой осветились губы в кривой и горькой усмешке.— Приии-

мал от населения добро всякое: тряпки, кости, мятые самовары... Утильсырье называется. Не сам, конечно, я городской конторой ведал. На этом дерьме дом пятистенный поставил, на корову выгадал, а потом... Слышала побасенку такую? Спрашивает один другого: «Ты знаешь Шайдуллу, который напротив тюрьмы живет? Так вот, он теперь напротив своего дома живет». Меня тоже напротив моего дома поселили. Не совсем напротив, но неподалеку. Тюрьма-то на окраине, и я свой домино за городом возвел. Десять соток огорода отхватил...

Пораженная, не верящая Машенька с внутренним содроганием перебила:

— Как не стыдно, Мингали Валиевич! Зачем на себя наговариваете?

Валиев тяжело, одышливо забухал в кашле, плюнул на окурок, прошуршал котелком по цементному полу Стягивая бриджи, заговорил с исповедальной откровенностью:

— Ничего я не наговариваю, Мария Карповна. Совсем-совсем другой тогда был Мингали Валиев. Денежку к денежке, и денежку эту где трудом праведным, а где и...

— Кости, тряпки... Какой там пятистенник? Не врите...

— Верно, кости, тряпки, подсвечники бросовые...— всматриваясь в прошлое, говорил горько и медленно.— За них мы могли солью, спичками, мылом, ситцем расплачиваться. Давали нашей организации и соль, и спички, и мыло, и ситец. Они на рынке в бо-о-льшой цене были, а мы за принятый утиль, по воле моей, платили медными грошиками. Собралось хабара на дом с мезонином, на скотину...

— Не верю! — вскричала потрясенная Машенька

— Я и сам не верю,— вздохнул Мингали Валиевич,— да куда от правды-то денешься.

Валиев улегся, молча проверил — все ли сказал Нет, не все. Продолжил с надсадной душевной болью:

— Не судили меня. Пока следствие шло, то да сё — война началась. Написал областному прокурору, покаялся во всем, попросил на фронт отправить, кровью своей смыть позор... Пожалели мою ораву. Что наворовал, велели государству вернуть. Через исполком передал свой пятистенник эвакуированным, сам в крытую

дерном развалюху перебрался, а тут и моя просьба до военкома дошла... В полку к хорошим людям попал, назначили помощником командира взвода.

Ни командовать, ни помогать командовать не пришлось — в окружение попали вскорости. Хотя нет... командовал, когда к своим пробивались. В группе окруженцев никого не нашлось, кто взял бы на себя обузу — командовать, даже те, у кого «кубари», а я, старшина, носивший четыре треугольника, взялся... Шли лесами, били немцев, они нас тоже колотили почем зря... По пути наткнулись на медико-санитарный батальон, санбат, значит. Какой там батальон! Рожки да ножки от батальона. Командир убит, врачи — вчерашние студенты, сандружинницы — тебя моложе, а раненых более ста. Аникебям! Мать родная! Мороз по коже. Два грузовика, четыре «санитарки» — автобусики расхлябанные,—одни даже с надписью: «Для перевозки рожениц». Смех и грех. В полуторку полагается пять-шесть тяжелораненых, у нас пятнадцать помещалось... В машине для рожениц мужики оказались, которые понахрапистей. Раны-то пустяковые: у кого рука, у кого голова покарябаны. В той неразберихе ударились в анархию, на дисциплину наплевали. Выбрали себе старшего, батькой, как Махно, звали. Проявил я характер, повыкидал их из автобуса, едва не застрелил одного... Загрузил теми, кого на носилках тащили. Из своей группы да из легкораненых мужиков, анархистов этих, сформировал ударный отряд, вооружил его, чем мог. Прорвались. Много потеряли, очень много... Девчонок сандружинниц сколько-то побило, бойцов моих ударных, раненых еще. Двенадцать, которые с полостными ранениями, сами умерли. В последний момент, когда уже соединились со своими, и меня осколком в грудь прихватило.

Вышли к своим — меня к медали представили, в звании повысили: вместо треугольничков — кубарь в петлицы. Лечился два месяца. Между прочим, операцию мне Олег Павлович Козырев делал. За непригодностью выбросил три ребра да кусок легкого... Вылечили, комиссия признала нестроевым, а начальство нашло у меня способности по части снабжения медицинских учреждений. Наверно, потому, что для потрепанного медсанбата, когда выходили из окружения, сумел раздобыть пятнадцать подвод, шесть мешков хлеба да сколько-то

флаконов йода. Одним словом, сделали меня начхозом того госпиталя, где перенес операцию. Немного погодя стали формировать другой госпиталь — эвакуационный, тот самый, где мы с тобой, Мария Карповна. Хирурга Козырева начальником назначили. Олег-то Павлович и сосватал к себе на эту хозяйственную должность. Прихватили двух сандружинниц, которые скитались со мной по лесам да болотам,— Ниночку Ворожейкину и Серафиму. Серафима-то Сергеевна и сейчас... Ну, ты ее знаешь, а вот Ниночку, самую молоденькую, при бомбежке убило. Вышла из землянки белье снимать... Завернули в ту простыню, что у нее в руках осталась, и похоронили...

Да-а, хлебнули мы с Козыревым всякого лиха... База для нового эвакогоспиталя — районная больничка на пятнадцать коек, два стола операционных, бельишко кое-какое, инструментарий никудышненький... Бывало, что по тысяче раненых в день принимали. Под бомбежкой, в дождь, в слякоть... И все это, представь, не в таких кирпичных трехэтажках — в землянках, палатках. Шины на переломы, жгуты и повязки на кровоточивые раны — и дальше в тыл. Тех, кому неотложно, оперировали, конечно. По три-четыре часа в сутки спали, где придется, как придется... С тех пор и не разлучаемся с Олегом Павловичем, породнились вроде... Через ребра мои искрошенные, через все перенесенное. Осенью сорок третьего... Ладно, эту осень ты прихватила...

Как мышонок сидела Машенька, боялась слово пропустить. Когда замолк, робко спросила:

— Почему же сейчас?..

Спросила и осеклась.

— Что — сейчас? — захотел Валиев, чтобы Машенька договорила.

— Н-ну, что-то у вас... Вроде не любите Олега Павловича.

— Как это — не любите? Не женщина, поди, любить. Это он шибко...

— Вы за Руфину Хайрулловну на него, да? — добивалась ясности Машенька.

— Ох, Мария Карповна, я-то тебя все пацанкой, малолетком считаю, а ты ишь чего знаешь, во что вникаешь... Э-э, да что там! Война все, будь она проклята... Булдэ, Карповна, наговорились, хватит, мало-мало поспать надо.

Валиев поводил рукой по лицу, притормозил словоохотливость. А вот мысли свои притормозить не смог. «Вроде вы не любите его». Не-ет, Мария Карповна, не в любви дело. Не женщина Козырев. Это я правильно сказал... Но что-то ведь отодвинуло от него? Что? Может, все дело в землячке, в татарочке Руфине? Да нет, не в том дело — татарка, еврейка, русская ли... Мало ли что по молодости бывает, но зачем же так? Приглянулась хорошенькая врачиха в медсанбате, выхлопотал, перетянул в госпиталь, вскружил голову, а дошло дело до серьезного — ишь что сделать предложил! А Руфина свое: «Будет у тебя ребенок, и фамилию твою дам!» Пеплом покрылся, сам не свой тыкался из угла в угол майор медслужбы Козырев. Когда в Камышлу рожать поехала, тогда уже, с дороги, успокоила его: «Не казнись, не нужна ребенку твоя фамилия, ты не будешь его отцом». Пожалела Олега Павловича, зло пожалела.

Не просветлел Олег Павлович от такой жалости. А почему? Кто скажет? В чужую душу разве заглянешь?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сон долго не мог побороть Машеньку. Думала о Мингали Валиевиче, о своей жизни тоже думала. А какая у нее жизнь? Крошечная, с мизинчик. И нет в ней ничего особенного.

Родную маму помнила совсем смутно. Умерла она, кажется, в тридцать втором году. Да, в тридцать втором. Машеньке только-только исполнилось пять лет. Что можно запомнить в таком возрасте? Не могла теперь, как ни старалась, представить даже ее лицо, ее голос, видела лицо и слышала голос Пелагеи Никитичны — теперешней мамы, вытеснившей все то начальное в жизни. А Настюшка с Веруњкой вовсе не подозревали, что у них была еще какая-то мама. Настюше шел тогда третий годок, а Верочка по полу ползала.

Лучше помнились последующие годы, а перемешавшись с рассказами взрослых, даже очень хорошо представлялись. Было холодно и голодно, болели, ревели от болей и частой несытости. Бородатый, заплаканный

папанька, схватившись за голову, топал пятками о половицы, стонал и кричал чуть не на всю деревню:

— Наплодил на свою голову! Чтоб вас лихоманка взяла, чтоб вы туда, за матерью... Убралась, оставила мужику наследство! Что делать?! Что?! Руки на себя наложить?!

Но такие вспышки затухали быстро. Хмурый, с упрятанным взглядом, становился папанька к корыту, стирал и полоскал, как умел, их заношенные платьишки, доил корову, варил картошку, мял ее с молоком, кормил желторотых. Машенька — самая старшая, ей и наказывалось следить за сестренками, когда отец, тяжко вздыхая, уходил на общественный двор недавно созданного колхоза.

Папанька со двора, а Машенька с Настюшкой — в огород, лакомиться непоспевшей зеленью. Морковные хвостики, огуречная завязь, плоские стручки гороха без горошин — все шло в ход, аж за ушами пищало. Жеваной зеленью и Верочку-плаксу подкармливали, рот затыкали. Ужас как маялись животами. Измученный папанька поил настоем жженых корочек, не спал ночами, лечил. Женщины говорили на деревне: лучше семь раз гореть, чем раз вдоветь.

Тяжело было папаньке, Карпу Ивановичу. Не верил он ни в бога, ни в черта, но проснулась однажды Машенька и чуть не умерла со страха. Стоит папанька на коленках и просит бога, чтобы прибрал его, освободил от проклятой, ненужной ему жизни...

Не знает Машенька, как все было бы дальше, не заглядывала вперед. Круто изменилась жизнь с приходом Пелагеи Никитичны, теперешней мамы. Зимой это было, наряжали народ железную дорогу чистить от снега. Пока там отец работал, она и пришла. Перемыла все, перестирала, их, девчонок, выкупала, каши наварила... За этим занятием и застал ее Карп Иванович, папанька, значит.

Три года прошло, как схоронила она мужа — израненного, покалеченного в гражданскую. Одиноко и неприметно жила на заречной стороне. Узнала, как бедствует Карп Иванович, вот и пришла. Говорила папаньке про то, что, дескать, если Карп Иванович не против, она готова жить вместе. Детей у нее нету, хватит им и этих трех, не обидит сирот, матерью им будет. И если он, Карп Иванович, поимеет к ней уважение,—

по гроб не оставит. Упал папанька на коленки, заплакал. Кланялся, благодарил, клялся душу для нее положить.

Так обрели они новую маму — добрую да ласковую А через год у них — Маши, Настюшки да Веруньки — братишка появился, Семка, следом — Дуняшка, а после Дуняшки сразу двое — Никитка и Захарка, близнецы похожие друг на друга, как две росинки, не различишь сразу.

А потом с отцом случилось что-то, будто опоила нечистая сила каким-то зельем. Будто не свой в доме, чужой для семьи. О своей клятве отвечать добром на добро совсем забыл. Конечно, тяжело ему было. В избе шум, гам, болезни... Мыла нет, соли нет, спички надвое колют... Кругом дыра на дыре...

А вот это Машенька уж совсем хорошо помнит Поужинал папанька сухарницей — сухари в подсоленной воде с каплей подсолнечного масла,— отодвинул миску запрокинул голову и уставился в потолок. Молчал, молчал да как стукнет кулаком по столу: «Да что я — стожильный?! Или рубль неразменный нашел?! Господи откуда только терпенье берется! Вот выйду сейчас за ворота, задеру башку и завою в черное небо!»

И он правда завыл, до смерти всех напугал. И сам испугался, ласкал детишек, успокаивал.

Потом пошло-поехало. Устроился в потребсоюз заготовителем. Дескать, к товару поближе, может, прилипнет что. Но не умел брать не свое. Зато вольным стал, ездил, подолгу носа домой не показывал. Машенька после шестого класса бросила учебу, окунулась в хозяйство наравне с матерью. Когда отец пить начал, вовсе перестали на него надеяться. Никитка с Захаркой по малолетству вообще не хотели его признавать. Отец через порог — они на полати. Встанет папанька на приступок, пошарит в тряпье, ухватит которого за ножонку, подтянет к краю и сам не знает — зачем? Уцапанный Никитка или Захарка хлестанет дурным голосом — и отцова рука тут же выпускает мальчонку. «У-у-у» — прогудит и уйдет. Возьмет топор или вилы, помашет немного — и вон за ворота.

Тогда она забиралась к малышам, успокаивала услышанной где-то или самой придуманной сказкой. А то и песенку пропоет: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати...»

А сколько других дел было у нее, тринадцатилетней крестьянки! Сейчас и подумать боязно. Ляжет спать, а в голове: у кого бы лошадь попросить — хоть хворосту привезти из лесу. Еще картошку перебрать надо, чтобы на семена отложить, для еды выбрать похуже, а что получше — на рынок приготовить, денег на мыло выручить. Перебрать картошку да снова в подпол спустить. Печка вот тоже... Дымит, проклятущая, может, кирпич в дымоход завалился, может, сажа скопилась... Бабы грибы волокут, по мешку опят наломали. Самой нелишне бы к зиме-то... Баню истопить надобно, братишек-сестренок перемыть, самой веником похлестаться...

И ведь со всем управлялась. Вернется мама с поля, прижмет ее, поплачет, намокрит плечо и сама начнет хлобыстаться у корыта да у печки. К полуночи обе без рук без ног.

Однажды папанька отправился в очередную поездку по району — и насовсем. Ни писем от него, ни другой какой присылки. Как-то маманька спросила: «Доченька, где он теперь, папанька-то наш?» Едва сдержалась тогда Машенька, чтобы не зареветь. Подергала подбородком и сказала где-то слышанное, чужое: «При-иде-ет, никуда не денется». Мать погладила по головке, укорила ласково: «Не надо так, Маша, отец ведь родной». Ох как стыдно было тогда!

Но она не ошиблась в своей недетской суровости — пришел папанька на третий день, как началась война. В ладной одежде, побритый, с городским чемоданом Видно, на одного-то без оравы хватало. Только сладки ли были калачики? Уж очень много седины добавилось.

И опять, как давным-давно, встал перед мамой на колени: «Прости, Пелагея, за все, коль можешь... На войну ухожу».— «Бог тебя простит, Карпуша»,— только и ответила маманя и взялась собирать его в дорогу.

На станции ревела, голосила, как на похоронах. Будто чуяло сердце, что война не пощадит у нее и этого мужа. И правда — чуяло. Зимой сорок первого пришло сообщение, что папанька погиб смертью храбрых...

...Машенька, с головой накрытая гимнастеркой, всхлипнула неслышно для Мингали Валиевича и крепко уснула

ГЛАВА ПЯТАЯ

Узкой улочкой с разворошенной чешуей булыжника Машенька прошла до двухбашенного костела с круглым куполом в центре и загляделась. Декорированные колонны главного входа, скульптуры, орнамент с родовым гербом и младенцами-купидончиками по бокам, изваяния святых, символические барельефы, узорчатые капеллы...

Не знала Машенька, понятия не имела о капеллах, нефах, портиках, картушах — не знала и не думала о них, просто стояла и в изумлении таращила глаза на невиданную, жутковато-таинственную древнюю прелесть.

Это был костел Петра и Павла, основанный несколько веков назад видным феодалом Литовского княжества и вильнюсским воеводой Михалем Казимижем Пацем. Возвел его знатный вельможа, быть может, не столько во славу апостолов Петра и Павла, сколько из честолюбивого желания увековечить собственное имя о чем недвусмысленно говорила латинская надпись в центре фасада: «Королева мира, укрепи нас в мире» с наивной игрой слов «pacis», что означает «мир» и устроителя божьего храма Паца — «Pacis».

Католическую церковь, стоящую на окраине города, почти не тронули ни прежние войны, ни эта война, и она сохранилась во всей своей дивной красе и величии. От вида каменного чуда, приближенного к небесам, прямо-таки перехватывало дыхание.

По узким улочкам, примыкающим к площади, как ручьи в озеро, вливались беспорядочно большими и малыми группами хоронившиеся в лесах и по хуторам горожане. Дребезжали по булыжнику колеса тележек и тачек с домашними пожитками, безтранспортные тащили сбереженный скарб в узлах, рюкзаках, чемоданах. В этом потоке тяжких человеческих судеб горьчайшим вкраплением виделись дети — крайне измученные, бледные до прозрачности. Они цеплялись за подолы матерей, устало куксились. Чуть поотстав от матери, семенила девочка лет шести. Она бережно прижимала к платьицу кустик вырванной с корнем черники со спелыми дымчато-сизыми ягодами. Может, гостинец кому оставшемуся здесь, в городе?

Минуя костел, взрослые набожно складывали ладони перед лицом, шевелили губами и, поправив навью-

ченное, шли дальше. Девочка тоже хотела помолиться, но ручонки были заняты букетиком ягод, и она не стала мудрить: поднесла букетик к лицу и покивала головкой в сторону костела.

Глядя на девочку, Машенька грустно улыбнулась и перевела взгляд на рослую белокурую женщину в длинной, аккуратно выглаженной юбке, коричневой вязаной душегрее и с плетенной из ремешков сумкой. Она не походила на беженку. И шла она не как все — в город, а из города.

«Интересная бабонька»,— понаблюдала за ней Машенька.

В центре пустынной площади, местами всклоченной авиационными бомбами, незнакомка остановилась, поставила на булыжник сумку и опустилась на колени. Обратив мокрое от слез лицо к уходящим ввысь кружевным крестам костела, певучим и просящим голосом заговорила что-то непонятное!

Ну какая она женщина! Девчонка еще, может, чуть-чуть постарше ее, Маши Кузиной.

В смутные дни оккупации костел редко распахивал свои врата, но не был обречен и покинут. С глухим стоном приоткрылась тяжелая, вся в завитушках, створка портала, выпустила ксендза в черном одеянии. Суроволицый, седеющий, печально оглядев возвращающуюся в город паству, он спустился по каменным ступенькам паперти и направился к стоящей на коленях. Девушка приникла губами к его длиннопалой худой кисти и, вскинув прихваченное горем лицо, скорбно сказала о чем-то. Отче духовный выслушал, сочувственно кивая, ответил, мелко перекрестил и неторопливыми шажками удалился в глубину подзапущенного за войну сада, где виднелся кирпичный дом под черепицей.

Девушка поднялась, взяла в руки сумку, неспешно, как бы раздумывая, то ли делает, направилась к улочке, ведущей из города.

Улицы Вильно пропахли гарью, от багровой осыпи домов еще тянулись сизые струйки дыма, но уже что-то делалось для возвращения его к жизни: двое рабочих возились у люка подземного водопровода, на когтястых кошках взбирались на столбы и тянули за собой проволоку солдаты-связисты, кем-то организованные в хилую, неумелую команду жители растаскивали остатки зава-

лов с проезжей части улицы. Ближе к реке хорошо просматривалось зенитное орудие, возле него копошились веселые и шумливые девчата в военной форме.

Особа с плетеной сумкой, обходя баррикадные навалы хлама, повернула вправо, и Машенька оказалась на ее пути. Теперь можно было близко рассмотреть осунувшееся, помятое горем лицо, и сердце Машеньки наполнилось состраданием. «Поп этот... Утешитель тоже»,— осудила она ни в чем не повинного ксендза и решительно шагнула навстречу незнакомке. Приветливо улыбаясь, сказала:

— Здравствуйте. Вас кто-то обидел?

Девушка смотрела на нее непросохшими отрешенными глазами. Молчаливое разглядывание девчонки в солдатской форме длилось несколько мгновений. Девушка дрогнула губами в жалкой улыбке, ответила по-русски:

— Здравствуйте.

Машенька обрадованно засветилась, подумала: делают так у литовцев или нет (а может, она полячка?), недодумала и смело протянула руку:

— Меня зовут Маша Кузина.

Девушка тоже подала руку и, слабо отвечая на пожатие, сказала:

— Юрате. Юрате Бальчунайте.

С надеждой на хорошее знакомство Машенька, восторженно удивляясь, спросила:

— Ты говоришь по-русски?

Юрате кивнула головой, пояснила:

— Я маленько говорю по-русски. Мне помогала учить русская барышня. Нет... Как это? Мы вместе работали у понаса Рудокаса.

Машенька разобрала так, что вот эта хорошенькая девушка и еще какая-то русская работали у пана, а всякие господа у нее не были в почете. Переспросила:

— У пана? У помещика, значит?

— Богатый хозяин,— виновато поморгала Юрате.— Русская Вера говорила... Как это? Ми-ро-ед...

— Русская Вера? — насторожилась Машенька.— Где она?

— Понас Рудокас уехал в Пруссию, хотел нас увезти. Когда темно стало, мы ушли к знакомым, спрятались. Потом пришла Красная Армия.— Вспоминая русские слова, Юрате говорила замедленно, с мягким

акцентом. Притронулась к погону Машеньки, показала взглядом в сторону зенитной батареи: — Ты оттуда? Ты — солдат? Вера ушла с Красной Армией, она тоже станет солдат.

Машенька не стала уточнять, откуда она, Маша Кузина, спросила в свою очередь:

— Вы батрачили? В прислугах были? Вас бил этот мироед?

— Нет-нет. Саманис Рудокас не бил, он добрый.

Это для Машеньки было совсем непонятно.

— Добрый?! — воскликнула она.— Он же фашист и вдруг — добрый?

Юрате отрицательно помотала головой:

— Понас Саманис не фашист.

— Вера же говорила тебе — мироед. Держал батраков, теперь сбежал с фашистами в Пруссию,— сердито нахмурилась Машенька.— Тебя и Веру туда хотел утащить. Как это — не фашист?

Юрате настаивала на своем:

— Нет, не фашист. Фашисты другие... Не такие. Они убили маму с папой, брата, сестру... Вайве пять, Енасу три года было.

— Немцы убили? Когда? — воинственно насторожилась Машенька.

— Убили наши литовские фашисты. С белыми повязками. Они в лесу прятались, пока Германия с вами войну не начала. Хутор сожгли, литовским мальчикам, которые в комсомол вступили, звезды на спинах резали...

Воспоминание о прошлом не выжало у Юрате ни слезинки. Похоже, стоя перед костелом, основательно выплакалась. Только чуть дрогнул голос и потерял нежную певучесть.

— Ты за них молилась? — осторожно спросила Машенька.

— За Веру молилась. Мы как сестры были... За них — тоже, но их нет, а Вера есть... Пускай всегда живой будет,— Юрате повернулась к громаде собора и скоро перекрестилась.

От реки доносилась разноголосица зенитчиц. Девушки срезали дерн у обочины дороги и таскали его к песчаному брустверу, за которым виднелся уставленный в небо пушечный ствол. Делая ударение в Машенькиной фамилии на последнем слоге, Юрате снова спросила:

— Маша Кузина́, ты оттуда?

— Нет, Юрате, я не зенитчица, я медицинская сестра. Из госпиталя.

Машенька вдруг вспомнила наказ Михаила Валневича вербовать рабочих из местного населения, подумала, что Юрате Бальчунайте и есть местное население и что она самая подходящая для вербовки, поинтересовалась:

— Молиться приходила, а церковь не работает, да?

— Нет, не молиться. Я в Рудишкес иду. Там тетя родная. Здесь у меня никого нет.

— А ты оставайся. Скоро наш госпиталь приедет, раненых лечить будем.

Одинокой, бесприютной Юрате по душе пришлась Машенька, сердце уже тянулось к этой маленькой чернокосой русской девушке.

— Я — лечить? — обрадовалась и заробела Юрате.— Я не умею лечить.

— Помогать будешь. Санитаркой. Или на кухню — кашу варить.

— Кашу? — засмеялась Юрате.— Я умею кашу. Путру, шюпинас... Я умею хороши блюда, много.

— Вот и порядок в танковых частях! — воскликнула Машенька.

— Почему — танковых? — не поняла Юрате.

— Вася-танкист лежал у нас, он так говорил. Хорошо, значит, полный порядок.

Юрате посображала, мысленно сочинила фразу, произнесла:

— Вася говорил — порядок в танковых частях, а Вера говорила — по рукам, подружка. Ты будешь мне подружка?

Машенька привстала на цыпочки, растроганно чмокнула Юрате в щеку.

— Ты мне поглянулась, Юрате, ты хорошая, мы будем крепко дружить. У нас много девушек, и все хороши-хорошие. Пойдешь?

— Я не хочу варить кашу, я хочу лечить советских солдат,— чуть нахмурясь, сказала Юрате.— Научишь лечить?

— Научим, родненькая, научим! А сейчас ко мне переводчиком, ладно? Здешних людей приглашать будем, много надо народу. Кочегаров, уборщиц, слесарей надо...

— Я знаю слесаря! — воскликнула Юрате.— Он поляк. Юлиан Будницкий. По-русски говорить может.

— Что же мы стоим, идем к нему! — обрадовалась Машенька.

На берегу, где утвердились зенитки, что-то произошло. Оттуда донеслась команда, выкрикнутая высоким испуганным голосом:

— К бо-о-ю!

Девушки-зенитчицы бросили лопаты, одна за другой спрыгнули в орудийный окоп. Длинный ствол зенитки зашевелился, принял почти вертикальное положение. Машенька вскинула голову и увидела в голубой безоблачности двухфюзеляжный немецкий самолет.

— «Рама!»— крикнула Машенька и схватила Юрате за руку.— Бежим!

Юрате передалось Машенькино смятение, и они побежали к порталу костела.

Самолет шел на большой высоте и казался недвижным. С церковного крыльца можно было разглядеть еще три зенитных пушки. Возле них, как и у первой, заняли места боевые расчеты военных девчонок. Машенька в азарте сжала кулачки.

— Сейчас они ему покажут!

Но батарея молчала. Девушки, прикрываясь пилотками от солнца, смотрели туда, куда направлены стволы орудий. Чуть в стороне от немецкого разведчика появилась сверкающая в лучах солнца фигурка другого самолета. Юрате в страхе спросила:

— Еще один? Бомбить будут?

Машенька, похоже, разобралась в ситуации, высказала вслух свои предположения:

— Тот, кажется, наш. Второй-то. Истребитель вроде.

Действительно, на перехват немецкого «фокке-вульфа» шел наш «ястребок». Машенька как-то видела воздушный бой под Минском. Немецких самолетов было много. Наверное, больше двадцати «юнкерсов». Они шли под прикрытием десятка «мессершмиттов» бомбить город. Из-под солнца вывалились наши истребители, их было не меньше, чем немцев. Казалось, что небо дрожало, рвалось в лоскутья от рева форсируемых моторов, от безостановочной стрельбы автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. Окутывались дымом, вспыхивали и, кувыркаясь, падали подбитые самолеты — наши и вражеские.

Сегодняшний бой не был похож на тот, под Минском, сегодняшний казался Машеньке игрушечным.

«Ястребок» крутился возле «рамы», то наскакивал, то отходил от нее, сделав замысловатый маневр, бил из пулеметов, но огненные трассы проходили то выше, то в стороне от фашиста. Юрате расстроенно спрашивала

— Что, не попал?

Немецкий разведчик уходил. Когда самолеты оказались где-то над кладбищем, «ястребок» неожиданно взмыл, перевернулся через спину и, пикируя, ударил из пулеметов точнехонько по «раме»

Машенька все поняла. Больно стукнула кулаком о кулак, крикнула:

— Юрате, он отгонял «раму», не хотел, чтобы горелый фашист шмякнулся на город!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Можно считать, что сложные события осени 1939 года особо не задели семью Альфонаса Бальчунаса, не внесли в ее устоявшуюся жизнь ощутимых изменений

Когда был снят урожай, по обычаю, установившемуся с незапамятных времен, усталый, наработавшийся крестьянин внес в дом метелку ржаных колосьев и с благоговейной торжественностью положил на лавку в красном углу. За ужином, собрав вокруг стола все семейство, он дотянулся до шелестящей усами ржи, нежно поперебирал колосья и, осеняя себя крестом, произнес привычное, из года в год повторяемое, но святое всегда волнующее: «Достаток этому дому».

Хутор стоял в пятнадцати километрах от Рудишкеса, и пришедшие с востока русские с красными звездами на фуражках, о которых рассказывали страсти господни, здесь, в хуторской глухомани, не показывались. Полнадела земли, две дойные коровы, овцы, гуси, куры. Все осталось, никто не тронул. Бальчунас продолжал возиться в своем огородишке в три ара, чинить сбрую, подправлять хлев. Когда первые опасения окончательно прошли, съездил в Рудишкес, привез полвоза давно присмотренного и выторгованного тесу и стал чинить обшивку торбы — приземистого жемайтского дома, поставленного еще отцом в пору столыпинской реформы Не ахти как велик дом, но семью Альфонаса Бальчунаса вполне устраивал

Да и велика ли семья! Он с Аттасе да трое ребятишек: Вайве и Енос совсем маленькие, а Юрате... Юрате учится в гимназии, заневестится скоро, даст бог — в богатую семью уйдет, забудет, как клумпы[1] надеваются.

Когда был распущен сейм, а министры Сметоны сбежали в Германию, Альфонас Бальчунас ощутил даже кое-какие улучшения. После объявления правительством Литвы Советской республикой стали поговаривать, правда, о каких-то неведомых ему колхозах. Альфонас расспрашивал, что это за штука. Разное говорили. Понятнее всех разъяснял Йокубас Миколюкас: коровы, лошади, инвентарь всякий — все общее, еще трудодни какие-то... Зачем это? В России колхозы есть? Ну, пусть там и будут.

С налогами власть не прижимала. Ржи сдал столько, сколько требовалось, до единого пура[2], и не больше, чем в прежние годы, при старой власти, не давили ни гужевой, ни какой другой повинностью, спасибо за это. Гимназию не закрыли, Юрате продолжала учиться, набираться ума-разума. Сохранился и кооператив. Дивиденты, конечно, не ахти какие, но прибыли и раньше не часто радовали. Ну, председателю, ксендзу, викарию кое-что перепадало, и немало, надо думать, но у них и паи посолидней, не сравнишь с паем Альфонаса Бальчунаса.

Как и прежде, председателем в кооперативе оставался Йокубас Миколюкас. Не из оборванцев, крепкий хозяин. Хутор его — не чета другим хуторам: водяная мельница с вальцами, вдоволь скота, а птицы всякой столько, что на пруду лодкой проехать негде. Конечно, коров сейчас не больше, чем у других,— продал, прирезал, сказал, что при Советах и с одной коровой проживет. У мельницы в одну ночь запруда разрушилась — забросил мельницу. Крестьяне ручные жернова с чердаков поснимали, зерно теперь в избах крушат.

Председатель кооператива Миколюкас оставался таким же степенным и значительным, каким был при буржуазной власти. Литовские хуторяне называли его по-старому — понас Миколюкас, а новые, которые из

[1] Клумпы — деревянные башмаки.

[2] Мера зерна около пяти кг

России приехали, да свои активисты — товарищ Миколюкас. И ему, Бальчунасу, говорили «товарищ». Пускай, совсем неплохое слово...

Ползли по уезду слушки, что к Миколюкасу кто-то наведывается от сбежавших в Караляучус [1] генералов, что Миколюкас с «лесными» людьми знается, которые будто бы вырезали в уезде две семьи новоселов, стреляют в активистов, агитируют за прежнюю власть. Как резали-убивали — этого Бальчунас не видел. Мало ли что говорят. Язык-то без костей. Да что за дело Альфонасу Бальчунасу до всего этого. Советская или еще какая власть — все равно, лишь бы не трогала, пахать-сеять позволяла. А у них в волости какая власть? Смех один. Председателем апилинки [2] Винцаса Юежямиса избрали. Так себе, божья коровка. Он у Миколюкаса на мельнице батрачил. Сдается, за одну фамилию председателем выбрали [3]. А может, Миколюкас так захотел. Он и при новой власти много делал так, как хотел.

Когда Германия напала на Советский Союз, немцы появились и в их уезде. Альфонас Бальчунас перекрестился на оловянное распятие — не в осуждение прежних и не во здравие новых хозяев, а так, для порядка, для успокоения души,— помолился и стал жить прежней жизнью. Но, видно, из глубокой правды сложилось в народе присловье, что бойкий сам набежит, а на тихого — бог нанесет. И резвым, и смирным в то мрачное, зловещее время доставалось с лихвой — и за дело, и просто так.

Сказать, что Бальчуиасу досталось,— не скажешь. Такого слова тут мало...

Мимо хутора Бальчунаса днем и ночью проходили беженцы из Вильно, Каунаса и даже из Паиевежиса. Удирали от иемцев, спешили следом за отступающей Красной Армией. Бальчунас запирал дверь, наглухо закладывал ставни: знал, эти попрошайки, активисты советские, пить-есть просить будут. Коиечно, неладно бы отказывать, грешио, да разве всех иасытишь. Сами виноваты, не иадо было лезть не в свое дело. Советы русские выдумали, вот пусть оии и ковыряются в этих

[1] Литовское название Кенигсберга.
[2] А п и л и н к а — сельский Совет *(лит.)*.
[3] Ю е ж я м и с — безземельный *(лит.)*.

Советах, печати ставят, в бумагах расписываются, а вы литовцы... Жили бы, как он — тихо да мирно,— не пришлось бы теперь пятки смазывать, от вииы прятаться

Раниим утром после короткого проливного дождя на подворье зашли трое. Молодые, безусые еще. Тощие, голодные, иоги избиты в кровь, едва стоят иа иих. У одиого — винтовка, у другого — граиата за поясом. Альфоиас стал допытываться, кто такие, куда путь держат Призиались, что комсомольцы из Кибартая, спасаются от иемецких и своих фашистов.

Альфонас перетрусил, замахал руками:

— Идите, идите своей дорогой. Хотите, чтобы и мне из-за вас...

Самый измученный мальчишка, тот, который с граиатой, не выдержал, заплакал:

— Нет сил идти, товарищ. Голодные мы, пять дией крошки во рту не было, от грибов животами маемся

Испугаииый вспыхнувшей жалостью, Альфоиас попятился.

— Проваливайте, проваливайте...

Паренек с винтовкой зло иасупился, стал хрипловато рассказывать:

— По всем дорогам белоповязочиики рыскают, вылавливают... У моста через Нямунас двум комсомольцам уши с мясом оторвали, пальцы на руках и ногах камнями истолкли. Сами видели. Неужели хотите, чтобы и нас так? Видно же — ие кулак, такой же литовец, как и мы

Альфонас построжал, сдвинул брови:

— А те не литовцы, от которых бегаете, а?

— Литовцы, а не лучше иемцев. Национал-баидиты оии. Фашисты.

— Ты давай не выдумывай,— в полиой растеряииости погрозил пальцем Альфонас.— Больио много знаешь. Шагай отсюда.

Паренек поиграл выпяченными от худобы скулами Казалось, снимет сейчас винтовку... Не снял, повернулся и пошел, за иим поплелись другие.

Сердце Бальчунаса обливалось кровью. Посмотрел вслед. Куда идут, зачем? Сколько еще идти? Ведь и дня не выдержат — помрут с голоду. Засаднило душу, окликнул

— Стойте, вояки бесштаииые.

Остаиовились, смотрят исподлобья. Что-то было в голосе крестьянина, что вселяло надежду. Мальчишка с гранатой даже слюну сглотнул.

Бальчунас вынес из клетки ломоть хлеба и кругляк скиландиса [1], сунул в руки тому, который с винтовкой, которого посчитал за старшего, сказал:

— Идите, идите отсюда, не навлекайте беды.

Разве мог знать Бальчунас, что последует за этим, мог ли такое подумать? Не прошло и получаса, как ушли мальчишки, на хутор въехали конные с белыми повязками и рессорная бричка, а в бричке — в кровь избитые те самые мальчишки, кибартайские комсомольцы. Даже не связанные. Кого там вязать! Во главе отряда — председатель кооператива Йокубас Миколюкас. Поднимается жаркое солнце, парит измоченная дождем земля, а он в старомодной бекеше со стоячим воротником, полы распахнуты мокрыми крыльями.

Альфонас возился с бричкой под поветью, подгонял новую оглоблю. Незатейливый умом, он нутром почувствовал неладное, упреждая это неладное, угодливо кинулся встречать важного гостя. Йокубас не дал приблизиться, наотмашь рубанул Альфонаса плетью.

— Вот уж не думал, что Бальчунас сучью комсомолию станет прятать да подкармливать.

И второй раз его плетью.

Альфонас ухватился за стремя, приткнулся лицом к сапогу.

— Помилуйте, товарищ Миколюкас, за что?

Долго ли при Советах жил, а вот ведь привык к новому обращению, вырвалось это слово на бо́льшую беду хуторянина.

— Ах ты...— задохнулся Йокубас,— товарищами бредишь, товарищей забыть не можешь! — и опять за плеть.

Приблизились другие верховые. Засиделись, озверели в лесных схронах. Для них помахать плетью, посмотреть, как под нею человек корчится,— одно удовольствие.

С крыльца с Еносом на руках сбежала охваченная ужасом Аттасе, Вайве за ее юбку цепляется, не отстает. Кинулась Аттасе к мужу, хотела прикрыть собой, защитить:

— Помилуйте, понас Миколюкас, мы же для вас...

И в ее тело врезалась нагайка. У Альфонаса куда

[1] Копченная в печной трубе колбаса из свиного мяса.

смиренность девалась. Его жену, мать его детей,— плетью? Кинулся под поветь, схватил свежевыструганную оглоблю, раскручивая ею над головой, кинулся на Йокубаса. Выстрел свалил Альфонаса посреди двора.

— Сжечь дотла красное гнездо! — крикнул Йокубас и, хлестнув коня, галопом вылетел из хутора.

...Когда Юрате Бальчунайте, старшая дочка Аттасе и Альфонаса, вернулась из Рудишкеса на хутор, на месте подворья лежали остывшие головешки, а по трупам отца, матери и Еноса с Вайве, брошенным возле колодца, ползали мухи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Для цего, Матка Боска, для цего? Не разумем... Кепско, кепско [1], Матка Ченстоховска...— бормотал Юлиан Альбимович Будницкий, спускаясь по металлическим ступеням черного хода. Левая рука его скользила по перилам, правая на отлете держала ведро, наполненное чем-то сырым и тяжелым.

В тот день, когда Машенька встретила Юрате Бальчунайте, она познакомилась и с паном Будницким. Уговаривать его пойти на работу в госпиталь не пришлось. Он оказался чертовски галантным, этот Юлиан Альбимович, ни дать ни взять — стародавний польский гусар. Ему под пятьдесят, прихрамывает — памятка первой империалистической,— но крепок, привлекателен причудливой ярко-рыжей шапкой волос и добрыми усмешливыми морщинками у глаз.

Увидев Юрате, Будницкий, чтобы не шкандыбать, не показывать хромоты, которая никогда и никого не красила, сделал лишь шаг навстречу и расплылся в обворожительной улыбке:

— Падам до нужек, пани Юрате. Цалую рончики.

И он действительно поцеловал протянутую Юрате руку по всем правилам салонного этикета, чем привел Машеньку в изумление и даже вызвал в ее душе с рабоче-крестьянской закваской некоторую неприязнь. Отступила на шаг, чтобы, чего доброго, этот рыжий дядечка

[1] Кепско — плохо *(польск.)*.

не вздумал тыкаться губами и в ее руку. Но, должно быть, в наборе гусарского обхождения не значилось целование рук у солдат. Будницкий приветствовал Машеньку энергичным наклоном головы.

Неприязнь Машеньки вскоре исчезла. Хитровато пощуриваясь, Юлиан Будницкий рассыпался в благодарностях:

— Дзенькую бардзо. Велика честь работать в русском госпитале. Я в большом долгу перед русскими. В четырнадцатом году они взяли меня в плен и тем самым спасли от смерти в окопах, а в революцию... Красный комиссар сказал мне: «Ты пролетарий, Юлиан, возвращайся в свою Польшу и раздувай пожар революции там». Иезус Мария! Да за такое... Я готов был раздуть пожар революции во всех государствах Европы. И раздул бы. Хромота помешала.

Машенька понятливо улыбалась, радовалась, что дело с «вербовкой» идет самым наилучшим образом...

Теперь вот этот Юлиан Будницкий, сильно утративший гусарский вид, пробирался черной лестницей во двор госпиталя. Эту ночь он не спал. Собственно, не до сна было всему персоналу — раненые поступали непрерывно. Ноги у Юлиана Альбимовича подкашивались, ломило в висках, преследовал и мутил запах крови, гнойно воспаленных ран, истощенных человеческих тел, карболки и всяких медикаментов.

— Кепско, кепско, Матка Ченстоховска...

Навстречу Будницкому поднимался майор Валиев. Уступая дорогу, Мингали Валиевич приник к стене, спросил:

— Чего, кызылбаш [1], богородицу свою вспоминаешь?

Быстро подружились пожилые люди — майор Валиев и вольнонаемный Юлиан Будницкий, близко сошлись за тайным стаканчиком аптечного спирта. Но сейчас пан Будницкий не был расположен к пустяковому приятельскому разговору: выносил из операционной третье ведро

Пропуская шутку мимо ушей, хмурый и истомленный Юлиан Альбимович горестно помотал головой:

— Что же это, а? Как же это, Мингали Валиевич? Может, на самом деле нет никакого бога — ни Аллаха, ни Христа, ни Будды?

---

[1] Красноголовый (*татар.*)

Мингали Валиевич бросил взгляд на содержимое ведра и, усмиряя несерьезность в голосе, сказал:

— Обходились без бога, обойдемся и дальше.

— Он ведь художник. Как же теперь?

«Эх, пан Юлиан, пан Юлиан... Отрезают у одного, у сотен — сохраняют, а наши слезливые глазки видят только этого одного. Давно ли стали лечить огнестрельные переломы. Средство спасения видели только в этом,— Мингали Валиевич покосился на мертвенно-землистую изувеченную кисть, которая лежала в ведре поверх того, что недавно тоже было частью живого.— Родись ты, кызылбаш, пораньше, твою ногу как пить бы оттяпали». Подумал и просто так, неосознанно, а может, и потому, что Будницкий упомянул художника, подметил: в ведре — левая кисть. Сказал об этом:

— Может, ничего? Левая.

Будницкий слабо махнул свободной рукой: «А-а, вшиско едно» — и направился к двери, ведущей во двор и дальше — в сумеречные заросли ольхи и березы, где побратски ляжет в землю вот это, чего лишились живые люди, которые, страдая, еще долго будут живыми...

Мингали Валиевич поднялся на третий этаж, постоял у окна, возле которого еще совсем недавно он и Маша Кузина радовались тому, что удалось найти под госпиталь подходящее здание. Остановили его не воспоминания о тех днях, а усталость — привычная усталость, но все же имеющая предел. Этот предел наступил час назад, когда с машины был снят последний раненый. Думая о лейтенанте, которого Будницкий назвал художником, Мингали Валиевич распахнул створки некрашеной рамы, подставил лицо ночной прохладе.

Сняли лейтенанта Гончарова с машины безжизненным, хотели положить на носилки, но он очнулся, сообразил, что от него требуется, и, придерживая клубок бинтов, насквозь пропитавшихся кровью, встал на ноги. Ослабевший от потери крови, убаюканный тряским кузовом «студебеккера», лейтенант просто спал. В приемный покой поднялся без чьей-либо помощи.

После санобработки Владимира Петровича Гончарова принимал ведущий хирург госпиталя высокорослый подполковник Ильичев. Для него поверхность операционного стола поднималась почти до предела, и лечь Гончарову на клеенчатое ложе удалось лишь с помощью сестры. Она же пристроила обреченную руку на при-

ставку, задвннутую в стол под прямым углом, н Гончаров чувствовал ее лопаткамн.

Подсунув кулак под затылок, он прнготовнлся перетерпеть любую муку, но вздрогнул уже от первого укола. Это рассерднло Владнмнра Петровнча. Стнснув зубы и до болн в яблоках скоснв глаза, стал расширенными зрачкамн следнть за рукамн хнрурга. Блеснул обоюдоострый клннок булата, безбольно вошел в угнетенные анестетнком мышцы н мгновенно опнсал круг. Кто-то, как рукав рубашкн, подтянул мышцы предплечья н оголил кости.

Прн внде всего этого пепельно-серый, худосочный ннтеллнгент должен вроде бы давно потерять сознанне, но он, редко взмаргнвая, с настырным упрямством смотрел, как его лншают рукн. Каплн пота собнралнсь на лбу н внсках, ртутно объедннялнсь н крупнымн горошннамн скатывалнсь по ложбннкам морщнн под скулы. Сестра сделала попытку повернуть голову лейтенанта, но он отстраняюще зыркнул на нее: натура художннка устремлялась увндеть н запомннть все. Казалось, только необыкновенно мудреные, таннственные предметы должны участвовать в этом чрезвычайном событин, н Владнмнр Петровнч ждал нх появлення. Но — господн! — в руках хнрурга обычная ножовка, какой пнлнл Гончаров брускн для подрамнннков. Ну, мнннатюрнее, ннкелнрована — н только! И края костей обтачнвают, затупляют простейшнм трехгранным напнльнnком... Как все поразнтельно просто, обыденно! Совсем-совсем бы просто, будь на хнрургнческом «верстаке» не жнвой человек, а нечто другое.

Когда сталн сшнвать мышцы н обтягнвать кожей культяпку, Гончаров закрыл глаза н с выдохом обмяк, словно выпустнл остатнее, что держало его, прндавало снлы

В палату Машенька увезла его на каталке. Помогла Гончарову лечь, поудобнее прнстронла на груди забннтованную руку, напонла нз посудннкн с рожком.

Машенька задержалась возле погруженного в забытье лейтенанта. Под одеялом он не казался такнм худым, каким вндела прн санобработке. Когда мыла его, боялась даже резнновой губкой сделать больно нежно-молочному телу этого трндцатнлетнего человека, а он — ну чнсто пятилетннй Ннкнтка — ойкал н вздрагнвал от щекоткн. Когда надо, сам мылся, даже спнной повернулся к Машеньке. Не то что вон тот большеротый, что спнт через койку. Это он говорнл: «Ты, сестрнца, взялась мыть, так мой все» А у самого обе рукн целы. Все-то мог н сам

помыть, не раздирать рот до ушей Едва живой, а туда же...

Плохо охальнику. Когда принимали, возле него собрались почти все хирурги, судили да рядили вместе с майором Козыревым, как быть с ногами младшего лейтенанта. Жалко, ой как жалко Василия Федоровича! Всех жалко. Ходил человек, через канавы прыгал, плясал, может, или футбол пинал... Теперь придется на дощечку с колесиками, а то и просто на руках с такими деревянными скобами. Ладно, если с умом, а если слабый? Надломится, скиснет. Был такой в Машенькиной деревне. После финской. Прокопием звали. Пил, за женщинами как лягушка прыгал, кричал им всякое грязное. Где водка сморит, там и спал: под скамейкой у ворот, на огороде, в канаве, на крыльце потребиловки. Отец с матерью по всей деревне искали, уносили домой. Обхватит их шеи руками, повиснет, хлюпает носом: «Папаня, маманя, вам-то за какие грехи?» Те его дурачком называют, самогонки подносят: «Пей, Прокопушка, пей, легче станет» — чтобы забылся, не думал о своей тяжкой доле. Не становилось Прокопию легче, не забывался. Ускакал однажды за поскотину к мостику через речку, привязал веревку к жердочке, сунул голову в петлю и кинул свое укороченное тело под перила...

Хоть реви, о таких думаючи. И ревела Машенька. Это сейчас чуток пообвыкла, но все равно... Вот и Гончаров. Молодой еще, красивый, неженатый, поди, а уже без руки.

Машенька разглядывала его обескровленное лицо, обветренные, узорчато обрисованные губы, высокий, с едва заметными морщинами лоб и думала, как она будет стараться для него, как в конце концов поможет вылечиться, станет водить на прогулки. И совсем бы хорошо, если окажется неженатый. Ведь можно ее полюбить, не совсем дурнушка. Маленькая? Маленькая, да удаленькая. Все так говорят. И он это увидит... Как его звать? В приемном покое, кажись, Владимиром Петровичем называли. Володя, значит, Вова, Володечка...

Машенька вспыхнула от таких мыслей. Ранбольной Гончаров — и все тут. Володечкой она про себя называть станет.

Думая так, Машенька все больше бередила свое сердечко. Мысли вели ее все дальше и дальше, только природная совестливость сдержала нескромные эти мысли Смущенно и робко поправила одеяло, поднялась с табу-

ретки. Гончаров открыл глаза, резлепил спекшиеся губы:

— Мутит, сестрица... Голову кружит...

Машенька приложила тыльную сторону ладони к его лбу и почуяла нестерпимый жар. Встревоженно кинулась к шкафчику за градусником. Будто не под мышкой Гончарова, а в раскаленной печке пристроила градусник. Тут нечего ждать. Юркнула за дверь — к дежурному врачу.

Она была готова остаться возле Гончарова на всю ночь, но пришедшая на смену Надя Перегонова прогнала ее вон.

— Иди, иди, тебе же утром на смену.

— Родненькая, ты уж присмотри за ним,— умоляла Машенька.

Надя молча стянула с нее халат и вытолкала в дверь

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вылазка к жилью могла боком выйти Вадиму Пучкову. Он отчетливо понимал это. Но что, что он мог еще сделать?

К хутору Вадим присматривался в течение получаса. Жилой дом с нешироким длинным корпусом. Поперек разделен двумя капитальными стенами. Как назвать? Шестистенок? Снаружи вертикально обшит тесом. Крыша пологая, двускатная, под черепицей. Крыльцо в семь ступенек, хотя и четырьмя обойтись можно. Что это, почтение к святой семерке? Над крыльцом козырек, как и крыша,— двускатный. Подперт резными балясинами Козырек тоже под черепицей... Никакой не шестистенок. Типичная зане́манская грича. Правда... Высокий фундамент из валунов — это уже отступление от стиля И окна в отличие от обычной гричи увеличены в размерах Судя по дымовым трубам, отапливается не только хлебной печью из кухни, но и голландками в левой и правой от кухни комнатах. Такие усовершенствования гричи не с руки крестьянину малого достатка. Вон и кровля лишайником не тронута, новая. Сменили черепицу не так давно. Скорее всего, при немцах. Крашеные завитушки оконных наличников тоже обновлены. На фронтоне крыльца — распятие. Не бедняцкая оловянная отливка местечкового кальвялиса (кузнеца) — солидное латунное изделие.

Колодец с журавлем. Рядом — вместительная водопойная колода. Почва возле нее свежеизбита скотиной. Хлев (твартас, кажется?) вместительный. Под навесом какие-то машины. Одна, похоже, лобогрейка. Двор и огород ухожены. Усадьба обнесена не черт знает чем, а дощатым забором. Баня (пиртис, по-ихнему?) не по-черному топится.

«Какой же вывод, товарищ Пучков?— вызвал Вадим к жизни голос начальника курсов.— А вывод прост, как детское дыхание: уносить ноги от такого хутора...»

Но вот и живая душа появилась. Женщина. Лицо обветренное, без морщин. Лет двадцать пять, не больше. Вязаная душегрея от длительной носки вытянулась, протерлась в локтях. Клетчатую поневу не жалко и выбросить. Босая. Кто же эта особа? Батрачка? Все возможно. Но недолго и промашку дать. Убогость одежды — не доказательство. Но лицо вот, лицо... У хозяек, даже затюканных зажиревшими мужьями, таких лиц не бывает, должны быть какие-то отметины от сытой, обеспеченной доли. У этой лицо давно разучилось изображать радость.

Допустим, батрачка. У батрачки должен быть хозяин. Где он? Где другие обитатели хутора? Вон сколько мужского белья на веревке. В отъезде? Бричка без передка не в счет. Должна быть разъездная. Нет и рабочей телеги. И собаки нет. Цепь с карабинчиком заброшена на будку. Не за подводой ли увязался псина? Или по лесу шастает, пропитание добывает?

Аж озноб продрал по хребту. Не наскочил бы пес на беспомощного Ивана. Скорей обратно! Но соблазняет, магнитом тянет Вадима сохнущее на веревке белье.

Набрав охапку дровишек, женщина вошла в дом и тут же вернулась. На этот раз с тазом. Стала снимать стираное. Какая-то неподвластная разуму сила толкнула Вадима, и он в несколько прыжков достиг штакетника, в мах перемахнул его. Женщина выронила таз, в испуге прижала руки к груди, в широко раскрытых глазах вспыхнул животный страх.

Испугаешься, перетрусишь. Вид у Пучкова не для свиданий. Оброс, изодран, заляпан кровью. Форму советского офицера, видную из-под истрепанного камуфляжного комбинезона, ни с какой другой не спутаешь. В руках автомат, расстегнутая для готовности кобура с пистолетом передвинута на живот.

Мягко, как только мог, ласково даже посмотрел Вадим на женщину и предостерегающе прижал палец к губам. Заговорить по-немецки? По-немецки он объяснился бы, но как бы чего ненужного не вышло из этого, а по-литовски он знал с пятого на десятое. Лучше уж по-русски, может, что-то усвоила за время Советской власти.

— Тихо,— не приказал, попросил Пучков.— Пожалуйста, тихо.

— Уходи, немедленно уходи,— женщина с ужасом оглянулась на дорогу, что шла от хутора к лесу и пропадала в нем.— Импулявичус гостит у нас, немцы с ним. Сейчас вернутся.

Женщина в неописуемом страхе поднесла перекрещенные тяжелые руки к исхудавшей шее. «Русская»,— успел подумать Вадим и, приняв ее тревогу, поспешил сказать о своем:

— Пару исподнего, простыню,— повелительно кивнул на веревку с бельем.

— Нельзя, заметят,— опасливо замотала головой и тут же с тревожной досадой прикрикнула:— Да не стой ты посреди двора, спрячься. Я сейчас.

Она заполошно кинулась на крыльцо, рванула дверь в сени.

Вадим быстро спятился в заросль молодых лип, густо заселенных омелой. Держа автомат наготове, присел у стены хлева. Осмотрелся. Возле ног расстилаются розетки подорожника. Листья в затененности выросли сочные, крупные. Вадим стал лихорадочно, прямо с корнем, рвать эти розетки, совать в карман. Покосился на пучки листьев омелы, этой вечно зеленой дармоедки — не пригодится ли? Вспомнить бы, что говорила Нина Андреевна об омеле. Уж очень мало отводилось ей часов для занятий с курсантами.

Омела, омела... Кажись, помогает при гипертонии. Это им с Иваном ни к чему. Им бы крепкую, сочную головку лука, такую, чтобы надрезал — и слезы из глаз ручьем. Луковицу бы на раны растертую... В огород разве сунуться? Не выйдет, и без того наоставлял визитных карточек. Посмотрел туда, где с женщиной разговаривал. Полянка ни овцами, ни свиньями не тронута, устлана зеленью гусиной лапки, теперь на этой зелени — его сапожища. Наследил. И под липками траву пообщипал. Ничего не воротишь, ничего не исправишь..

Женщина вышла, кинула затравленный взгляд на опушку леса, туда, где дорога, тем же взглядом поискала нежданного гостя. Вадим высунулся не сразу, повременил — не появится ли из гичи еще кто. Женщина подбежала, торопливо сунула в руки сверток.

— Товарищ,— губы затряслись у нее,— извиняй, ради бога, со стола смела... Ничего не могу больше. Насмерть забьют меня, до тебя доберутся. Уходи быстрей, уходи.

— Откуда ты здесь, как тут оказалась?— не удержался Вадим от вопроса.

Женщина вскинула полные изумления и страха глаза.

— Г-госпо-о-оди,— простонала она,— нашел время... В тридцать девятом еще связалась с одним... Да уходи ты. Когда солнце вот так вот стоит — правь в ту сторону,— показала, на какой высоте должно быть солнце, чтобы взять направление. Получалось — на северо-восток.— Там болото, зато жилья нет. Можно пройти, дождей давно не было. Ну что ты стоишь! Беги. Кобель вперед хозяина прилететь может. В куски испластает.

Права, кругом права эта заблудшая, подневольная теперь женщина. Спешить надо отсюда. Спросил уже от забора:

— О партизанах не слышно?

— Откуда они!— замахала женщина руками.— Тут Импулявичус с полицейскими «партизанит». Немцы кругом. Болотом уходи или пересиди там, даст бог, выживешь, дождешься своих. Скоро должны быть, слышала — немцы Вильно сдали.

— Спасибо за добрую весть. Прощай и... Я не хочу угрожать, но... Понимаешь?

— Вот попадешься, потом на меня грехи. Иди же!

— Прощай!

У скрадка, откуда наблюдал за хутором, остановился, посмотрел на двор. Женщина ухватила из-под навеса метлу, стала заметать, расчесывать помятую траву. «Чтобы и духу моего не было»,— подумал с горькой и благодарной усмешкой. Тут же поправился: «Точнее, чтобы последний дух из меня не вышибли». Молодец тетка... Откуда ты, какая тебя судьба-веревочка повязала тут?

Вынул кисет с пыльцой, неугодной собачьему нюху, осыпал насиженное место и подходы к нему и двинул

в противоположную сторону от того лесочка, где оставил Ивана Малыгина. Табачок на свои следы — это хорошо, но и попетлять нелишне.

Дорогу оставил слева метрах в трехстах. Собака на обратном пути после дальних прогулок далеко от коня не уходит. Это когда со двора, тогда по сторонам рыскает, тешит песью душу, сейчас, поди, плетется, язык набок. Если и убежит, то только вперед, к дому.

Не обманула женщина, правду сказала. Послышался стук подков, донеслись голоса. Похоже, три или четыре телеги направляются к хутору. В мешанине слов различил немецкую и литовскую речь. Разговор шел в той возбужденности, когда людям не слушать, а говорить хочется. Трудно было в этом гомоне разобрать что-то, выхватить какую-либо фразу. Но вот, перекрывая гвалт, заорал немец: «Их хабе фюбер!» В ответ раздался хохот, послышался высокий звук бербине и пьяная песня: «Ой, забористое пиво! Ой, забористое пиво! Видно, добрый был ячмень!» Только и понял Вадим из литовской песни, что «пиво» да «ячмень».

Немец снова обиженно-пьяно объявил, что у него жар. Пучков сжал скулы. Падла, жар у него... Тебе бы Ванюшки Малыгина жар, ты бы поверещал, пьяная сволочь. Жар у него... Лупануть на весь рожок — и пиво будет, и хворь вышибет...

Заныло сердце, сунул руку к нему, наткнулся на узелок. Что в нем? Говорит, со стола смела. Объедки, что ли? Довольствуйся, Вадим Пучков, и такой милостыней. И-иэх, йоду бы пузырек!

Подводы удалялись, удалялся и Вадим Пучков

Иван Малыгин лежал рядом с волокушей. Пучков испуганно метнулся к нему. Повязка сорвана, по всей груди запеклись комья крови, бинты сползли и с руки. Палки, фиксирующие перелом, отброшены. Что с ним? Бился в беспамятстве? Или пробирался к мешку, искал пистолет? Ваня, Ваня, выбрось ты это из головы. Вот устраню кое-что, оставленное нашим присутствием, прибью малость запахи, и двинемся мы с тобой на северо-восток, к болоту, будем там, как хмыри, отсиживаться. Ты уж потерпи. Обмою, подорожник на раны приляпаю, перевяжу, полегче станет...

Пучков тянул волокушу из последних сил, часто ос-

танавливался. Передохнув, снова шел в ту сторону, куда указала хуторская женщина. Часа через полтора под ногами зачавкало. Теперь другая забота навалилась — сыскать среди зыбучих мшаников место повыше да посуше. Вадим побродил окрест, нашел удобный, заросший ивняком бугорок. Ни на этом, ни на других холмах сенных сараев не было — не было сенокосов в этой глуши. На бугорке и устроились. Малыгин не приходил в сознание. Посмотрел на него Пучков — и под ложечкой пусто стало.

Вода во фляге есть, раны обмыть хватит. Для питья болотная сойдет. Побудут в ней ветки черемухи, помокнут минут десять — и пей на здоровье (не упустил случая, припас прутиков). О фитонцидах черемухи медичка Нина Андреевна тоже говорила. Сюда бы те заросли, где волокушу изладил,— от гнуса. Сожрут тут комарики, живьем сожрут...

Вадим развязал узелок. В нем вскрытая консервная банка, на дне банки — недоедки тушенки, туда же ссыпаны обрезки свиной кожи от сала. Отдельно — пригорелые, срезанные с каравая, корки хлеба, пригоршня жареной картошки в крупках остывшего жира, перемятые стрелки лука... Не зелень, саму бы репку луковую. Эх, молодица, молодица... Что еще? Все из съедобного. Не густо.

Без горечи порадовался тряпью: две в прах изношенные рубашки, штанина от кальсон с заплатой на коленке, рваное полотенце, еще какие-то тряпки из тех, что, выстиранные в последний раз, приберегаются для всякой кухонной надобности. Вот спидница еще крепкая. Свою, наверное, положила, посчитала, что такая пропажа не будет замечена хозяином. А веревка-то зачем? Пусть. Как говорил мудрый Осип, давай веревочку, и веревочка в дороге пригодится. И не веревочка это вовсе, свивальник. Не истлел, крепок. Спеленаю тебе ноги, Иван, такие коконы сделаю — как в гипсе будешь... А вот пузырька с йодом нет...

Балагурил Пучков в мыслях, тешился, как ребенок, подобравший цветной черепок, а тяжесть на сердце становилась все ощутимее. Может, послушаться Ивана, оставить ему пистолет, а самому обратно на хутор? Шумнуть напоследок, забрать с собой к праотцам Импулявичуса со всей его свитой?

Изгонял из себя вольнодумство, прислушивался

к ночным звукам, пытался отыскать в них что-нибудь, что приободрило бы, вселило надежду, но на тысячи верст — лишь шелест листвы, сонные вскрики пичуг и слабое, булькающее дыхание изнемогающего Ивана Малыгина.

Надо идти, во что бы то ни стало надо идти. Строго на восток, к Неману. Пусть приостановилось наступление, но не навек же оно приостановилось... Перевяжу, приведу Ивана в порядок и пойду... С тем и уснул Вадим Пучков. Рядом бы с Иваном лечь, пригреть его своим телом, но сторожился Вадим. Оружие в стороне не оставишь, а с оружием лечь... Малыгин уже не раз пытался здоровой рукой дотянуться до автомата.

Проснулся Вадим от сырости. Наползли тучи, окатили землю. Вода подобралась под волокушу, не спасла Ивана Малыгина и плащ-палатка. Мокрый до нитки, прикрыв глаза рукой, Иван ловил ртом дождинки. Различив в водяном бусе вставшего на колени Вадима, Малыгин сказал:

— Не мучай меня, Вадим... Все равно конец.

Пучков молчал, стал резать кустарник для настила Малыгин опять к нему:

— Чего сопишь, слышишь ведь.

— Возьми себя, Ваня... Зубами. Ты же сильный.

— Был... Сломал меня немец... Много я ихнего брата... Теперь и мой черед...

— Я же с тобой, помогу.

— Уходить тебе надо, Вадим. Может, дойдешь.. Работу сдашь нашу... Повезет — и моих повидаешь..

— Сам повидаешь.

К полудню дождь стих. Пропитанные кровью и гноем, набухшие от дождя повязки снялись легко. Отжав принесенные с хутора тряпицы, Вадим заново перевязал воспаленные, гноящиеся раны Малыгина. Тот лежал расслабленный, не пытаясь ни помочь, ни воспротивиться. Видно, снова ушло сознание.

Не удалось и покормить Ивана кашицей, в которую превратились хлебные корки. Вадим прибрал тюрю в консервную банку и, мусоля свиную кожицу, наслаждаясь ее вкусом, снова изнурял мозг разными планами Ни один из этих планов не годился

Сколько прошло дней их пребывания на болоте? Вадим не мог определнть этого После того ночного дождя

ливии стали возобновляться, одежда не просыхала. Теперь подлая слабость окончательно скрутила и Вадима Пучкова. Свело изнутри глотку, кишки пекло нестерпимым жаром и резало их на части. Запас прутиков черемухи, нарезанных неподалеку от последнего места боя, иссяк. Вадим, как святую матерь, молил Нину Андреевну явиться в его память со своим кладезем знаний. От ее лекций в мозгу мало что сохранилось, помнились лишь фитонциды лука и черемухи. Все же копался в придымленной памяти, в своих дилетантских познаниях трав. Что на болотах? Кубышка желтая, аир, дягиль, череда... Болото — вот оно. Набухшее дождями, стоющее топью, оно еще ничем, кроме страданий, не одарило. Череда... Кажись, годна при золотухе. Девясил возбуждает аппетит. Вот уж действительно — в точку, только аппетита им и не хватает... Отвар бы из наростов шиповника, успокоить кишки...

Отвар... Примус еще тебе, кастрюльку...

След от пули на лопатке загнивал, боль растекалась по всей спине, Пучкова лихорадило и трепало. Жестоко не отпускал, выворачивал наизнанку кровавый понос. Временами вязкой наволочью застилался рассудок, и Пучков обихаживал израненного Ивана уже в обморочной одури.

Обмытый, вновь перевязанный, очнувшийся Иван Малыгин подозвал однажды взглядом Вадима Пучкова.

— Вадим, я схожу с ума...

Пучков с усилием вникал в то, что говорил Малыгин. В своей еще большей недоле тот не замечал физической беспомощности друга, не видел его душевных страданий, говорил как с человеком, который еще способен пусть на тяжкое, но живое дело.

— ...с головой неладно,— продолжал Малыгин.— Сейчас с полковником Трошиным говорил... как с тобой.

Действительно, то, что привиделось Ивану Малыгину, он не мог объяснить не чем иным, как помрачением рассудка. Наплывала, обволакивала ватная тишина, уходила боль, возникала дурманная тяга ко сну, дурманная и присущая только здоровому организму. Веки смыкались, наступал покой, и на этом присущее здоровому кончалось — Малыгин продолжал видеть то, что видел только что: кусты можжевельника, болотистое пространство с окнами черной тины, поодаль, на буграх, корявые стволы сосен. Этот унылый пейзаж начинал неестест-

венно покачиваться, подрагивать, оживать цветными блестками и звуками. Поначалу звуки доносились со всех сторон, неразборчиво, но в какое-то мгновение слились, обозначились хлюпаньем ног по болоту, человеческими голосами, и Малыгин увидел в мареве ивняка, ольхи и крушины смутные, колеблющиеся, как под слоем воды, фигуры полковника Трошина и его заместителя, который, провожая их, давал последние наставления. Когда увидел их, голоса стихли, только стало что-то гулко и через равные промежутки бухать. Люди молчали. Молчал и пораженный Малыгин. А метрономные удары продолжались, они несли в изнуренный мозг все четче и четче проясняющуюся мысль: «Сон, надо открыть глаза».

Малыгин разлепил веки — призрак сгинул, а буханье осталось. Понял — это его еще живое сердце. Тотчас захотелось вернуть видение, не упустить его, и Малыгин поспешно закрыл глаза. Рассудок мутнел, Трошин и его зам снова возникли в обмане чувств. Они стояли на том же месте и будто всматривались во что-то, искали что-то. Малыгин решился подать голос: «Николай Антонович, вы слышите меня?» И как удар током: «Слышу, Ваня. Где вы? Где отряд?»

Тут не ошибешься — его голос, голос полковника Трошина.

Бухает сердце, подкачивает, толкает в мозг нездоровую кровь. Но что-то есть в той крови и живое, свежее — мутнеет обманчивая картина. Малыгин распахивает глаза, в них бьет дневной свет, в угарное сознание проникает свежая струйка: бред это. И все же Малыгин вновь спешит к призраку: смыкает глаза, здравый смысл теряется, надвигается бредовое, болезненно мнимое, и оно опять воспринимается за реальное.

— Николай Антонович, это ведь сон, вы пришли ко мне во сне.

— Это не имеет значения, Ваня,— отвечает полковник Трошин.— Сообщи...

Сердце замедляет движение, щемит надежда, но Малыгин, хотя и смутно, сознает чушь происходящего, сознает и не хочет возвращаться в реальность, спешит сказать полковнику Трошину:

— На северо-восток...

— Мы придем, ждите

Не хочется расставаться с надеждой, Малыгин пытается удержать возникшее состояние, но через дрожание ресниц проникает реальный свет реального дня, странность истаивает...

В глубоко запавших глазах Ивана, обнесенных страдальческой чернотой, вспыхивает испуг:

— Вадим, я не хочу умереть помешанным...— Испуг сменяет мольба:— Не мучай... Днем раньше, днем позже...

Захирел дух, заплутал рассудок Ивана..

Пучков молча пересиливал жалость, поил товарища обтирал его мокрой тряпицей.

— Слюнтяй... Ты... Отдай пистолет...

Пучков стискивал челюсти, глотал обиду. Бредовые выходки полуживого Ивана Малыгина не могли пошатнуть в нем человеческое, ослабить братскую связку.

В мареве июльской жары шевелится сырой болотный воздух, беспощадно жрет комар и мелкий гнус, облепляют тело Малыгина невесть откуда налетевшие здоровенные и мерзкие мухи. Противными голосами орут лягушки. В близком сосняке тарахтит дятел. Прочищая горло, неуверенно подает голос кукушка: «ку-ку, ку-ку»... Замолчала, переждала малость, посображала — стоит ли продолжать свою монотонную песню. Снова закуковала. Загадать? А что ответит эта птаха? Годы, дни, часы? Кому? Ему, Вадиму Пучкову, или Ивану Малыгину? Или обоим вместе?

Счет дням давно потерян. Однажды часы не были заведены и теперь безбожно врали. С той стороны, где Неман — ни звука. Выходит, стал фронт, зарылся в землю?

Может, вопреки здравому смыслу, сходить все же на хутор? Будь что будет! Живым не возьмут! Выманить ту тетку-молодку, припугнуть, привести сюда...

Какая нелепость! Никуда теперь Вадиму не уйти Переместились от хутора километров на шесть, такого расстояния он не одолеет, если одолеет — не хватит сил чтобы вернуться к Ивану.

Все не то, не то...

А что — то́? Сидеть и ждать? Что ждать? Когда исполнят обещание призраки, явившиеся Ивану?

Хуже смерти это ожидание. Тело немощно, но душа-то жива, действий требует. Бездействие, пассивность — вот что унизительно, вот что раздражает, давит на психику...

Когда возвращалось сознание, Иван Малыгин опять и опять наседал на Пучкова. Пучков собирался с силами, упрашивал:

— Ваня, не надо, не рви себе душу.

Иван хрипел по-звериному. От этого хрипа начинала горлом идти кровь, слепляла губы. Вадим обтирал лицо Ивана, пальцами сдавливал уголки губ, губы выпячивались хоботком, обнажали стиснутые, испачканные кровью зубы. Вадим лил на них воду. Иван не мог противиться, глотал, водил глазами туда-сюда и снова:

— Вадим, тяжко мне... Сжалься, не будь... кислятиной... Не поднимается рука — дай мне...

В сотый раз запечатывался кадык Вадима, он отвергающе мотает головой. Малыгин булькает сырым от крови горлом, просит с необоримым упрямством:

— Вадим, не будь бабой...

Вадим костенеет, выдавливает с огромным трудом:

— Не дам.

— А если немцы? Голыми руками возьмут... Этого хочешь?

— Тогда дам.

— Тогда не смогу.

— Я смогу. За тебя и за себя.

...Ждать, ждать... Пусть давит на психику, но ждать. А что ждать? Счастливого конца? Как в кино? Беспощадная шашка занесена над головой героя, рот его распялен в предсмертном прощании, в проклятии врагам, еще миг... Но меткий выстрел друга — и шашка выбита из вражеской руки...

Сцепить зубы, сжать нервы в комок и, как Чапаев,— «Врешь, не возьмешь...». Но в том фильме как раз и не было счастливого конца, в том фильме все было как в жизни...

Малыгин стонет, его искаженные близкой смертью губы снова выжимают мольбу. Вадим льет ему воду в рот, на лицо и твердит свое:

— Будем ждать, Ваня.

— Глупо... Бесполезно. Действовать надо...

— Действовать?— Вадим с неимоверным трудом поднимает голову.— Разве ждать — не действие?

Да-да, действие. Еще какое действие. Только оно сложнее по своей структуре, требует не одной энергии мышц, но и энергии духа, непостижимого напряжения воли. Почему мы должны отказываться от этой формы действия? Или у нас есть другой выход из адского положения?

Что-то вот такое хотел сказать Вадим Пучков, но не сказал, сил не хватило, хотя в мыслях было все это. Затрудненно высказал неоспоримую истину:

— Фронт рано или поздно двинется...

Тогда облитые кровью губы Малыгина вышептывают:

— Рохля, тюфяк... Будь проклят...

Потерян счет дням.

Часы показывают неверное время.

Над болотом висят растеребленные бахромистые тучи и сеют водяное просо.

В камышах блеют бекасы.

Малыгин выговаривает Пучкову грубо и мерзко, просит:

— Дай пистолет... дай...

Пучков встает на четвереньки. Звенит в тяжелой голове, и Вадим утыкается в прохладу сырого мха. Это приводит его в чувство.

Снова встал на четвереньки. Резь в животе вроде стихла. Попробовать на ноги? Уцепился за куст, поднялся, шагнул к Малыгину.

Лицо Малыгина песочного цвета, колодезная темень в провалах глаз. Живой ли? Вздрагивают ресницы, разлепляются губы. Живой. Просит:

— Пистолет...

Сжимаются и разжимаются пальцы левой руки — тоже выпрашивают.

Вадим дошагал все же, опустился рядом, смотрит на Ивана помутневшими глазами и цепенеет от сознания того, что решил сейчас сделать.

— Не дам, Ваня... Не могу... Ты возьмешь его сам. Прости...

Вадим с усилием расстегнул кобуру, вынул пистолет, ткнул ствол себе под левый сосок, но тут же, мгновенно, отвел руку... Ну нет, лейтенант Пучков, это не выход...

Он долго сидел, опустив руки между колен, смотрел на ставший вдруг неимоверно тяжелым пистолет. Откуда-то подкралось навязчивое и тоскливое желание обыденного армейского — разобрать его, почистить. Заметил на потершемся затворе, возле предохранителя, коричневое пятно ржавчины, обтер о штанину... А рядом мысли совсем не обыденные: что же все-таки делать? Действовать? Как?.. Ну что ж, давай будем действовать, как велишь, Ваня...

Малыгин ничего этого не видит, он уставился в затянутое низкими тучами небо, пошевеливает пальцами уцелевшей руки, ждет обещанного. Прощаясь, Вадим вглядывается в его сухое серое лицо, подтягивает за лямку вещмешок поближе, кладет на него ТТ с загнанным в ствол патроном.

— Оставляю на всякий случай... И вот что, Иван,— без глупостей. Дождись меня. Постараюсь к дороге... Лошадку, может... Уговорю или...— Вадим отомкнул рожковый магазин автомата, проверил его наполненность. Поднимаясь, встретился со взглядом Малыгина. Тот согласно сморгнул.

Ноги Пучков переставлял с величайшими усилиями, голова моталась на тряпичной шее и все время тянула к земле. Скорее бы из болота... Останавливался, прислонясь к дереву, впадал в горячечное забытье. Очнувшись, вспоминал направление и не спешил с первым шагом — слишком дорого даются ему эти шаги.

Ухваченный за рукоятку, опущенный вниз стволом ППС ободряюще шоркается о голенище...

Близость межхуторской дороги угадал натренированным чутьем. С дальнего расстояния выбирал путь с меньшими помехами, делал очередной шаг. Находил опору, отдыхал, напрягал слух, но, кроме кровяного шума под черепом, ничего не слышал. Снова и снова тянуло подумать о сумасбродной затее — куда он, зачем? Но Вадим зло отгонял эту мысль: решил — так действуй!

Конское ржание застало его близ дороги в тесно переплетенных кустах. Он даже не услышал его, это ржание, лишь угадал — так водопадно шумела в голове нездоровая кровь. Раздвигая ветку за веткой, увидел наконец крестьянскую бричку с грузом под брезентом и ее

хозяина. Он насаживал колесо. Направив все внимание на то, чтобы не упасть, Вадим шагнул через затравеневшую пустяковую канавку. Обратного шага сделать не успел, да он и не собирался его делать: на дороге оказалось несколько подвод. У той, что ближе к нему, стояла группа вооруженных людей. На Пучкова враз уставились темные дульца нескольких карабинов. Вадим сделал резкое кистевое движение, левой рукой поймал рожок вскинувшегося автомата и, уперев автомат в живот, нажал на спусковой крючок. Очередь была длинной. Она продолжалась и тогда, когда Вадим лежал мертвым. Судорожно сжатые пальцы не отпускали крючка, и автомат, сбивая дорожную гальку, жил до тех пор, пока не опустел магазин.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Безусловно твердого, раз навсегда заведенного порядка в доставке раненых быть, конечно, не могло, но порядок, хотя и зыбкий, все же существовал: раненых привозили партиями. Медпункты батальонов и полков, подвижные армейские госпитали, оказав необходимую помощь и не имея условий для более сложных врачебных вмешательств, а то и просто из-за перегруженности, наполняли пострадавшими железнодорожные вагоны, грузовики, автобусы, опорожненные машины артскладов — все, что более или менее способно передвигаться, и отправляли во фронтовые госпитали.

Этого человека доставили во владение майора медслужбы Козырева в одиночестве.

Рано утром, когда казалось, что поток раненых прекратился и часть персонала может поспать, яростный стук в дверь переполошил дежурного врача, встряхнул было задремавших операционных и палатных сестер. Ознобно позевывая, спустился с третьего этажа и Олег Павлович Козырев, жилье которому заменял его служебный кабинет.

Долговязый и нескладный лейтенант с усиками, которые он, похоже, давно и безуспешно отращивает, потрясал какой-то бумажкой и требовал Руфину Хайрулловну Галимову. За воротами в лениво зарождающемся рассвете виднелся загнанный, исходящий ра-

диаторным паром «додж». Около него толпились патрульные из расположенного неподалеку полка НКВД.

— Это полевая почта ноль десять сорок два?— срываясь на писк, громко спрашивал лейтенант. Он был без пилотки, испачканные кровью волосы свисали заветреннымн сосульками.— Срочно позовите товарища Галимову!

Такое требование не могло не ошарашить.

— Что у вас, что случилось?— в замешательстве спросил Козырев.

Испачканный кровью лейтенант запальчиво вскинул на него голову:

— Вы товарищ Галимова? Руфина Хайрулловна, да? Я же русским языком сказал, что мне надо видеть Руфину Хайрулловну Галимову, начальника госпиталя.

— Я начальник госпиталя!— Олег Павлович властно протянул руку за бумажкой.— Дайте сюда!

Лейтенант не обратил на это движение никакого внимания, снова повысил голос:

— Нужна срочная помощь! В нас стреляли!

Олег Павлович посмотрел на испачканное кровью лицо разгоряченного лейтенанта, обеспокоился:

— Вы ранены?

— Я не ранен!— раздраженно шумел офицер.— Ранен начальник штаба. Я доставил тяжело раненного начальника штаба по личному распоряжению...— он немного замешкался. В записке, адресованной какой-то Руфине Галимовой, которую он посчитал за начальника госпиталя, сказано, что офицера знает сам Черняховский, а раз так... И лейтенант выпалил:— По личному распоряжению командующего фронтом!

Последние слова заставили Козырева несколько растеряться, даже подумал: «Неужели генерал-полковник Покровский?», но тотчас отбросил эту мысль, сознавая, что, будь ранен начальник штаба фронта, вот этой глупой сцены не было бы, все происходило бы иначе и, возможно, не здесь. Еще и Руфа к чему-то примешана.. Олег Павлович жестко сказал:

— Прекратите базар и не апеллируйте к высоким именам! Где раненый?

Откуда-то, улегая на ногу, вывернулся с носилками Юлиан Будницкий. Серафима, Машенька и еще кто-то бросились к воротам, распахнули их. Патрули береж-

но извлекли из «доджа» раненого, уложили на носилки и вместе с Будницким, следом за Машенькой, понесли в здание.

— В операционную!— коротко бросил им в спины Олег Павлович и повернулся к сопровождающему лейтенанту:— Вы можете говорить толком?

Беспонятно жестикулируя, обладатель испачканных кровью усиков сбивчиво рассказывал, что из-под Вилкавишкиса он вез раненого начальника штаба артполка. Начальник штаба контужен, у него перебита нога. Большую часть пути отмахали без всяких приключений, а при въезде в Вильно наскочили на бандгруппу. Когда «шмайссеры» ударили по машине, шофер газанул, резко повернул машину в проулок, и лежавший на сиденье начальник штаба упал и потерял сознание.

— Я не успел его поддержать,— оправдывался лейтенант,— меня пуля шкарябнула.

Капитан из полка НКВД, возглавлявший патруль, проговорил с выразительным упреком:

— Носит вас... Разве можно в ночное время? Да еще без охраны. Приказы что, не для вас писаны?

— Как без охраны?!— взвился лейтенант.— А я на что? Пустое место, что ли?

— Какая ты охрана — с такой пукалкой,— кивнул капитан на маленькую элегантную кобуру лейтенанта.— Этой трофейной игрушкой только вшей бить... рукояткой. Хоть бы автомат взял.

Лейтенант даже онемел. Сказать бы этой тыловой крысе... Только у «крысы» орденских планок больно много, как бы сказанное обратно не отскочило. Лейтенант сдержанно пробурчал:

— Автомат у шофера есть.

— Под сиденьем?— продолжал жестко наставлять капитан молодого офицера.— Эх ты, вояка... Вообразил, что стреляют только на передовой? Управляйся со своими делами, поедешь с нами, покажешь.

— Где документы раненого?— спросил Козырев.

— Вот,— лейтенант протянул бумажку, все еще зажатую в кулаке, но тут же отдернул руку.

Серафима с ласковой улыбкой разжала его пальцы и завладела запиской.

— Я подруга Руфины Хайрулловны,— пояснила она,— а вы поищите карту эвакуации раненого.

Вошли в прихожую, освещенную лампочкой малого на-

кала. Имея в виду записку, Козырев спросил Серафиму:
— Что там?

Серафима ухмыльнулась, пробежала записку глазами, поискала — нет ли чего не для ушей Олега Павловича?— и только потом прочитала вслух: «Руфина Хайрулловна, во имя прежней... М-ммы... прими сего пациента со вниманием. Ты должна знать его по боям у Харькова... Помнишь, когда приезжал Черняховский?»

— Вот видите!— воскликнул лейтенант.— Чер-ня-хов-ский!

— Не лезьте не в свое дело, лейтенант,— оборвал его Козырев неприязненным голосом.

— Как это не в свое? Мне приказано...

— Вам приказано быстрее вернуться к машине, вас ждут патрули. Серафима Сергеевна, отправьте этого путаника на перевязку.

— Вы смотрите, товарищ майор медицинской службы!— заерепенился лейтенант.— Это вам не ванька-взводный. У вас есть палата для старших офицеров? Чтобы уход соответственный, лекарства там и все прочее...

Олег Павлович отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и повернулся спиной. Козырев и со спины показал добротную стать человека, окончательно освободившегося ото сна, бодрого, готового к любой работе и уже забывшего о существовании въедливого и нескромного лейтенанта.

Но въедливого лейтенанта не забыла Серафима Сергеевна, подхватила его под руку.

— Усатенький, вы его ординарец, этого раненого?

— Какой ординарец!— взбунтовался приниженный лейтенант.— Я — офицер! Адъютант командира полка!

Серафима порывисто приложила руку к груди:

— Простите, пожалуйста.— Второй год носящая звание лейтенанта медицинской службы, она, пряча плутовскую ухмылку, прибавила:— Думала, из прислуги начальства кто-нибудь, не разбираюсь в чинах-то.

Через непродолжительное время лейтенант — умытый, с повязкой, как тюрбан,— снова появился на крыльце. На дворе прояснилось, и теперь даже от ворот, где стояла машина, видно было, что он заведен до упора. Похоже, сестрички, пока перевязывали, вволю поточили свои и без того острые язычки. Ну конечно же! Вон Серафи-

ма вслед растревоженному лейтенанту просит умоляюще:

— Товарищ адъютант, остались бы...

Усаживаясь рядом с шофером, лейтенант пыхтел:

— Кобылицы... Я что, шуры-муры сюда...

Энкэвэдист, не стесняясь солдат, бросил ему:

— Пенек ты, лейтенант, восьмиугольный. Девчата шутят с тобой, а ты...— Отвернулся от лейтенанта, сказал шоферу:— Заедем в наше расположение, собаку прихватим.

Поднимаясь в операционную, Серафима подумала, что и раненый, привезенный этим усатеньким фендриком, наверное, тоже зануда.

На нее наткнулась бежавшая куда-то Машенька. Серафима ворчливо спросила:

— Как этот новенький?

— Очнулся уже,— радостно улыбнулась Машенька.— Укол сделали, он и очнулся. П-пить, говорит. Заикается немного. Никакой операции не надо, в медсанбате хорошо обработали... Глазки карие-е...— Машенька смущенно затеребила конец перекинутой на грудь косы с бантиком из перевязочной марли,— хорошенький такой...

— Хо-оро-ошенький...— передразнила Серафима.— Для тебя все хорошенькие. В таких чинах... Какой-нибудь сквалыга плешивый.

— Что ты, Серафима!— рассеивала заблуждение подруги Машенька.— Молоденький. Иди посмотри.

Они прошли до дверей операционной. Серафима вытянулась на цыпочках, заглянула повыше замазанного мелом стекла и увидела оголенного до пояса лобастого парня со спутанным волнистым чубом. Он с утомленной улыбкой говорил о чем-то с хирургом Ильичевым. Операционная сестра с мягкой осторожностью напяливала на него свежую госпитальную рубашку. Раненый повернулся к ней, сказал что-то, наверное, спасибо, и теперь Серафима разглядела его лицо. Курносый, на щеках ямочки, как у девчонки... Вот так сквалыга плешивый! Ну, адъютант, ну, горлопан... Выдумает же — начальник штаба!

Серафима обхватила Машеньку за плечи, притиснула к себе.

— Вот это парень! Принц! Вот бы тебе кому мозги закрутить!

Машенька зарделась, беспомощно пролепетала:

— Ну зачем ты так...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В первых числах августа после многодневных ожесточенных боев двести двадцать вторая дивизия перерезала шоссе Мариамполь — Вилкавишкис. До границы с Восточной Пруссией осталось всего ничего — каких-то двадцать километров. Казалось, еще день-два — и на заросшей бурьяном следовой полосе границы встанут на свое место полосатые столбы, взовьются красные флаги. Их уже готовили. В полках и дивизиях подбирали наиболее отличившихся в предыдущих боях — храбрых из храбрых, которым будет доверено оповестить этими флагами все человечество о полном освобождении Советской Литвы от захватчиков и выходе Красной Армии на государственную границу.

Чтобы остановить наступление русских, гитлеровское командование перебросило в район Вилкавишкиса части двух свежих пехотных дивизий и танковую дивизию с кичливым названием «Великая Германия». Двести двадцать вторая вынуждена была оставить блокированное шоссе и отступить за Вилкавишкис Город вновь оказался в руках врага.

Артиллерийский полк Андрея Кирилловича Лиховатого получил приказ занять огневые позиции юго-восточнее Вилкавишкиса по берегу одного из многочисленных притоков реки Шешупе. Устойчивая сухая и жаркая погода создавала благоприятные условия для быстрой переброски артиллерийских систем, и Лиховатый рассчитывал сделать это в течение ближайшего часа.

Но благоприятные погодные условия были благоприятными и для неприятеля. Пятидесятисеми- и сорокапятимиллиметровые пушки стрелковых полков не в силах были сдержать стальную лавину «Великой Германии». Расчеты гибли под гусеницами, оставшиеся в живых, не видя иного выхода — не показывать же спину врагу!— в остервенелом отчаянии бросались под танки со связками гранат. Все же вражеский клин неостановимо врезáлся в оборону советских войск и все больше раздваивал ее. Желаемое время для развертывания артполка сокращалось до нескольких минут.

Полковник Лиховатый, отдав необходимые распоряжения на КП, побежал к «виллису», чтобы немедленно выехать к замешкавшимся где-то дивизионам, но в это

время на проселок, изгибавшийся неподалеку от командного пункта полка, мотаясь в прицепе трехосных «студебеккеров», на полном газу вылетела гаубичная батарея. Еще нельзя было понять, какого она дивизиона, но это и не имело значения. С ее появлением мгновенно вспыхнула мысль, которая придушила подкравшуюся растерянность, приободрила.

— Адъютант!— взревел Лиховатый так, что у адъютанта, стоявшего рядом, током ударило в подколенки.— Задержи гаубичников! Мигом! Пусть развертываются вон за тем кустарником и готовятся к открытию огня с закрытых позиций! Моею властью туда же третью и шестую батареи! Вон пылят, видишь?

— Вижу!— визгливо и нервно крикнул в ответ адъютант, и его будто сдуло ветром.

К стоящему в стороне «виллису» спешно приближался офицер — высокий, с выбившимся из-под фуражки чубом. Полковник Лиховатый окликнул его:

— Смыслов!

Офицер изменил направление, подошел. Он не старше только что убежавшего адъютанта с плохонькими усиками, тоже лет двадцать, но выглядит солидней адъютанта, степенней, что ли. Держится без подобострастия, которое отличает молодых офицеров в общении с начальством и которое считается проявлением служебного рвения. Это был майор Смыслов, начальник штаба Лиховатого. На его лице мелькнула тень недовольства — оторвали от чего-то, что всецело занимало его. Нашаривая в кармане платок — вытереть употевшее лицо, сказал:

— Слушаю, Андрей Кириллович.

Полковник поймал взгляд утомленных и озабоченных глаз. Секунду, не больше, длилось это — глаза в глаза. Начштаба ждал: не мог же командир полка оторвать его от дела без особой надобности. И Лиховатый спросил:

— Понял, почему гаубичников именно здесь задерживаю?

— Сообразил,— кивнул майор Смыслов и спросил в свою очередь:— Кто будет управлять огнем, кого пошлете?

Полковник, покусывая губу, пристально смотрел на Смыслова.

— Сделать это сейчас можешь только ты, Агафон. Сакко Елизарович там, пушкарей подгоняет, а командиры дивизионов... Едва ли кто из них в такую минуту спо-

собен шевелить мозгами за весь полк, своим изболелись до одури... Вот здесь, возле кустарника,— махнул в сторону убежавшего лейтенанта,— приткну гаубицы. Где будешь ты — не знаю, смотри по обстановке. Если огнем гаубиц сможешь задержать танки на двадцать — тридцать минут, пушки успею выкатить вот сюда,— показал на карте.— Встретишь уцелевшие полковушки — гони к нам. Здесь и создадим противотанковый заслон. Левее, за этим кустарником, топкое болото, танкам не пройти, так что этой сволочной «Великой Германии» остается одна дорога — на нас. Встретим. Только задержи их, Агафон, на том рубеже хоть на двадцать минут.

Все получилось так, как и задумал полковник Лиховатый. Следом за девятой гаубичной огневые позиции заняли третья и шестая батареи. Отцепились от тягачей, раскинули неуклюжие клепаные станины, вбухали кувалдами сошники — и готовы! Не до ровиков тут, не до окопов!

Через какое-то время телефонный кабель, размотанный с «виллиса», на котором уехал навстречу немцам майор Смыслов, ожил, обрел голос. Двенадцать гаубичных стволов стадвадцатидвухмиллиметрового калибра повели интенсивный огонь с закрытых позиций и должны были хоть на сколько-то приостановить танковую атаку. Хотя бы на то время, которое требуется для сосредоточения и развертывания в боевой порядок шести пушечных батарей для ведения огня прямой наводкой.

Первый прицел, переданный майором Смысловым на огневую позицию гаубичников, равнялся ста двадцати. Выходило, что немецкие танки — в шести километрах. Пока опомнятся от обрушившегося на них огня гаубиц, пока прорвутся через этот заградительный огонь, пока пройдут еще три — четыре километра, пушкари успеют выдвинуться перед позициями гаубичников хоть на тысячу метров. Двадцать четыре пушки встретят «Великую Германию» огнем в упор. Может, не двадцать четыре, а больше будет стволов, если присоединятся артиллеристы уцелевших полковушек. Только бы по молодости не увлекся Смыслов, вовремя оставил наблюдательный пункт и отошел...

Прицел долго не менялся, три гаубичных батареи били по одному и тому же рубежу. Один раз стреляющий даже увеличил прицел на четыре деления, похоже, немецкие танки запаниковали, начали отходить, накрытые внезапным огнем

Но долго радоваться полковнику Лиховатому не пришлось. Прицел снова сто двадцать. А вот уже и девяносто. Очухались, выходит, продвигаются. Теперь прицел восемьдесят Неужели у Смыслова дойдет до огня на себя?

Прицел все уменьшался, а потом без всякого предупреждения прекратилась связь, а еще через сколько-то, заполняя пространство оглушающим гулом, перед артиллерийским заслоном Лиховатого появились немецкие танки. Приречный лес загудел, посыпал хвоей и листьями от быстрых залпов полуавтоматических семидесятишестимиллиметровых орудий. Побывавшая под ударом гаубиц и потому свирепо взвинченная армада стала захлебываться в своей атаке.

Пехотную брешь в линии фронта к тому времени залепили чем могли, а вскоре из резерва подошел и вступил в бой второй гвардейский танковый корпус. Город Вилкавишкис снова был взят советскими войсками. Солдаты, посланные Лиховатым на розыски группы майора Смыслова, нашли у сожженного хутора только расшматованный прямым попаданием штабной «виллис».

Но начальник штаба полка Смыслов не потерялся, не погиб, не был взят в плен. Он корректировал огонь до тех пор, пока танки не подошли к его НП вплотную. Смыслов готов был открыть огонь на себя и, не дрогнув, сделал бы это, но проволочная связь внезапно прервалась. Смыслов, два связиста и шофер в прах искалеченного «виллиса» густым орешником стали пробираться к месту, где, как указывал полковник Лиховатый, должны занять огневые позиции пушечные батареи полка, но не смогли далеко оторваться от вновь обретших уверенность немецких танков, не смогли вовремя и до своих дойти.

Выцарапавшись из непролазного орешника, группа Смыслова оказалась между двух огней завязавшегося боя. Шарахнувшись вправо под ненадежное, обманчивое укрытие молодого сосняка, ободранного и захламленного в предыдущих боях, Смыслов попытался низиной вывести бойцов к болоту, где не могло быть танков.

Болота-то достигли, и танки туда действительно не сунулись, но вот... Нащупывая наш противотанковый заслон, ударила дальнобойная немецкая артиллерия. Видно, плохо щупала, плохо смотрела — мощные снаря-

ды с воем плюхались с края болота, оглушающе рвались не там, где надо. И все же один, один-единственный, прилетевший не туда, куда надо, рванул не зря: он врезался в кочкарник неподалеку от группы Смыслова и враз накрыл всех четверых.

Изрядно пострадавшие, но способные передвигаться, связисты кое-как перебинтовали бесчувственного майора, виновато постояли возле убитого шофера и стали торопливо пробираться к своим.

В мешанине войск, всегда неизбежной, когда что-то переходит из рук в руки, они выбрались к тылам своей дивизии.

Командир медико-санитарного батальона капитан Прибылов тут же связался со старшим врачом артполка, который по распоряжению полковника Лиховатого уже не раз справлялся, не знает ли тот чего о Смыслове, и доложил, что тяжело раненый Смыслов доставлен в медсанбат. Перебита бедренная кость выше колена, рану обработали, дефект кости выправлен, костных осколков, похоже, нет, наложили шину. Хуже другое: контужен, находится в шоковом состоянии.

Трудно было понять, что кричал в ответ старший врач полка с того конца провода, через помехи доносились лишь обрывки фраз. Но Прибылов чувствовал, что там, в артполку, его понимают. Чтобы не тянуть время, прокричал в трубку последнее:

— Срочно отправляю Смыслова в эвакогоспиталь в Вильно! Там у меня знакомый врач, попрошу лично присмотреть!

О знакомом враче до этой минуты командир медсанбата по некоторым причинам не думал, не хотел думать, но вырвалось обещание отправить Смыслова в эвакогоспиталь, и теперь не пристало от него прятаться. Прибылов схватил первую попавшуюся бумажку, написал с угла на угол: «Руфа! (зачеркнул). Руфина Хайрулловна! Во имя нашей прежней дружбы со вниманием прими сего пациента. Ты должна его знать по боям у Харькова. Помнишь, когда приезжал Черняховский...»

Перечитал написанное, поморщился: к чему о Черняховском? О себе бы пару слов, коль выдалась такая оказия, о ее бы, Руфины, здоровье спросить... Но стоит ли бередить былое, которое, как видно, навсегда в прошлом? Лучше уж о командующем упомянуть, все когда лишний раз присмотрят за майором.

В гимнастерке с погонами, в каске да с автоматом он, может, и походил на солдата, но сейчас назвать его солдатом не поворачивался язык. На высоком и узком столе, застланном клеенкой и простыней в застиранных лекарственных пятнах, в нижнем белье, великом для него, ни дать ни взять, лежал мальчишка-семиклассник. Правая кальсонина была засучена выше колена, и у раздавленной, с двумя переломами стопы колдовал подполковник Ильичев.

Эта операция у Ильичева сегодня всего лишь третья — похоже, фронт приостановил наступление, и хирург словно соскучился по работе: не спешил, долго и тщательно вправлял суставы и выравнивал места переломов костей плюсны. Подождав, когда Серафима сделает последний тур гипсовым бинтом, стал водить ладонью по повязке и, словно скульптор, моделировать стопу и лодыжку.

Полюбовавшись на свою работу, Ильичев стянул марлевую маску и обтер ею лицо. От умывальника бросил сестре:

— В угол его!

Хирургическая сестра Серафима, писавшая химическим карандашом дату ранения и операции на только что наложенном и подсыхающем гипсе, поняла шутку хирурга.

— За что же, Семен Григорьевич? Такой славный парнишечка.

— Пусть не ходит босиком,— сердито отозвался Ильичев.

Лежавший на столе солдат перестал страдальчески коситься на тяжелую колоду ноги и глупо захлопал ресницами.

— Я же не босиком, в сапогах был,— наивно обиделся он.

— Никаких разговоров — в угол!— не пряча веселых глаз, с прежней строгостью сказал хирург. Он открыл кран и стал отмывать заляпанные гипсом руки.

Парень чувствовал, что за всем этим кроется какой-то розыгрыш, но не мог уловить его смысла. Серафима подмигнула ему, помогла сесть, придерживая руками, опустила к полу его непривычно обутую ногу весом в пуд.

— Что испугался-то?— улыбнулась Серафима.

— Кого пугаться-то? Тебя, что ли? У-у, какая страшная,— раненый посунулся к ней — боднуть лбом.

Серафима восхищенно рассмеялась, обняла парня за плечи.

— Звать-то тебя как?

— Басаргин,— доверчиво назвался он.

— Фамилию из карты знаю. Звать как, имя?

— Борис Васильевич.

Теперь коварную Серафиму было не остановить.

— Боренька, значит? Ты проказничал, Боренька, когда маленьким был? Тебя наказывали, в угол ставили, да? У нас в угол, Боренька Васильевич, не ставят, у нас кладут в угол. В угловую палату. Она начсоставская. Тебе честь оказывают, Боренька Басаргин, а ты губки надул.

Разобиженный сюсюканьем медсестры, Басаргин сердито потянулся за костылями, Серафима придержала его.

— Вначале халатик наденем. Становись на пол здоровой ножкой.

Боря, опираясь на край стола, неловко съехал на крашеные половицы. Широченные в опушке подштанники с нелепыми темлячинами завязок на ширинке сползли вниз живота. Он поспешно сграбастал их и едва не упал. Серафима любезно потянулась помочь.

— Что же ты, Боренька? Дай завяжу потуже, а то, чего доброго, скворчик выскочит.

И это окончательно разгневало Борю Басаргина.

— А-а, пошла ты...— запахнул халат, шитый без учета его комплекции, приладил костыли под мышками. Не хотелось даже видеть насмешливую медичку. Спросил обиженно:— Куда идти-то?

— Туда, куда меня собрался послать,— с поддельной сердитостью ответила Серафима.

Растерянный Боря вконец сконфузился и залепетал:

— Ничего я не собирался... Сама говоришь всякое...

— Конечно, конечно, не собирался,— успокоила его Серафима.— Давай поправляйся скорее, под патефон танцевать будем. Танцевать-то умеешь?

Серафима собралась сказать еще что-то. Боря встретился с добрым, ласковым взглядом молодой женщины и враз обрел шутливую смелость. Только вот шутка не получилась, не мастак он на шутки.

— Умею танцевать, только с тобой-то уж не буду — с такой...— запнулся, примолк.

— С какой?— задело Серафиму. Толкало ответить обдуманно грубым: «Я только лицом шершавая, остальное все гладкое», но кому ответить. Этому мальчику? И она лишь укорчиво нащурила глаза. Боря поймал этот взгляд и от своей неловкой вины облился горячим румянцем.

— Я совсем не... Чего это вы...

Серафима окончательно справилась с никчемной обидой и, вздохнув с притворным расстройством, пропела:

Боря, Боря буристый,
Какой ты подфигуристый.
Без лучинки, без огня
Поджег сердечко у меня.

Высокая красивая санитарка с подвязанными косынкой русыми волосами прибирала пропитанные раствором обрезки бинта, затирала подсохшие на полу брызги гипсовои кашицы и неодобрительно прислушивалась к подначкам Серафимы. Не выдержала, вмешалась:

— Хватит вам, Серафима Сергеевна. Идемте, ранбольной, провожу.

Акцент санитарки насторожил Борю Басаргина. «Немка, что ли? Еще фашисток тут не хватало...»

Вытянул ноющую, измученную операцией ногу, стал прилаживаться к костылям. «Почему она меня так — ранбольной?— продолжал он все более раздражаться.— Почему не просто раненый, а ранбольной? Потому что не осколком, не пулей, а бревном? Так, что ли? Ранбольной... Полежала бы придавленной в блиндаже, узнала бы, какой больной...»

Мрачный, расстроенный Боря Басаргин, пролив десять потов, доковылял до конца коридора, где была начсоставская палата. От столика у дверного простенка поднялась невысокая, ниже Бори, медсестра и радостно оплела шею сопровождавшей его санитарки.

— Юрате, здравствуй!

Боря стоял на одной ноге, длинные, не по росту костыли расшеперены. Полусогнутый, в распластавшемся халате, он походил сейчас на огромного паука.

Маленькая сестрица с мычанием ткнулась губами в щеку Юрате, поворотилась к Басаргину, спросила заинтересованно:

— К нам его?

— К вам. Там уже койки ставить нет места,— ответила Юрате.

Боря подумал о своей проводнице: «Литовка или полька, наверное, не стала бы сестра обнимать да облизывать немку».

— Ранбольной, проходи, вот твоя койка,— показала Машенька, куда пройти Боре. Это была вторая от дальней стены кровать.

Белобрысая видела его ногу, а эта — нет, а тоже ранбольным называет. Выходит, дело не в его позорной травме, похоже, всех тут так зовут. Подумал об этом Боря и совсем успокоился, стал разглядывать палату

Светлая, в три окна: одно узкое, сводчатое — напротив двери, два — слева. Эти выходили во двор, отгороженный высокой кирпичной оградой, и сейчас через них вливался нестерпимо яркий свет закатного солнца. Узкое окно смотрело в парк с гигантскими стареющими деревьями, обступившими круглую, из кирпича, башню водокачки.

В палате от стены до стены, как в казарме, изголовьями к окнам, стояли шесть кроватей. Подравненные к ним, образуя узкий проход, поместились еще четыре, а две, нарушая стандартный порядок, заняли место у глухой стены, изножьями друг к другу. Таким образом выгадано пространство для круглого обеденного стола и небольшого квадратного с лампой под абажуром — для дежурной палатной сестры. Тут же стоял неказистый стеклянный шкафчик, занавешенный изнутри выцветшей голубой тканью.

Значит, здесь будет загорать Боря Басаргин? Только вот — сколько загорать? Месяц? Два?.. Ужас!

— Что же ты стоишь?— сестрица уставила на Борю ласковые, притененные усталостью глаза.— Помочь тебе?

Боря спохватился, сказал «нет-нет» и, вдавливая под мышки костыльные перекладины, обмотанные для мягкости бинтом, переставил левую ногу. Согнутая в колене бревнообразная правая тянулась к полу, циркульно расставленные костыли не умещались в проходе. Бочком-бочком Боря миновал стол и две кровати, продвинулся было дальше, но зацепил костылем третью кровать. Лежавший на ней чертыхнулся:

— Потише ты, мешок с опилками.

— Извините,— пролепетал Боря, бросив взгляд на хмурое лицо офицера.

Правда, что в угол. Хуже наказания не придумаешь. Одни офицеры. Будешь тут белой вороной.

«Недотроги какие»,— почему-то обо всех подумал

Боря Басаргин. Он виноват, что ли, если костыли — как оглобли.

Шагнул дальше и снова громыхнул костылем, и снова по той же койке. Раненый аж зубами заскрипел, высвободил из-под одеяла руку.

— Дай-ка свой костыль, я тебя поперек спины приласкаю.

Машенька поспешила к Басаргину, подсунулась под его руку и довела до постели — предпоследней, у дальней стены. Потревоженному сказала примиряюще:

— Петр Ануфриевич, он же нечаянно.

Сосед Бори Басаргина неприязненно адресовался через кровати — через Борину и еще одну, на которой лежал лишь матрац, покрытый серым армейским одеялом:

— Майор, поперек-то спины тебя надо. Барышня кисейная.

Раздражительный Петр Ануфриевич оторвал от подушки голову, хотел властно прикрикнуть, но был слаб, выдавил придушенно:

— Младший лейтенант, как вы смеете...

— Эко что, смеете...— взъелся большеротый сосед Бори Басаргина.— Может, еще по стойке смирно перед тобой вытянуться?— Младший лейтенант откинул одеяло, обнажив свои гипсовые латы.

Усадив Борю на кровать, Машенька повернулась к младшему лейтенанту.

— Ну что вы, что вы,— забеспокоилась она, укутывая его загипсованные ноги.— Нельзя же так. Будто чужие, будто не поделили чего.

— Да уж не родственники...— проговорил младший лейтенант, вяло устраивая руки под голову. Подмигнул Боре дружелюбно:— Видал, уже и о звании моем справился. И здесь командовать хочет. Ты-то, парень, в каких чинах? Солдат? Не тушуйся. Нет тут ни солдат, ни офицеров, тут все одинаковые, у всех одно звание — увечные... У тебя что, нога! Осколком?

Боря поискал, куда положить костыли. Прислонил к стене рядом с тумбочкой, ответил:

— И не спрашивайте — срамота одна. В блиндаже, как куренка, заплотом.

— Мало ли чем нашего брата давит... Ампутировать будут?— напрямую поинтересовался сосед.

— Как ампутировать?— испугался Боря Басаргин.— Отрезать, что ли? Я не хочу, зачем...

— А мне будут. Обе отрежут... Эй, майор, как я потом перед тобой каблуками щелкать стану?

Боря завял, запомаргивал. Ища защиту, неправоту в словах соседа, уставился на Машеньку. Та успокоила:

— Не слушай ты их, так они. Никому резать не будут, лечить будут.

— Меня-то, сестрица, на хитрости не объедешь, что ждет, я и без цыганки знаю. Мясо-то в ленты изрезано, чертову гангрену выпускали. Черная пена вылазит, а гадюка гангрена не вылазит, выше ползет. Доберется до места, откуда ноги растут — и будь здоров, Василий Федорович, красавец мужчина тридцати лет от роду.— Младший лейтенант растянул свой губастый рот, лукаво, с намеком на известное, сказал в сторону Машеньки:— Тогда сестрице и помыть нечего будет.

Машенька вспыхнула, надулась. Большеротый Василий Федорович виновато протянул руку, пытаясь прикоснуться к Машеньке:

— Извини меня, сестрица, извини паршивца. Треплюсь вот.:. от настроения расчудесного...

Машенька промолчала, в знак примирения приложила руку ко лбу Василия Федоровича. Она давно познала магическую терапию прикосновения. В пламени ли голова или совсем холодна, бродят в ней дикие мысли или бездумье там полное — рука с исцелительной силой воздействует на человека, смягчает недуг, а сила эта всего-то от участливости, от сердечности, коими полна Машенька до краев.

В кровати завозился насупленный майор Петр Ануфриевич. Два дня назад у него из правого бедра извлекли осколок. Этот металлический обломок, похожий на морскую раковину средней величины, лежал теперь на тумбочке. Майор, свесив руку к полу, пытался нашарить под кроватью крайне ему необходимое. Машенька спросила:

— Петр Ануфриевич, вам утку?

Умерщвляя неловкость, майор буркнул:

— Да.

Машенька помогла Петру Ануфриевичу лечь на бок, сунула под одеяло керамическую посудину, внешне напоминающую чучело утки.

Боря Басаргин с ужасом подумал: «А если по-большому? Н-не-ет уж... На карачках, а доползу до сортира».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Четверо в начсоставской палате были из тех, что прибыли в Вильно вместе с госпиталем, и теперь со дня на день ждали врачебной комиссии. Избавившись от костылей, они маялись накопленным здоровьем, маета эта перебраживала и проникала в кровь молодой бодрящей отравой.

Перед ужином они исхитрялись улизнуть за ограду и в подвальчике, что неподалеку от храма Петра и Павла, где перезревшая кокетка пани Меля открыла торговлю огородной овощью, разживались угарной водицей тайного изготовления. Заткнутую кукурузной кочерыжкой бутылку приматывали бинтом к втянутому животу и беспрепятственно проносили ее во двор. Опоражнивали бутылку где-нибудь в гущине парка и приходили в палату смирно, мелко дыша и пряча грешный взгляд от палатной сестры.

Единились они на соседствующих кроватях у глухой стены, разговоры вели тихие, к тем, кто прикован к постели, относились оберегающе. Неуместно громкий смех или повышенный голос пресекались взыскательным баском старшего сержанта Петра Ивановича Мамонова.

Это их занятие — вечером, когда на окнах уже опущены маскировочные шторы, а днем сестрицы находили для них, набравших кое-какую силу, разную подсобную работу. Старший сержант Мамонов, младший лейтенант Якухин, лейтенанты Краснопеев и Россоха для войны пока не годились, но принести-отнести, поднять-положить, отмыть-отскрести было для них в самый раз. Потому и держали эту четверку, пока есть возможность, среди тяжело раненных, перемежая их питейно-едоцкие мероприятия более полезными. В особенности по линии начхоза Валиева.

В этот вечер Мамонов возвратился с прогулки возбужденным сверх всякой меры. Он не был пьян, хотя и попахивало, вернее, был пьян, но только не от зелья современной маркитантки Мели — Меланьи Вержбицкой. Он стиснул Машенькины плечи, потряс, прижал ее к себе и испугал празднично-ошалелым видом, предосудительным ароматом и увлажнившимися глазами.

— Машенька, ангел ты мой ненаглядный, дошли ведь, дошли...

— Успокойтесь, Петр Иванович,— с умоляющей опаской попросила Машенька и высвободилась из его объятий. Косясь на кровати, волнуясь за покой и тишину — за это бесценное и редкое состояние в палате, она потянула Мамонова к постели.— Ложитесь-ка, родненький. не дай бог нагрянет кто. Вот уж будет на-ам...

— Сестрица, миленькая!— перешел Мамонов на шепот.— Радость-то, радость!

— О чем вы, Петр Иванович?— стала успокаиваться Машенька, разобравшая, что пир выздоравливающих был самым что ни на есть скромным и для тревоги нет никаких оснований, что Мамонов взбудоражен чем-то другим.— Кто дошел, куда дошел?

— Машенька, ну как же...— Мамонов досадливо-ласково поморщился и сел на заправленную кровать.— Забыла, что ли? Иголки дошли по назначению.

Машенька озаренно распахнула глаза и ответно обняла сидящего и сравнявшегося теперь с нею в росте Мамонова.

— А я что говорила!

Глядя на Мамонова, Машенька улыбалась так чисто так счастливо, что у тридцатилетнего солдата вновь замокрели веки. Он осушил их рукавом, протянул письмо

— Вот, Маня пишет. В конверте довоенном, с маркой. Чтобы ко мне скорее пришло.

Машенька хотела было взять письмо, но засмущалась.

— Да что вы,— пошевелила перед собой тоненькими пальчиками.— Станете писать, привет передавайте, пожелайте здоровья хорошего...

Большеротый младший лейтенант с загипсованными ногами заинтересованно навострил уши. Оберегая клубок бинтов, под которым лечилась культя, свесил ноги на пол художник — Гончаров Владимир Петрович Потянулся было за костылями Боря Басаргин. Даже тот парень, которого привезли на специальной машине в сопровождении адъютанта чуть ли не самого командующего фронтом и которого фанаберистый усатик назвал начальником штаба,— даже тот попытался посмотреть туда, где разговаривали Петр Мамонов и Маша Кузина, где, радуясь за товарища, хмельно лучились остальные из четверки выздоравливающих Но для того, чтобы увидеть их с самой отдаленной, стоящей у входа кровати, надо было хоть чуточку приподняться, оторвать голову от подушки. Парень попытал

ся это сделать и не смог, застонал от боли. Машенька живо порхнула к новенькому, прищемленному болью.

— Как самочувствие, ранбольной?— нежно улыбнулась Машенька. Улыбнулась не заученной улыбкой сестрицы, а сердечком — чутким и беспокойным. Если ты не чурбак, если немцы не окончательно вышибли из тебя душу, то ты не сможешь не заметить этого, не ответить таким же сердечным движением.

В ответ на беспокойство Машеньки глаза Смыслова благодарно затеплились, на щеках проступили юношеские вмятинки.

— Что за м-митинг?— спросил он тихо и запинаясь.— Д-до Б-берлина д-дошли? Или еще одно п-покушение на Гитлера?— даже носом подергал в усмешке.

— Подарок дошел до деревни,— с такой же улыбкой пояснила Машенька, и раненый явственно ощутил на своем лице теплоту ее бархатистого взгляда.

Машенька смотрела на него и думала: какой чудак назвал этого парня начальником штаба? Разве начальники такими бывают? Да еще штаба! Да еще артиллерийского! Штаб для Машеньки — большая и таинственная военная организация, недоступная простому смертному, а начальник штаба — что-то такое, что, наверное, никак не меньше начсанфронта, которого приходилось несколько раз видеть. Так что этот, с перебитой ногой, никакой не принц, про принца Серафима загнула малость, а такой парень, что век ищи и не сыщешь. Сразу видно, что хороший и добрый, а добрые, по разумению Машеньки,— самые лучшие люди на свете.

В это время Мамонов, все еще радостно-одурелый, рассказывал — не для товарищей, с которыми почти два месяца отвалялся в госпитале в белорусском местечке и с которыми приехал сюда, в Вильно, и ждет теперь комиссии,— не для них, они давно и все в подробностях знают, рассказывал для палаты, на кроватях которой — он чуял — установилось внимание, рассказывал потому, что днями он покинет эту голостенную палату, распрощается с докторами, сестрицами, вернувшими его к жизни; уйдет, распрощается, но уйти и распрощаться просто так он не может, ему нужно рассказать вот этим, что обострили слух, которые еще долго будут лежать в кроватях, рассказать им о

докторах и сестрицах — пусть узнают о них не завтра, не послезавтра, а сейчас, сию минуту, если уж выпал случай на эту минуту.

Мамонов сидел на кровати, и его тихий басовитый голос добирался до всех уголков палаты.

— Через неделю, наверно, как мы приехали сюда, в Вильно, получил я от супруги письмо. Время как раз после перевязки было. Пока отмачивали, отдирали бинты да новые накладывали, ногу мою так завертело — мочи нет, будто ее по жилкам в бечевку скручивает... Тут почту раздавать стали, и мне письмецо досталось. Машенька, сестрица наша, светится, словно звездочка утренняя, радуется письму больше меня: вот, мол, прочитает сейчас Мамонов послание своей супруги и сразу выздоровеет. Конечно, письмо всегда радость, ничего не скажешь. Сообщала Маня, что детишки здоровы, сама тоже... Как не радоваться. Только рядом с радостью завсегда что-нибудь такое, что ни рядом, ни за версту не надо...

Мамонов не договорил, беспомощно махнул рукой.

В конце письма жена Мамонова сообщала о самом тяжком, что только может выпасть на женскую долю и в без того неладное время. Писала она не о хлебе, которого в обрез, не о работе без мужиков, не о другом о чем, о крыше, допустим,— все на осень откладывал Мамонов починку, да так и не починил — ушел на войну; эти беды она утаивала, сообщала, что, дескать, сыты, одеты, дров завезли, не нервируйся, бей Гитлера в хвост и в гриву. Не об этом кручина Марии Мамоновой. Сообщала в конце письма: «Одна иголка на всю деревню, и та несколько раз точена».

Посчитала Мария Мамонова: когда снаряды да пули кругом, иголка — сущая пустяковина, не уколет мужика, не загонит его в тягучую тоску. Думала бы иначе — в жизнь бы не написала, а раз посчитала, что пустяк, не мужниного ума дело,— написала.

Мамонов смахнул накатившуюся слезу:

— Одна иголка на тридцать дворов. Разве можно в домашности без иголки! Да еще с ребятишками. Одежду перешить, залатать... Проволочка остренькая... До войны за одно «спасибо» купить можно было...

Мамонов лежал тогда на кровати разбито, лицом вниз, в полном расстройстве давил зубы на зубы. Машенька приметила его нехорошее настроение, за-

беспокоилась: подумала, что Мамонова рана все еще крутит. Попоила водичкой, лоб потрогала — нет, не горячий. Растроганный этим вниманием, Мамонов неожиданно для себя протянул Машеньке письмо. Моloденькая, совсем девчушка, а душевного ума на семерых хватит. Может, найдет какое утешное словечко

Машенька прочитала, радостно встрепенулась. Ранбольной Мамонов, говорит, мы вашу кручинушку враз развеем. Радуется, что человека может порадовать Вы, говорит, полежите, а я — мигом, только до Мингали Валиевича сбегаю.

Вернулась такой, что будто счастливее ее нет человека на свете. Объясняет:

— Тут у немцев швейная мастерская была, мы с Мингали Валиевичем кое-какие трофеи утаили.

Сжимает в руке что-то, хитренько щурится, говорит Мамонову:

— Отгадайте загадку: «Маленька, синенька, всему свету миленька».

Дойдя в рассказе до этого места, Мамонов повеселел, заново пережил благодарное чувство к Машеньке.

— Не знаю, как всему свету, подумал я тогда, но жене моей иголка будет так миленька, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Подает Машенька пакетик, а в нем иголок этих... Поперли из меня слезы — на вожжах не удержишь... Стал думать, как переслать подарок домой,— духом пал. Вот они, махонькие, синенькие, а дальше что? В письме, что ли? Письма-то, где надо, вскрывают, читают, вычеркивают, что не положено. А иголки разве положено? Нет, конечно, враз вычеркнут, не улежат в письме иголки. Машенька выслушала меня, нахмурилась. Говорит мне строго: «Что вы, ранбольной, разве в цензуре нелюди сидят? Пишите письмо, я документ приложу, никто наши иголки не тронет». Написала документ, я вам скажу, всем документам документ: «Товарищи из цензуры, сделайте, чтобы драгоценный подарок дошел до семьи отважного воина Мамонова, пролившего кровь в бою с немецко-фашистскими захватчиками». И подписалась: «Медсестра Маша». Козонком указательного пальца Мамонов убрал слезу из глазницы, растроганно потряс письмом:— Вот оно, важное сообщение от Мани! Все равно как Совинформбюро. До одной иголки в целости н

сохранности. Спрашивает моя милая женушка, можно ли бабам, у коих детишки, по иголке отдать? Как не можно! Сегодня же напишу, чтобы в каждую избу по иголке.

Внимательно слушавшему лейтенанту Гончарову рассказ Мамонова навеял что-то, и он, покачивая укороченной рукой, улыбаясь Мамонову, шутливо продекламировал: «Есть женщины в русских селеньях...»

Мамонов слушал и думал: «Чего лейтенант ухмыляется? Все тут как о Мане моей, в стихах этих»— и старался запомнить стихи: «...в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет...» Хорошо бы потом их в письме написать, сам-то так задушевно и складно ввек не скажешь.

Тут вошла в палату Юрате, за ненадобностью в операционной работавшая теперь подсобницей на кухне. Она поздоровалась, нерешительно приблизилась к Гончарову, с которым познакомилась недавно, сделала робкий книксен. Гончаров растроганно и ласково улыбнулся, взял ее руку и приложился губами. Боря Басаргин презрительно фыркнул и утратил часть уважения к Владимиру Петровичу. Тоже мне... Ладно, эта белобрысая — литовка, при буржуях научилась, а лейтенант-то что? Ну и кино...

Юрате повернулась к кроватям выздоравливающих, произнесла заранее приготовленную фразу:

— Товарищи ранбольные, за ужином пожалуйте

Мамонов быстро поднялся, но младший лейтенант Якухин удержал его:

— Сиди, переваривай радость. С Краснопеевым сходим, а то у него от безделья скоро кожа на ряшке лопнет.

Краснопеев рассмеялся. Было все наоборот: щеки, как спелая репка,— у Якухина, а у него, Краснопеева,— как у турнепса прошлогоднего урожая. Чему тут лопаться!

Поплелся за ним и было задремавший Россоха — четвертый кандидат на выписку. Поплелся, потому что знал — ужин придется нести еще на две соседние палаты.

Не на всех кроватях прислушивались к рассказу старшего сержанта Мамонова. Сосед Смыслова лежал безучастно, с закрытыми глазами Кровать для его роста была только-только. О былом атлетизме и

кипящей силе тела можно лишь догадываться. Усохший до костей, с курчаво отрастающими, как после тифа, и густо поседевшими волосами, он все же не выглядел старше своих лет. Выглядел на свои двадцать два. Ну, кто-то, не присмотревшись, может, и набавит годков пять, но не больше.

В тяжкой огражденности от всего — это заметил Смыслов — он был и вчера. Был угнетенно-недвижным и позавчера, когда Смыслова не было здесь, и он не мог этого видеть. Глухим и немым казался и третьего дня. Другие видели, другие обращали внимание на его отчужденность — и в том полевом госпитале, куда сразу доставили, и в этом; видели и находили тому вроде бы единственно верное объяснение — тяжелый.

Да, тяжелый. Тяжелее некуда. В легких — пуля, раздробившая ребро и приостановленная этим ребром, перебита рука, покалечены ноги... По ногам будто специально ударили прицельной и долгой очередью, словно метили срезать ноги горячим свинцом.

Пуля в легких — это еще ладно, пулю вынули. Влили несколько доз чужой крови, разрезали грудную клетку, разыскали пулю — и вот она, защемленная пинцетом, роняя на простыню капли человеческой плоти, с бряком падает в эмалированный таз. Вынули пулю. Не вызывают у врачей особого беспокойства рука и ребро. Кто-то был с ним рядом, присмотрел, не дал развиться сепсису. Заживут, срастутся, соединятся в целое молодые кости. Ноги вот, ноги...

Состояние врачей — и ведущего хирурга Ильичева, и самого Козырева, и других специалистов — то и дело переходило от надежды к отчаянию, от отчаяния — к надежде. Удаляли омертвевшие ткани, вводили противогангренную сыворотку, водворяли на место костные осколки, делали переливание крови, дренажи, истратили на промывку гнилостных ран все запасы посеребренной воды... Теперь главная опасность, кажется, позади. Тревога поутихла. Они сделали все, что могли, даже больше, чем могли, и сверх этого «больше» сделать еще что-то они не в состоянии. А еще что-то — это надо бы парню душу залатать. Только тут сыворотка, посеребренная вода, пластыри и бинты — пустое дело. Где-то там, на болоте, остался кусок изорванной души. Никто не приметил этот кусок, не поднял, не принес вместе с изуродованным телом, которое оживляют сейчас и ко-

торое не нужно ему без того оторванного, навек утраченного куска.

За время, как нашли его, как несли и везли сюда, он не произнес ни слова, хотя и мог произнести. Во всяком случае, сейчас мог, в этом госпитале, но он молчал. Молчал для всех, говорил только для себя. Слова теснились в нем, бродили в его уставшем, обессиленном мозгу, тыкались в тупики и терзали жестоким напряжением, которому не было выхода.

Измученный операциями, углубленный в свои гнетущие мысли, словно вытащенный из могилы и спасенный, без времени поседевший парень — разведчик Иван Малыгин не мог слышать Петра Ивановича Мамонова.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Олег Павлович Козырев строго выговаривал что-то начальнику аптеки. Увидев своего начхоза Мингали Валиевича, он дал знак подойти, а маленькому, сухонькому фармацевту с тоскующими непроспатыми глазами напоследок требовательно сказал:

— Отчет о расходе ректификата представить к вечеру. Вы поняли меня, Иосиф Лазаревич? За недоданное по рецептам взыщу со всей строгостью.

Иосиф Лазаревич понимал. Что тут не понимать. Отчет он представит правдивый до грамма. Только вот под каким соусом подать в документе нехватку? Написать, что споил червячку, который давно и болезненно точит его? Майору Козыреву выложит как на духу Да и знает майор Козырев, куда исчезает спирт, но в отчете... У Иосифа Лазаревича потянуло внутри, так потянуло — ну прямо беги и снова наполняй мензурку до верхнего деления.

Иосиф Лазаревич потеребил складки халата, томительно вздохнул и направился вниз по лестнице, в свое пропахшее медикаментами заведение — наполнять Теперь все едино. Олег Павлович с мрачной жалостью поморщился вслед и спросил Валиева:

— Что с ним делать?— Увидел идущих по коридору женщин, кивнул в их сторону:— У сестер горе не меньше.

Валиев удивленно уставил взгляд на Козырева.

— Еще не хватало, чтобы женщины...

— Что из того? Из тех же ворот, что и весь народ Живые люди.— Олег Павлович поморщился от своей корявой нелогичности, задал другой вопрос:— Закончил с трофейным барахлом? Помещение освобождать надо, Мингали Валиевич.

— Полуподвал же,— без всякой надежды возразил Валиев.

— Ничего, для игровой комнаты сойдет. Ходячие реже к пани Меле шастать будут... Ко мне когда зайдешь?

— С операциями когда управишься?— в свою очередь спросил Валиев.

— Попробуй определи загодя.

— Ладно, когда освободишься — сам узнаю. Зайду

Подошел ведущий хирург госпиталя — длинный и сутулый подполковник медицинской службы Ильичев и две похожие женщины: крупная, ширококостая терапевт Свиридова и ее уменьшенная копия — хирург Чугунова Родные сестры, овдовевшие в одну и ту же ночь — во время бомбежки санитарного поезда.

Немного погодя в коридор, где скучились врачи, вышел из ординаторской замполит Пестов. После приступов язвы он выглядел совсем никудышно.

— С нами?— закругляя разговор, спросил Валиева Олег Павлович, предоставляя ему этим вопросом право присоединиться к начинающей обход свите или раскланяться.

Вместо Валиева ответил майор Пестов:

— С Мингали Валиевичем мы свой обход сделаем Начальника столовой прихватим, поваров.

Олег Павлович вопросительно вскинул брови:

— Что, жалобы на пищу?

— Жалобы не жалобы, а претензии есть,— ответил Пестов.

— Ну-ну,— произнес Козырев и, увлекая за собой врачебный синклит, направился к дальней палате.

Мингали Валиевич несогласно помотал головой. При чем здесь повара? Палатная сестрица без глаз, что ли? Могла предусмотреть. А-а, разве все предусмотришь! Подали на второе отварное мясо, а тому, из восьмой палаты, вид этого мяса... В такой переделке мужик побывал, такие исшматованные тела видел... И на свою оторванную ногу насмотрелся до обмороков. Ассоциировалось, ударило по психике. Миску швырнул на пол, сестру

обматерил, истерику закатил. Вид отварной говядины не для глаз вот таких впечатлительных. Лучше поджарить или котлету слепить... Сводить надо поваров в палаты, пусть послушают тех, кого кормят.

В угловой палате медсестра Маша Кузина прежде всего указала врачам на кровати, отделенные от входа круглым обеденным столом и пустовавшие последнее время. Сейчас одну занимал весь в бинтах капитан, другую — старший лентенант, привезенный утром из армейского госпиталя.

У старшего лейтенанта — фамилия его Середин — черепное ранение оказалось не черепным ранением, а пустяковой ссадиной над макушечной костью, а вот рука, забинтованная выше кисти, требует досмотра специалистов, и потому его переадресовали в козыревский госпиталь, профиль которого — конечности.

Середин встретил обход приветливой улыбкой, попросил врачей не волноваться за него, обещал быстро поправиться, перестать своим цветущим видом мозолить глаза занятым людям.

Вид у него, надо сказать, был не очень цветущий, даже напротив — блеклый был у него вид, и подполковник Ильичев, узнав о характере ранения, распорядился было направить его сразу после обхода в перевязочную, чтобы самому посмотреть, что и как. Но Середин растерянно, будто ища покровительства, глянул на Олега Павловича, и тот, поняв его, сказал Ильичеву:

— Утром я его сам принимал. Все в норме.

Возле капитана задержались. Козырев посмотрел температурный лист, повернулся к Ильичеву, который оперировал капитана этой ночью. Тот пояснил, что из груди раненого извлечены две автоматные пули, ранение в шею — сквозное. Тоже автоматное. Козырев перевел взгляд на Машеньку.

— Как дела, донор?

Машенька смутилась. Успел узнать откуда-то, что кровь для капитана взяли у нее и еще двух медсестер. Машенька ответила не о себе — о капитане:

— Поел немного, чаю попил.

Попал сюда капитан не по профилю. Но о каком профиле можно говорить, если человек истекал кровью, а ближайшая дверь, за которой спасение,— вот этот госпиталь. У большерослого, молчаливого лейтенанта Малыгина, что лежит в соседнем ряду и которого выслушивает

терапевт Свиридова, тоже не одни конечности повреждены, но не расчленишь же его по профилям: туловище к полостникам, руки-ноги — к конечникам.

Едва живого капитана без оружия и документов подобрали ночью на тротуаре местные жители. Черт его понес на улицу в такое время! Бессонница, что ли? Или командированный? Зачем же шляться одному ночью!

Замполит Пестов склонился над капитаном, стараясь уловить его взгляд, спросил:

— Куда сообщить о вас? Назовите полевую почту хотя бы.

Лысеющий, почтенной внешности капитан смотрел на него пустыми глазами и молчал.

— Не можете говорить? А писать? Два-три слова о себе?

Капитан переводил бессмысленный взор с одного врача на другого и по-прежнему молчал.

Олег Павлович притронулся к плечу Пестова, дескать, всему свое время.

Сидя на кровати, заискивающе поглядывал на врачей сорокалетний младший лейтенант из пехоты Якухин. Улучив момент, коротконогий, упитанный, он кошачьей походкой приблизился к врачу Чугуновой, тихо спросил о комиссии. Та кивнула на подполковника Ильичева — от него, мол, зависит. Якухин сник. Поди-ка сунься к этому острозыкому, вечно занятому. Хотел вернуться к своей койке, но понадобилось помочь переложить на каталку полуживого, ушедшего в себя парня по фамилии Малыгин. Якухин подсобил и вызвался отвезти Малыгина, надеясь там, в операционной, вызнать кое-что ему нужное.

Врачи закончили разговор между собой, остановились возле кровати младшего лейтенанта Курочки, соседа Бори Басаргина. Младший лейтенант, обращаясь к Ивану Сергеевичу Пестову, показал рукой на край своей постели.

— Товарищ майор, извините. Задержитесь на пару минут.

Пестов садиться не стал, только склонился над раненым.

— Слушаю вас.

Курочка с фальшивой бодростью сказал:

— Исповедаться надо бы. Вы теперь, я слышал, в замполитах ходите, а я скоро год как в партии. Если захотелось в жилетку поплакаться, то самое подходящее — вам.

— Тогда пары минут не хватит,— сдержанно улыбнулся Иван Сергеевич, присматриваясь к человеку с больным и тревожным взглядом. Жестоко обошлась с ним война, похоже, не первый раз на госпитальной койке и, не исключено, если говорит «теперь вы в замполитах», побывал и в его, Пестова, руках. Но внешность раненого ничего не напоминала Ивану Сергеевичу. Хирурги редко вглядываются в лица своих пациентов, еще реже запоминают. Если действительно оперировал, то шов бы посмотреть, по шву вспомнил бы, где и когда. А вот кого оперировал — все равно бы не вспомнил.

— Хватит и двух минут, Иван Сергеевич,— уверенно заявил Курочка, подчеркивая настойчивым тоном, что разговор не будет праздным.

— Приду после обхода. Или очень неотложно?

— Да не так чтобы караул кричать, но все же боюсь тянуть дальше,— ответил Курочка и покосился на нездоровую руку Пестова.

— Договорились.— Иван Сергеевич повернулся к майору, который когда-то грозился огреть костылем Борю Басаргина, спросил:— Как ваши дела, Петр Ануфриевич?

— Спасибо. Нормально.

— Полковник Полудов о вас справлялся. Поклон шлет.

— Не хочу слышать об этой суке,— гневно сверкнул глазами майор и хотел добавить еще кое-что, но сдержался.

Что-то знал замполит Пестов об этих двоих — майоре Петре Ануфриевиче и каком-то полковнике Полудове. Расстроенно покачал головой и ничего не ответил майору. Шагнул в проход, подтвердил свое обещание младшему лейтенанту Курочке:

— Вернусь скоро.

В коридоре за дверями Ивана Сергеевича ждал Гончаров, успевший выйти сюда вслед за врачами. Усмотрев на его лице нерешительность, Пестов остановился.

— Прошу прощения, Иван Сергеевич. Потянуло вот, вопреки мировым и личным катаклизмам. На складе или еще где, не знаю,— баульчик мой, а там папка с ватманом...

Иван Сергеевич бросил недоверчивый взгляд на подвешенную в перевязи руку Гончарова.

— Распоряжусь, принесут.— Вспомнив о своем, извинительно добавил:— Просьба к вам будет.

— Если смогу... Всегда рад.

— Сможете,— обретая уверенность, ответил Пестов и поспешил вдогон свите Козырева.

Иван Сергеевич, разговаривая с Гончаровым, посмотрел на его увечье и подумал: сможет ли быть полезным госпиталю однорукий художник? Младший лейтенант Курочка, посмотрев на его, Пестова, увечье и пожелав исповедаться, тоже имел на уме что-то о пользе для себя. Сейчас, увидев Пестова возле своей кровати, не торопился, выжидал, когда разговорится Иван Сергеевич. А тот не спешил приступать к главному, понимал, что призванный для разговора, он не минует этого главного, что младший лейтенант сам выложит то, что его заботит. Пока расспрашивал о том о сем, а Василий балагурил:

— Фамилия-то? Мою фамилию, товарищ майор, писателю Чехову в какое-нибудь произведение. Курочка моя фамилия. Не Курочкин, не Курицин, а Курочка. Курочка Василий Федорович, гражданин одна тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения. Арине, когда за меня выходила, ничего, нравилась даже моя фамилия, нравилось называть себя: Арина Курочка. На втором году супружества разонравилась почему-то. Говорит: «Раз я жена Курочки, то должна быть не Курочка, а Курочкина». Даже в милицию ходила, чтобы в паспорте переделать. Курочкина так Курочкина, думаю, иди переделывай. Все равно моя, раз Курочкина, не черта рогатого. Только года через три опять вздумала менять фамилию. Не Курочка я, говорит, и не Курочкина, а Петухова. И ревет: «Васька, какой ты Курочка, петух ты самый породистый». Вредный, колючий язык у Арины, но пустого не молола. Правду говорила: грешил помаленьку. Детишек уже двое было, а я... Душа у меня — всех бы любил. Эвон сколько пригожих да желанных... Хоть в мусульмане записывайся, чтобы жен побольше...

Через койку от Бори Басаргина хохотнул художник Гончаров:

— И у них, Василий, больше четырех не полагается.

— Четыре — тоже неплохо,— посмеиваясь, тянул приступить к основному младший лейтенант Курочка.

К сказанному Гончаровым Иван Сергеевич добавил:

— И то при условии, что муж создаст женам безбедную, обеспеченную жизнь.

Василий Курочка лукаво покосился на него н порадовался, что разговор налаживается. Вон, даже занудистый майор голову приподнял, на подушку облокотился Василий Федорович подыграл Пестову:

— Д-да, на шоферскую зарплату кормить-одевать четверых... Нет, товарищ майор, правду Арина говорила — не был я курочкой, курочкой я теперь стану. Жена восемь лет окорочивала и не смогла, здесь враз окоротят... на обе ноги. В самый раз для куриной должности — цыплят высиживать.

Иван Сергеевич осудительно покачал головой:

— Вот вы к чему... Длинная присказка, Василий Федорович.

— Чем плохо?— пощурился на Пестова Курочка.— Расскажите и вы о себе. Начните с того, как вас ранило. Не забыли, поди, бомбежку под Лопанью?

— Вы... Откуда вы-то знаете об этом?

— Как не знать. Я ведь из сто пятьдесят второй.

— Из нашей дивизии?— подал удивленный голос майор, которого все называли Петром Ануфриевичем.— Надо же... Однополчанин, можно сказать, а чуть не перелаялись тут. Из какого полка-то, младший лейтенант?

— Из сорок седьмого,— ответил Курочка.

— Совсем поразительно,— потеплел голос Петра Ануфриевича еще больше.— И я из сорок седьмого, третьнм батальоном командую. Может, встречались?

— Едва лн. У меня принцип: подальше от начальства — крепче нервы. Я ведь ванька-взводный. Да и звездочку только месяц назад приляпали, до того пулеметным расчетом командовал.

Петр Ануфриевич скосил глаза на Пестова, вспоминая свое, произнес:

— Лопани я не застал. В сто пятьдесят вторую после Харькова пришел... Вон вы откуда полковника Полудова знаете!

— Оттуда, Петр Ануфриевич,— отозвался Пестов.— Медпунктом у него ведал.

Младший лейтенант Курочка, недовольный, что майор, с которым поцапался нз-за Бори Басаргина, встрял в разговор, не дал больше ему вставить и слова.

— Тогда, под Лопанью, Иван Сергеевич, я возле операционной палаткн сидел, дожидался, когда позовут на перевязку. Помните «мессеры»? Вы в тот момент связнстку оперировали.

Разве забудешь такое! Потом в «дивизионке» писали, что доктор Пестов совершил героический поступок, девушку-бойца от смерти своим телом прикрыл, на себя осколки принял. Какой там к дьяволу героический поступок! От той адовой бомбежки душа обмирала. Но не сиганешь же в ровик, не бросишь на столе обнаженную, бездвижную от наркоза девочку, не оставишь ее на растерзание «мессерам»!

В общем-то верно, прикрыл. Сознательно прикрыл, отдавал себе отчет, что делает. Будь на операционном столе мужик, солдат-окопник, не исключено, что Пестов присел бы от того взрыва, развалившего грохотом все пространство, прянул бы куда в ужасе, но на столе лежала девчонка. Осколок, угодивший в Пестова, мог и в нее попасть, а тамбовской Афродите с избытком и того омерзительно зазубренного, который он извлек из раны под маленькой упругой грудкой.

Сволочным оказался стальной обломок, прорвавший брезент палатки и угодивший в Ивана Сергеевича. Рука осталась держаться бог знает на чем, и коллеги сразу же хотели отсечь ее напрочь. Иван Сергеевич воспротивился, вручил свою судьбу хирургу эвакогоспиталя Олегу Павловичу Козыреву, начинавшему свою врачебную практику под руководством Николая Ниловича Бурденко и прослывшего одним из лучших его учеников. Все «за» и «против» взвесили тогда два хирурга: тот, которого оперировать, и тот, который будет оперировать. И решились.

Какую бучу поднял начальник госпиталя Прозоров! Шарлатанство! Рука держится на ремешке мышц! Перебит лучевой нерв! Угрожает газовая инфекция, сепсис! Я не допущу бессмысленной операции во вверенном мне медицинском учреждении!

Не угрожали Ивану Сергеевичу ни гангрена, ни заражение крови. Во всяком случае, признаков пока не было И крови он потерял не так много. Ко всему прочему уцелела плечевая артерия, кровообращение не прекращалось через главный пучок. Неужели не понимал этого начальник СЭГ, недавнее светило известной московской клиники? Лучевой нерв — да, перебит, но это не самое страшное..

Все понимал или потом понял Прозоров. Поворчал, поворчал и перестал противиться. Больше того, сам взялся ассистировать Олегу Павловичу Козыреву

Рискованную операцию сделали. С давящим беспокойством ждали исхода. Спасли руку! Правда, висит теперь плетью вдоль тела, но Олег Павлович и Пестов, ставший его замполитом после сформирования нового эвакогоспиталя, по-прежнему не теряют надежды: нерв постепенно восстанавливается и должен срастись!

Вот, значит, почему младший лейтенант Курочка заговорил о своих ногах и его, Ивана Сергеевича, ранении! Прознал где-то про ту отчаянную операцию Олега Павловича и теперь, оказавшись в его владениях, приголубил надежду любым способом добиться для себя такой же смелой операции, искал поддержки у Пестова. Можно понять Василия Курочку, не осудишь его за такое желание. Только неприятно подумалось: к чему он о партийности? Напрямую спросил об этом.

— Не надо за дурака меня, товарищ майор,— обиделся Курочка, на лице даже брезгливое проступило.— Привилегий — или как там еще сказать?— я не ищу. Привилегия наша — жить и умереть не размазней. Когда вступал в партию, думал об этом... О другом я хочу сказать, Иван Сергеевич, как коммунист коммунисту. Понимаю: риск и все такое... Это я на себя беру, письменное заявление оставлю. Иван Сергеевич,— проскользнули умоляющие нотки,— прежде чем ноги мои... лишить меня ног, пусть майор медслужбы еще разок, как с вами, попробует. Не получится — ну и ладно, так и так ампутировать... А, Иван Сергеевич? Вдруг да получится? А?

Пестов погладил здоровой рукой занывшую малопригодную руку и ответил:

— Видите ли, Василий Федорович, операция операции рознь. Меня на стол положили вскоре после бомбежки, вас с поля боя вынесли на вторые сутки. Мне кровотечение остановили без промедления, вам, спасая, вливали донорскую кровь. Газовая гангрена — это омертвение тканей, их полная нежизнеспособность, ее процесс на вашей правой ноге необратим. Сейчас наблюдают, надеясь на новый препарат, но шанс мизерный. Завтра-послезавтра пойдете под наркоз.

Василий Курочка потускнел, ужал губы, приостановил дыхание.

— Под-нар-коз...— выдохнул сильно, даже колыхнулись на окне маскировочные занавески.— Чего уж там — под наркоз, под нож, так-то точнее,— повел глазами направо.— Как же вон тот, на второй койке, седой кото-

рый? Ведь совсем умирал, подняли,— никак не мог смириться со своей участью Иван Курочка.

— С Малыгиным случай особый, Василий Федорович. Отец с матерью, вероятно, на двоих рассчитывали, а получился один — вот такой русский Иван, богатырь Малыгин. Сердце у него бычье, и помощь на первых порах кое-какая была. Малыгина можно поднять. Если со стороны ничто не вмешается, еще воевать будет.

— А мне — каюк? В наседки?

— Зачем так... Прямого разговора захотели вы, а раз так — наберитесь мужества знать всю правду до конца. А она, к вашему счастью, не такая уж горькая. Левую ногу вам сохранят. Я видел ее, видел рентгенограмму. За левую ногу нет опасений, позади остались. Ильичев, наш ведущий хирург, убежден в благополучном исходе. Если Олег Павлович для вас большой авторитет... Убежденность Ильичева он разделяет.

Василий Курочка недоверчиво притих, но в глазах затеплились искорки радости. Приподнялся над подушкой.

— Я думал — обе лапы под самую сидячку... вот спасибо-то! Ваше бы слово, Иван Сергеевич, да жене в ухо.— Он протянул руку для пожатия и, сдерживая накатившую на глаза слабость, перешел на прежний грубовато-шутливый тон:— Слава богу, теперь в доме мир и покой будет — реже спотыкаться стану. С одной ногой жить еще можно... А, Иван Сергеевич? Нехорошо только все время вставать на левую — характер подурнеть может...

— Не будем вешать носа, Василий Федорович, поживем еще, детей поднимем, а там, глядишь, и внучат дождемся.

Василий Курочка был растроган, но не вытерпел все же, спросил Пестова, когда он уходил:

— Иван Сергеевич, может, тот мизерный шанс все же выпадет мне?

Иван Сергеевич ничего не ответил, закрыл за собой дверь. А что ответишь? Начинать разговор заново?

Младший лейтенант понял это. Закинул руки за голову, осчастливленный, пропел озорно и бессмысленно: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла...» Закончил неуместную вроде бы песенку тоскливым, затухающим голосом «Срубил он нашу елочку под самый корешок...»

Не шибко, видно, осчастливлен, и горечи — хоть отбавляй

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Мингали Валиевич постучал в дверь ординаторской, не дожидаясь ответа, вошел. Олег Павлович сидел на низком диване, согнувшись и опустошенно свесив руки к полу. Серафима, ассистировавшая при операциях, развязывала на его спине тесемки халата. Не менее уморившаяся, она с теплой жалостью смотрела на худую пробритую шею Козырева и едва сдерживалась, чтобы не сказать вслух того, что расплывчатой болью теснилось в душе. Оборвет ведь, не любит сочувствий и жалости. Грубого слова не скажет, но и взгляда будет достаточно, чтобы все нутро ожгло досадливым смущением.

Серафима стянула с Олега Павловича халат наизнанку, вывернула его, подала висевший на спинке стула китель. Козырев моргнул благодарно и показал жестом, что надевать не будет. Откинувшись на спинку дивана, отрешенно уставился на Валиева.

Мингали Валиевич готов был уйти: похоже, пришел не вовремя.

— Давай в другой раз, Олег Павлович,— сказал Валиев и направился к двери.

— Присядь, я сейчас,— не меняя позы, остановил его Козырев.— Две минуты. Через две минуты я очухаюсь.

Мингали Валиевич пристроился сбоку письменного стола. Отодвинув лежащие тут газеты, стал выбирать из полевой сумки нужные бумаги. Козыреву хотелось поблаженствовать в покое, но, не ощущая этого покоя из-за того, что уже было здесь сказано Серафимой, он продолжил начатый до прихода Валиева разговор с нею:

— Что же она пишет?

Серафима повспоминала содержание письма, подумала, что можно сказать, а что нельзя.

— Спрашивает, как поживает,— заглянула в письмо, выделенно прочитала незнакомое слово:— Как поживает кюз-ну-рым... как его здоровье...

Козырев приоткрыл один глаз чуть больше, остро прицелился им в Серафиму.

— Думаете — соврала? — поежилась Серафима под этим взглядом.— Могу показать, прочитайте.

Козырев сел прямо, не убирая прежнего взгляда и не скрывая вопроса от Мингали Валиевича, спросил:

— Кто? Сын, дочь?

— Для нее — сын,— ответила Серафима и, сердясь на свое невольное сострадание к обидчику подруги, добавила с вызовом:— Для нее — сын, а для кого-то — никто.

— Не вам об этом знать, Серафима Сергеевна,— укорил Олег Павлович, и пружины под ним сердито заскрипели.

— Да вот знаю... Еще и Олежкой назвала. Эх, Руфинушка... Не в вашу ли честь?

Олег Павлович резко поднялся, взволнованно прошел к окну и задумчиво замер. Не оборачиваясь, каким-то ободранным голосом произнес:

— Оставьте адрес.

— Нет адреса. В дороге родила, в Чебоксарах... Я не нужна вам больше?

— Спасибо, Серафима Сергеевна, можете идти.

В дверях Серафима оглянулась. Козырев, опершись о подоконник, смотрел в темноту парка и думал о своем. Даже не видя его лица, любой скажет: чертовски хорош майор медслужбы Козырев! Не показной аристократизм, не нарочитое пижонство и щегольство в нем (какое щегольство в нижней-то рубашке!). Собран, неустанен. Родился таким. Другого десять часов за операционным столом вымотали бы, выжали, а он — гляди-ко! Какая удержится, если поманит? Прижмет ушки, как заяц, и... В-во удав, чисто удав...

Стирая стыдные перед подругой мысли, Серафима, сердясь на себя за эти мысли, резко спросила:

— Когда пришлет письмо с адресом, известить?

Резкость в голосе Серафимы заставила обернуться Козырева. В прищуре глаз медсестры, верного своего помощника, уловил злой огонек и стал закипать. Чего суется! Чего лезет! Вон и Мингали Валиевич, черт лысый, ледяной коркой покрылся. Что они знают? За что осуждают? За что? Долбануть вот кулаком по оконной раме: «Не мой, не мой это ребенок! Из санбата привезла!» Да разве долбанешь, разве скажешь такое, если сам в то не веришь. Ну, был у нее кто-то, был! И не кто-то, а капитан Прибылов, командир медсанбата. Так что, у тебя не было? Ведь любишь, потому и терзаешься, сердцем болеешь, мозги черт-те чем нафаршировал... О чем думал? Очередной мимолетный роман? «Простите нас, но мы имели право...» Несомненно, как же!

Да нет же, нет, Олег Павлович, майор медслужбы Козырев, все сложнее и гораздо серьезнее. Все приключавшееся до этого — пустое и недостойное. Что должно прийти — пришло, а коли пришло — радуйся, пылай, гори до золы!

Нарастающее в душе раздражение — на Серафиму, на Валиева, на себя, что дал волю этому раздражению,— не держалось, перло наружу. У кого-то оно и выперло бы, только не у Олега Павловича. Сказал Серафиме сдержанно:

— Буду благодарен за адрес.

Серафима не вышла и на этот раз. Строптиво вздернув голову, она подошла к Валиеву, ткнула пальцем в письмо:

— Как по-русски это ругательство?

Мингали Валиевич прочитал вслух: «Кюз-ну-рым»— и улыбнулся Серафиме:

— Так ругают у нас самого близкого и дорогого человека. Свет очей моих, если по-русски.

Серафима смущенно хмыкнула, покосилась на Козырева и только тогда направилась к дверям.

Нет, неймется-таки окаянной девке, снова остановилась, кивнула на газеты, лежащие с краю стола:

— Читали «В Совнаркоме СССР»? Прочитайте. Одиноким матерям, которые родили после восьмого июля, будут платить государственные пособия. Руфа родила семнадцатого. Так что, свет очей моих, она без вас проживет.

Сказала это Серафима — и вон за порог.

У Олега Павловича все клокотало внутри. Глядя на дверь, помотал тяжело разболевшейся головой. Подставил стул ближе к Валиеву и, помедлив немного, сказал:

— Давай за дело, Мингали Валиевич.

Отстраняясь от всего услышанного, Валиев подал извлеченные из полевой сумки бумажки, стал перечислять предметы, оставшиеся в немецкой швейной мастерской:

— Швейные машины, шинельное сукно, саржа... Это нам ни к чему, сдадим в интендантство, а вот белую миткалевую ткань надо бы прижать. Простыни, задергушки на окна, салфетки всякие во врачебных кабинетах...

— Говоришь, задергушки-простыни? — Вопрос был ради паузы, но он тут же натолкнул Козырева на то, что давно заботило.— Тысяча метров? Это хорошо... Не надо

приходовать, не иадо сдавать в интендаитство. И саржу придержи.

— А ее-то иа кой леший?

Идея у Козырева уже приобретала отчетливые формы. Ответил:

— Для кого-то подкладка, а кому-то иа рубашку, на сарафан сгодится.

— Не пойму что-то,— сказал Валиев, хотя смысл услышаниого стал доходить до иего.

— Жаль. Надо бы раньше поиять. Самому. Ты вот о занавесках... Скажи, медсестра Кузина у тебя для какой цели просила иголки? Зиаешь? Вот то-то... А у иее в деревне не лучше, поди, чем у того сержаита, для которого просила. И у других девчоиок. Они, как мы, аттестатов не высылают, не из чего. Да и чего там купишь!

— А если... Ведь шкуру спустят и в личное дело подошьют,— поосторожничал Валиев.

— Пугаиая ворона куста боится?— ие обижая, покосился на него Олег Павлович.

Валиев усмехнулся, сказал:

— Кураккан урдэк куте белэн кульгэ чума.

— Ты уж давай, чтобы я понял твою чуму. Руфииа тоже, бывало... Ляпиет что-иибудь — сиди и ломай голову.

— Пугаиая утка в озеро гузкой ныряет,— перевел Валиев, смягчая грубоватое слово словом гузка.— У иас так говорят.

Козырев засмеялся:

— Те же штаиы, только иазад пуговками.

— Найдутся деятели, что и давиее мое припомнят,— ие особенио иапирая на свою опаску, произиес Миигали Валиевич.

Козырева задело это, глаза огием взялись:

— Рта раскрыть ие дам! Я распорядился, я и отвечать буду! — Помолчал, продолжил с рассудительиой мрачностью: — Взыскаиие? В зваиии, в должности понизят? Но я — хирург. Рядовым врачом пойду, зато медсестры мамам хоть чем-то подсобят... Да и иет осиоваиий, дорогой Мингали Валиевич, трясти душу из Козырева, четвертовать его за какие-то тряпки. Использовать трофеи для действующей армии не возбраияется, а мы — действующая. Так что хреи кто взыщет.

— Ниток еще восемиадцать коробок,— вспомнил Валиев.

— Теперь ты мне нравишься! — Олег Павлович хлопнул ладонью по лежащим на столе валиевским бумажкам.— Прикинь, у кого какая семья, подели добытое тобой у врага. Из немецкого продсклада тебе ничего не перепало?

— Кроме спирта — ничего

— У тебя, кажись, знакомства в ПФС[1], выменяй на спирт.

— Трофейное у них и без спирта выколочу. Гору ящиков сливочного масла взяли, целый холодильник мясных туш.

— Ну, этого в посылке не пошлешь Тушенку бы, шпик.

— Попробую Только бы к празднику какому, а так ни то ни се.

— Получат посылки — вот и праздник.— Козырев прикрыл ладонями воспаленные глазницы, несколько посидел в этом положении, потом раздраженно спросил: — Что на меня так смотришь? — спросил, хотя не видел, смотрит на него Валиев или не смотрит. Просто вернулся к тому, что оставила в его душе Серафима.— С Серафимой, что ли, сговорились? Может, пояснить что?

— Зачем пояснять. Постарше тебя, кое-что понимаю

— Д-да-а, людей понимать надо,— холодно и со значением сказал Козырев.— Нельзя без понимания Нам в особенности — из одного котелка кашу едим

Мингали Валиевич поерзал, прижег папиросу, потом уж, не зная, какая будет реакция, и досадуя, что остерегается наскочить на резкий отпор, предложил все же:

— Руфине Хайрулловне собрать бы кое-что. От коллектива.

Олег Павлович обратил на Валиева леденящий взор, сурово сказал:

— Руфине Хайрулловне ни Совнарком, ни коллектив — я обязан! Я и позабочусь!

— Тогда пойду. Шел бы и ты к себе, Олег Павлович, еще уснешь за столом

Вместо ответа Козырев приступил к тому, для чего затеял эту встречу:

— Поручи этому поляку... Как его? Будницкий? Пусть маляров сыщет, знает, поди, кого в городе. Сде-

---

[1] Продовольственно-фуражное снабжение

лать надо комнату веселой, привлекательной. Шахматы, шашки... Раздобудь патефон поновее, картины... С Пестовым те старинные журналы посмотрите, может, оттуда что в рамку.

— В санупре что-нибудь раздобуду. Пестов художника из раненых присмотрел, сообразим... Говорю — поспать тебе надо.

— Посплю. Только вот мысли свои приведу в порядок.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Днем и ночью на виски давит тихая боль, и от этой спокойной боли что-то мелодично бренчит под черепом: можно дремать, думать, слушать, но когда боль начинает шагать, топать коваными сапогами по всем черепным костям, шум в голове нарастает, густеет, закрывает доступ звукам извне, и Смыслов глохнет на время, все нутро схватывает жарким огнем, сдавливается дыхание: вот-вот, сейчас, в неуловимый миг плотный шумовой сгусток с невероятной раздирающей болью лопнет под черепом, жарко растечется по телу и наступит покойная обморочная слабость. Но покой может и не прийти. Взрыв под черепной коробкой — и все, нет человека. Наверное, вот так и умирают, думает Смыслов. Думает и радуется, что смерть не может справиться с ним, бомбит потрясенный, контуженный мозг — и не может.

Слух возвращается, тихая умиротворяющая боль в висках и странный бреньк не мешают различать голоса палаты.

Сколько длилось обморочное забытье?

«Меня на стол положили вскоре после бомбежки...» Чей это голос? Замполита? Да, его. Ведь майор Пестов толковал о чем-то с Василием Курочкой. Сколько же времени прошло после взрыва? Минута, две? Мгновение? Похоже, недолго, смысл разговора не затерялся, не распылен взрывом.

«Сердце у него бычье... еще воевать будет». Это о соседе слева. Кажется, Малыгин по фамилии.

Чтобы не тревожить тихую боль, не возбудить ее движением, Смыслов с величайшей осторожностью повернул голову и заметил, как при последних словах майора Пестова что-то живое оплеснуло исхудавшее лицо Малыгина.

Парень открыл окаймленные сизой тенью глаза, его взгляд неожиданно встретился со взглядом Смыслова. Малыгин и раньше нет-нет да поднимал веки, сумрачно вглядывался в окружающее, сейчас глаза были широко открыты, взгляд был свежим, принадлежал живой плоти.

Потянуло заговорить с ним, но землистые веки Малыгина сомкнулись, и обращенные к Смыслову черные провалы глазниц заставили внутренне поежиться.

Заснуть бы под мелодичный звон в голове, поспать до нового взрыва...

Не надо думать про взрыв, о чем-то другом надо. Или посчитать до ста, как мама учила: один белый слон, два белых слона, три белых слона... Сосчитать стадо в сто белых слонов...

Смыслов все же заставил себя уснуть. Очнулся от нового взрыва, от боли в висках и затылке. Такой громкий, оглушающий взрыв — и никто не слышал? Даже чуткая Машенька? Сидит за своим столом, поглощенная сматыванием стираных бинтов. Бинты потеряли первозданную белизну, на них несмываемые следы чьих-то ран, йода, но, стерилизованные, скатанные в пухлые рулончики, они послужат еще и еще, пока не собьются в веревочки. Но и тогда их не выбросят, сгодятся, чтобы натянуть их на колышки для сушки белья.

Расторопно шевелятся пальчики Маши Кузиной, бежит к пальчикам пегая лента бинта. Внешне Машенька безучастна к палатному говору, но глаза выдают ее. То они грустят, то в них вспыхивают веселые блестки, а то и закрываются в торопливой стыдливости.

Побасенки же в палате прямо-таки не для девичьего ушка. Затеял разговор немного воспрянувший Василий Курочка, потом инициативу перехватил Якухин, заметно раздобревший на сытных госпитальных харчах. Уж очень ему приглянулась откровенность Василия Федоровича про то, как он погуливал в довоенное беззаботное время, и самому стало невмоготу, так и подмывало потрепаться о всяком таком.

Спросил с ухмылкой Василия Курочку:

— Как тебя такого в партию-то приняли, младший лейтенант?

— Какого?— насторожился Курочка.

— Хлыща такого.

— Гляжу я на тебя... Голова, как у вола, а все

мала. В партию-то что, только тех принимают, у кого ни печенки, ни сердца?

— Хо-хо, сердечный какой. Будто у других кирпичи тута,— Якухин ткнул себя пальцем в грудь.

— Может, и не кирпичи, но не то, что у меня. Мое сердце, как русская печка — большое и горячее.

— Готов всех запихать в свою печку?

— Рад бы, да места теперь нету. Одна Арина моя там осталась, остальное злобой заполнено. Товарищи мертвые, ноги мои — все там... И вообще, Якухин, путаешь ты божий дар с яичницей. Ухажорки-то когда были? До войны, а партбилет — на фронте. Я уже «За отвагу» имел, три лычки на погонах имел. Понял?

— Не знали, поди, про твои шашни, вот и приняли. Даже в мусульмане хотел записаться, чтобы жен богато иметь... Меня вон за одну-единственную отмутузили батогами,— Якухин широко и самодовольно ухмыльнулся.— Все равно всех обвел вокруг пальца.

Никто не загорелся желанием немедленно узнать, как Якухин и кого обвел вокруг пальца, никто не поторопился с обычным: «Ну-ну, рассказывай». Но Якухин был так горд собой, считал себя таким завидным ловкачом, что и много лет спустя не мог не надуться спесью, стал рассказывать о распиравшем его:

— Нанялись мы артелью в соседней деревне избы погорельцам ставить. Когда это? Кажись, в тридцать четвертом годе. Молодой был, видный. Усы вот так вот... Прилабжился к дочке хозяйской, где на постое стояли. Не женат, говорю, изба есть, лошадь, живность всякая... Наплел семь верст до небес, жизнь наобещал — щи с пряниками хлебать станем. Пошло все как надо... Целый год топорами тюкали в той погорелой деревне, ну и дотюкался — родила, холера. Что тут делать? Не бросать же законную, от нее у меня два мальца росло...

— А сотряпал чужого, что ли?— неодобрительно перебил Василий Курочка.

— Свой, чужой... Ты не осуждай, слушай давай. Уперся я — не мой! Не мой, да и только. Ничего не имел с этой девицей. Научили девку... Ну, тогда уже не девку,— хохотнул Якухин.— Научили девку в суд подать, чтобы она алименты, как городские женщины, с меня получала. Приходит повестка из суда — дома светопреставление. Жена на моей голове такую прополку устроила! А я на своем: поклеп, ведать не ведаю. В суде то

же самое говорю. За ногн-то не держали, поди докажн. Так нет, надо нм обязательно мужнка прнжучить. Взялн по капельке кровн у меня н младенца. Тогда ведь не счнталнсь — запнсаны в загсе или не запнсаны, докажут, что кровь одинаковая,— и будь здоров, платн за днтенка, пока для свадьбы не созреет. Аналнз там н всякое такое, а кровь-то возьмн н окажнсь не такой, какая суду требуется. Может, врачн напуталн, может, еще что, только я чист остался.

— Нничего себе — чнст,— презрительно пронзнес Курочка.— В дерьме по уши, а чнст.— Но концовку рассказа захотел услышать.— Ты про то, как тебя отметелнлн, расскажн.

— А чего отметелнлн... Еслн врачн не доказалн, то палками все равно не докажешь. Хулиганье, чего с ннх спросншь...

— Давай-давай досказывай, если начал.

— Зачем-то прнехал я в ту деревню. Она уже отстроилась после пожара. И не помню сейчас — зачем прнехал. Қажнсь, в лавку за карасином. Парнн, кон тут ошнвалнсь, наломалн дрючков от заплота н отпотчевалн. Дураки н есть дуракн, что с пьяных возьмешь...

— Тебя не бнть надо было, младшнй лейтенант, а головой в отхожую яму,— пробурчал со своей кроватн майор Петр Ануфриевнч.

Васнлий Қурочка выразнлся помягче:

— Не мужнк ты, Якухин, так, вндимость мужнцкая.

Наступнвшее молчанне могло н ссорой кончнться, да Боря Басаргин нарушнл это молчанне. Закручннился чтото, пронзнес горемычным голосом:

— Вот н у меня, наверное, ребеночек где-то растет...

Борнно тоскливое заявленне было настолько неожнданным, настолько нелепым, что сразу даже рассмеяться не смоглн. Лейтенант Гончаров, сидевший спиной в подушку, кннжку с колен уронил. Машенька, хотя и не показывала виду, что слышит, бннты мотать перестала. Смыслов, пересилив боль, повернул голову, чтобы разглядеть Борю через три койки.

Первымн весело заквохтали выздоравлнвающне — Краснопеев, Мамонов, Россоха, а Якухнн рот открыл, да так и сидел бездыханно. Қогда опомннлся, тут же и ухнул:

— Вот этого возгрнвого в яму-то. На губах еще не обсохло.

Подобие улыбки появилось и на мрачном лице Василия Курочки.

— С чего это ты взял, Борька?— спросил он.— Какой ребеночек, откуда он у тебя?

Боря положил больную ногу поудобнее, позагибал пальцы:

— Сколько это бывает? Девять месяцев, да? Во-от, а прошло одиннадцать.

Подстрекаемый повеселевшей палатой, Боря рассказал о своих страданиях.

Прибывших в запасной полк новобранцев отправили в лес на заготовку дров, а лес этот, где дали делянку для воинской части,— у черта на куличках. Пароходом добираться надо. Всю ночь плюхался пароходишко по реке, продрог Боря, слоняясь по замусоренной палубе, искал место в затишке. Тут и услышал голосок — томный, притягивающий:

— Паренек, а паренек, иди сюда, тут хорошо, тепленько.

Боре только бы приткнуться куда, задать храпака от несытного пайка. Прополз в туннель из ящиков, откуда доносился голос, учуял кого-то руками.

— Сюда ложись, сюда. Ближе. Вот так. Дай-ка я тебя пальтецом укрою.

От близости женского тела у парня пересохло во рту, боится пальцем ворохнуть. Соблазнительница воркует про то, как увидела его на дебаркадере, как понравился ей. Про имя спросила и про то — женатый ли.

Надо же — женатый! Когда ему было жениться, если еще восемнадцати не исполнилось.

Не различимая впотьмах Борина радость (а что радость — Боря не сомневался: волосы шелковистые, душистым мылом пахнут) дышит в ухо теплом, шепчет колдовским голоском:

— Вот такого я и хочу любить...

Как целоваться стали — в голове совсем помутилось.

Проснулся Боря от утренней свежести, глаз не открывает, думает, как вести себя, о чем говорить. Теперь некуда деваться, надо жениться. Разве он посмеет обмануть такую доверчивую, ласковую... Н-нет, Борька не подлец. Только вот как это... Не сказал, что скоро на фронт уедет. Обманул, выходит. Вдруг заревет при всех.

Беда прямо, как тяжело стало солдату. Повздыхал немного, решил сейчас же и объясниться. Надо только об-

нять, приласкать, рассказать все начистоту. Потянулся обнять — нет никого. Пошарил для верности, глазами поискал — пусто. Выполз из-под ящиков, стал ждать. Мало ли куда могла отлучиться. Потом встревожился. Поискать бы, окликнуть. Но как поищешь? Лица не видел, имени не спросил... Придет, не может не прийти. Смущается, наверно, что так вот сразу...

Никто не пришел к Боре. Палуба парохода просыпалась, многоротo зевала, сморкалась, чихала, жгла чадный самосад. Спросил бабку, которая неподалеку ворочалась и кашляла,— не знает ли, куда ушла девушка, которая здесь спала.

Бабка накашлялась досыта, подивилась на Борю, спросила непонимающе:

— Кака девушка? Наталья, што ли? Милай, кака она девушка. У Натальи-то девка растет, тебя, поди, постарше. Сошла Наталья на той пристани, у них телятник там, лагерем летним зовется.

Старуха смотрела на потерявшего способность соображать Борьку Найденова, разбиралась, чем он от макушки до пят заполнен в эту минуту, и осенило догадкой. Заслонила ладошкой открытый в смехе беззубый рот.

— Чего такой пришибленный-то, товарищ боец? Ай сполуношничал? Ну, Наталья, ай да Наталья...

Заканчивая рассказ, Боря вернулся к тому, с чего начал:

— Теперь, поди, родила...

Хохотали кто мог. Машенька собрала бинты в марлевый мешочек и в строгой стыдливости вышла за дверь. Смыслов проследил за ее неторопливой легкой поступью и повернулся к соседу.

Костисто-матовое лицо Малыгина в венчике густо побелевших волос пугало и вызывало тягостные чувства. Первое время Смыслов взглядывал на него украдкой, тут же отворачивался и начинал думать об этом человеке, пытаясь собственным умозаключением проникнуть в его молчание, понять это молчание. Сейчас, глядя на Малыгина, занялся тем же. Слышит Малыгин или нет, что происходит в палате? Не может не слышать. Но ни один мускул на лице не показывал, что слышит. Отключился, обратил слух в себя?

Развеселенные байками обитатели палаты стали утихать. Не нашедший сочувствия, обиженный недоверчивым смехом, покостылял Боря Басаргин — до ветру,

больше ему ходить некуда и незачем. Снова взялся за книгу лейтенант Гончаров, ушел узнать о почте Мамонов. Якухин, почуяв зародившееся к нему отчуждение, привязчиво нудил над более отходчивым лейтенантом Россохой, который, утвердив подбородок на тросточке, сидел в задумчивом безделии.

— Спел бы, Павел, а... Свою хохляцкую. Ту, которую тот раз пел. А, Павел?

Прилип банный лист, не отвяжется теперь. Но и у самого Россохи упоминание о песне растревожило душу. Он, как муха, потер ногу об ногу, скинул таким образом тапочки и забрался с ногами на одеяло. Полулежа, подмяв под бок подушку, мягко повел:

Чорнії брови, карії очи.
Темні як нічка, ясні як день.
Ой очі, очі, очі дівочі,
Де ви навчились зводить людей?

При повторе к напетому тенору Павла Россохи присоединился еще один голос — более низкий малоросский баритон Петра Ануфриевича Щатенко. И это было для всех неожиданностью.

Песня проникла за двери палаты, дверь распахнулась, впустив Машеньку и Юрате, в проеме задержались ходячие из соседней палаты, через их головы стали вытягивать шеи другие слонявшиеся по коридору.

У Малыгина чуть дрогнули веки, он приоткрыл спекшийся рот, поводил языком по фиолетовым губам. Слушает — подумал Смыслов.

Теперь о поразительной силе девичьих глаз рассказывали два голоса:

Вас і немає, а ви мов тута,
Світите в душу, як дві зорі.
Чи в вас улита якась отрута,
Чи, може, справді ви знахарі.

Смыслов снова взглянул на Малыгина. Теперь его лицо прикрыто ладонью левой руки, подбородок вздрагивает. Это был знакомый Смыслову сухой плач, плач без слез, который не облегчает, а только надрывает душу.

Чорнії брови, карії очі,
Страшно дивитись під час на вас,—
Не будешь спати ні в день, ні в ночі,
Все будешь думать тільки про вас.

Установилась долгая завороженная тишина. Россоха переменил положение, тоскливо посмотрел на майора Щатенко, предложил:

— Петр Ануфриевич, давайте «Орленка».

Щатенко в согласии кивнул головой. Смыслов взволнованно напряг слух, незабытой болью потянуло сердце.

Орленок, орленок, взлети выше солнца...

И сразу перед Смысловым возникли нагромождения выветренных скал Чертова Городища под Свердловском, ниже, в затененном и сыром месте,— поляна с желтыми купавками...

И степи с высот огляди..

Невесомые пряди волос Лены развевает июньский ветерок, меж ее пальцев мелькают сочные стебли купавок, сплетаются веночной косичкой. Смыслов слышит тревожный и не забытый, не утраченный памятью голос Лены. Он как цветочный стебель вплетается в венок мужских заветренных голосов, что заполнили госпитальную палату и бередят сердца израненных, искалеченных войною людей.

Едва заметный тон страдания в голосе Петра Ануфриевича усилился:

Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один

Хриплый, нечеловечески одичалый крик взорвал, нарушил песню:

— Не надо!!!

Смыслов круто повернул голову к Малыгину, издавшему этот натужный, непосильный для израненных легких вопль. Исхудавшая, в узоре венозных жил рука Малыгина округлыми движениями терла лицо, размазывала пролившуюся на подбородок бурую нездоровую кровь. На слабом дыхании, едва уловимо для слуха, Малыгин повторил в ошеломленно застывшей тишине:

— Не на-а-адо-о...

Объятые страхом, Машенька и Юрате бросились к Малыгину, за ними поспешили Якухин и Павел Россоха, но их остановила решительная команда Машеньки:

— Врача! Родненькие, скорее врача!

— Чичас, чичас, дочка,— засуетился неуклюжий Якухин и, прихваченный ознобом, потопотал к двери, перед ним расступились ходячие раненые.

От резкого движения у Смыслова гул под черепной коробкой снова стал сгущаться, и он опять напряженно ждал, когда этот уплотнившийся, однотонно тягучий гул отрешающе лопнет, оглушит нестерпимой болью.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Чувства к Лене Бойко, которые затеплились у Смыслова в простодушные детские годы, не остыли, не пригасли в пору взросления, прочно осели в сердце. Ни время, ни война, ни все, что связано с войной, и даже замужество Лены не притупили этих чувств.

Не так часто, но Лена Бойко все же являлась к нему. Вот и сейчас она склонилась над ним, спросила что-то.

Но почему у нее не голубые, а темные бархатистые глаза, не пушистые светлые волосы, а такая тяжелая неохватная коса, откуда эти густые, почти сросшиеся брови?

— Сестра! — окликнул кто-то.

Целительная рука отстранилась, чернобровая ласково и извинительно улыбнулась и ушла на зовущий голос.

Машенька... К нему опять подходила Машенька. Почему же он принимает ее за Лену? Почему же вид ее, близость ее вызывают те же, казалось бы, единственные святые чувства, которые способно порождать только присутствие Лены? Разве ладно так?

Кто окликнул? Куда пошла Машенька?

Никуда не пошла, всего лишь повернулась к соседней кровати. Малыгин заговорил. Это он позвал сестрицу. Поразительно! После того припадка с неистовым «Не надо!!!» он опять молчал. Какой там разговор — парень в ящик едва не сыграл: переливание крови, кислород, камфора, морфий... Вытянули.

Машенька склонилась над Малыгиным.

— Что, Ваня?

Малыгин обратил к ней тусклые зрачки, спросил:

— Сестра, обход был?

— Был уже. Спал ты, не стали тревожить. Тебе плохо, да? Дай-ка, родненький...

Она присела с краю постели, прихватила пальчиками запястье лежащей поверх одеяла руки, чутко слушала пульсирующее шевеление жилки. В минутной паузе, мило пришептывая, считала. Порадовалась:

— Восемьдесят!

Малыгин облизнул сухие чешуйки на губах.

— Хочешь попить? Давай попою,— Машенька дотянулась до симпатичного лендлизовского поильника с длинным тонким носиком (партию американских эмалированных поильников и подкроватных посудин выколотил где-то на днях начхоз Валиев), продвинула ладонь под затылок Малыгина, вставила рожок в его иссохшие, землисто затвердевшие губы. Малыгин захмелел от свежести, закрывая глаза, спросил:

— Замполит... Его Иван Сергеевич звать? Да? Он... был на обходе?

— Поговорить хочешь? Я скажу ему.

— Спасибо. Не надо... Сестра, когда это было? Перепуталось все... Вчера, позавчера?

От Машеньки, казалось, исходило коронирующее свечение — настолько она была обрадована. Человек выкарабкивался из пустой запредельности, входил в оставленную было им жизнь, и это поразительное явление восторженно трогало отзывчивую сестрицу. Не поняв вопроса Малыгина, она спросила:

— Ты о чем, Ваня?

— Иван Сергеевич с тем вон... которому ногу... Майор обо мне что-то сказал. Не слышала?

Малыгин с надеждой следил за выражением Машенькиного лица. Машенька досадует, не может понять — о чем Малыгин. Много чего она тут слышит. Василий Федорович, Курочка этот, и те выздоравливающие... Такие охальники. Как только язык не опухнет.

Смыслов уловил замешательство сестры, пришел на выручку:

— Я с-слышал.

Машенька обрадовалась пришедшей помощи, и не только потому, что она вывела из затруднения, порадовало и другое, и она вслух выразила эту радость:

— Познакомьтесь, поговорите. Сколько дней лежите рядом — и все молчком, молчком.

В самый раз бы пожать руку соседу, да не дотянуться тому левой, а эта, что ближе к Смыслову,— поленом поленом, только измазанные белым, как у маляра, пальцы торчат из окаменевшего кокона. Для начала Смыслов назвал себя:

— Агафон Смыслов.

Машенька удивленно шевельнула бровями. Какое

странное имя. Думала, что такие только в захолустье дают. Отца Карпом звали, маминого мужа, который у нее раньше был, умер который,— Ферапонтом, был еще в деревне Артамон, в кузнице работал.

Что-то такое и Малыгину подумалось. Едва приметно веселея глазами, сказал:

— Тут русский дух, тут Русью пахнет.

Смыслов было засмеялся, но ударило болью под черепом. Напрягся, сдавил дыхание, отогнал боль.

— Т-твое имя, однако, чистейшей п-пробы расейское, хоть к-как поверни, а меня еще Ганькой звать можно Д-дома т-так звали Агафоном наши, в-визовские, д-дразнили, д-думали, п-прозвище

При упоминании визовских Малыгин, насколько можно, скосил взгляд на Смыслова, какое-то время смотрел на него в удивлении и замешательстве.

— Вот и познакомились,— сказала Машенька. Не замечая растерянности Малыгина, она притронулась к обоим сразу и, довольная, что на этих двух кроватях все хорошо, направилась к своему столику.

— Визовские? Ты так вроде сказал?— проговорил наконец Малыгин.

— В-верх-Исетский завод в Свердловске,— откликнулся Смыслов,— В-ВИЗ сокращенно. Жителей п-поселка в-визовскими зовут До п-призыва я там на п-прокатке работал... Что смотришь, к-как к-коза на афишу?

— Где ты жил?

— В-возле фабрики-кухни. На Синяевой.

Малыгин оторвал от Смыслова свой пристальный взгляд, уставился в потолок, произнес тоскливо:

— Не помню. Не узнаю.

— Т-ты чудом не из Свердловска ли?— в свою очередь насторожился Агафон Смыслов.

— Оттуда. Коренной свердловчанин.

— Здорово. Д-давно земляков не в-встречал. Где жил-то?

— Тоже на ВИЗе На Нагорной, напротив ремесленного.

— Малыгин, Малыгин... П-постой-ка... Был т-такой с п-придурью, в п-проруби к-купался. Женщины его в-водяным звали. К-каждое утро шлепал на п-пруд. В нижней рубахе, в т-тапочках на босу ногу. Отгонит, к-которые белье п-полощут,— и в п-прорубь.

— Это отец мой. Под Сталинградом убит

После непродолжительного молчания Смыслов еще вспомнил:

— П-потом он своего п-пацана на п-прорубь водил, к ледяной воде п-приучал. Не т-тебя ли?

— Меня.

— Т-теперь знаю. Ванька Малыгин. В «Насменке» т-твое фото было. Лыжник, боксер, чемпион чего-то.. П-про т-тебя замполит сказал: бычье сердце. Радуйся, земляк, еще в-воевать будешь.

Дышалось трудно, Малыгин отвернул одеяло, стал тихо гладить нагрудную повязку.

— Значит, не ослышался,— произнес удовлетворенно.— А ты случайно Вадима Пучкова не знал? Он на вашей Синяевой жил, палисадник у них с белой сиренью.

— П-палисадник п-помню, а П-пучкова... Вроде встречал. Мы больше к-к-клубу липли, у вас, спортсменов, своя к-компания. А что?

— Да так, ничего... Воевали вместе... Завтракали уже?

— Т-твой унесли... Чего не ешь-то, Иван? Т-тебе по две п-порции лопать надо, вон к-какой худющий. Два мосла да чекушка к-крови, к-как у нас говорили.

— Были бы мослы, мясо нарастет. Буду есть по три порции, лишь бы давали.

— Дадут. В счет т-твоей экономии за п-прошлое.

— Я еще поднимусь, я еще...

Малыгин оборвал себя. Чернота у глаз будто расплылась, сделала лицо полынным, неживым. Тяжкие воспоминания стали давить сердце.

Когда истощенная плоть Ивана Малыгина, приняв первую дозу чужой крови, приняв и не отринув ее, стала втягивать в себя слабые живительные заряды,— первые струйки свежести проникли и в затуманенный мозг. На операционном столе Малыгин ощутил жизнь, захотел ее, и сознание этого с беспощадностью тревожило и без того истерзанную душу. Вон ты какой, Иван! Жить захотелось! Может, не тут, не на этом столе, не от чужой, влитой в тебя крови жить захотелось? Может, тебе хотелось и тогда, когда просил смерти? Просил одно, а хотел другого? Почему не взял пистолет, не сделал того, что просил, вымаливал? Вадим отдал тебе пистолет.

В бреду скулил? Не сознавал ничего? Вымаливал то. чего не хотелось?

Неправда! Хотел умереть. Это желание было честным. Твоя смерть была хоть каким-то выходом в той невероятнейшей ситуации, и тут ты, Малыгин, был прав.

Но так ли прав? Подумай, вникни... Как смог бы Вадим Пучков после твоей жертвенной смерти глядеть на белый свет, в глаза товарищам? Как бы он мог жить с неотступной, вечно терзающей думой о том, какой ценой остался жить! Ты, Малыгин, думал только за себя, Вадим думал за обоих. Почему же ты после его гибели... Ну-ну, вот же лазейка, протиснись в нее — заманчивую, вроде бы верную в своей сути: ты не стал стреляться, чтобы довести дело до конца...

Не хочешь этой лазейки? Не хочешь... Потому не хочешь, что это действительно только лазейка, а ты еще не всю совесть растерял: у тебя не было крошечного шанса довести дело до конца. Такой шанс на первых порах был у Вадима, у тебя — не было. Вадим не воспользовался им, не обменял этот шанс на твою жизнь. Вы могли оба попытаться довести дело до конца, но для этого оставался самый мучительный, почти безнадежный, но единственно верный путь, который предлагал Вадим Пучков,— ждать! Эту форму действия он предлагал, осознанно шел на мучения, а у тебя не хватило энергии духа, ты возжелал легкой смерти, ты сломал этим Вадима. Вадима сломал, а сам, как видишь, дождался. Шифровка в нужных руках, и ты — жив. А жить могли оба.

Не жалеючи, без всякой пощады и не совсем справедливо судил себя Иван Малыгин. Хотелось во всем разобраться, узнать, какое чудо спасло его. А случилось оно, как известно теперь, на вторые сутки после той услышанной им далекой перестрелки.

Очнулся тогда Малыгин под утро. Над болотом бродил туман и очесывался о растопыренные ветви кустарника. Засосно хлюпала загазованная трясина, гортанно булькали лягушки. Вспомнил все, не поверил в то, что вспомнил, и окликнул Вадима. Ужаснулся молчанию. А чему ужасаться? В военном деле ты не салага, Иван, да и слуха еще не потерял. В той далекой пальбе карабинов и «шмайссеров» ты не мог не узнать и работу малогабаритного ППС — автомата новейшей конструкции, которыми снабдили группу...

Ты толкнул Вадима на безрассудство...

Осмыслить происшедшее не было сил. Надо подкопить эти силы — и для размышлений, и для того, чтобы дотянуться до пистолета. Полежал, подкопил, оторвал от подстилки неимоверно тяжелую голову. Нет, не дотянуться до мешка, на котором пистолет, не с той стороны оставил его Вадим. Но приблизиться можно, надо только перевалиться на живот через перебитую руку.

Перевалился. Ударила жгучая боль, пронизала все тело и бросила Малыгина на какое-то время в небытие. Придя в себя, возобновил попытки. Еще разок, теперь — на спину... Снова боль, снова беспамятство. Тело приблизилось к цели, но рука... Здоровая рука, через которую теперь переваливался, осталась на том же расстоянии. Тогда снова через раздробленные кости...

Малыгин переваливал измятое, иссеченное болью тело, терял сознание, очнувшись, не понимал, где он и что с ним. Лежал, слушал ядовитые всхлипы болота, окутанного мглой обреченности, искал глазами оружие, которое вырвет, вынесет его из беды, прекратит мучительные телесные и душевные страдания. Но не видел оружия, похоже, в беспамятстве делал не те движения, не туда передвигался.

Какая подлая смерть! Не спешит, терзает, наслаждается бедой и муками человека...

Хоть чуточку приободрить Ивана Малыгина, придать ему ничтожную малость сил не смогла и артиллерийская канонада, возникшая в той невеликой дали, где Неман.

Дальнейшее жило в нем как постороннее, к нему не относящееся. Будто в удушливом сне, могильном обмане и будто не с ним, а с кем-то другим было все это.

Кто-то снова тащил его на волокуше, обмывал, перевязывал. В редкие проблески чадно отравленного разума видел зыбко колышащийся дощатый потолок, белесо размытое лицо женщины, безуспешно пытался понять происходящее и опять проваливался в глухое и вязкое небытие.

Однажды услышал мужские голоса, рокот мотора, ощутил на лице свежесть воздуха. Трясло, шла горлом кровь...

Нашла и перетащила его в хутор какая-то женщина.

Так сказали ему, когда вернулось сознание. Добавить к этому ничего не могли — не знали сами. Если бы знали, добавили: спасла его женщина, с которой Вадим разговаривал на хуторе. Но об этом теперь никто и никогда не узнает. Бежала от Красной Армии банда Импулявичуса, а с ней и хозяин хутора, бросил ее — некогда соблазненную, верно служившую. А ей бежать некуда и не от чего. Не велики ее грехи, да и те — от бабьей слабости.

Вспомнила о небритом, окровавленном человеке в драном пятнистом комбинезоне, кинулась на взбухшее от дождей болото. Надеялась: может, не ушел, не помер еще... Но нашла не того, который несколько дней назад приходил в хутор и нагнал смертного страху.

На операционном столе госпиталя, куда попал сразу, Иван Малыгин услышал возвращающуюся жизнь и не стал этому противиться, хотя и не помогал врачам — и к жизни, и к смерти был равнодушен. Но вот открылось новое, разбудившее душевные силы: он, по всей вероятности, сможет воевать. Ради этого стоило воскреснуть. Умереть успеется, иначе умереть.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Малорослая, кругло обточенная, большеглазая и с яркими щеками Надя Перегонова в свои двадцать три напоминала рано созревшую девочку-подростка, закормленную любящими родителями. Она пришла на смену непроспавшейся и капризно-вялой. Вроде бы нехотя, но и не упустив ничего, посмотрела отметки о состоянии раненых, зевнула, сказала Машеньке:

— Топай. За меня всхрапни часика два.

Машенька оглянула палату, прощально помахала рукой тем, кто не спит, кто видит ее, и вышла в сумрачный коридор. Только тут она почувствовала, что за время дежурства вымоталась без остатка. Опершись о подоконник, постояла, невидяще поглядела в сгущающиеся сумерки. В былые дни приткнулась бы где в сестринской, опрокинулась в мертвый сон. Сейчас у нее был «свой» дом. После того как фронт перешел к обороне и налеты немецкой авиации на город прекратились, майор медслужбы Козырев строго-настрого

запретил бивачные ночевки в помещении госпиталя Женщинам-врачам и медицинским сестрам отвели двухэтажный особняк через дорогу. Машеньке с Юрате досталась крохотная и уютная комнатка на втором этаже. Выскоблили, вымыли, Мингали Валиевич раздобыл для них трехстворчатое трюмо, две перины и гору разной посуды, которая в общем-то и не нужна им была

Даже совестно от благ этих. Сроду Машенька не спала на перинах, в большое, до пят, зеркало не смотрелась. Машенька загрустила о Настюхе, Веруньке, вспомнила тех, кто поменьше: Сему, Варю, Дуняшку, Никитку с Захаркой... На одной картошке, поди. Мама бедная мама... Как они там? Послать бы чего...

Дверь палаты отворилась, выглянула Надя Перегонова. Увидела заплаканную Машеньку, заторопилась к ней.

— Ты чего, Машка, чего нюни распустила? Опять влюбилась, да?

Перегонова вынула из кармана халата марлевую салфетку, промокнула ею ручейки на щеках Машеньки, с бабьей жалостью притянула к себе, обдала устоявшимся табачным запахом.

— Не надо, Надя, так я, своих вспомнила.

Печальный голосок Машеньки, ее слезы отыскали больное в Перегоновой, чувствительно тронули. Она отзывчиво всхлипнула, погладила атласную, плотную косу Машеньки.

— Извини меня, дурочку, что про любовь я... Люби, только не так, как... На меня не смотри, я тебе не пример. Мою любовь под Псковом зарыли, отлюбила свое. А что с этим... Это так, от тоски, от всего. Старухой ведь скоро стану.

— Что ты, что ты. Буровишь не знамо чего,— теперь уже Машенька успокаивала подругу.

— .ты полюбишь, ты хорошая. И любовь будет хорошая,— продолжала свое Надя.

Постояли прижавшись, потужили молчком — о себе, о других девчонках. Перегонова водворила на место съехавшую косынку. Всплакнула чуток, разжижила кручинушку Надя Перегонова — и прежней стала. Грубовато шлепнула Машеньку по спине:

— Шагай давай к Юрате, заждалась, поди,— и спросила со смешком: — У этой литовской мадонны, кажись, налаживается с Володькой, тем лейтенантом? Пусть

хомутает, пока кто другой не охомутал. Чего глазки пучишь? Без руки, скажешь? Что из того, вон какой видный мужик.

— Пустое говоришь, ничего у них не налаживается. А что встречи, разговоры... Земляки они. Он ведь литовец.

—Ври-ка! — недоверчиво гуднула Перегонова.— Может, он не Гончаров, Ганчарюнас какой?

— Нет, Гончаров. Пойду, родненькая.

— Спокойного сна тебе. Пусть миленок приснится.— Надя побренчала коробком спичек, направилась в конец коридора, где лестница на чердак — «курятник», как называют раненые,— подымить, продлить бодрость.

Машенька миновала госпитальный двор, вышла за проходную — и усталость будто испарилась. Слабый ветер шевелит листву деревьев, несет из парка запах скошенной травы, поздних цветов, бодрит Машеньку. Улыбнулась светло и свободно, привстала на цыпочки, потянулась.

— Эй, сестрица,— окликнул пожилой солдат у ворот,— зарядку-то по утрам делать надо.

Машенька весело помахала ему рукой и тропинкой побежала к крыльцу особняка.

Узкое окошко на втором этаже светилось. Значит, не спит Юрате. Чай, поди, вскипятила. Юлиан Альбимович Будницкий банку варенья принес из дому, подарил давней приятельнице. Ждет теперь Юрате, вместе хочет распробовать. Неловко стало за свои недавние слезы. Подумаешь, братишки-сестренки на одной картошке сидят, будто всегда пироги с яблоками ели. С мамой живут, картохе радуются, друг другу радуются, а Юрате одна, совсем одна...

Нет, так дальше нельзя. Машенька завтра же пойдет... К самому Козыреву пойдет или Ивану Сергеевичу нажалуется! До сих пор Юрате не пристроена к месту. Когда раненые потоком шли — в операционной прибиралась, в санпропускнике как проклятая крутилась, у тяжелых грязь ворочала... Всякого нагляделась — в горле хлеб застревал. Теперь то на кухне, то в какой-нибудь палате за санитарку. Сколько раз обещали перевести помощницей к Машеньке, и все тянут и тянут. Почти не видятся. Дотянут, начнется наступление, а тогда... Мамонька родная!

Сжалось Машенькино сердце, больно и непонятно

стало от посетивших дум, никак с ними не сладит. Ужас как не хочется наступления. Как все хорошо установилось. Раненые на прогулки выходить стали. Протоптанная тропинка к холму зарастает, и открытая яма, поди, обвалилась без надобности, а тут... Опять хлынут машина за машиной, машина за машиной, и все полнехоньки стонущими, бредящими, изуродованными. День и ночь будут скрипеть ворота — хоть не закрывай совсем. И обратный поток начнется: в светлое время — к вокзалу с теми, кому в тыл навсегда, в потемках — к холму с теми, кто на носилках под простыней. Тоже навсегда... Стоять бы да стоять вот так в обороне...

Опять же как без наступления? Без наступления война не кончится. К логову подошли, добивать надо полоумного Гитлера...

Не идут дальше мысли, запутались. Машенька заторопилась по крутой дощатой лестнице. Удивилась, застав в комнате пожилого солидного мужчину. Голова гладко выбрита, в очках. Он сидел у стола со шляпой на коленях, в позе виделась неловкость. Гость встал, поклонился Машеньке, попросил прощения за позднее вторжение.

— Вижу — огонь в окне, не спят, значит,— объяснял он.— Лучше, конечно, сделать как положено, но, думаю, поспрашиваю для начала.

Юрате пояснила ничего не понимающей Машеньке:

— Гражданин про того капитана интерес имеет. Они его с братом на улице подобрали и в госпиталь принесли.— Повернулась к пришельцу, что-то сказала по-литовски и тут же Машеньке: — Я говорю — он в твоей палате лежит, что ты лучше знаешь про него.

— Ради бога,— приложил гражданин шляпу к груди.

Машенька освободилась от халата, повесила его на рогульку возле двери, благодарно улыбнулась:

— Спасибо вам. Если бы не вы, умер бы там, на улице.

— Зачем спасибо? Каждый бы.. Разве можно... Не сказывал, кто он, откуда? Кто его так изранил?

— Говорить он не может. Ранения очень тяжелые, крови много потерял.

— Горе-то какое... Навестить бы, передать чего. Несчастье с человеком, большое несчастье.

— Приходите. Врачи говорят — поправится. Не скоро, наверно, температурит еще. Но ничего, уже кушать стал...

Юрате, обняв Машеньку, погордилась подругой:

— Для него она свою кровь дала.

— Героини вы наши...— гость посморкался в платок.— Придем, навестим с братом. Если разрешат, конечно.

— Почему не разрешат,— сказала Машенька.— Навещают же других.

Проводив гостя до лестницы, Юрате вернулась и торопливо притронулась к чайнику, ойкнула — горячий! — стала разматывать нитку на бумажной закрывашке стеклянной банки, прихватила на палец налипшее с краю, слизнула

— Вкусно!

Машенька представила этот вкус, сглотнула слюну и побежала мыть руки.

С заваркой было скудно, чай жиденький, но этот недостаток восполняло ароматное и вкусное до умопомрачения вишневое варенье. Прихватывали попеременке чайной ложечкой, клали на язык и с наслаждением пили бледный чаек.

— Какие хорошие люди,— вспомнила Машенька позднего гостя,— не побоялись, помощь оказали. Ночью-то! А если бы засада? Бандиты могли и их так же Теперь вот о здоровье справляются... Раньше я ни литовцев, ни поляков не знала. В голову не приходило, что литовская девушка мне роднее сестры станет.

Юрате благодарно положила ладонь на Машину руку, погладила.

— Сколько хороших народов,— продолжала Машенька свои раздумья.— Только немцы вот... В кого они такие уродились?

Юрате осторожно, стараясь не обидеть Машеньку, сказала:

— Немцы тоже есть хорошие.

Машенька нахмурилась.

— Правда, правда, Маша. Есть немцы плохие, есть немцы хорошие, есть литовцы плохие, есть литовцы хорошие. Или вот начхоз наш, Мингали Валиевич... Нам что говорили? Придут киргизы, татары, эти.. бородатые. Казаки. Всех изрубят! Порубили свои, литовцы...

У Юрате заподрагивал подбородок, навернулись слезы. Машенька посунулась успокаивать:

— Не надо, Юрате, не надо... Пей чай

Быстрый умишко Маши Кузиной стал искать другой путь разговору.

— Ты знаешь, почему Мингали Валиевич по фамилии Валиев? Почему отчество и фамилия одинаковы?

Юрате пожала плечами. Особого интереса не проявила — о своем думала. Но смысл сказанного Машенькой не уходил, ответила:

— У русских тоже есть. Шофер санитарной летучки Семен Николаевич по фамилии Николаев.

— У русских совсем другое,— запнулась Машенька,— у русских просто так, а у татар... Мингали Валиевич первый сын в семье, а первому сыну отчество дают по фамилии отца. Остальным по имени отца, а первому — по фамилии. А еще вот... У брата Мингали Валиевича не было мальчиков, только девчонки рожались, тогда одному сыну Мингали Валиевича дали отчество по имени брата, будто он стал его сыном. Чтобы братов род продолжался. Интересно?

— Это благородно, Маша.

— А почему у литовцев нет отчества? Я — Мария Карповна Кузина, а ты просто Юрате Бальчунайте? Как по отцу?

— Никак. Отца звали Альфонас, но у нас не принято. Юрате Бальчунайте — и все.

— Ин-нтересно... А лейтенанта Гончарова зовешь Владимиром Петровичем. Он ведь литовец, сама говорила.

— Он литовцем давно был.

— Мамонька родная! Был, а теперь не стал?

— Я, наверно, плохо говорю. Владимир Петрович рассказывал. Отец его литовский революционер. Жандармы посадили его в тюрьму. Другие революционеры сделали так, чтобы он мог убежать, но отец Владаса — так звали Владимира Петровича — отказался. Сказал: из-за его побега жандармы могут плохо сделать с его женой и сыном. Тогда эти люди вывезли жену и Владаса в Советскую Россию, а потом помогли самому бежать из тюрьмы. Отец Владимира Петровича много перенес в тюрьме, сильно болел и умер в вашей стране. Его жена вышла замуж за русского, и Владас стал Владимиром Петровичем. Вот...

— Интересно как! Знаешь, Юрате, сейчас Надя Перегонова сказала мне... Ты не обидишься? Нет? Ты не сердись на нее. Она сказала... Правда, не будешь

сердиться? Сказала — у тебя с лейтенантом Гончаровым налаживается.

— Что налаживается?

— Ну, любовь, что ли...

Юрате зарумянилась, но ответила серьезно, тоном более умудренного человека:

— Владимир Петрович очень хороший, я бы могла полюбить его, но...

— Что — но? Не хочешь, да?

— Страшно говорить. Я не буду, Маша, ладно?

Машенька разгрызла вишневую косточку, обидчиво передернула угловатыми плечиками:

— Не хочешь — не надо. Я-то не стала бы секретничать от подруги.

— Это не секрет, Маша. Я скажу, почему не могу полюбить Владимира Петровича, но больше ни о чем не спрашивай. Не будешь?

— Не буду,— поспешила заверить Машенька.

— Обещай богом.

— Божиться? Вот еще. Бога я запросто обману. Сказала — не буду. Чтоб у меня язык отсох, чтоб мои глаза лопнули, чтоб мне с лестницы...

Юрате замахала руками: дескать, зачем страсти такие, верю.

— Ну?— Машенька в нетерпении даже приостановила дыхание.

— Я, кажется, люблю другого человека.

— Вот так раз — кажется... А кого?

— Ты же обещала ничего не спрашивать больше.

Машенька потерянно заморгала. Ин-те-рес-но-о... Другого... Кого — другого?

Машенька поелозила на стуле, не нашлась, как поступить. Заглядывая Юрате в глаза, с заискивающей безнадежностью спросила:

— Даже на букву не назовешь?

— Как — на букву?

— Как начинается имя?— беспомощно, в предчувствии бесславного поражения, лепетала Машенька.— На Пэ, на Вэ? Или еще на какую букву?

Юрате Бальчунайте не внешне, а на самом деле была житейски взрослее и мудрее подруги, рука так и тянулась погладить Машеньку, пожалеть ее как ребенка, но именно в силу того, что была внутренне взрослее и мудрее житейски, не пожалела, не протянула желан-

ный пряник. Умиленная детской непосредственностью Машеньки, сказала шутливо:

— Маша, ты же языком поклялась. Вдруг да отсохнет.

Машенька с поглупевшим видом подавила вздох. Вот же какая Юрате! Гадай теперь, ломай голову. Не уснешь, пожалуй...

Уснула Машенька сразу — как только коснулась подушки. Вот Юрате не спалось. В голове, как говорила мама, девять баранов дрались. Неужели полюбила? Или действительно — кажется? Как это бывает по-настоящему? В гимназии — все больше из богатеев, нос задирали, а на хуторе какие парни? Потом, когда... Потом жить не хотелось, не только про любовь думать. Что же теперь с ней? Неужели — правда? Нет-нет, такой человек... О-о, святая дева...

Юрате приложила нагрудный крестик к губам, в непонятной, смутной печали шепчет собственную реажанчус[1]: «Божия матерь, обрати свой взор на Юрате, погаси огонь ее слабой души к человеку, желать любви которого такой же великий грех, как желать земной и плотской любви сына твоего — бога...»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Сидели в скособоченной парковой беседке, редко присыпанной листом, отжившим свое к началу сентября. Мингали Валиевич не раз подумывал починить беседку, но хлопотное госпитальное житие не ссудило времени на такое, в сравнении со всем другим, пустячное дело.

— Не рухнет?— улыбаясь глазами, спросил Пестов.

В ответ Мингали Валиевич ударил кулаком о столб, обсеял всех древесной трухой, озорно вскинул голову:

— Еще сто лет простоит.

Осмотр «игровой комнаты», состоящей из трех полуподвальных, где не так давно шилась одежда для вражеского воинства, закончен, и можно потолковать о чем-то, не касаемом сегодняшних хозяйственных забот. В разговоре об отделке, убранстве помещения, поскольку эта работа была как-то связана с ним, косну-

---

[1] Реажанчус — молитва *(лит.)*.

лись и самого Гончарова, в частности, его увольнения из армии.

— На пенсию в мои-то...— угрюмо изрек Гончаров.

Это еще на пути к беседке. И теперь, взглядывая на удлиненное, сухое и неулыбчивое лицо Гончарова, Мингали Валиевич спросил:

— Ты с какого года, Владимир Петрович?

— С четырнадцатого.

Пестов с удивлением отметил про себя, что Гончаров казался ему значительно старше. Почему? Откуда он взял лишние годы? Вон, ни единой сединки. Вероятно, из этой вот отчетливо увиденной сейчас основательности человека, знающего не только почем фунт лиха, но и как с ним обходиться.

— Слышал, твоя родина здесь. Так?— продолжал любопытствовать Мингали Валиевич.

Гончаров пальцем по столу придвигал желтые, с лиловым отливом листья и скидывал их один за другим себе под ноги — словно собирался пересчитать, сколько их тут, на столешнице. Не поднимая взгляда, подтвердил слышанное Валиевым и внес уточнение:

— Верно, родился в Литве, но с двадцатого года — в России, как говаривали в то время.

— Твердо решил обосноваться в Вильно?— поинтересовался Иван Сергеевич Пестов.

— Да.

— Родственники есть?

— Не знаю.

— То есть?— удивился Мингали Валиевич.

— Может, и есть. Не знаю. Молодой был — не проявлял любопытства, а потом спросить было не у кого.

— Как же так?— не понимал Валиев.

— Видите ли...— Владимир Петрович остановился затяжным взглядом на какой-то никому не видимой точке. После небольшой паузы продолжил: — Молодость моя состоялась не так, как хотелось бы. Слишком отчаянной была. Нет-нет,— торопливо поправил он себя,— была школа — вот в чем дело. Шумная, безалаберная, но — школа. Одно нехорошо — ничего не сделал путного. Ни-для-ко-го... Сам брал. У жизни, у людей, у... обстоятельств, что ли. Много несладкого. Но и несладкое, что брал и что давали, шло на пользу. Только вот сам так ничего и не сделал...

С литовским революционером-марксистом Петрасом Бэлом студент Высшего художественного училища Петербургской академии художеств Петр Гончаров познакомился летом 1911 года. Бэл приезжал в Россию в период подготовки крайне назревшей большевистской конференции РСДРП и принимал активное участие в создании Российской организационной комиссии (конференция состоялась в январе следующего года в Праге) Позже еще были встречи: дважды в Кракове, куда агент большевистской газеты «Правда» Петр Гончаров привозил с Урала письма рабочих, один раз в Вильно, оккупированном летом 1918 года войсками кайзеровской Германии. В сложнейших условиях подполья здесь начиналась подготовка к созданию Коммунистической партии Литвы.

Последняя встреча произошла в Москве. Петрас Бэл прибыл сюда после побега из застенков польской дефензивы[1] неизлечимо больным. Умер он сорока двух лет от роду. Петр Назарович Гончаров увез его жену Алдону Бэл и их шестилетнего сына Владаса в Екатеринбург, где занимал к тому времени пост заведующего отделом губкома партии. Алдона была на пятнадцать лет моложе своего мужа, и нет ничего удивительного в том, что три года спустя после кончины Петраса стала женой его русского друга Петра Назаровича.

Своей несбывшейся мечтой стать художником бывший студент Петербургской академии художеств Петр Назарович Гончаров заразил приемного сына Владаса, которого теперь называли на русский лад Владимиром.

После окончания художественного училища по настоянию отца, понимавшего живопись и видевшего у сына незаурядные способности, Володя Гончаров уехал в Москву, чтобы решительно окунуться в жизнь, учиться, постигать мастерство больших художников.

Судьба кинула его в стихию претенциозной публики — великих, непонятых реформаторов и непризнанных «гениев».

По одному, по одному — и Гончаров, насколько доставала рука, очистил стол от палого листа. Привстал, ребром ладони пригреб к себе ближе то, что уцелело,

---

[1] Политическая полиция и контрразведка в буржуазной Польше 1918—1939 гг

но безотчетное занятие оставил. Поглядел на загрязнившийся палец и опустил руку на колено. После некоторого напряженного молчания сказал:

— С тех пор прошло десять лет, а память... Память ничего не отпускает.

Гончаров впервые, пожалуй, за этот день улыбнулся. Улыбка получилась хорошей, открытой. Оплеснулись живой водой и глаза.

Чуточку иронизируя над собой, он продолжал рассказ:

— Возле Усачевского рынка мне показали неказистый домишко в три этажа, на чердаке которого пустовала убогая мастерская недавно скончавшегося художника-сюрреалиста. Одно то, что этот почтенный человек был поклонником Миро, Эрнста, Арпа... Одним словом, я купил ту мастерскую и, поскольку вдова жила в большой нужде, отвалил больше, чем мастерская стоила.

Без яркой внешности, казалось мне, художник — уже не художник. Завел шикарную куртку с галунами, псевдоним друзья давно дали — Владас Гончар... Куртка и всякая атрибутика — ладно, главное, что тут было,— Гончаров потыкал в лоб пальцем.— Обуяла меня страсть создать такое, что враз вознесет, и Владас Гончар обретет вселенскую славу. Эту славу должен был принести цикл полотен под общим названием... Прекрасным названием — «Цветные сны». Вот так вот... Работал как проклятый, одним хлебом, бывало, питался. Не потому, что в кармане пусто. Было в кармане. Время жалел, чтобы в лавку сбегать... Дорогой моему сердцу Петр Назарович, отчим мой, верил в меня,— оживленные глаза Гончарова, как внезапным заморозком, прихватило грустью.— Верил сердечный человек, снабжал непутевого... Через полгода завершил первое полотно, которое назвал «Вожделения мадонны». Заполучить хороших натурщиц неизвестному еще молодому художнику было не просто, и свою мадонну я писал черт знает с кого. Но я обладал смелым и неуемным домыслием, и мое богохульство получилось довольно выразительным.

Времени на следующие две картины ушло меньше — восемь месяцев. Это «Союз страстей» — о блуде святых дев и «Затененный рассвет». Последняя была моей гордостью... Цикл еще не был завершен, но я решил отдохнуть, развеяться, показать свои работы на какой-

нибудь выставке. В художественном совете кхекали-мекали, дескать, озорство молодости, но хвалили, восторгались способностями молодого дарования, на выставку же — шиш с маслом. Разобиженный, оказался и я в рядах непризнанных гениев. Мы устраивали свои вернисажи, выставки то есть. Вот там я наслушался похвал и восторгов! У солидного метра голова закружится, что уж говорить обо мне. Но дальше этой сомнительной славы дело не шло. Потом наступил тридцать седьмой год...

Гримаса иронии исчезла с лица Владимира Петровича, глаза потускнели, он откинулся на ветхую, замшелую загородку беседки, баюкая занывшую культю, долго сидел в напряженном раздумье. Пестов с Валиевым не нарушали установившегося молчания. Предполагая, что сейчас будет сказано, Мингали Валиевич нервно курил.

— В тридцать восьмом отчима не стало...— Гончаров замялся.— Больше материальной помощи ждать было не от кого. Неустроенность, косые взгляды...

У меня оставались кое-какие сбережения, и я бросил их на кон. Задумал создать большое полотно, изобличающее закулисную скверну царизма. Нашел все же чертовски хорошенькую натурщицу. Совершенство форм ее тела было поистине изумительным, и это мне обошлось в солидную сумму. Вторая натура — бородатый мужик — стоила гораздо дешевле... До чего же был неорганизован мой умишко! «Мрачная тень» — так назвал я свою картину. Тенью был известный вам из истории Гришка Распутин, старец, которому не исполнилось и сорока лет. Изобразил я его в парной бане, изгоняющим беса из прелестного тела доктора философских наук Гейдельбергского университета Алисы Гессенской, иначе говоря — Александры Федоровны, жены царя Николая Второго. Алисой она была до помазания... Уработался, высох в щепку, остался в одном заношенном костюмишке... Шуму картина наделала предостаточно, остальное же... Как в той присказке: стриг черт свинью, визгу много, а шерсти нет.

Нервы сдали. Ревел, как ревел только в детстве. Маму вспомнил: где она, как она, бедная? Кинулся искать покупателей. В свое время старички-эротоманы предлагали за мои работы большие деньги, но тогда, сами понимаете, Владас Гончар не мог отдать свои ше-

девры даже за полцарства Теперь старички заизили ценю ужасно Но мне хватило этих денег, чтобы привезти очень больную, убитую горем маму к себе. Работал на фаянсовой фабрике, раскрашивал по трафарету миски и суповые тарелки...

По-прежнему тянуло учиться. В Москве когда-то существовало художественное училище живописи, ваяния и зодчества. После революции его расщепили на несколько учебных заведений, а в тридцать девятом на базе этого училища создали художественный институт Туда-то я и начистил сандалии. Наивный, даже в голову не пришло, что тень отчима... Лечил маму, не вылечил. Оставшись один, задумался: что делать, куда податься? Подался вот сюда — в Вильно. Отца моего, подпольщика Бэла, здесь не забыли и помогли мне получить место в только что созданном Вильнюсском государственном театре драмы. На родимой земле решил начать все с начала. Оформлял «Поросль» Бинкиса, «Бронепоезд 14-69» Иванова. Между делом написал несколько недурственных пейзажей. Купили, приоделся. Вроде бы все хорошо, замороженная душа стала оттаивать, но дорога опять вильнула — началась война. Опустошенный, сидел я возле печурки, на которой разогревал клей и краски, и думал, думал... И додумался: сгреб кисти, тюбики, мастихин, еще не изношенную куртку с галунами — и в огонь. Все к черту, Владас Гончар! Ты никогда больше не возьмешь эти вещи в руки! Остальное вы знаете...

Рассказывая, Гончаров больше смотрел себе под ноги Сейчас поднял отяжелевший взгляд, повторил через короткое время:

— Остальное вы знаете. Вот он я, перед вами, безрукий Владас Гончар.

В тот же день, как сжег орудия труда художника, Владимир Гончаров отправился в военкомат.

Сражался рядовым стрелком, заряжающим артиллерийского расчета и закончил войну командиром саперного взвода.

Нет, не войну, конечно, закончил. Война еще шла, но ему-то уже не воевать. Всякого навидавшись, он лежал теперь на госпитальной кровати в родном Вильно с ампутированной рукой и с горькой иронией думал

о том Владасе Гончаре, который полагал, что навсегда отмыл руки от краски. Сейчас, как никогда, тянуло к мольберту. Он чутко осязал большим пальцем отсеченной руки приятную окольцованность палитрой, остро улавливал запах выдавленных из туб многоцветных червячков, переживал вдохновенный восторг от явившегося в память постукивания кисти по атласно просохшей грунтовке.

Солдатское дело ему теперь не по плечу, но по плечу ли то, к чему стремился в предшествующие годы? Владимир Петрович вспомнил «Цветные сны» с лимонно-пунцовыми телами рубенсовской упитанности, а потом вглядывался в лица товарищей по палате.

Какую жизнь вложил он в тех, изображенных им на полотнах, с которыми грезил войти (ворваться!) в историю искусства? И чем живут вот эти, прикованные недугом к лазаретным тюфякам? Написать бы майора Щатенко Петра Ануфриевича. Угрюмого и раздражительного не от слабо посоленного супа, не от того, что дует под дверь, не от того, что встал с левой ноги, на которую, между прочим, и встать-то не в состоянии,— от другого совсем.

На пути его батальона стоял ощетиненный пулеметами фольварк. Полковник Полудов приказал дерзкой, стремительной атакой сковырнуть этот фольварк до наступления темноты. Щатенко захватил фольварк, но не дерзкой и стремительной — всю силу батальона обрушил левее, на менее укрепленный фланг немцев. Когда здешняя оборона была смята, круто повернул роты и внезапным ударом сбоку, используя наступившие сумерки, с первого раза ворвался в фольварк и «сковырнул» его, как и было велено.

Сковырнуть-то сковырнул, но, вопреки приказу, на три часа позже. От того, когда взят фольварк, не мог нарушиться и не нарушился ход дальнейших боевых действий, напротив, майор Щатенко содействовал успеху последующих боев хотя бы уже тем, что сохранил десятки людей, которых при дневной атаке в лоб мог умертвить шквальный огонь немецких пулеметов. Но полковник Полудов чтил принцип исполнительности, и ссамовольничавший Щатенко едва не угодил под военный трибунал. Спасло ранение.

Вот кого на холст — Петра Ануфриевича! В чем-то с неправотой своей, с гневом своим, обидой, с раздумья-

ми о смерти и жизни на войне. Как, товарищ Гончаров? Это тебе не «Затененный рассвет».

Одни хвалили тебя за то, что будто сумел возвысить чувственную красоту человека, другие, напротив, видели в полотнах осуждение порочной чувственности — и за это тоже хвалили... Было что-то, было. И главное — экспрессия, рожденная упоительным трудом выразительность. Напиши-ка вот с такой же выразительностью рассвет в госпитальной палате! Изобрази этих разных, абсолютно непохожих и в то же время духовно объединенных людей, передай широту и богатство чувств и мыслей такими, как есть,— ничуть не пыжась возвысить эти чувства и мысли...

Владимир Петрович посмотрел на замотанный обрубок предплечья, шевельнул несуществующими пальцами. Шевельнул и оцепенел от испуга. Он был наслышан о физиологических курьезах человеческого организма, но слышать — одно, испытать самому — совсем другое. Гончаров еще раз подвигал пальцами, стиснул их в кулак и даже почувствовал остроту впившихся в кожу ногтей. Снова вернулся памятью к палитре, ощутил на руке, которой давно уже нет, ее легкую, радующую весомость. Мистика!

Вошла Машенька, поставила возле настольной лампы стерилизатор — никелированную коробочку со шприцами. Ей показалось, что отлучка была долгой. Машенька окинула палату зорким и озабоченным взглядом, не нашла, что могло бы встревожить, вызвать укоры совести, успокоилась, закусив губку, стала листать журнал с врачебными назначениями.

Написать картину на противопоставлении? Грубость и нежность. Грубость — война, нежность — Машенька.

Владимир Петрович потянулся к тумбочке, извлек папку с листами ватмана, положил себе на колени.

День за днем, эскиз за эскизом. Схватить жизненную натуральность, потом ее негде будет взять, некому будет позировать. После — на холст. А, лейтенант Гончаров? На переднем плане семнадцатилетняя Машенька с ее прозорливым, отзывчивым сердцем, со всей ее нежностью, безыскусно открытой душевной прелестью... Рассветным утром. Именно — утром. Когда вот эти чистые листы превратятся в эскизы, когда он приспособит что-то для смешивания красок, научится обходиться без привычной палитры, когда на подрамнике будет натя-

нут холст,— тогда тоже писать утрами. Легкими рассветными утрами, чтобы ясность зарождающегося дня осветила Машенькину радость за излеченных, набирающих силу бойцов и не скрыла страдательных думок о тех, которых еще будут и будут привозить; чтобы увидеть в ее не очень ладной фигурке разбуженное цветение молодости, кроткое, доверчивое желание любви.

С композицией успеется. Придет в свое время, определится. Сейчас — люди. В карандашных набросках запечатлеть израненного, недвижного парня по фамилии Смыслов, которого недоверчиво называют в госпитале начальником штаба и который в свои двадцать лет далеко не парень, поскольку — майор и действительно начальник штаба артиллерийского полка. Хоть карандашным штрихом ухватить душевную боль противоестественно седого разведчика Ивана Малыгина, едва вытащенного врачами с того света. А разве можно обойтись без Василия Курочки, отгораживающегося от постигшей беды веселым балагурством?

Владимир Петрович положил лист ватмана поверх папки, вооружился карандашом. Плохо заточен карандаш. Незакрепленный лист соскальзывает с картона. Тщатся придержать ватман пальцы руки, которой лишился еще в июле. Гнетущей, неутешной болью тянет что-то под сердцем...

Ничего, Владас Гончар, не все потеряно. Собери волю, укрепись в ней. Теперь у тебя есть верный, захвативший тебя замысел, теперь ты знаешь, что писать!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Вода закипала. Из-под неплотно прилегающей крышки двухведерного эмалированного бака легким папиросным дымком стал просачиваться пар. Юрате сидела на корточках перед распахнутой заслонкой плиты и, укрощая жар, совком разгребала угли по всему поду. Длинные, прямо расчесанные волосы занавешивали лицо и казались ей чем-то посторонним, неприятно беспокоящим — вроде запущенного, несвежего платка с чужой головы. Из-за них-то она и затеяла эту банную возню. Промыть, просушить, а потом уж в постель — до обеда, до прихода Маши Кузиной.

Крохотный, пахнущий резедой кусочек мыла — память безобидных щедрот ее хозяина Самониса Рудокаса — оживил истомленную работой и сердитую на свою неприбранность Юрате. Льняные волосы промылись до поскрипывающей чистоты, обещали, потеряв влагу, стать ковыльно легкими, какими и любила их Юрате.

Вода в баке оставалась. Стать в корыто и... Юрате решительно начала скидывать одежду.

За неимением другого места цинковое корыто хранилось под кроватью Маши Кузиной. Шлепая босыми ногами по крашеному, приятно прохладному полу, Юрате направилась туда. Распахнула дверь и оторопело замерла на пороге. В такой же застывшей позе в противоположном конце комнаты остановилась обнаженная женщина. Ее высокая, безукоризненно ладная фигура излучала юную жизнь. Юрате шагнула ей навстречу. Та сделала то же самое. Жар смущения прошелся по жилам Юрате. Она никогда не видела себя нагой со стороны. Но замешательство было недолгим, его сменил трепет восторга от всплеснувшей мысли, что это волшебное очарование исходит от нее самой. Боковые створки зеркала позволили увидеть чистую, цветущую наготу во всей ее истинности. Чуть покатые плечи с наметившимся подкожным жирком, атласная кожа упругих грудей, нежно-розовые соски, застенчиво обернутые друг от друга, девичья округлость живота, жесткая налитость бедер безупречно очерченных ног... Юрате прижалась кончиком носа к свежему холодку стекла, не размыкая губ, малость одурманенная, лукаво засмеялась.

Показав язык своему отражению, Юрате, громыхая корытом, поспешила на кухню.

Настроение подпортилось, когда, растертая полотенцем до жжения, она стала озабоченно перебирать свой сиротски скудный гардероб. Как же жить дальше? Научи, дева Мария! Юрате уронила слезинку. Но уже чуть погодя, одевшись и прихватив плетеную сумку, предварительно освобожденную от всего, что там хранилось, отбросив всякие сомнения, она вышла на улицу. Сейчас же пойдет в дом Самониса Рудокаса! Кто знает, может, и осталось что из ее вещей.

Юрате спустилась по мощеной унылой улочке к костелу Петра и Павла. В соборе играл орган, шла заутренняя служба. Приостановилась в раздумье. Зайти

бы, притулиться в сумрачном углу, поплакать в молитве. Юрате грустно покрестилась, отвесила в направлении сводчатого портала мелкий поклон и поспешила в древнюю часть города, где неподалеку от базильянского монастыря стоял трехэтажный, дворцового типа старинный каменный дом господина Рудокаса. Неожиданно набежавший шумный дождь загнал ее под козырек какого-то наглухо забитого подъезда. Отсюда хорошо просматривался фасад особняка. На широком крыльце с каменной балюстрадой кутался в плащ-палатку солдат с автоматом. Стало тревожно и тоскливо. Воинская часть, похоже, квартирует, как туда войдешь! Перевела взгляд на зубчатую арку. А если со двора, через кухню?

В августе и сентябре дожди в Литве идут часто. Вроде бы небо чистое до неохватных высот, ни облачка на нем, но не успеешь глазом моргнуть, такой ливень нагрянет — нитки сухой не оставит. Окатит внезапно, прошумит мутными потоками — и снова все как было: стерильный небосвод, палящие лучи солнца... Дождь прекратился с той же неожиданностью, с какой начался. Юрате, минуя лужи, достигла арки и оробела от вида двора, знакомого каждым камнем, каждой дощечкой. Тесновато там было от военного люда и снаряжения. Сохранилось ли что, стала сомневаться Юрате, поди, все повыбрасывали, завалили комнаты винтовками да бомбами, вон какое войско. Но и уйти ни с чем не хотелось. Санитарка советского военного госпиталя Юрате Бальчунайте недолго боролась с другой Юрате — недавней прислугой хозяина этого дома. Да что же, в конце концов, не съедят ведь! И документ имеется!

Побаиваясь все же, она поднялась по ступеням центрального входа следом за каким-то офицером, который на ходу снимал потемневшую от воды плащ-палатку. При виде девушки солдат-охранник не кинул, как офицеру, распрямленную ладонь к пилотке, а приставил ее вежливо, с поклоном, и этот молчаливый жест был понятен Юрате, несколько обвыкшей в полувоенной обстановке госпиталя: позвольте узнать — кто, к кому, зачем? Она подала четвертушку бумаги с машинописным текстом, сказала:

— Я тут жила, хотела...— Решимость пропала, Юрате потянулась за своим документом.— Нет-нет, я сейчас уйду...

— Под-ождите, гражданка,— теряя учтивость, от-

странился солдат.— То она хотела, то она — уйду... Товарищ капитан!— заставил он обернуться офицера, который, перегнувшись через перила, вытряхивал мокрую окопную пелерину.— Вот эта гражданка к нам зачем-то, а зачем — не пойму.

Капитан с притаенным любопытством посмотрел на Юрате и энергично показал на вход:

— Чего на крыльце-то, прошу!

В вестибюле он подал знак в сторону еще одной двери — по левую сторону освобожденного от ковров лестничного марша. Когда-то эта каморка принадлежала старенькому Адомасу — швейцару, поившему иногда Юрате и Веру чаем с мятой. В двери теперь было оконце с полочкой, зашторенное свежевыструганной дощечкой. Капитан отомкнул ее своим ключом, бросил на стул набухшую накидку и только тогда уткнулся во взятую у солдата бумагу. Прочитал, показал на стул:

— Садитесь. Из эвакогоспиталя, значит? Козырев за чем-нибудь послал?

Капитан во все глаза смотрел на девушку. Стесненная этим взглядом, Юрате пролепетала:

— Нет, не Козырев, я сама. Я жила тут...

Капитан с острым интересом скосил голову.

— Родственница? Прямая наследница?

— Нет-нет, – отреклась от такой причастности Юрате.— В прислугах жила, думала: может, что мое из одежды тут.

Лицо капитана подобрело, и он стал тянуть из Юрате слово за словом, явно наслаждаясь беседой.

— Дел-ла-а. — покачал головой.— Где же ваша комната?

Помещения для прислуги были во флигеле — за левым крылом здания. Прошли туда через двор, заставленный машинами, бричками, походными кухнями.

— Там теперь у нас связисты комендантского взвода,— объяснял по пути капитан.— Вещи должны сохраниться. Строго наказано.

Когда ступили в комнату — двухлетнее прибежище ее и Веры,— у Юрате перехватило дыхание. Даже улавливался, хотя и сдобренный солдатским присутствием, родной до боли запах девичьего жилья. Кровати — ее и Веры — там, где и стояли, только застелены трофейными немецкими одеялами, в изголовье — конусами туго набитые соломой подушки. Даже дешевенькие прикроват-

ные коврики не сняты. В углу, где находилось зеркало, штабель катушек телефонного кабеля, рядом — грубо сколоченная подставка с выемками для автоматов. Древний и громоздкий платяной шкаф с бронзовой инкрустацией сдвинут к самому окну, на освободившейся площади — стол из неструганых досок, где трое солдат то ли завтракали, то ли обедали. При появлении офицера они проворно вскочили.

— Питайтесь,— махнул рукой капитан и уставил взор на распашные дверцы шкафа. В каждую створку было вбито по гвоздю, и на эти гвозди намотана проволочка.

— Все цело?— спросил капитан.

Солдат с узкой лычкой на погонах обиженно шевельнул губой:

— Куда оно денется.

— Смотрите у меня!— потряс офицер пальцем.— Если что, головы поотвинчиваю и свиньям выброшу.

Юрате робко улыбнулась, хотела сказать что-то, но не осмелилась.

— Что, строго?— ответно улыбнулся ей капитан и стал отматывать проволочку.

— Ваше?— распахнул дверцы.

Юрате шагнула ближе. Прежде всего она увидела лазурное, в белый горошек, платье Веры, потянулась к нему, нежно, будто саму Веру, обняла, прижала к лицу и расплакалась от нахлынувших чувств. Офицер поскреб переносицу, насупленно сказал солдатам:

— Забрали бы вы свои котелки, дорубали на свежем воздухе!

Ефрейтор понимающе отчеканил:

— Есть, товарищ капитан, дорубать на воздухе!

Когда Юрате оттянула выдвижной ящик с бельем, капитан тоже направился к выходу.

— Пакуй, дорогуша, все, что нужно. Провожу потом.

Юрате в глубокой задумчивости перебирала слежавшуюся одежду. Неужели она когда-то носила? Короткая комбинация с тесным корсажем, девчоночьи панталончики с распустившимися кружевами... Вздохнула с огорчением и приятным сознанием, что подросла, стала совсем взрослой: боже, как вымахала! Осмотрела то и другое, успокоилась — ничего, годится для Машеньки. А вот это... Она развернула безрукавку с крупными

петлями, осмотрела передник с кистями, ленты... Вспомнила прошлогоднее рождество, себя в этом национальном одеянии, подаренном женой Самониса Рудокаса, и стала торопливо отыскивать другие детали костюма.

Машенька еще не приходила. Юрате шаловливо порадовалась и заспешила переодеться. Страшно хотелось увидеть мило удивленную мордашку подруги. Заперев дверь на оборот ключа, Юрате прежде всего заплела волосы в толстую короткую косу и закрепила ее конец белым бантом. Перевоплощение доставляло ей огромное удовольствие. Тщательно расправив перед зеркалом складки, ленточки и кружева, она отомкнула дверь и села на стул возле кровати. Сидела распрямленной, взволнованной, временами мелькала мысль о несерьезности, никчемности затеянного. Юрате нещадно расправлялась с этой мыслью и вызывала другую: нет в том греха — хоть разок показаться Машеньке не в заношенной душегрее или халате с ржавыми лекарственными пятнами.

В дверь постучали Предупреждая о своем приходе, Машенька всегда стучит. Объясняет это: «Когда неожиданно, то и родимчик накликать можно». Юрате улыбнулась, представляя, как войдет сейчас Машенька и ойкнет ошеломленно. Но ойкнуть впору было самой Юрате. Вместе с Машенькой вошли замполит Пестов, начхоз Мингали Валиевич и ее назревающая тайная мука — Олег Павлович Козырев. Его-то она и увидела прежде всего. Юрате резко поднялась, вспыхнула, прикусила крепко стиснутый кулачок и замерла с настороженным взглядом. Ее замешательство было секундным. Отстранила от лица руку, величаво и с вызовом вскинула подбородок, затаила тело в дивном поставе: смотрите и не взыщите — какая уж есть...

— Нинди матур [1],— завороженно прошептал Мингали Валиевич.

Госпитальному начальству выдалась редкая возможность на деле убедиться, что человеческий глаз способен различать сотни чистых цветовых тонов и миллионы смешанных оттенков. Бледно-желтые волосы Юрате, забранные в косу, открывали теперь цветущую прелесть

[1] Какая прелесть *(татарск.)*.

всего лица. Нежную шею облегает с красочным орнаментом отложной воротничок белоснежной кофты с пышными длинными рукавами, перехваченными подле кисти манжетой с узорной вышивкой, поверх кофты — темно-зеленая, неплотно застегивающаяся на груди безрукавка с витыми петлями. Изумительную гармонию желтых, коричневых, зеленых и красных клеток представляла собой юбка из кустарной ткани, спускающаяся до башмаков с причудливыми ремешками-застежками. И как очарователен этот обшитый бахромой передник с продольными полосками из голубых крестиков! Когда же Юрате в быстром и гордом движении подняла голову и по спине ее и плечам заструилось ниспадающее от круглой малиновой шапочки радужное многоцветие лент, потрясенный Олег Павлович не выдержал, крякнул с уважительным восторгом:

— Ос-леп-нуть можно.

Юрате придымила ресницами направленный на него взор, в беглой улыбке колыхнула уголки губ и задорно подумала: «Вам бы меня утром увидеть — перед зеркалом!» От этой мысли кровь ее — от пальцев ног до корней волос — враз вскипела стыдом. Стиснув лицо ладонями, она метнулась из комнаты. Машенька — следом: успокоить отчего-то расстроившуюся подругу. Но Юрате не нуждалась в утешении. Прислонившись спиной к стене, она стояла возле кухонной плиты и блаженно сияла в избытке шалой, буйно нахлынувшей радости. Машенька приткнулась к ее груди и незнамо отчего заплакала сама.

Приятно пораженные нечаемым контрастом всему, что их давно окружает, госпитальные начальники рассеянно осматривали жилище девчат и уклончиво помалкивали

Олег Павлович, согнав улыбку и обращаясь к сопровождающим, спросил, набычившись:

— Как с игровой комнатой? Все еще копаетесь?

— Закончили,— ответил Пестов.— Газеты, журналы, шахматы... Еще кое-что.

— Посылки родным персонала?

— Отправлены,— ответил Валиев

Невозможность зацепиться за что-то раздражила Козырева еще больше.

— Схожу проверю!— угрожающе произнес он и тут же подобрел, загрустил взглядом Поворачивая туда-

сюда, он долго и раздумчиво оглядывал забытый на столе полуовальный костяной гребень. Потом повернулся к Пестову: — Иван Сергеевич, пошепчитесь с нашими дамами — о туфлях, чулочках, платьях... Что там еще для красоты? У кого нет, пошить надо. В городе модных портных до черта. Заплатим продуктами, что ли... Найдутся консервы, Мингали Валиевич? Найдутся, найдутся... Трофейные зажал небось на черный день. Не будет больше черных дней, пусть наши женщины хоть после смены наряжаются. Лучшая половина... да какая теперь половина — большая часть человечества! Пусть не забывают, что они — женщины, не отвыкают от этого. Недолго им осталось топать солдатскими сапожищами... Еще бы самодеятельность какую. Песни хором, пляски...

— Самодеятельность, пожалуй, не успеем,— заметил Пестов.

— В политуправлении был?— насторожился Олег Павлович.— Что слышно?

— Что слышно... Ничего не слышно. Ты как будто первый день на фронте, не чуешь.

— Да прах с ним!— рубанул ладонью Козырев.— Пусть хоть один вечер, но попляшут!

Мингали Валиевич потер лоб.

— Что-то не согласуется твоя нежная забота о чулочках с Панеряйским лесом. Ты же в помощь комиссии самых молоденьких выделил, а там трупов — тысячи. Девчонки и в госпитале всякого насмотрелись.

Козырев жестко поправил:

— В госпитале увечья и смерть — последствия вооруженной борьбы за святое и правое дело, а в Панеряе — зоологическая жестокость, зверства над безоружными и слабыми. Пусть девчонки увидят нацизм со всех сторон. Им надо это, их детям надо...— Олег Павлович, меняя настроение, помолчал и спросил о Юрате Бальчунайте: — Чем она у нас занимается?

— Чем придется,— ответил Валиев.— Вообще-то санитаркой числится.

— Таких славных в медсестры надо готовить. Терапия обаянием — великая вещь.

— К себе ее Мария Карповна... Маша Кузина просит,— сказал Мингали Валиевич.

— Подготовьте приказ — младшей медсестрой в палату комсостава. С военкоматом сам согласую. Тут без них не обойдешься.

— Нет у нас такой должности — младшая медсестра,— возразил Мингали Валиевич.

— Будет приказ — будет и должность!— отрезал Козырев голосом самодержца.

Козырев направился к выходу, но от порога вернулся. Смущенно усмехнувшись, положил на стол ненамеренно прихваченный гребень. Покосился на Мингали Валиевича и, указывая на дверь в конце коридора, спросил:

— Кто там?

— Врачи. Свиридова с Чугуновой.

— Зайдем и к ним, посмотрим.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В палате опустели четыре койки. Сначала койка Ивана Малыгина. Хлопотами разведотдела фронта его специальным самолетом вывезли в Москву под надзор медицинских светил. Прощаясь, Смыслов посоветовал Малыгину:

— Поставят на ноги — просись в Свердловск долечиваться. Дух родного дома самый целительный.

— Нет, земляк,— возразил Малыгин.— Лучше бы здесь остаться — ближе к фронту. Но идти наперекор начальству — без пользы. В Москве надеюсь на кое-какие связи. Один человек, под началом которого первый раз забрасывали к немцам в тыл, сейчас в Наркомате обороны. Может, по блату сумею скорее вернуться в действующую.

— П-по блату... П-презираю блатников,— с усмешкой позапинался Смыслов.— Т-только успеешь ли? Слышал сводку? Союзники уже в П-париже.

— Париж Парижем... До Средиземного с их расторопностью еще топать да топать.

Капитана, подстреленного из-за угла, тоже метили отправить подальше в тыл, но кто-то со стороны, не медики, наложил вето. Кто он, эта жертва бандгруппы, до сих пор установить не удалось. Распорядились лечить, потом видно будет.

Другие три койки освободили Россоха, Краснопеев и Мамонов. Младший лейтенант Якухин, несмотря на свои сорок лет, среди кандидатов на выписку выглядел самым цветущим, но внешний вид не обманул вра-

чебную комиссию: его разбитый плечевой сустав заживал трудно. То обстоятельство, что забракован, особых огорчений на первых порах не доставило Якухину. Скоро конец войне, и явилась заманчивая надежда живым, без новых увечий вернуться домой. Это желание, чтобы не бередить совесть, таил даже от себя, старался реже думать о заманчивой перспективе. Вроде бы нет ничего греховного в затаенных мыслишках, а вот поди ты... Возникла откуда-то вина перед теми, кто может опять быть покалеченным, а то и вовсе убитым, точила, как жук-короед.

Из других палат тоже много выбыло, и теперь там шли перемещения: одни палаты доукомплектовывались, другие освобождались полностью. С заглядом в будущее кровати устанавливались потеснее. На крайний случай планировалось увеличение койко-мест за счет игровой комнаты и двух ординаторских. С этой же целью майор Валиев получил в сануправлении восемь двадцатиместных палаток, печки для которых мастерил из железных бочек Юлиан Будницкий.

Боря Басаргин беспокоился, что из-за пертурбации его могут потурить из комсоставской, дескать, с мякинным-то рылом да в калашный ряд, а ему не хотелось уходить, привык. Не такие уж страшные эти командиры, как попервости показалось. С Василием Федоровичем сдружился, с лейтенантом Гончаровым, который по другую сторону койки, тоже. Теперь вот Смыслов соседом стал, на койку Мамонова перебрался — к окну, что во двор смотрит. Неплохой вроде парень. Тоже должны скоро гипс снять, вместе гулять будут.

Но никто не потревожил Борю. Решили, поди, что он тут нужнее. Василий Федорович даже сидеть не может, а Боря не такой уж калека, хотя и на костылях, нет-нет да и подменит девчонок-санитарок.

Пообедали, спят сейчас — и Курочка Василий Федорович, и художник Гончаров, и Смыслов этот, которого почему-то начальником штаба зовут. Боре днем спать не хочется. Это же беда — выспаться днем. Что тогда ночью? Ночью такое в голову лезет — хоть реви. Да и днем-то не очень весело.

Боря пристроил костыль к отопительной батарее, оперся на него коленом разбитой ноги, смотрит, что за окном делается. А там дождь, лужи... Тоска зеленая. Три месяца на передовой пробыл — и ничего, не

томился, не душила хандра эта. Конечно, иногда думал о том, что случилось, но так как-то — будто не о себе. А тут вот...

Басаргин, Басаргин... Все его так называют, и в документах так значится. А кто он, этот Басаргин,— Боря и сам не знает. Может, сволочь первостатейная, которую не жалко к стенке поставить, может, и наоборот — не сволочь, обыкновенный человек, только с ним несчастье какое-то... Тогда, если разобраться как следует, к стенке-то его, Борю, надо. Поставить — и шлепнуть, чтобы другим неповадно было...

Под Минском, когда маршевую роту в полк влили, почему молчал? Ну, сунули бы в штрафную — и все. Пускай бы и убили. В стрелковой роте разве слаще? Везде одинаково под смертью ходишь. Зато помер бы Борька Найденов, а не черт знает какой Басаргин. Не хватило ума открыться. Теперь вот ума вроде прибавилось, а что толку... Когда ума больше, то и душе тяжельше, сам себя казнишь да терзаешь.

Или зря казнишься? Живешь? Ну и живи. Воюешь? Воюй на здоровье. Убьют? Так ты об этом не узнаешь, не придется ломать голову, кого убили — Найденова или Басаргина. Еще никому не доводилось горевать о своей смерти.

Н-нет, такое тоже не дело. Поговорить бы с кем...

Нога у Бори затекла, он высвободил ее из костыльной расщелины, подержал на весу. Легче стало. Вот душу бы так. Вытащить ущемленную, потрясти на свежем ветерке...

На толстый, давно обессоченный сучок опустилась птаха с белыми щечками и черной манишкой на желтой груди, вцепилась серпастыми коготками в мертвую кору. Взлохмачивая пух на короткой шее, опасливо покрутила головкой в черном беретике, клюнула один раз, другой, снова заозиралась, опять клюнула.. Казалось, на суетливую настороженность у нее уходит времени больше, чем на добычу козявок. «Вот так и я,— подумал Боря,— буду жить, как эта синица, постоянно ждать чего-то опасного».

От горькой, тяжелой мысли солоно защипало в глазах. Боря спятился от окна, сел на койку.

Поговорить... Поговорил с одним. Нормальный вроде человек. О жене, о дочке ласково говорил, карточку, где вместе сняты, показывал. Думал, что поймет, посо-

ветует. А он... «Это кого мне в отделение подсунули, а? Так не пойдет. Сейчас же ротному доложу, не хочу я с таким рядом воевать, он и к немцам удрать может или еще хуже что наделает». Заплакал тогда Боря, ревел и самыми последними словами обзывал сержанта. Мол, я тоже не хочу с тобой рядом, и не только воевать, но и на корточки по нужде... Подрались бы, чего доброго, но тут артобстрел начался, немцы весь передний край разворотили. Завалило их в блиндаже, где нервно беседовали. Боре вот ногу повредило, а сержанта — насмерть...

Надо же, какая пакость в человеке жить может! Будто обрадовался такому случаю. Видел Боря кино про солдата Шадрина. Тот радовался, когда убило офицера. Офицер наказал солдата за большевистскую листовку — отпуск отменил. Солдата из кино понять можно. А его, Борю, как понять? Вроде с немцами заодно. Спасибо, мол, сволочи, что сержанта ухлопали, теперь моя тайна при мне останется.

На душе стало вдвойне мучительней — и от прошлого, и от того, как подумал про смерть сержанта. Сгинуло бы все это, как дурной сон: ни войны, ни крови, ни страданий, а он, Борька Найденов, опять, у станка — одношпиндельного, изношенного, но такого родного... Как тот, на котором в ремесленном Гаврила Егорович обучал. Жениться бы. Хорошо бы на такой, как Машенька, детишек бы ему нарожала — и с кривенькими, и с прямыми ножками. Ох и любил бы он их! Твердо верил Боря, что человек, не знавший ни отца ни матери, плохим отцом никогда не станет.

Да, видно, Машеньку, радость эту, судьба не для него предназначила. Вон как разволновалась, засветилась доверчиво. А всего и делов-то — Агафон Смыслов глаза открыл, улыбнулся ей издали.

Смыслов посмотрел не только на сестрицу, посмотрел и на Борю. Долго смотрел, пытливо, потом поманил пальцем. Боря перебрался на табуретку возле кровати.

— Чего такой кислый? Ступай гулять. Посмотри, что в парке делается.

Боря покосился на окно. Дождевая туча сдвинулась, открыла небо. Влажные, облитые горячим солнцем резные листья каштанов, подрагивая, искрились светло-соломенными, пурпурными, золотистыми перели-

вами. Неправдоподобной показалась Боре красота сентябрьского увядания, никогда не приглядывался, не замечал эту красоту в природе, думал, что цвета побежалости могут возникать только на спиралях стальной стружки, снимаемой резцом его старенького станка

Смыслов дотронулся до Бори:

— Ну что молчишь, что с тобой?

Басаргин протер глаза рукавом халата, тоскливо вздохнул:

— Да так. В роту бы скорей, к ребятам...

Проникая во что-то смутное, еще неугаданное, но явно неладное, Смыслов сдвинулся к стенке, показал на край постели, попросил мягко:

— Сядь сюда. Расскажи

Не раз замечал Смыслов, как накатывает на этого в общем-то, не склонного к хандре парня безмолвное душевное томление, но как-то не к месту все было с ним заговорить.

— Может, п-письмо к-какое, а? В семье что-нибудь?

— Нет у меня семьи.

— К-как это нет? — свел брови Смыслов.

— Детдомовский я.

— Должны же быть друзья, т-товарищи...

Не было у Бори в детдоме товарищей, не успевал заводить — уж очень часто переталкивали из одного детдома в другой, а то и сам убегал Вот в ремесленном, там — да. И пишут, наверно. Мастер Гаврила Егорович, Санька-грек, Витька-гуля... Пишут, поди. Только на ту полевую почту, Борьке Найденову...

Рассказать? А если Смыслов, как тот отделенный, которого в блиндаже убило? Боря с усилием посмотрел в глаза Смыслова. Коричневые, чистые, они с тревожным участием следили за Борей, и его стесненный дух стал будто расковываться. Нет, этот не заорет, не скривится брезгливо. Только что из того? Не бог, не святой дух, чуда не сотворит... А-а, хоть выговориться, вдруг да полегчает.

Парней 1927 года рождения, малость подросших к тому времени, начали призывать зимой сорок четвертого. Призыв для Бори был пределом мечтаний: на фронт, на фронт! Но не так уж беден был тогда фронт, не торопил парня в свои смертные объятия. Учили без спеш-

ки, основательно. Целых четыре месяца. Учили поворотам налево-направо-кругом, колоть коротким и длинным щиты из ивовых прутьев, ползать по-пластунски, окапываться, разбирать и собирать винтовку образца 1891 дробь 1930 года и новейший ППС, а под конец — стрелять боевыми патронами. Потом сколотили команду, отправили на фронт. На фронт не все попали. Борю назначили в какую-то роту, охранявшую склады, пакгаузы и вагоны на путях прифронтового железнодорожного узла. Рота была укомплектована служивыми очень даже почтенного возраста и несколькими салажатами вроде Бори Найденова. Караульную службу несли исправно, но порой с такой откровенной примесью гражданской нестроевщины, что рота эта казалась командой сторожей из шарашкиной конторы. Приходил солдат на указанный ему пост в указанное время — когда с разводящим, когда без него,— сменяемый отдавал противогаз, подсумок, винтовку и радостно объявлял: «Пост сдал!», а пришедший на смену без всякой радости отвечал: «Пост принял». Сдавший уходил куда вздумается или заваливался на нары припухнуть до нового заступления на охраняемый объект.

Однажды, освободившись таким образом от винтовки и противогаза, Боря до крупинки выскреб оставленное ему в котелке, тоскливо посмотрел на чистое донышко: поел, называется, даже отрыгнуть нечем. С ощущением еще большей охоты порубать отправился к вокзалу, где местные тетки в обмен на немудреные солдатские шмутки бойко сбывали тоже не очень мудреную стряпню. За пазухой у Бори притулились две портянки, и он рассчитывал получить за них как минимум штук пять картофельных лепешек, помазанных подсолнечным маслом.

Когда торг состоялся, Боря пошагал в дальний конец изрытого, загубленного снарядами сквера, чтобы приглушить неотвязчивую тоску всегда несытого брюха. Тут-то и остановил его надтреснутый командирский голос:

— Товарищ боец, ко мне!

Боря оцепенел. В пяти шагах стоял лейтенант с уставшим, измученным лицом, в фуражке с черным бархатным околышем, в тыловых, синего сукна бриджах и диагоналевой гимнастерке, упряжно перехваченной портупеей и ремнем полевой сумки.

— Вы что, оглохли? Кому сказано?— суровел лейтенант, но ждать, когда солдат придет в себя и задаст стрекача, не стал, подошел сам.

— Хо-рош солдат... Ничего не скажешь — хо-о-ро-ош...— И как плеткой: — Крадем?! Государственное имущество крадем?!

Ну, это уж слишком. Боря взвился:

— Я не воровал! Это мои портянки!

Лейтенанту явно не хотелось идти на обострение, заговорил тихо, рассудительно, правда, с прежней колкостью:

— Портянки, допустим, твои. А ты чей? Кому присягу давал?— Предоставил виновнику время уяснить сказанное, подвел черту: — Что же выходит? А выходит — кра-аде-ешь...

Боря сопел, косился на развалины вокзала и соображал — нельзя ли на самом деле рвануть от этого усталого худого щеголя в парчовых погонах? Но психологическая атака, как казалось лейтенанту, была проведена с блеском, и он сменил гнев на милость.

— На жратву менял? Голодный?— он сподручнее передвинул полевую сумку, откинул закрывашку и извлек квадратную баночку консервированной американской колбасы и сухарь в поперечину булки.— Сядем-ка на полянку, перекусим, у меня тоже живот к спине прилип, пока за такими, как ты, бегал. От эшелона отстал?

— Ни от кого я не отставал. Я тут, в караульной роте.

Лейтенант был дошлый психолог, знал болевые центры желторотых солдат и бил в них без промаха.

— Молодой гриб, а червивый. Знаешь, где кантоваться. Не хочется, значит, под пули? Драгоценную жизнь бережешь? Да ты не дуйся, лопай давай. Я так, поглядеть, какой ты, когда сердитый. По твоей физиономии вижу — давно на фронт охота. Да-а, мало хорошего загорать в инвалидной команде. Вернешься домой после войны, а там... Где да как воевал, покажи награды. Девчонки нынче ого какие пошли! Согласны только на медаль, да и то — в крайнем случае.

На гимнастерке лейтенанта висели две медали, и, надо полагать, он на деле проверил, какова их роль в сердечных делах.

Скоро Боря, выловив пальцем из баночки последние

студенистые крошки и слизнув их, рассказывал лейтенанту о своей хреновской житухе. Лейтенант свойски хлопнул его по плечу:

— Плюнь, Борька, на эту сторожевую шарагу, поедем со мной! Эшелон с маршевыми ротами сопровождаю, завтра на передовой будем!

— Как так? Я же тут... Сбежал, скажут, дезертировал...

— Вот уж действительно не от ума! Ты что, в тыл? Маме под юбку? В действующую армию, немцев бить!— авторитетно, начальственным голосом воскликнул лейтенант.— Посмотри на себя, вон какой бравый парень! Не медали, как я,— еще орден отхватишь. Мне вот пополнение сдать надо да обратно в запполк, а я тоже думаю остаться. Обрыдло в тылу околачиваться. Дадут роту — и ладно. Хочешь, к себе ординарцем возьму?

— То сторожем, то ординарцем,— оскорбился Боря.— Нет уж, воевать так воевать.

— А я что говорю?— рассудительно продолжал лейтенант.— Ты, Найденов, мужик хоть куда! Тебе и пулемет могу доверить, к «максиму» первым номером, если захочешь, приставлю.

— Вы-то почему в пехоту? Фуражка у вас вон танкистская.

Лейтенант малость смутился, сказал честно:

— Это я так, для форсу бархатную напялил... Ну, надумал?

Боря решительно хлопнул пилоткой по кирзовому голенищу, объявил о готовности идти за лейтенантом в огонь и в воду.

Вскоре они лежали на железнодорожной платформе под крылом разбитого самолета, который почему-то везли в обратную от тыла сторону. Маршевый эшелон лейтенанта был где-то впереди, и его предстояло еще догнать на попутных товарняках. Измученный каторжной работой сопровождающего, борясь с дремотой, лейтенант втолковывал Боре, что на месте назначения принимать пополнение будут представители действующих частей, и ему во время переклички надо отозваться на фамилию Басаргин. Почему? Так это на первое время, чтобы на котловое довольствие, обмундирование там... Потом все утрясется.

— Черт его знает, куда подевался этот Басаргин,— рассуждал лейтенант как бы сам с собой.— Два дня

от Орши до Смолевичей мотался, искал задрыгу. Как в воду булькнул. Может, родичи какие поблизости?.. Наплевать! Его место займет достойный человек...

Не скоро еще разберется Боря в этом анафемском зигзаге. Невдомек еще было, что он — лишь пылинка на сложных военных дорогах. Кто-то в то лихое время по правде дезертировал, кто-то отставал в попутной свиданке с близкими, кто-то, незадачливый, терял эшелон просто по лопоухости. А в маршевых формированиях — списки, точный учет каждого живого штыка, доставляемого в истерзанные, обескровленные полки и батальоны. Кто, какой командир примет долгожданную свежую силу с нехваткой? Вот и восполняли непредвиденные потери в пути как могли: перехватывали заблудших ротозеев из других маршевых рот, правдами и неправдами высвобождали из комендатур всяких задержанных, а то и поступали так же предательски гнусно, как лейтенант в хромовых сапогах «джимми».

Боре Найденову о покинутой роте и думать не хотелось. Угарно кружило голову, вздымало дух от острого приключения. Мурашки восторга кололи тело от мысли, что скоро, совсем скоро станет ходить в атаку, бить ненавистных фашистов...

Все Боря сделал так, как велел лейтенант, и очутился в стрелковой роте на переднем крае — в полукилометре от немецких окопов. Вот только сопровождающий почему-то не остался на фронте, и красноармейскую книжку Боре вместо «утерянной» выдали на фамилию Басаргина. Правда, имя и отчество написали прежние, с его слов — Борис Васильевич.

Борей, помнится, в детдоме сам назвался, отчество по имени директора дали, а что касается фамилии Найденов, то ее почти всем подкидышам присваивали, не был и он исключением.

Худой, недоброй бурей был сорван листик с какого-то родословного дерева и занесен в неродные ветви, а теперь вот и совсем затерялся в незнамо чьих холодных и бесприютных кронах...

Младший лейтенант Якухин, укрытый халатом до лысины, лежал поверх одеяла и, судя по всему, из рассказа Бори Басаргина не пропустил ни слова. Пыхтя и надевая халат, он сел, мрачно уставился на свои голые

кривопалые ступни. Боря недолюбливал Якухина, считал, что и тот к нему не очень расположен, и потому его посвежевшей было душе снова сделалось муторно. Даже в голову не пришло, что этот раздобрелый умник тоже его услышит. Влезет сейчас со своими нравоучениями, разведет бодягу... Смыслов чего-то уставился в потолок, помалкивает... А, будь она проклята, жизнь эта...

— Моя бы воля,— заспанно загудел Якухин,— снял бы с тебя штаны, Борька, да кнутом сыромятным. До страшной болятки. До мяса. Чтобы и на том свете чесалось. Не дозволены телесные наказания. Жаль. Тебя, дурака, жаль. Власти иначе накажут, пуще. Загремишь ты под трибунал, Борька.

— Не надо, Якухин, зачем п-парня п-пугать,— придержал его Смыслов.

— Кто его пугает! На него этих пуганий без меня столько свалилось... свихнуться можно. Жизнь — она и есть жизнь, прищемит — не вырвешься, а вырвешься — все едино кусок шкуры оставишь.

— Шкура, Якухин, не самое лучшее у человека.

— Небось!— с кривой усмешкой воскликнул Якухин.— Как почнут сдирать...

— Совесть — вот что самое ценное,— не дал ему договорить Смыслов.— У Бориса и анализов брать не надо, т-так видно — без вредных п-примесей.

— На одной совести далеко не ускачешь.

— Смотря на какой. На п-подлинно человеческой люди в бессмертие уходят.

— Шибко заковыристо. Прямо как в церкви,— съязвил Якухин. Он нашарил в тумбочке кисет с клочком газеты, сунул в карман халата.— Сами тут отпущением грехов занимайтесь, пойду подымлю от расстройства.

— Как подумаю — ищут...— неистово замотал головой Боря.— Найдут, ухватят загривок в жменю... Что скажу? Даже фамилию чужую присвоил. Какая уж тут совесть, под увеличительным стеклом не увидят. Да не трясусь я за свою шкуру! Пусть сымают, хоть к стенке ставят... Срам вот... На могилу плевать станут... В детдоме, в ремеслухе кормили-поили меня, брошенку, делу обучали. На завод бы вернуться, хлеб этот отработать, Гавриле Егоровичу поклониться, чего по дурости до сих пор не сделал...

Якухин не уходил, наморщив лоб, стоял возле койки младшего лейтенанта Курочки.

— Ты вот что,— шагнув обратно, сказал он с участливой строгостью — не раздувай своих грехов. Тот офицеришка, сукин сын, если разобраться, говорил... Ты же на самом деле не с фронта удрал, а воевать поехал, ранен вот теперь... Дезертир-то кто? Который от военной службы прячется, а ты не прячешься. Насчет трибунала я подзагнул, нужен ты трибуналу, как верблюду брюзгалтер. Конечно, взыщут с дурня. А по мне, так выпороть — лучше. Правду я говорю, Василий?— нагнулся он над младшим лейтенантом Курочкой.

Недавно Василию Федоровичу ампутировали правую ногу, но воспалительный процесс продолжался, чтобы не допустить угрожающего распространения гангрены, намечено бедро резать вторично. Осунувшийся, изможденный, лежал он безучастно — не было ни сил, ни охоты вмешиваться в разговор. Теперь на вопрос Якухина согласно моргнул, сказал тихо:

— Подзови Борьку.

Боря услышал его голос, подковылял. Василий Федорович в сумрачной улыбке разлепил запекшиеся губы. Борино сердце дрогнуло в жалости, схватил чашечку с длинным носиком, придержал голову под затылком, попоил Василия Федоровича.

— Киселя хотите?— предложил Боря.— Из свежих ягод. Маша откуда-то принесла. Я позову ее.

Машенька сидела около дальней койки очнувшегося безымянного капитана, протирала его лицо мокрым тампоном и говорила, говорила что-то притишенным голосом, каким говорят только с засыпающими детьми или вот с такими тяжелобольными.

— Потом,— сказал Курочка.— Ты вот что... Не морочь себе голову. Никто тебя не ищет. В тот вечер, когда ты уехал с лейтенантом, станцию страшно бомбили, много людей погибло. Посчитали и тебя убитым.

— Бомбили? Откуда вы знаете?

Василий Федорович совсем о другом хотел сказать Боре, но вырвалось это, с лёта придуманное, и теперь он не собирался на попятную. Передохнув сколько-то, ответил:

— Как не знать. Тогда меня в штаб полка вызывали. Штаб в том городишке стоял. Как его?

— Смолевичи.

— Не забыл? Правильно — Смолевичи.

Упоминание штаба как детонатор воздействовало на

мозг лейтенанта Гончарова Закинув назад здоровую руку, он ухватился за кроватное изголовье, смнная подушку, подтянулся и сел

— Слушай, Смыслов,— оклнкнул он,— заберн Бориса в свой полк. В твоих руках вся пнсаннна. Целый штаб. Сделаешь для парня святое дело, он не только хлеб отработает..

— Вот это уже что-то,— бормотнул Якухин н теперь окончательно направился к выходу.

Услышав, о чем сказал Гончаров, Боря сунул костыль под мышку, вернулся к Смыслову В шаге от него растерянно остановнлся. Не только этот шаг, что-то еще отделяло его сейчас от Смыслова. Растопыренные костылн, халат нараспашку, нога подшибленно подогнута... К этой неуклюжести добавилась неловкая, растерянная улыбка.

— Выходнт, правда, что ты... что вы...

Смыслов глядел на Борю, а сам внимал назревавшему в голове звону. Сейчас поднннется до невероятной высоты, как всегда, неистово лопнет перетянутой струной... Но звон не вздымался, стихал и наконец журчаще распался. Радуясь обновившемуся состоянию, Смыслов улыбнулся Боре и, перегодив малость, спросил чуть построжавшнм голосом:

— Пойдешь со мной в артполк? Теперь, разумеется, на законном основании.

Гончаров читал «Тиесу», интересные газетные сообщения переводил нли пересказывал.

— Болгария-то — лапки кверху, капитулнровала,— известил он.— Мало того, сразу же и войну объявнла Германии.

Трн дня назад – Фннляндия, еще раньше — Румыния, теперь вот Болгария. Отваливаются сателлиты от Гитлера Поговорили об этом, о блнзкой и полной победе. Поражаясь сам себе, больше и азартнее всех говорнл Смыслов. Первым обратнл на это внимание Владимнр Петровнч. Весело глядя на Смыслова, спросил смехом:

— Чем это ты во рту смазал, занкастый?

Тут н до Смыслова дошло, что с ним стало: пока говорнл, нн одна согласная не застряла в горле, не скленла губ. Вот она, загадка обновления! Посигналил Гончарову, чтобы помалкивал, подозвал Машеньку. Та живо

оказалась подле. Смыслов сдвинулся, освободил место на краю постели, попросил с улыбкой:

— П-полечи заику, Машенька, т-ты всякие наговоры знаешь.

Машенька приняла игру. Чтобы не быть праздной в задержке возле раненого, обхватила его запястье, стала нащупывать пульс. Весело щурясь, сказала:

— Я знаю только от икоты. Вот такой: «Икота-икота, уйди от Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». Не помогает? Давай еще раз. Только не мигай, смотри в глаза.

— Нет, ты сочини про заику.

— Не умею сочинять.

— Я помогу Заика-спотыка, от Смыслова уйди-ка..

Придумывая, Машенька напрягла лоб и чуть спустя подправила Смыслова:

— Заика-спотыка, от Гани уйди-ка...— конфузливо приостановилась,— от Гани уйди-ка к нечистому бесу, от беса... до леса, с леса на Якова, с Якова на всякого.

Она прыснула, зажала ладошкой рот.

— На всякого не надо бы,— весело блестел глазами Смыслов,— лучше так: «С Якова — на гада на всякого».

Машенька подозрительно прислушивалась к его речи и ликовала.

— Об-ман-щи-ик...— ткнула его пальчиком в голое в прорехе рубашки тело.— Прошла заикливость? Поправился?

— Ты наколдовала, вот и поправился. Наклонись-ка.

Машенька приблизила ухо, ожидая услышать что-то некасаемое других. Услышала теплое и нежное прикосновение губ.

— Вот еще... Выдумал,— благонравно покраснела Машенька и, косясь на койки с ранеными, приложила ладонь к щеке, притаила для себя дорогое прикосновение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Серафима Сергеевна, ради бога... Никого под рукой...

— Слетать куда-нибудь?

— Если есть крылья — не возражаю.

— А я ножками, ножками.

Олег Павлович мимолетно глянул на крепкие икры Серафимы, внутренне усмехнулся.

— Совсем близко. Через дорогу. Чем бы ни были заняты — пулей сюда. К местным, что по домам, не обязательно самой, пошлите девчонок из посудомойки или еще кого.

Серафима рассмеялась. Приподнятость в настроении удивительно преображала ее широкоскулое, в оспинах лицо, оно становилось даже привлекательным, а если еще и улыбка с дужками зубов изумительно-белого перламутра, то очень даже привлекательным. Возможно, по этой причине застенчивостью, свойственной некрасивым, Серафима не отличалась, поддела насмешливо

— Ну, знаете, товарищ майор медицинской службы.. Так отдавать приказания... Кого пулей? К каким местным? Для какой надобности?

Олег Павлович недоуменно потаращился на нее.

— Неужели не ясно?

— Так ясно, что дальше некуда. Пожар в Крыму, голова в дыму Сестер, санитарок собрать, что ли? А подсобников тоже?

— Всех, всех! Поняли же, чего еще надо.

— Не поняла, догадалась. Кто другой — сдурел бы от вашего...

— Вы долго тут будете... препираться?— не нашел другого слова Олег Павлович.

— Скажите хоть — зачем?!— выкрикнула Серафима

Она уже постигала — зачем, но не хотелось верить в то, что явилось сознанию и чему воспротивилось все ее существо, потому и выкрикнула. Не дожидаясь ответа, колыхнула в выдохе могучей грудью:

— Немцы жиманули, что ли? Кош-шма-ар!

— Идите, Серафима,— не справляясь с досадой, поторопил Олег Павлович.

Серафима притиснула ладони к вискам, изобразила привидевшийся кошмар и тут же исчезла за дверью

Звонили из санитарного управления фронта. Почему звонил главный хирург, а не начальник управления госпиталями или еще кто-то, облеченный на то властью? Дежурит, что ли, главный? Голос был неумело властный, называл Козырева не по званию и не по фамилии, а по должности, и это обращение звучало крайне нелепо· «Товарищ начальник госпиталя». Олег Павлович напомнил

главному хирургу, что если случай ординарный, то для такого момента определен другой госпиталь, даже номер приказа назвал, каким определен, что на сегодняшний день перед его хозяйством стоит иная задача, и он не сможет ее выполнить, если вот так вот... Ему и договорить не дали. «Заспались, изнежились на пуховиках!» — услышал он от человека, который, похоже, никогда и никем не командовал.

Грубо, обидно оборвали, но какая-то справедливость была в этом. Заспаться не заспались, но... Вон Серафима с сорок второго с ним, с сандружинниц начинала, а сандружинницы, как известно, в цепи атакующих ходили, война ее, Серафиму, вроде бы железной сделала, но и она оторопь выказала. Человеческие возможности не беспредельны. Война сама по себе — обстоятельство исключительное, противоестественное природе человека и потому требует от людей не обыкновенных усилий, а таких, которые переходят все мыслимые границы свойств человека. Если же в установившийся ход войны вмешивается еще что-то, непредусмотренное.. Перенапряженность и в металле опасна, что уж говорить о живом организме.

Олегу Павловичу, когда услышал заполошный телефонный голос, подумалось то же, что и Серафиме. Подумалось и озноб по коже прошел. Не в деталях, но знали о событиях у соседей справа. К середине августа механизированным соединениям Первого Прибалтийского фронта удалось прорваться к Рижскому заливу и отсечь вражескую группировку армий «Север», лишить ее сухопутных коммуникаций с собственно Германией. Но уже шестнадцатого августа немцы, сосредоточив в Жемайтии и Курляндии до десятка танковых и моторизованных дивизий, нанесли удар в сторону Тукмуса и оттеснили наши войска от моря, восстановили сухопутную связь с группировкой «Север». До сих пор в печати об этом ни слова, до сих пор, возможно, кто-то расплачивается за неудачу, а тут... Что, если противник нашел силы «жимануть» и на Третий Белорусский? На самом деле, по нутру ли немцу, когда дивизии Красной Армии — на государственной границе? Чтобы переместить войну на землю Германии со всем, что из этого вытекает, советским соединениям осталось сделать только шаг

Но все оказалось иначе. Случай, если держать на уме масштабы действий всего фронта, можно отнести и к ординарным — разведка боем. Тяжелораненые, у которых нет

надежд на возвращение в строй, получив неотложную помощь на месте, для специализированной обработки и последующей эвакуации в стационарные тыловые лечебницы направлялись сюда. Почему к Козыреву, а не в очевидно установленный приказом госпиталь? Посчитали, что менее загружен? Теперь некогда и не к чему задумываться. Спасибо, трех хирургов для подмоги подбросили.

Во втором часу ночи с натужным гулом сдержанно-малых скоростей подошли сразу десять или одиннадцать санитарных машин, минут двадцать спустя — еще столько же, потом стали прибывать с крытыми бортами грузовики по два-три вместе. Таких, кто мог бы передвигаться самостоятельно, почти не было, в основном, как установилось в разговорном обиходе медиков,— носилочные. Не обошлось, конечно, без ругани и матерщины, но все эти в мать и бога — сдержанно, без истерик и адреса: так, для облегчения собственных страданий. Этот привоз чем-то отличался от обычного привоза израненной и разноперой солдатской массы.

На носилках, составленных в орошенные туманом газоны, кто-то кого-то узнал:

— Хо, Свиридов! Живой?

— Наполовину.

— Уже хорошо. О майоре не знаешь чего?

— Каком? У нас много майоров.

— Не из наших, тот... Из разведотдела который. Он с третьей цепью шел.

— С проволоки сняли. Мина.

— А-а, в гробину... Зачем попер? И без него бы...

— Значит, так положено.

— Положено... Вот и положили...

По соседству человек с забинтованной до макушки головой — только смотровая щель для глаз — сквозь намокшую от дыхания марлю глухо спрашивает:

— Мужики, о Викторе Викторовиче что известно?

— Ты о Захарове, танкисте?

— О ком больше... Бобров, ты это? Вроде узнаю по голосу.

Бобров, крючась, пытается сесть, не может — мешают лубки на ногах. Повернулся на бок, в прыгающих лучах автомобильных фар углядел спрашивающего, сочувственно крякнул:

— Эк тебя...

— Будто ты лучше... Чего не отвечаешь? Знаешь или нет что про Виктора Викторовича?

— Здорово живешь. Ты же был в его десятке, а пытаешь меня.

— До атаки был. Подполковник с тем молоденьким лейтенантом... Да знаешь ты его, Ромка Пятницкий. Оии влево, а тут такое... Пока носом землю пахал...

Разговор услышали в неразгружеииой еще машине, оттуда донесся пересохший голос:

— Видел Захарова. Его вроде бы в подвижиой армейский с тем лейтеиаитом Пятиицким. Кого не очеиь, туда направляли. Захарова в руку, а Ромка Пятиицкий коитужен. Оглох. Контрольного все же приволокли. Вдвоем.

Из той же «санитарки» горделиво-сиисходительиый баритои:

— Наша группа трех. Правда, пока тащили, один дуба дал.

— ...только поднялся — крупиокалиберный, зараза... Без руки вот теперь...

Вцепившись в палки носилок, тужится сесть голый до пояса, с иабухшими от крови биитами через грудь, кричит в бреду: «Ложись!!!»

— Сердяга, ие лег, когда надо, теперь о других печется...

— Курить охота — уши опухли. Скрутил бы кто...

— Куда бы с добром — спирта стакашек. Забыться.

— Попроси.

— Положат иа стол — попрошу. Вместо наркоза.

Выделился раздраженный гортанный голос:

— Цволочь! Лэжишь, лэжишь... Где врач? Где сестры? Дздохиуть можна...

Разгиеваниого приструнили. Оправдываясь, прохрипел виновато:

— Мочи иет, кацо...

Санитары вытягивали из «летучки» очередиые носилки. Искажая лицо в мучительиой немоте, раненый силится сказать что-то. Не понимают. Уже другой — шепотом:

— Младший лейтенант скончался у нас. Парнишка еще...

Человек в лубках, которого назвали Бобровым, горюя и осуждая себя, мотает кудлатой иечесаной головой:

— Крепко отрыгнулось мне искупление, в душу...

От иосилок к иосилкам мечутся медсестры: поят, ус-

покаивают, негласно, по степени неотложности, устанавливают очередность на операции. Человеческий гомон привлек приблудную беспородную собачонку. Было кинулась к людям, но замерла. Ударило в чуткий нос острым духом медикаментов, окопной продымленной глины и крови. Пустолайку подманивают. Стоит. Только чуть мотается крендель хвоста.

— Хороши мы... Собаки боятся

Расползается, редеет тьма. Во дворе завывание моторов, рваный говор, охи, хрипы, стон, чертыхня сквозь зубы...

На «виллисе» примчался с двумя офицерами (один в погонах юриста) полковник из разведуправления, разгоряченно потребовал Олега Павловича. Пробегавшая мимо медсестра на ходу отозвалась·

— В операционной. Занят.

— Есть кто-нибудь из руководства, черт побери?!

К полковнику подошел Мингали Валиевич, назвался. Понимая, что начальство приехало сюда не ради прогулки, возбужденó и, как водится, могут последовать всякие нелепые распоряжения, Валиев постарался опередить полковника своим напористым·

— Почему санпоезд на сортировочную подали?

— Вас не спросили,— заморгал, обомлел полковник.

— Напрасно, надо было спросить,— удерживал свою позицию Мингали Валиевич.— Двенадцать километров, а эти,— махнул в сторону разгруженных санлетучек,— обратно порожняком нацелились. Своего транспорта у нас нет

— Распоряжусь,— понял его полковник и, успокаиваясь, с любопытством посмотрел на непочтительного майора. Похоже, увидел что-то в начхозе располагающее. Улыбнулся сдержанно, спросил: — Сколько принято? Все в целости?

— Тех, кто целый, к нам не привозят... Сто тридцать семь. Много без сознания, так что потом станет известно — кто в «целости».

Полковник обернулся к офицеру-юристу:

— Уточните списки, никого не упустите. Люди сразу должны узнать о полной реабилитации. Позаботьтесь, чтобы и на погибших пятна не осталось.

Юрист молча кивнул и направился в приемный покой

Солнце взошло за кладбищенским холмом, и его лучи коснулись макушек толстостволых долгожителей парка,

причудливо расцветили прихваченный росой черепичный верх водокачки и подбирались к окнам третьего этажа, откуда торчали головы любопытно-встревоженных обитателей госпиталя. Низовое движение воздуха растеребливало куделю тумана, его волокна истаивали, оставляя водянистые следы на траве газонов, на обкатной чешуе мощеных аллей, на облепивших каменную ограду наслоениях мха.

Кое-кто из ходячих, потревоженных ночной суматохой, выбрался во двор с неясной надеждой встретить среди тех, кого привезли и вновь отправляют, земляка или однополчанина, на худой конец не земляка — любого служивого порасспросить о житухе на передке, узнать о ней не из газет. Были здесь Гончаров с Якухиным и Боря Басаргин. Помогли, насколько было их сил и возможностей, в отправке раненых. Но особыми новостями не обогатились. Возбуждены и говорливы бывают раненые до того, как положат на операционный стол, после на какое-то время становятся вялыми, ко всему безразличными, и было бы верхом назойливости лезть со своим в общем-то праздным любопытством к ним, только что резанным по живому телу, измученным перевязками-перетасками.

Да и что могли сказать эти люди о житухе на передке, если были там лишь столько, сколько длился бой

На свежий воздух выбралась из операционной измотанная Серафима, она и внесла кое-какую ясность:

— Штрафники. Бывшие офицеры.

— Ну, звания им теперь вернут,— сочувственно заверил Якухин.

— Звания безгрешных человеков. Офицерами им уже не быть,— сказал Гончаров и посмотрел на свою лежавшую в перевязи руку.— Эти, как и я, для армии теперь не годятся.

Якухин скосил глаза на Борю Басаргина, увязшего в своем запутанном, нечесаном горе, потрепал его по спине:

— Пойдем, Борька, доспим недоспанное.

Они ушли. Гончаров присел на ступеньки крыльца рядом с Серафимой. Давно и прочно захваченный идеей изобразить госпитальное утро на крутой несходности добра и зла, сидел недвижно, воображением художника переносил в строго очерченное пространство холста редкостную красоту нарождающегося дня и несовместимые с этим телесные и душевные страдания людей. Нет, в его

картине не будет обнаженных мук, зритель не должен содрогаться от натурности изувеченных, все это надо обозначить намеком. Трепет и раздумья пускай вызовут внешне спокойные лица женщин, деловито спокойные от профессиональной привычки к ужасам войны и все же не способные скрыть до конца растерянность перед напастью, насильственно и жестоко вторгшейся в природу живой жизни. Потянуло к ватману, к карандашам — сейчас, немедленно перенести на бумагу схваченную сердцем и еще не остывшую в памяти натуру.

Закрылись ворота за последней машиной. В разной настроенности подались к подъезду и за ворота санитары и сестры, владельцы костылей и мышастых халатов. Олег Павлович, простившись с офицерами штаба фронта, не вернулся на территорию госпиталя. Хотелось побыть одному, отдохнуть, поразмышлять о событиях последних дней, о письме Руфины, которого беспокойно ждал и которое искренне порадовало. Малохоженой тропкой направился к склону лесистого холма. Обливная освещенность от верхушек дубов и кленов перемещалась все ниже и словно движением этим нарушала устоявшуюся здесь дремотную тишину. Шепотно колыхнулась листва, качнулись игольчатые плоды каштанов, с влажной мягкостью упал в росистую траву обломившийся сучок. Ровное и тихое одиночество Олега Павловича, не желая того, нарушила Юрате Бальчунайте.

— Олег Павлович!

Олег Павлович остановился, рассеянно посмотрел на Юрате.

— Слушаю вас.

Юрате вспомнила свою ночную молитву, увидела себя со стороны в своих сердечных муках и стала густо краснеть. Смущаясь все больше и больше, пролепетала:

— Граждане просят раненого повидать...

Не обделенный женским вниманием, Олег Павлович понимал, что таилось за этим смущением. Грустно подумал: «Этого еще не хватало...» Приобнял Юрате, спросил шутливо:

— Кто просит? Чего просит?

И тут же догадался, о каких гражданах может говорить Юрате. Досадливо нахмурился, на лице проступила тень усталости. Он убрал руку с плеча девушки.

— Нельзя, да?— так поняла его Юрате.

— Почему нельзя? — с запинкой, будто себя, спро-

сил Олег Павлович.— Можно, только я. Где они?

Юрате повернула голову, и двое, стоявшие у крыльца дома, приняли это движение как знак подойти. Приблизившись, человек в очках оголил бритую голову, с поклоном придавил шляпу к груди Его спутник — долговязый юнец с покорными глазами на исхудалой физиономии, приотстал на шаг, вместо шляпы, которой не было, поднес к груди матерчатый узелок и тоже качнулся в поклоне

— Калнаускас,— представился первый и повел смятой шляпой в сторону юнца в полотняной рубахе, заправленной в клетчатые штаны,— а это — Витаутас, мой брат Увидели, что раненых увозят, за того офицера побеспокоились. Чужой, а вот... О здоровье справиться, угостить.

Олег Павлович, сжимая и разжимая набрякшие в работе пальцы, рассматривал ранних посетителей с тревожным интересом. Выслушал, ответил продуманное:

— Вашего подопечного никуда не увозят. Слаб еще. Но за жизнь опасаться нет оснований...

— Слава тебе...

— ...приходите после врачебного обхода. Этак часов в десять.

— Спасибо, непременно придем.

Поднимаясь по лестнице, Олег Павлович сказал Юрате:

— Есть для вас приятная новость. Пройдите ко мне, я буквально на минуту.

Козырев направился в конец коридора, к угловой палате. На полдороге остановился в сомнении, посмотрел под рукав халата. В такой ранний час появление начальника госпиталя в палате привлечет внимание. А что он? Подойдет к Середину и скажет... Поколебавшись, Олег Павлович повернул назад.

В кабинете Олега Павловича Юрате застала Серафиму. Она впервые увидела ее не в привычном белом халате, а в форме лейтенанта медицинской службы. Серафима сидела на диване и пришивала свежий подворотничок на китель с узкими майорскими погонами из белой парчи

— Ты что, Юрате?— удивилась Серафима ее приходу

— Олег Павлович велел зайти.— Юрате села рядом, притронулась к кителю: – Это его?

Что китель Олега Павловича, догадаться было нетрудно, Серафима утвердительно кивнула головой.

— Дайте мне,— потянулась Юрате к иголке.

Серафима не стала возражать, передала работу и долго, изучающе разглядывала сосредоточенное лицо Юрате

С чего бы такое желание у этой литовской красавицы?

Вошел Олег Павлович. Серафима снова уставилась на Юрате, погруженную в приятное занятие. Думала, покраснеет, смутится, застигнутая с его кителем на коленях. Ничуть не бывало. Никаких перемен с Юрате не произошло. Сделала последний стежок, касаясь щекой воротника, откусила нитку. Поднялась, полюбовалась на свою работу с расстояния вытянутых рук, повесила китель на спинку стула и осталась стоять в ожидании обещанной приятной новости с достоинством человека, не придающего особого значения оказанной услуге.

— Спасибо,— улыбнулся ей Козырев и подозрительно покосился на Серафиму, опасаясь какой-нибудь выходки. Чтобы пресечь эту выходку, спросил смехом: — Куда наладились, Серафима Сергеевна? Ни свет ни заря при полной форме.

Наслышанная о внимании Гончарова к Юрате Бальчунайте, Серафима игриво ответила:

— В театр. Приглашена лейтенантом Гончаровым.

— Какой театр?— простовато удивился Олег Павлович.— Рехнулись оба?

Серафима заметила, как вскинулись брови Юрате, и стала разъяснять:

— Владимир Петрович перед войной работал в здешнем театре художником. Хочет заглянуть туда и просто побродить по городу.

— Шли бы вы спать, Серафима Сергеевна. Гончарова в город Юрате проводит. Ей в военкомат надо, вот и составит ему компанию.— Олег Павлович выдвинул ящик стола, чтобы взять подготовленные для Юрате документы, но увидел там что-то и посмотрел на Серафиму.— Вот, вчерашней почтой,— извлек он и подал фотографию.

— Такая и у меня есть, только поменьше,— хотела расстегнуть пуговицу на кармашке гимнастерки, но повернула поданную ей карточку обратной стороной и оставила пуговицу в покое. Подняла взор и встретилась с утомленными, грустными глазами Олега Павловича. Что-то толкнуло вслух прочитать написанное на обороте фотографии — подумала, что это не будет против воли Олега Павловича. Подумала и прочитала: «Папе от Олежки и любящей...»

Олег Павлович вздохнул глубоко и свободно, и Серафима услышала в этом вздохе душу Олега Павловича, с предельной ясностью увидела, как жила и маялась

эта душа последние месяцы. Серафиму охватило чувство дружбы, преданности и понимания. Спросила:

— Приедет?

— Да. Оставит сына у матери и вернется.

«Глупая, какая ты глупая...» — с болью думала о себе Юрате.

Олег Павлович положил фотографию на место и подал Юрате документы.

— Небольшие формальности в военкомате, и сегодня же подпишу приказ о назначении вас младшей медсестрой. Будете работать в паре со своей подругой Машей Кузиной. Ну как, довольна?

Губы Юрате мило шевельнулись, едва заметным кивком выразила согласие и благодарность.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Усталая, не спавшая эту ночь Машенька отворила дверь и пропустила вперед себя пожилую угрюмую санитарку с кастрюлей, прикрытой, как компрессом, вафельным полотенцем. Машенька с пучком ложек в руке и прижатой к груди стопкой тарелок поспешила освободить на сестринском столе место для посуды и только потом обернулась к тому круглому, обеденному. Обернулась и мгновенно преобразилась. Изумленно раскрыв глаза, с чувством воскликнула:

— Родненькие, как хорошо-то!

Возложив руки на чешуйчато облупившуюся местами столешницу, чинным полукругом сидели шестеро из оставшихся восьми в палате. Улыбались — рот до ушей — Боря Басаргин и Якухин, сдержанно морщились губы Гончарова, из-под лохматых бровей любовался обрадованной сестрицей Анатолий Середин. Петр Ануфриевич с Агафоном Смысловым — виновники Машиной радости — малоуспешно пытались изобразить равнодушие — будто не первый раз они в этом обществе, будто сроду завтракали вот так вот, вместе со всеми.

Всего-то двое добавились за столом, а у Машеньки на лице — словно раненые всего фронта выздоровели, поднялись на ноги.

Мингали Валиевич недавно провел какую-то удачную сделку на хуторах, и вот уже третий день взамен опо-

стылевшей пшенки раненые получали на завтрак свежую отварную картошку. Ее дразнящий запах сразу же, как только санитарка сняла полотенце с кастрюли, потеснил лазаретный дух. С привычностью домохозяйки она наполнила тарелки, расставила перед ранеными. Машенька чинно опустилась на стул, подперла кулачком подбородок и восторженно уставилась на жующих. Но это состояние было у нее непродолжительным. Вздохнула, хмуро свела брови, вставая, замедленным движением, как непомерную тяжесть, перенесла косу за спину. С тоскующим, сжатым сердцем направилась с завтраком в дальний угол палаты — к Василию Федоровичу Курочке. Тот грустно улыбнулся Машеньке и отвергающе помотал вжатой в подушку большой головой.

— Почему, Василий Федорович?— стала ласково увещевать его Машенька.— Вчера поел, как дите малое, опять вот... Свежая, вкусная. К операции сил набираться надо.

— Вот потому-то не до еды, сестреночка ненаглядная. Жизни не рад, какая уж тут еда.

— Хоть ложечку, я разомну с подливом,— продолжала уговаривать Машенька, а внутри так схватило, что упала бы вот тут на колени, уткнулась ему в грудь и разревелась на весь госпиталь. Не будут резать ногу Василию Федоровичу. Нечего резать. Вылущивать будут остатки бедра из тазовой кости. Сдерживая слезы, настаивала: — Чайку с вареньем, а?

— Чаю попью. Наждак во рту.

Санитарка из местных литовок кормила бесфамильного капитана. Не похоже, чтобы ощущал голод, но ел безотказно. Медленно сжимал и разжимал челюсти — тревожило пулевое ранение в шею, шевелилась и латунно отсвечивала щетина на двигающихся, плохо пробритых чужими руками щеках. Мозг, видно, оставался здоровым, сознавал человек, что при скудном питании не пойдет на поправку.

За столом обстановка была оживленной. Боря то и дело услужливо тянулся помочь Гончарову — то хлеб подать, то ускользающую тарелку пододвинуть, но Владимир Петрович останавливал его:

— Не надо, Борис, я такой на всю жизнь и должен обходиться тем, что есть.

Якухин, похохатывая, тихо дудел что-то на ухо старшему лейтенанту Середину. Петр Ануфриевич и Смыс-

лов, хотя и ныли их разгипсованные ноги, бережно уложенные на протянутые под столом костыли, тоже чувствовали приподнятость, и была она вроде бы от сущей пустяковины — от того, что ходить разрешено, что могут есть по-человечески, не в кровати. Пока санитарка прибирала посуду и протирала стол, Якухин быстрехонько слазил в свою тумбочку (теперь тумбочка на одного, раньше с Мамоновым делились), извлек оттуда вспухшую и засаленную колоду карт.

— Давайте в подкидного. Шестером, трое натрое.

Смыслов не поддержал — он органически не переносил эту пустопорожнюю забаву. Решительно отмахнулся и Петр Ануфриевич. От еды и долгого сидения кружило голову, тело прихватывало потливой слабостью. Да и Машенька вмешалась:

— Родненькие, какой еще подкидной, обход скоро. Отправляйтесь на койки, лежите тихохонько.

Гончаров собирался почитать что-нибудь из добытого в последней вылазке в город, но остановился взглядом на стопке рисунков и отказался от чтения. Положил папку с рисунками на колени, стал перебирать их. Машенька. Еще Машенька. Опять Машенька... Вот она, чуть прогнувшись, поправляет на затылке свою богатейшую косу. Черты лица схвачены четко, выразителен маленько сморщенный в старании носик... Тут она возле Смыслова. Выражение глаз не прорисовано, все внимание отдано было душевному состоянию майора, его притягательной, с ямочками, улыбке... Третий эскиз — Машенька с безымянным, наглухо вжатым в постель капитаном. Порадовался Гончаров: чуть скошенные во взгляде глаза сестрички здесь просто великолепны. Не увидеть запечатленного в них сострадания может только незрячий сердцем.

А свет! В практике долгий перерыв, рука одна, но сумел все же, сумел! Несколькими штрихами, а передал освещенность. Слева свет — мягкий, приглушенный... Только мужское лицо вызывает досаду. Оно тоже в полосе света, но деревянное, неодушевленное.. Сколько раз пытался ухватить в нем что-нибудь живое и перенести на бумагу это живое, пусть дикую боль, муки, но все же активные человеческие чувства. Не находил их Гончаров, не давал ему такой возможности тяжело раненный человек. И сейчас лежит, будто восковой муляж

Еще раз Машенька. Рисовал после ее двухдневного пребывания в Панеряйском лесу. На себя не похожа.

Не пожалели девчушку Машу Кузину карандаш и рука, перенесли на бумагу такой, какой была в те ужасные дни.

Надя Перегонова... Она за столиком палатной сестры. Мрак. Спинка кровати во мраке, поодаль — размытый конус света настольной лампы, проясняющий лишь часть лица Нади, но и через эту деталь удалось Владимиру Петровичу передать печальную погруженность двадцатитрехлетней вдовицы в свое незаживающее горе.

А это — Юрате. Юрате по-русски — морская, морячка. Почему дано такое имя? Она никогда не видела моря, как не видели его и навек причаленные к земельному наделу ее родители, хотя от Жмудии до Балтики — рукой подать.

При виде лица Юрате тоскливо потянуло сердце. Милая, нежная... Быстро стал перебирать листы, отыскивать карандашные наброски Юрате Бальчунайте. Вот, вот... Только лицо, и ничего больше. В разных ракурсах, в разной по силе освещенности, а выражение на всех рисунках одно и то же — печаль. Копия тоскливой углубленности Нади Перегоновой. Повторил, выходит, Надю в милой ему Юрате. Не смог, не сумел уловить только ей, Юрате, принадлежащее! Но почему — не смог? Разве не схожи истоки печали ее и Нади? У Нади погиб муж, бесконечно любимый ею, у Юрате — убиты родные... Схожи-то схожи, да не совсем: каждое горе по-своему обособлено. Значит, не увидел чего-то. Увидел бы, тогда бы сумел, как сумел многое другое.

Боря Басаргин... Хохочущий до колик в животе мальчишка. И тут же, на том же листе, тот же Боря — больной, разбитый горьким осознанием происшедшего с ним. Это когда он о своем побеге на передовую рассказывал.

В строгой задумчивости Петр Ануфриевич... Хитроватый Якухин... Степенный, крепкий умом старший сержант Петр Иванович Мамонов... Не успел порисовать Мамонова, остался лишь этот торопливый набросок.

Приемка раненых... Только легкие штрихи, дунь — слетят тенетой, но этого хватит, чтобы зрительная память и через сто лет восстановила увиденное — и сегодня утром, и много раз до этого. Как вот только с красками? Память держит теплую и холодную выразительность туманного утра, а как потом? В силах ли воспроизвести локальные цвета, валёр? Или отыскать в природе схожую натуру и ею воспользоваться?

Почему — схожую? Он никогда не покинет теперь ро-

дины отца и матери — Петраса и Алдоны Бэл, совьет гнездо в Вильно и еще прндет сюда, пусть не этой, другой, уже послевоенной осенью, но прндет. Здесь, нменно здесь он будет писать задуманное. Пусть уйдут на это все отпущенные ему богом годы, но он добьется своего, оставит потомкам холст с кусочком жизни своего поколения...

Наконец-то заявнлся обход — группа озабоченных врачей едва не всех профилей во главе с Олегом Павловичем Козыревым. Если не пошлют на перевязку (не должны бы, повязка сухая), тогда — в город. Владнмиру Петровичу нужна пастель. Надо раздобыть пастель. Любые деньги за пастель!

Ведущий хирург Ильичев сразу направился к койке Васнлия Федоровича. Козырев с терапевтом Свнридовой, полной и низкорослой, остановился в шаге от безымянного капитана, некоторое время смотрел на его осунувшееся, в седой щетине лнцо. Тот не открыл глаз. Олег Павловнч глянул через плечо Свиридовой, изучавшей температурный лист (каково состояние капитана?), н повернулся к соседней кровати — к Анатолию Середину. Тихо и досадлнво, словно выполняя какую-то непрнятную для него миссию, сказал:

— Его сейчас проведать придут.

Капитан, похоже, услышал, открыл глаза. Козырев склонился над ннм, сухо повторил то, что сказал старшему лейтенанту Середину, и, поясняя, добавнл:

— Вы не против? Это местные жителн, которые подобрали вас на улице. После — на перевязку. Врач посмотрнт вас.

Видно было по глазам, что капитан слышит и понимает, что говорят, но губ не разлепил.

Козырев обратился к хирургу Чугуновой:

— Анна Андреевна, внимательно посмотрнте этого товарнща, я буду занят на операции.

Да, Василия Федоровича будет оперировать он, для Васнлия Федоровича санитары уже подали каталку.

Было сказано и Гончарову явиться на перевязку, Ильичеву крайне надо проследить заживление отсеченного предплечья.

— В город потом сходите. С Юрате. Помогите ей в военкомате,— добавил Олег Павлович.

Владимир Петрович поудобнее устроился на кровати, взялся за карандаш, заточенный, как шило, старательным Борей Басаргиным. Ждал, что капитан после сообщения майора медслужбы проявит что-то живое, заинтересуется Владимир Петрович не раз ловил себя на мысли, что моментами стопорится его способность заглянуть внутрь человека, увидеть — что на душе. В такие моменты накатывало бессилие. Неуверенность в себе сохранялась и тогда, когда начинал вглядываться в другую натуру, казалось: и тут увидит не человека, а его обветренную, блеклую оболочку.

Перебарывали все же профессиональные свойства. Приходила бодрость, и творческая лихорадка овладевала всем его существом. В мир художника входил с дерзкой уверенностью

Вот и сейчас, глядя на врачей, на раненых, с которыми они разговаривали, Гончаров одолел вязкую расслабленность, ощутил нарастающее творческое возбуждение, и его безошибочный в движениях карандаш с легким шорохом и в строгой непоследовательности стал рыскать по ватману.

Морщины у носа... Изгиб губ... Глаза... Нет, не пустые глаза у капитана, есть что-то в них, и в это что-то впивалось внутреннее зрение Владимира Петровича, импульсивно передавалось его чуткой руке. Когда нервное рабочее одурение несколько поутихло, Гончаров устало отстранил рисунок, запрокинул голову на подушку. Он не видел теперь, что там, на листе, забыл, напрягал память и не мог вспомнить Отдохнул, вгляделся в эскиз. Святые апостолы, откуда, с кого писал эту смесь надменности и притаенной злобы?! Какая нечистая сила владела твоим зрением, Гончаров, управляла твоей рукой и заставила так изобразить израненного, страдающего человека?

Владимир Петрович перевел взгляд на капитана. Убедился: творческое восприятие сфальшивило. Лицо капитана не было ни лицом идола, ни лицом надменно злобствующего; глаза были живыми глазами, в них промелькнула даже сдержанная радость, пусть мимолетная, враз укрощенная, но все-таки реальная радость. Или опять обманулся, художник Гончаров?

Нет, не обманулся. Вот откуда у капитана душевная вспышка: в накинутых на плечи белых халатах входили в палату двое. Наголо бритый, в очках, тот, который ут-

ром вел переговоры с майором Козыревым, а еще раньше — с Юрате и Машенькой, заулыбался при виде сестрицы, часто закивал головой. Машенька обрадовалась.

— Здравствуйте. Как хорошо, что пришли. Только он все еще не разговаривает... Нет-нет, не там,— остановила их Машенька,— вон он, на второй койке.

Машенька поставила к постели раненого еще одну табуретку. Спасители робко присели, уставились на бескровное, осунувшееся лицо капитана. Тот молчал, перемещая ожидающий взгляд с одного на другого. Старший взял у брата узелок, положил на тумбочку.

— Не обессудьте, что смогли. Яблочки, помидоры прямо с грядки... Тревожились за вас, очень плохой вы были. Надо же, какая беда! И что только делается на белом свете...

Он говорил еще что-то и больше пустое, жалостливое, а молодой как положил на обтянутые клетчатыми штанами колени короткопалые, скованные грубой силой руки, так и сидел, сомкнув рот. Бритоголовый был, похоже, говорун, слова сыпались и сыпались из него без всякой передышки. Повернулся к парню и, сокрушенно покачивая головой, перешел на литовский язык.

Гончаров полулежал на кровати и, чтобы не смущать посетителей, наблюдал за ними из-под книги, которую взялся было читать. В смысл разговора Владимир Петрович не вникал, его привлекал лишь внешний рисунок происходящего, анатомия лицевых мышц капитана и растерянно-неловких посетителей. Литовская речь, обращенная не к раненому, а к другому посетителю, заставила прислушаться к незабытому языку отца и матери.

— Не перешел тут в красную веру?— глядя на брата, говорил бритоголовый, но адресовался явно к лежащему на кровати.— Не сердись, не сердись — любя... Потерпи до завтра. Раньше не могли и не имело смысла. Теперь жизнь спасена, долечивать сами будем.— Ни жесты, ни мимика не соответствовали тому, что он говорил, да и брат, тупо слушая, кивал невпопад.— Завтра за тобой явятся двое военных. Свою фамилию услышишь от них, на нее сделаны документы Изобрази радость встречи. Это не трудно, когда узнаешь своих.

Не меняя интонации, не делая паузы, оборотился к раненому, продолжал тем же тоном по-русски:

— Если нужна будет какая-нибудь помощь — вспомните о нас. Чем можем — поделимся. Тут в узелочке

адресок на всякий случай. А теперь извиняйте, не будем утомлять вас. Отдыхайте, поправляйтесь.

Посетители встали, раскланиваясь, попятились к выходу. Машенька проводила их. Лишь только закрылась за ними дверь, Гончаров поднялся, накинул халат

— Пойду на перевязку, поди, забыли про меня,— сказал для всей палаты.

Гончаров уже достиг лестницы, ведущей на третий этаж, когда его нагнал старший лейтенант Середин:

— Ты куда, Владимир Петрович? Перевязочная там,— с улыбкой показал он в конец коридора.

Застигнутый врасплох, Гончаров растерялся, не нашел, что ответить. Середин взял его под руку и повел наверх, к лестничной площадке, где можно было поговорить без опаски быть услышанными.

— К начальству направился? Не надо, лейтенант. Козырев знает, другим без надобности.— Подумал, стоит ли таиться от Гончарова. Решил, что не стоит. Пояснил:— Не смотри на меня удивленными глазами. Из органов я. Обо мне до поры до времени... Понял? Никакой я не раненый. Ранен, конечно, но не так, чтобы госпитальные простыни изнашивать. Из-за этой сволочи тут.

По коридору мягко зашуршала колесиками порожняя больничная каталка. Двое санитаров направились к угловой палате.

— За ним,— усмешливо покосился Середин,— ну-ну...

— Ты хоть пожалей меня, разъясни. Голова разламывается.

— О каких военных говорил очкарик губошлепу?— не ответил Середин.— Я по-литовски так себе.

— Не губошлепу, а вот ему.— С площадки, через дверь, видна была часть коридора второго этажа. Каталка следовала в обратном направлении, Гончаров кивнул в ту сторону.— Сказано ему вот, капитану этому.

— Он такой же капитан, как я папа римский. Ну?

Гончаров почти дословно передал сказанное старшим Калнаускасом и спросил:

— Кто он такой?

— Думаем на одного. Не простого замеса фигура. Вон какая рискованная забота о нем. Эту банду мы еще в августе в схронах притиснули. Верхушка с частью людей ускользнула все же. Теперь рассыпались ухорезы на мелкие группы, нашу армейскую форму напялили. Видал — даже в городе появляться стали.

— Как же они эту «фигуру» сюда решились?

— Что им оставалось делать? До утра бы не дожил, ребята из него дуршлаг сделали. Был уже такой случай. Правда, ту падлу сразу после операции выкрали. С этим медлят, подлечить хотят.

— Выкрали где-то А здесь? Как же ты один? От нас, калек, не велика помощь

Так и хотелось сказать: «Какие вы все умные, одни мы дураки», но не сказал, приткнулся к окну, высматривая своих помощников среди слоняющихся по двору раненых.

— Пойдем на свежий воздух, покурим,— замял Середин вопрос Гончарова.

— Переодеться только схожу. В город нацелился. Надо Юрате в военкомат проводить.

— Ты, кажется, рисовал этого? Захвати рисунок, вернем после

В перевязочной раздался дикий крик, хлопнула дверь, застучали каблуки панически бегущего человека. Крик перепуганной женщины несколько раз повторился в коридоре Середин и Гончаров успели проскочить до двери и увидеть летящие на них безумные глаза Юрате, ее в ужасе прижатые к горлу руки. Не видя никого, едва не сбив Середина, она прогремела по железным ступеням к выходу. У Гончарова тревожно и больно заныло в груди, рванулся было за девушкой. Из перевязочной вышла старшая хирургическая сестра Тамара Зубарева. Гончаров кинулся к ней. Тамара не сдержала прихлынувший гнев, крикнула впустую·

— Юрате, вернись!

— Что случилось? — в смятении спросил Гончаров

— Понабрали гимназисток миндальных,— кипела Тамара.— Увидела раны под бинтами и. — Тамара махнула рукой и направилась обратно в перевязочную.

На шум из палат высыпали ходячие, выпорхнула из угловой и обеспокоенная Маша Кузина:

— Владимир Петрович, что тут? Кто кричал?

— Машенька,— приобнял ее за плечи Середин и повернул лицом к лестнице,— беги домой, успокой Юрате. Плохо твоей подружке.

Машенька охнула — и коса ее вихрем метнулась в лестничном марше.

— От вида ран и крови девчонки в обморок хлопаются, а не орут по-звериному,— сказал Середин

— Что ты этим?..

— Биографию Юрате Бальчунайте я знаю не хуже тебя, лейтенант. В этом человеке мы предполагали... Только предполагали. Бальчунайте могла узнать.

— Кого?

— Йокубаса Миколюкаса... Ты вот что. Переодевайся по-быстрому и дуй к девчонкам. Кузина там бессильна. После такого шока Юрате, поди, все русские слова забыла. А я тут с Козыревым...

— Козырев Васю Курочку оперирует.

— Найду с кем. С Валиевым, с Пестовым... Под страхом смертной казни закроем прогулки в город. Своих подготовлю. Эти сволочи на машине могут пожаловать... с красным крестом на борту. Как бы гранату в окно не швырнули, с них станется. О пожаре в госпитале, в университете который, слышал? Их рук дело.

— Если это Миколюкас, он тоже мог узнать Юрате,— забеспокоился Гончаров.

— К себе в медпункт перенесем. Есть у нас комната с решетками в стиле ампир.

— Как же те двое — толстяк с парнем? Уплывут, неровен час.

За этих двух Середин не беспокоился, им на хвост еще с утра сели. Пощурился на Гончарова, не сдержав улыбки, ответил ушорканной в своем кругу забавкой:

— У нас оперов не хватает, а тут готовый груши околачивает. Поторопись, пожалуйста...

Дверь была заперта. От бега по крутой лестнице Гончаров запыхался. Передохнул, постучал тихонько. На вопрос Машеньки ответил:

— Я это, Маша, Гончаров.

— Ой, Владимир Петрович!

Проворачиваясь, скрежетнул ключ в скважине, дверь распахнулась.

— Что закрылись?

— Страшно.

— Кого бояться, глупенькие. Где Юрате?

— В комнате. Кричит и кричит. Что кричит — не пойму. Сумку собрала, потом опять упала без памяти. Какие бандиты ее напугали?

Юрате лежала лицом в подушку, билась в истерике. Гончаров сразу перешел на литовский язык.

— Юрате, милая, что с тобой? Встань, успокойся...

Владимир Петрович не ждал, что Юрате сразу услышит его и откликнется, протянул руку к судорожно вздрагивающему плечу, но Юрате рывком подтянула ноги и села. Непонятно, узнала Гончарова или приняла за кого другого, лицо некрасиво исказилось. Не владея собой, разбросанно закричала:

— Ненавижу! Всех ненавижу! Все вы, все... Красную Армию ненавижу! Служат... Убийцы служат! Миколюкас... Ненавижу! Не хочу в военкомат, ничего не хочу! Из окна лучше, в петлю...

Судороги сотрясли Юрате, она переломилась лицом в колени, волосы взлетели веером, рассыпались. Гончаров решительно сел рядом, обхватил ее здоровой сильной рукой, заставил выпрямиться.

— Милая, родная,— говорил он тихо и ласково, а рука мощно, до боли в костях сжимала тело Юрате,— успокойся, милая...

Юрате ощутила боль, повернулась к нему. Забинтованной культей Гончаров стал разводить пряди, заглядывая в глаза Юрате.

Обожженные страданием, немигающие, они дрогнули ресницами, увидели отсеченную руку.

— Вла-адас!! — безумно закричала Юрате и припала к его плечу.

Гончаров сидел недвижно, бережно поддерживал отторгнувшуюся от всего Юрате и слушал, как мокнет, пропитывается слезами его гимнастерка.

— Что же это такое, Владас, что?— глухо доносился до него слабый голос Юрате.— Как жить? Надо ли жить?

Гончаров не отвечал, давал возможность выплакаться, облегчить сердце. Машенька завороженно стояла у дверного косяка и ни слова не понимала из разговора на чужом для нее языке.

Потускнение проходило, задубевшее в нервном припадке тело Юрате стало слабеть, реже вздрагивать. Гончаров нежными словами подбирался к сознанию бесконечно дорогого ему человека:

— Успокойся, Юрате, мне больно от твоих слез, успокойся, родная моя, мечта моя... Миколюкас не служит в Красной Армии, он враг, он надел чужую форму... Жить надо, Юрате. Тебя все любят. Посмотри, как страдает Машенька. Я тоже страдаю, потому что люблю тебя, очень люблю. Надо жить, милая. Мы будем жить, еще придет к нам много хорошего..

Когда вошли старший лейтенант Середин с майором Валиевым, Машенька хлопотала у стола, готовила чай. Юрате стояла возле Гончарова, боялась даже на мгновение покинуть его, утерять влитую в нее крохотную живинку Мингали Валиевич быстро оценил обстановку, тепло подумал о Машеньке: «Какая ты славная, балякач». Обнажая в рыжих крапинах лысину, снял фуражку, бросил ее на подоконник и бодро поддержал бесхитростную затею Машеньки:

– Чай с вареньем? Всем, всем за стол! Командуй, Мария Карповна!

Гончаров не оглянулся на их приход, грустно смотрел на Юрате и говорил проникновенно, обвораживающе:

— Юрате, мы пойдем с тобой в город, сейчас.. Пойдем на Замковую гору, взберемся на башню Гедиминаса, ветер родной Литвы осушит твои слезы...

Юрате обратила к нему землистые впалости глаз, в слабой улыбке шевельнулись ее припухлые, утратившие цвет губы:

— Пойдем, Владас, пойдем...

После некоторой паузы, считая все же более знающим не ранбольного старшего лейтенанта Середина, а начхоза Валиева, Машенька спросила его:

— Мингали Валиевич, а что с бандитом? Куда его?

Валиев пожал плечами, а Середин ответил на это с решительной жесткостью:

— Вылечат, а потом — расстреляют. Куда его больше!

Что-то невероятное явилось Машенькиному уму. Ее лицо становилось все бледнее и бледнее, все шире и шире открывались ее налитые теперь ужасом глаза. Тарелка зыскользнула из ее ослабевших рук, разлетелась звонкими черепками.

— Мамоньки! — вскричала Машенька.— В нем же моя кровь!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Якухина в обмундировании палата видела и раньше. Как все ходячие, он держал его в тумбочке, надевал, когда надо было наведаться в овощную лавку пани Мели за самогоном или еще за чем, а то просто выйти в город, прогуляться до Кафедральной площади, поглазеть

на местных литовских и польских красавиц, понаслаждаться их лукавыми взглядами. Не такой уж он старый да бросовый, чтобы отворачиваться от него, а что лысина во всю голову... Под пилоткой-то кто ее видит. Так что оглядывался кое-кто, проявлял интерес к ядреному мужику Якухину. Правда, дальше этого дело не заходило, не из решительных он был для установления быстротечных контактов, трусоват даже. По городу ходили слухи, проникли и в госпиталь: слюбился один офицер с литовской девицей, а ему записка: «Оставь девку в покое, москаль, оскопим». Где там! Такой герой, что море по колено. Догеройствовал голуба, с четвертого этажа живьем выкинули. Пикантные приключения Якухину без надобности — не хватало еще таким манером богу душу отдать.

Гимнастерка и бриджи Якухина заштопаны где надо, выглажены до свадебной приглядности. Надя Перегонова постаралась. Даже медали зубным порошком надраила. И не пропотевшую по овалу пилотку наденет сейчас Якухин — вчера еще извлек из сидора фуражку, придавленную до тоньшины блина, вставил в нее целлулоидную пластинку, поднял тулью Вон она какая! Словно генеральская, лежит на кровати Только вот физиономия у Якухина совсем не жениховская - выписывают мужика, признали подходящим для строевой службы.

Якухин смотрит через окно во двор, расстроенно крутит пуговицу и брунжит, как осенняя муха между рам:

— Гляди-ко, до чего додумался, ядрена вошь. Строем вести хочет Ну и лейтенант, ну и службист, мать его за ногу. Офицеров, солдат — всех в строй пихает. Ух, как не терпится покомандовать: «Ать-два, левой-правой...» Нет уж, до резерва сам дорогу найду, с прибором я положил на твою шагистику Хоть я и младший лейтенант, но офицер все же, никак второй год в командирах хожу. Мог бы и лейтенантом, и старшим стать, да грамотешка вот... Да не звездочки — топор бы мне... Вернусь домой, опять плотничать буду.

Все документы у Якухина на руках — и предписание, и продовольственный аттестат, и вещевой, и пистолет возвращен в целости-сохранности. Напоследок забежал в палату, чтобы заново попрощаться с товарищами да сестрицами, вроде не все им сказал, забыл что-то. Давно забежал, а до прощания дело все еще не дошло. Стоит к палате спиной, смотрит во двор, где толкется едва не сотня людей с подправленным здоровьем, боится обо-

ротиться, встретиться глазами с Борькой Басаргиным, с Петром Ануфриевичем, с молоденьким майором Смысловым... Застрял комок в глотке — не проглотишь, хоть бери прутик и просовывай. Робеет смотреть на товарищей — чего доброго, слезу пустишь. В его-то возрасте вроде бы не пристало.

А тут еще всякие мысли, будто он не Якухин, а тот — как его?— который в бочке о высоких материях рассуждал. Чего проще, кажется, подойди, подай лапу, пожелай выздоровления... Так нет, чешет в затылке, соображает, как лучше сказать — до свидания или прощайте. На смерть, что ли, собрался, чтобы прощаться? Ужас как она ему нужна, так бы и побежал за ней вприскочку! До свидания — тоже... Ладно, мужикам — куда ни шло, дескать гора с горой не сходится, а человек с человеком, глядишь, и встренется. А как сказать медицинским сестричкам? Прощайте — тоже не годится, тут и спору нет, а до свидания означает — до встречи, выходит, опять калечество? Была охота! Может, с Надей — до встречи? После войны, а? Надя, пожалуй, порадовалась бы. Да и он тоже. Только ведь жена есть, детишки...

Недоволен собой Якухин: вот же какой глупоумный. В бочку-то тебя бы. В железную — да с горки...

Надя Перегонова, вытянув ноги и скрестив под грудями руки, сидела возле столика палатной сестры, смотрела на Якухина. Жалко или нет, что расстаются? Конечно, жалко. Пообнимались, в любовь поиграли — как не жалеть! Только в сердце нет никакой боли, вроде злость какая-то. И не поймешь — отчего? Сердце-то щипцами схватывает, когда Сереженьку, муженька ненаглядного, вспомнит. Одни косточки, поди, остались, а любовь к нему все равно тут, не проходит. По вдовьей слабости, пока на наружность пригляднa, может, еще к кому не раз притулится, а любить... Н-не-ет, ни о ком больше душа ее так страдать не сумеет. После скороспелой любви только психуешь, как малокровная...

В палату вошла Машенька. На ней лица нет. Подалась сразу к Наде. Встала перед ней как вкопанная, лишь пальчики нервно двигаются, расплетают и заплетают кончик косы.

— Ты что такая, Машка?— тревожно вскочила Надя Перегонова.

— Арина Захаровна приехала,— дрогнувшим голосом сообщила Машенька.

— Какая еще Арина?

— Арина Захаровна, жена Василия Федоровича.

— Вот это да! — восхитилась Надя.— Чего же ты такая пришибленная? Радоваться надо.— И с нервной усмешкой окликнула Якухина: — Ранбольной Якухин, слыхали? За тысячи верст примчалась.

— Перестань, Надя.

Голос Машеньки испугал Перегонову. Не спуская глаз с подруги, в предчувствии чего-то ужасного, она, слабея, опустилась на стул. Машенька повернулась к притихшей, томяще-скованной палате.

— Родненькие,— сквозь слезы произнесла она,— Василий Федорович умер Только что...

Подлежащих операции Тамара вводила в наркоз превосходно, у нее было изумительное чувство капли, она безошибочно улавливала момент, когда живой дух оперируемого отключается от действительности, человек впадает в оцепенение и теряет болевую чувствительность.

Из черной склянки падают и падают капли эфира на марлевую маску, что лежит на лице Василия Федоровича, он вдыхает летучий дурман, и тот забирается в легкие, всасывается кровью, проникает в мозг. Напряженное ожидание того, что произойдет, пока он пребывает в небытие, страх, что никогда не вернется из этого небытия, перестают тревожить, гаснут В какой-то момент Василий Федорович услышал апоплексический рев пикирующего бомбардировщика и тотчас рухнул в провальный сон, видимо, с последней каплей анестетика

Вводилась донорская кровь, антибиотики, убраны пораженные мышцы, из суставной сумки удалена бедренная кость, но заражение, начавшееся в давно отсеченной голени, не сдавало своих позиций и все беспощаднее подавляло сопротивление организма. Еще до операции ясно было, что адский труд, за который берется Олег Павлович,— всего лишь наивысшая степень отчаяния, что он не сотворит чуда. Но он работал. Сильные, натренированные и чуткие руки кружевницы, музыканта, иллюзиониста — талантливые руки хирурга, направляемые предельным напряжением нервов, в течение нескольких часов тщились спасти жизнь Василию Федоровичу. Но чуду не суждено сбыться, заживления не будет.

Тогда зачем, кому нужно то, что он, изматываясь,

сделал? Кому конкретно? Обреченному младшему лейтенанту или ему, Козыреву? Вроде бы — никому. А что прикажете? Биться до последней крохи надежды или с постной миной присесть на край постели Василия и развести руками: все, дорогой товарищ, скоро помрешь... Где тут разумные начало и конец деонтологии?[1]. Нет, нужно было то, что сделал,— и младшему лейтенанту, и ему, врачевателю, и всем раненым, всему персоналу госпиталя...

Козырев бросил резиновые перчатки в раковину, открыл на несколько оборотов кран, приткнулся лбом к стене и подставил истомленные руки под напористую струю. Слушая, как гудит усталость в расслабленном теле, Олег Павлович с предельным равнодушием вспомнил профессора Прозорова, под началом которого работал в дни наступления на Харьков и который, отметая все доводы, противился операции на руке Ивана Сергеевича Пестова. Высоко ценивший собственное имя, он был уязвлен торжеством козыревской правоты. Встав к операционному столу в качестве ассистента рядового хирурга, профессор Прозоров не дал покачнуться своему авторитету, но, самолюбивый, занимающий теперь пост начальника управления госпиталями, он, как казалось Козыреву, едва ли оставит без сурового внимания печальный факт с младшим лейтенантом Курочкой.

Тамара Зубарева и Серафима с помощью двух санитарок бинтовали тяжелое, утратившее природную форму туловище Василия Федоровича, Полина Андреевна Свиридова, помогавшая Козыреву во всех сложных операциях, печально следила за редким, едва слышным пульсом Василия и поглядывала на свою сестру Анну Андреевну, которая готовилась к повторному переливанию крови. Полина Андреевна оторвалась от своего занятия, налила воды из графина и подошла к Олегу Павловичу. Увидев стакан, Козырев с усилием выдавил:

— Не хочу.

— Просто пополощи.

Она по опыту знала, насколько тревожаще неприятен металлический привкус во рту — следствие дикого переутомления — и что Козырев еще долго не сможет распознать истоков дурноты и будет мучиться.

---

[1] Деонтология — учение о юридическнх, профессиональных н моральных обязанностях и правилах поведения медицинского работнңка по отношению к больному.

Олег Павлович принял стакан, слил до половины, возвратил Полине Андреевне.

— Плесни спирту.

Переждав, пока обмякнут перетянутые нервы, спросил:

— Пульс?

— Хуже. На грани остановки. Что дальше?

Олег Павлович посмотрел на нее бешеными глазами. Полина Андреевна выдержала этот взгляд, ждала ответа.

— Все то же. Кровь, антибиотики. Пробуйте мизерными дозами вводить в костный мозг.

От полного забытья к призрачной полуяви возвратился Василий Курочка не скоро. Проблеск сознания был слишком коротким, и все же Василий воспользовался им, сообразил что-то, выдавил с гортанным клекотом:

— Арр-рин-на...

Мужская слеза не по щеке катится — по нутру, горлом, и жгуча она, как паяльная кислота.

— Арр-рин-на...

Не поняли его врачи Свиридова с Чугуновой, не поняли и сестры — Тамара с Серафимой. Поняла бы его, будь она здесь, лишь палатная сестра Машенька Кузина, ответила бы на его клекот, успокоила. Еще три дня назад догадалась она, о чем думает Василий Федорович, отчаянно не верящий в подползающее тихой сапой, думает и не смеет сказать об этом, и тогда она сделала, как ей казалось, то, что ему хочется. Собиралась сделать одна, тайно, ведь у начальства могли оказаться какие-то убедительные доводы, которые, неровен час, поколебали бы ее решимость, но не было рядовой медсестре хода на телеграф. Готовая со слезами упасть в ноги, Машенька пришла к замполиту Пестову. Не пришлось его уговаривать. Иван Сергеевич вынул из кармана деньги, какие там были, прикинул — сколько их, и сразу отправился в город.

И вот приехала к Василию Курочке жена Арина Захаровна, его Арина. Не хватило какой-то малости, чтобы увидеть милого и гулящего, нежного и сварливого, всегда желанного мужа живым.

В военкомате, с которым связался Иван Сергеевич Пестов, тугих головой и сердцем пеньков, похоже, сроду не было. В разгар уборочной сотрудники комиссариата сумели вызволить женщину из глухой рязанской деревень-

ки, снабдить ее бумажкой с печатью, воинскими проездными в Литву и обратно. Но что поделаешь... Были бы крылья, на них бы примчалась Арина Захаровна, но телячьи теплушки и даже идущие на прогон эшелоны с воинскими грузами, в которые подсаживали коменданты станций, не заменили ей крыльев.

Песчано-сыпучая тропинка кладбищенского холма утяжеляла шаги и без того нескорых на ногу людей: мешали незажившие раны и слабость, приблудившаяся в долгом лежании на лазаретных матрацах, мешали гипсовые повязки на телах, подпираемых костылями и тросточками. Дубы, каштаны, клены траурно гудели кронами, изредка роняли отжившую листву под ноги распавшейся, уныло бредущей процессии. Цепочкой опережая всех, спешат солдаты, занаряженные старанием старшего лейтенанта Анатолия Середина в полку НКВД. Молодые, забывчивые на го́ре, они жизнерадостно перекликаются о своем. Заполошно орут над древним Антакальнским кладбищем вороньи стаи, вспугнутые прощальным грохотом автоматов этих солдат.

Госпитали своих не спасенных, умерших воинов редко хоронят вот так — с залпами и скорбными речами у гроба. Чаще уносят и зарывают их в ночной тиши, словно тайком, и солдаты, которые бились с врагом бок о бок, ложатся в землю братской фронтовой артелью, плечом к плечу. Василия Курочку проводили в запредельный мир с воинской почестью и в персональной могиле, непривычной окопнику малых чинов.

Госпиталь с латинского означает «гостеприимный», а тут так и просится старинное русское слово — недужница. Гостеприимность предполагает все же благополучие от и до, а недуг — он и есть недуг, чем кончится схватка с ним — бабушка надвое сказала. И нет в том вины врачей и медицинских сестер-заботниц, когда они становятся бессильны перед загадочным, непредсказуемым, не до конца познанным. Виновата война, виноваты те боговы существа, которые придумали ее своим пещерным умом и наделили людей способностью калечить и убивать друг друга.

Арина Захаровна — низкорослая, выветренная и высушенная крестьянским трудом, с выплаканными глазами в охряных обводьях — трудно переставляла ноги,

сгибалась под тяжестью свалившейся на нее беды. Иван Сергеевич поддерживал ее и не смел тревожить участливым разговором сбивчиво-сиротливые вдовьи думы.

В марлевых косынках, наспех перекрашенных в черный цвет, обособленной группой спускались с холма милосердные сестры. Машенька испуганно, в неприятии происходящего прижималась к жаркому телу Нади Перегоновой, плакала.

Осторожничали, пробно тыкались костылями Агафон Смыслов и Петр Ануфриевич. Всхлиписто дергая носом, ломился кустами Боря Басаргин.

Инвалид первой мировой войны Юлиан Будницкий и начальник аптеки Иосиф Лазаревич Ройтман, успевшие за помин души притаенно хлебнуть спиртного, ковыляли лишь с помощью друг друга. Будницкий, как лошадь, мотал рыжей головой и хмельно тянул в причете: «Нех бендзе жолнеж похвалены...»[1].

Шли под руку далеко приметные, рослые и ладные, сближенные тяжкими испытаниями и потянувшиеся друг к другу литовская девушка Юрате Бальчунайте и Владимир Петрович Гончаров — урожденный Владас Бэл. Горечь общих переживаний томила их, но в душах было и что-то иное: очень и очень личное, вроде бы и грешное в данный момент. Юрате временами спохватывалась и быстрым движением руки где-то у ложбинки, приютившей наперсный крестик, закрещивала этот грех.

Тугой напор ветра качнул макушки деревьев, в беспорядочном парении стали спускаться к земле обломившиеся листья. Падали они с неохотой, обреченно цеплялись за сучья, припадали к шершавым стволам, всей плоскостью опирались на что-то невидное и упругое, косо скользили по этой упругости, метались в беспомощном желании вернуться в вышину. Владимир Петрович приглашающе подставил ладонь резному листу клена, тот отверг приглашение, панически откачнулся, простерся под углом вниз и лег на былинки травы. Гончаров нагнулся, поднял его. Лист был спелым, погибшим без естественного увядания. «И тут...»— было подумал Гончаров и с опаской глянул на Юрате: как бы не угадала его тоскливую мысль.

Якухина не было на кладбище. Бездушный лейтенант из резерва, упоенный краткосрочной властью, все же поста-

[1] Пусть будет славен воин... (*польск.*).

вил его в строй. Тело Василия Федоровича сберегалось в погребе на рыхлеющих глыбах льда, припасенных еще немцами, там и простился с ним Якухин.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Арина Захаровна уезжала на другой день после похорон, военные летчики посулились пристроить ее на идущий до Москвы самолет фельдъегерской связи. Время до отлета было, и Арина Захаровна вместе с приютившими ее сестрами пошла на кладбище доплакать недоплаканное.

Возле свежеухоженной могилы Василия Федоровича застали Щатенко, Смыслова, Борю Басаргина и Владимира Гончарова. Гончаров заканчивал покраску пирамидки с жестяной звездочкой. Арина тяжело опустилась рядом с могильной грядкой, приникла к пластам дерна, молча, без слез, как когда-то чуб своего ненаглядного, стала перебирать, запутывать в косицы застаревшие разномастные травы. Перенесенные вот этими израненными с родного места травы приживутся здесь, прорастут корнями глубже и ближе к праху ее мужа, породнятся с ним...

Умирали в те дни не только солдаты. В отдалении среди католических крестов с распятиями хоронили кого-то местные жители. Только что стихло протяжливое, глухо давящее песнопение, и от той могилы, где чернела кучка людей, к могиле Василия Федоровича неторопливой в своей траурности поступью, в смелой независимости подошел к группе сестер и раненых священник. Прислонив костисто-венозную стариковскую руку к висящему на груди кресту, нисчуть не смущаясь присутствием иронично настороженных безбожников, одетых кто во что — в офицерскую форму, в мятые пижамы и халаты военной лечебницы,— ксендз, всем кивнув головой, с грустной участливостью остановил взор на Арине Захаровне. Чуть отведя от груди массивный крест, он покачал его туда-сюда, заговорил хрипловатым отеческим баритоном:

— И да примите свою долю страданий, как добрая дочь Христова, и осилите вы печаль и скорбь земную твердостью духа. В любви и бескорыстии ближних, с помощью божьей укрепитесь в решимости взрастить деток достойными имени родителя своего, в сече с черной силой сложившего голову. Во имя отца, сына и святаго

духа...— Он снова покачал тяжелый ажурно-сквозной крест, казалось, сейчас протянет его к губам Арины Захаровны. Но он не сделал этого.

Арина Захаровна, не крестившая лба с тех пор, как в деревне организовалась комсомольская ячейка, смиренно прошелестела сухими губами:

— Спасибо на добром слове, батюшка.

Офицеры пригасили иронию в глазах, слушали сочувственную речь с почтением и признательностью. Только на лице Петра Ануфриевича Щатенко появилась и тут же исчезла откровенно неуважительная ухмылка. Окажись эта встреча при других обстоятельствах, желчный майор не упустил бы случая затеять полный сарказма разговор с человеком, возведшим в ранг профессии малопочтенное занятие — сеять иллюзии.

Неприязненная ухмылка лишь промелькнула, но была схвачена и разгадана много жившим служителем культа, он задержал на Петре Ануфриевиче глубоко проникающий взгляд отставших в старении глаз, тот жестко не отвел своих и внутренне восторгнулся: «Вот это попище! Не чета нашим толоконным лбам. Не насквозь если, то до печенок видит».

Цепкий взгляд ксендза длился не дольше того, что приличествует его сану и просто воспитанному человеку, он переместил его на Гончарова, узнавая, спросил политовски:

— Что не пришли, Владас? Я ждал вас.

Гончаров слегка приподнял плечи, повел здоровой рукой в сторону могилы: дескать, сами видите — почему. Ксендз выдвинул ужатые губы, с пониманием и скорбью покивал головой.

— Картины я привез, пока у меня. Днями передам в музей.

— Уже — музей? — вскинул брови Владимир Петрович.

— Горсовет старается, готовит помещение. Устроение картинной галереи, надеюсь, не обойдется без вашего участия.

Ладонь Юрате лежала в сгибе раненой руки Гончарова, покойно устроенной в перевязи. Обращая его внимание на сказанное, Юрате сжала локоть Гончарова. Тот благодарно улыбнулся: слышу и понимаю радость за меня.

Прощаясь, ксендз сложил ладони палец к пальцу, в кивке коснулся их подбородком и, минуя заросли глухой

пустостеблевой крапивы, вышел на аллею. Двинулась домой и госпитальная группа. Те, кто собрался на аэродром, вышли боковой калиткой к сигналившей машине. Простившись с Ариной Захаровной, умаянно брели к воротам Смыслов, Щатенко и Гончаров с Юрате. Боря Басаргин с лопатой на плече плелся позади товарищей и время от времени шумно вбирал в себя воздух. Вздыхал, молчал и вдруг громко и с вызовом объявил:

— Пойду и напьюсь!

Никто не принял этого всерьез, никто не ответил бесприютно отставшему Боре. Надеясь, что все же услышат, не станут перечить и он тогда действительно ухромает в склеп пани Мели и надерется там сивухи до чертиков, Боря снова громко объявил в спины впереди идущих:

— Вот пойду и напьюсь!

Обернувшись, Смыслов строго погрозил пальцем. Всхлипнув, Боря перебрался через сточную канаву. Выставив перед собой лопату, полез в заросли ольшаника. Хотелось упасть где-нибудь, погоревать в одиночестве.

Майор Щатенко, приноровившись к костылям, ставил их довольно уверенно и смело перебрасывал тело вперед. Когда заметил, что удалился от своих спутников, придержал нескладную прыть. Дождавшись, сказал про ксендза:

— Занятный старик. Потолковать бы с ним о чем-нибудь неземном. Можно и о земном.

— За чем же дело стало? — спросил Смыслов и повел глазами в сторону кладбищенских ворот.

Ксендз сидел неподалеку от выхода на врытой в землю скамейке в одну доску. Когда подошли, он сдвинулся на край, сделал приглашающий жест. Сел только Смыслов. Петр Ануфриевич отдыхал, навалясь на костыли. Стоял и думал: сколько же лет отцу святому? У сидящего в утомлении возрастная изношенность проглядывает отчетливей. Глубокие косые канавки от носа к уголкам губ, отвислые щеки, дряблые складки на шее — в сетчатых морщинах. Глаза вот без блеклости, ясные, но бурые сумки под ними водянисто набрякли. Старый все же.

Старый... Стареют все, кого на войне не убивают. Но был ведь молод, и, по всему видно,— парнем не из последних, девичьи сердца, вне всякого, сохли по нему. Какая же нелегкая толкнула принять духовный сан, а с ним и целибат — жесточайший обет католика? Безбрачие для обретения благодати? Какая уж тут [illegible] без

женского пола! Святым духом обходятся? Вот уж чему не поверит Петр Ануфриевич так не поверит!

Юрате оробела в обществе ксендза и, не поддавшись на уговоры Владимира Петровича, ушла разыскивать Борю Мрачное обещание парня напиться пугало ее.

Молчания никто не нарушал, и оно неловко затягивалось. Смыслов поглядывал на Петра Ануфриевича и мысленно пытал его: «Что же воды в рот набрал, друг ситный? Куда девалась твоя решительность?» Чего-то ждал от Щатенко и ксендз. Атмосфера возле скамейки начинала, похоже, потрескивать. Петр Ануфриевич чувствовал это нутром и злился на себя за легкомысленно высказанное желание «потолковать», злился и на Смыслова: эк он, супостат, зажевывает ухмылку, не ямочки на щеках — бесенята.

Агафон Смыслов сжалился над майором Щатенко, решил сбить с пути назревающий никчемушный разговор. Повернулся к Гончарову, спросил:

— Владимир Петрович, как посмотришь, если командируем тебя за коньяком «три бурака»? Не с тем, чтобы напиться, как кричал этот дурачок, но помянуть Василия Федоровича?

Петр Ануфриевич оживился:

— Это дело. Вчерашняя мензурка — разве поминки?

Вытягивая забинтованную ногу по костылю и откидывая полу халата, он полез в карман фланелевых больничных штанов. Гончаров отмахнулся: дескать, обойдусь без твоих червонцев.

Поддернув сутану, ксендз счищал палочкой налипшую на башмаки могильную глину. Согнутый, с жалко выпирающими лопатками, он скользом бросил взгляд на Смыслова и достойно оценил его незатейливую дипломатическую гибкость.

Отче собирался прямо с кладбища увести с собой Гончарова, показать спасенные от разграбления полотна литовских и польских художников, но предложение чубатого офицера помянуть покойного товарища толкнуло несколько изменить задуманное. Он снова посмотрел на Смыслова и, как бы призывая его в союзники, произнес с обкатным акцентом прибалта:

— Молодой человек, вы когда-нибудь пили мидус?

— Если это то, чем торгует пани Меля...— потянул Смыслов плечи к ушам.

— Нет-нет,— прервал его ксендз.— Меланья Верж-

бицкая торгует плохим самогоном, отравой, а мидус пью даже я без риска для своего слабого сердца Это легкий медовый напиток. Буду признателен, если друзья Владаса... Владимира Петровича. . Дом мой возле храма, совсем близко, а мидус — в погребе.

— Он хоть освящен, напиток ваш?— пылая капитулянтской улыбкой, спросил Петр Ануфриевич.

Старик понял Щатенко так, как тому и хотелось быть понятым, ответил в тон ему:

— Разумеется, освящен Вековыми обычаями моего народа

Уже не мысля ни о каком диспуте со служителем католической церкви, Щатенко воскликнул.

— О, какое совпадение обычаев литовского и украинского народов!

Смыслов добавил:

— Русского народа - тоже. С благодарностью принимаем ваше приглашение, но... Извините, не соображу, как называть вас. Отче духовный, батюшка или еще как-то из наших уст, согласитесь, несколько несерьезно.

— Имя мое Альгирдас Путинас. Можно — отец Альгирдас или просто — отец Нет-нет, не в смысле духовного сана. Когда слышу обращение ко мне — отец... Это очень приятно греет мое больное и старое сердце

Помолчав, Смыслов повторил:

— Мы принимаем ваше приглашение, отец, но отложим встречу до другого раза Уходились на трех-то ногах

— Да-да,— согласился отец Альгирдас,— понимаю, сочувствую. А мидус я вам все же пришлю. С Владимиром Петровичем. Вы пойдете со мной, Владас?

Гончаров согласно кивнул головой, представил своих товарищей:

— Агафон Юрьевич Смыслов (взгляд ксендза следовал за его жестом), Петр Ануфриевич Щатенко

— Петр Ануфриевич...— повторил священник и, печально глядя в глаза безбожника Щатенко, с горечью продолжил: — Петр.. Петрас... У Мариёны сын родился большим и крепким мальчиком. Мы назвали его Петрас, значит — крепкий, каменный... Он вырос крепким, боролся с гитлеровцами, и они убили его. Петрасу было двадцать восемь... Так и не узнал, что я его отец...

Щатенко как-то враз прозрел и с предельной ясностью увидел под сутаной обыкновенное человеческое горе, и от этого захлебнулся к себе таким презрением,

что перехватило дыхание и по лицу пошли рдяные пятна Петр Ануфриевич притронулся к плечу священника, сказал до хрипоты севшим голосом:

— Мы навестим вас, отец. Мы еще выпьем с вами мидуса, горилки, чачи, водки... За тезку моего — вашего сына. За всех...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Телефонограмма, переданная Олегу Павловичу дежурным врачом, исходила от начальника управления госпиталями генерала Прозорова. Майору медицинской службы Козыреву О. П. предписывалось явиться к нему двадцать пятого сентября в одиннадцать ноль-ноль. Причина не указывалась. Походило, что смерть младшего лейтенанта Курочки возведена кем-то в степень ЧП и надо за это отчитываться. Время похорон Василия Федоровича совпадало с поездкой, и Козырев не мог на них быть.

Выехал вскоре после завтрака: предстоял еще крюк из-за Мингали Валиевича. Понадобился зачем-то и начхоз, только в другом месте — на верхних ступеньках фронтового интендантства.

Случись такое в дни прорыва или наступления, когда людские потери сверх всяких прогнозов и раненые поступают непрерывным потоком, когда санитарное управление фронта заботит лишь общий процент возврата раненых в строй, едва ли кто обратил бы внимание на частный летальный исход, а тут, думал Олег Павлович,— надо же! — нашли время поговорить со строптивым лекарем, не терпится намылить ему шею.

Вздорные мысли суетно лезли в голову, раздражали Олега Павловича. Да нет, не будет ничего этого, успокаивал он себя, скорей всего, в верха поступила информация, как говорится, несколько искаженной. Не такой уж мшелоголовый этот профессор, не пузырьковые у него, как в сыре, пробоины, а нормальные мозговые извилины, есть путь для течения мысли, разберется.

И снова неприятная думка: загодя настроенный постучать пальцем о край стола, Прозоров может сыскать для этого и другую причину. Допустим, роды врача эвакогоспиталя Галимовой Руфины Хайрулловны.. Но уж

тут-то уважаемому Семену Аристарховичу благоразумнее помолчать. Трепать имя любимого человека Козырев не позволит и в самой высшей инстанции...

Майора Валиева в состоявшемся телефонном разговоре раздражила, как он выразился, жеребячья терминология — разнуздались. Ишь ты — разнуздались... Только интендантский Олимп, выходит, со вздетыми удилами, всегда в готовности... Валиев, как и Олег Павлович, сидел в машине взъерошенным, с заранее выпущенными колючками.

Веками складывались в Литве типы сельских поселений. Кучевые деревни с беспорядочно расположенными крестьянскими дворами строились в тринадцатом — пятнадцатом веках (уличные стали возникать позже). В первой половине двадцатого века кучевых селений с так и сяк рассыпанными усадьбами оставалось наперечет. Именно такое местечко и досталось некоторым отделам и управлениям Санупра фронта. Генерал Прозоров занимал удлиненную избу с тесовой крышей и кухней посредине, приспособленной под канцелярию. Рабочий кабинет Семена Аристарховича располагался в левой части дома — в светлице.

Адъютант, хорошо знавший, надо полагать, начальника эвакогоспиталя Козырева, тут же (только взглянул на часы) сделал разрешающий жест в сторону двери. Профессор Прозоров, педант и аккуратист, для которого свят однажды установленный порядок вещей, не мог представить, что кто-то может поступать отлично от него. В рабочей тетради записано: «Козырев О. П.— 11.00», и Прозоров ждал его именно в одиннадцать ноль-ноль. У Олега Павловича создалось впечатление, что Прозоров вышел из-за стола секунда в секунду этого времени и пошел навстречу, как только он, Козырев, потянулся к скобке. Так подумалось потому, что они действительно сошлись в центре светлицы. Высокий и, как все рослые, сутулящийся, генерал подал руку, ощутил ею, давно не державшей хирургического инструмента, сухую от частого мытья антисептиками ладонь Олега Павловича, показал на стул возле письменного стола, назвать который письменным можно было лишь потому, что на нем красовался стакан непрозрачного стекла с карандашами, лежали кое-какие бумаги и увесистые, бог знает для чего нужные здесь конторские счеты.

Ладонь Козырева сказала о многом, и генерал спросил:

— Не запускаете хирургию? А я вот катастрофически становлюсь администратором.

Как и думалось Козыреву, задерганному событиями последних дней, все шло по порядку: рукопожатие благовоспитанного человека, вопрос о врачебной практике, а теперь, следуя логике, в самый раз спросить о последней операции. Не спросил. Повременив столько, сколько нужно Козыреву, чтобы малость оглядеться, прийти в себя после тряской дороги, Прозоров, не садясь, извлек из папки испечатанный лист бумаги. Водрузив очки на хрящеватый нос, убедился, что лист тот самый, который требуется. Подпрямился, выразил лицом некоторую торжественность.

— По поручению начальника санитарного управления...— генерал досадливо махнул рукой.— А-а, не хотелось по телефону, не хотелось и с нарочным. Лично пожелал. Одним словом, вот,— он протянул листок.— Рад за вас и от души поздравляю, Олег Павлович. И не выпучивайте, пожалуйста, грудь, обойдемся без этого.

Листок оказался выпиской из приказа о присвоении Козыреву очередного звания — подполковник медицинской службы. Олег Павлович не стал уставно «выпучивать» грудь и сам протянул руку, чтобы признательно пожать генеральскую.

— Спасибо, Семен Аристархович.

Прозоров водворился в кресло. Поскрипев его деревянными суставами, нашел удобное положение телу, заглянул в «общую» ученическую тетрадь и освежил память вычитанными оттуда строчками.

— Укомплектованность у вас, можно считать, в норме. Нет двух хирургов? Дадим. Сложнее найти окулиста и стоматолога. Зубодер, правда, есть, но, извините, не про вашу честь. К вам с челюстными ранениями направляются в исключительных случаях, а просто зубы лечить... Коронки да пломбы после войны ставить будем. Так что этого товарища определим в другое хозяйство, по профилю. Важно сейчас Ройтману замену найти.

— Кому замену? О чем вы говорите? — насторожился Козырев.— Иосиф Лазаревич — опытный фармацевт, я с ним не собираюсь расставаться.

— Он собирается,— нахмурился Прозоров.— Мне подан рапорт. Догадываюсь, почему в обход вас. Ройтман признан негодным к службе, зачем препятствовать.

— Уточню. Семен Аристархович: негоден в мирное

время. Ограничение для военного времени у него всего лишь второй степени

— Вам мало второй? Если принять во внимание то чудовищное...— Прозоров замолчал, машинально, по стойкой привычке хирурга тренировать пальцы, с завидной ловкостью манипулировал карандашом. Незавершенная фраза была досказана, видно, про себя — о близких Ройтмана, уничтоженных гитлеровцами во львовском гетто.— Ему бы в больничку сельскую, порошки развешивать, лекарственную травку сушить — Опять пауза Недовольно морщась, спросил. — Все еще пьет?

Такой вопрос мог задать только осведомленный человек, и Козырев счел нужным промолчать.

— Вот видите, Олег Павлович. Второй раз вынуть его из петли можете и не успеть.

Козырев в дерзком взгляде скосил голову, проговорил нажимисто:

— Вон оно что... Пусть где угодно, только не у нас?— Усмиряя себя, заверил: — Не допустим до этого. Что касается сельской больнички... Боюсь, Семен Аристархович, что на всех таких, как Ройтман, не хватит больничек.

— Да-да, все так, все верно,— ужав губы, согласно закивал Прозоров.— Вот что, Олег Павлович, пусть за ответом на свой рапорт Иосиф Лазаревич придет ко мне (перелистнул страницу тетради) завтра в четырнадцать.. нет, в тринадцать сорок (записал). Давайте уж как-то общими усилиями, голубчик. М-мда... Я тут пометил... Направим вам двух хирургов, выпускники мединститута.

— Одного хирурга. Жена возвращается из отпуска, так что второй окажется сверх штата... Если не окулиста и не дантиста, то хоть невропатолога верните. На месяц, сказали

При слове «жена» у Прозорова лишь чуть встрепенулась бровь, иной реакции он себе не позволил.

— Вернем невропатолога. Врачу Галимовой мой поклон. На кого же сына оставила?

Гляди-ко, и что сын — знает. Олег Павлович ответил, что решили доверить ребенка матери Руфины Хайрулловны. Обеспечена: огород все же свой, коза...

Прозоров одобряюще выпятил утолщенную нижнюю губу.

— Козье молоко для грудного — это прекрасно. Еще студентом занимался козьим, верблюжьим, кобыльим

Даже статейку тиснул в медицинском журнале. Не читали? М-мда... Давно это было, ох как давно. При царе-батюшке.— Глянул на часы, заторопился.— Уклонились мы. Я вот зачем вас, Олег Павлович. Попало мне кое от кого, считаю, больше, чем заслужил, попало, так что, не взыщите, поделюсь излишками. Без предосторожности готовим наши лечебницы к предстоящим наступательным операциям. За это взгрели. Теперь другим займемся — подготовкой нескольких госпиталей, в том числе и вашего, к передаче другому фронту. Постараемся вместе понять, что это такое, с чем эту штуку едят. Когда в доме идут приготовления к приему гостей, наблюдается одна картина, и совсем иную картину можно увидеть, когда семья собирается покинуть насиженное место, переселиться. Будем «переселяться». Работу надо вести, разумеется, в обстановке строжайшей секретности, но и.. Как бы люди ни старались скрыть свой переезд, абсолютной тайны они не добьются, утечка истины так или иначе неизбежна. Кроме того...— Прозоров прислушался к тому, что наговорил Козыреву, кривовато усмехнулся.— Извините, Олег Павлович, старый эскулап, кажется, забрался в чужие владения. Вас, а не противника, скорее всего, введу в заблуждение. Тут неподалеку, в соседней избе, находится очень серьезный и умный подполковник, специалист своего дела. Так что об этой окаянной дезинформации — с ним· Понимаете, какая ответственность на нас ложится?

— Понимаю. В общих чертах, конечно.

— Детали — у подполковника. Желаю успеха,— генерал поднялся, давая знать, что пора закругляться В паузе ловко помотал пальцами остро заточенный карандаш, плавным движением опустил (водворил!) его в стакан, повыпячивал губу.— В сводке о летальности, Олег Павлович, выделен случай во вверенном вам... Что это — профессиональная ошибка хирурга?

— Ошибки не было. А вот вина... есть.

— Чья? Конкретно.

— Пальцем ни на кого не покажешь. Медицина виновата.

— Вон как...— построжел голос Прозорова.— Не по чьей-то вине, а по вине всей медицины?

— Не всей. Той отрасли, которая занимается и занималась анаэробной инфекцией. Научных публикаций вроде бы предостаточно, а что в них? Что почерпнуто

из практики зимней кампании тридцать девятого? Что нового в диагностике, радикального в профилактике? Методы, рекомендации? Незамедлительное введение антибиотиков? Нашли-то его на второй день после ранения. В воронке, со слепыми осколочными обеих конечностей. Какое уж тут незамедлительное. Разрезы, ампутация? Сделали. Развитие заболевания, извините за банальность, никогда практически не бывает предсказуемо полностью. Как же локализовать скрытый процесс? О том, что он не затух и после отсечения, узнаем, когда...— Олег Павлович, шумно всосав воздух, оборвал себя: — Не помогла и экзартикуляция [1].

— М-мда-а,— подавленно покачал головой Прозоров.— Анаэробиоз... Что поделаешь, что поделаешь... Объяснительную все же представьте.

— Комиссия будет?

— Никаких комиссий, от них одна демагогия. Приложите к записке историю болезни. Лучшего не вижу — сжато и убедительно.

Прозоров направился к двери, похоже, только для того, чтобы выйти из кабинета вместе с Козыревым. Иного способа распрощаться на этой стадии разговора он не нашел, а продолжать его — только время отнимать у себя и начальника госпиталя.

Времени на беседу с Прозоровым и специалистом-подполковником затрачено немного. Шофер на месте, машина заправлена. Солнце поднялось — выше некуда Небо безоблачно. Летят паутинки — бабье лето. Все хорошо. Но что-то неприятно сосет все же. Что? Аудиенция прошла с предельным взаимопониманием. Откуда же тогда это гнусное ощущение? Ах, вот откуда! Колючки твои обмякли за ненадобностью, противно липнут к телу.

Понятно: объясняться, выяснять отношения для тебя, Олег Павлович,— нож острый. Отсюда раздражающее ожидание всяких напастей. Дурное всегда от дурных Скверными стал представлять себе тех, к кому шел...

Успокоила медленно слепившаяся мысль: когда душе

[1] Анаэробы — бактерии, живущие при отсутствии свободного кислорода Экзартикуляция — вычленение, операция удаления конечности по линии сустава

совестно — это знак, что ты еще человек, что не все потеряно...

— Товарищ майор медицинской службы! — заставил очнуться чей-то голос.

Козырев оборотился. Собирая на сапоги пыль с придорожной завядшей травы, к нему подбегал артиллерийский лейтенант Стучит ему чем-то тяжелым в загорбок перекинутый обеими лямками через плечо наполовину заполненный вещевой мешок.

— Здравия желаю, товарищ майор медслужбы!— показывая запотевшую подмышку, лейтенант вскинул руку к пилотке. Под ухоженными юношескими усами обнажились в улыбке редкие зубы.

Недоумевая, Олег Павлович разгадывал причину радости парня и не мог разгадать.

— Не узнаете, товарищ майор? — стал тускнеть лейтенант.

Козырев действительно не узнавал. Кто-то из тех, кого оперировал, кто лежал в его госпитале? Разве память удержит тысячи лиц?

Лейтенант подбросил уточняющую деталь:

— Я к вам раненого начальника штаба артполка доставлял. Помните? И мне перевязку делали.

Наконец-то Козырев узнал, вернее, вспомнил того «шкарябнутого» в голову офицера, который привозил на «додже» майора Смыслова и потрясал запиской к Руфине Хайрулловне Заверил его:

— Как не помнить, помню.

Появление сегодняшнего лейтенанта удобно прилегало к наладившемуся настроению Олега Павловича, это он почувствовал довольно быстро и решил воспользоваться выпавшим моментом.

— Да-да, офицера, которого лично знает командующий фронтом, привезли тогда именно вы.

Не все из прошлого приятно вспоминать. Лейтенант промямлил:

— Но это же... правда...

— Иная правда — хуже вранья. Ладно, забудем.. Навестить хотите? Хотите спросить у меня, нет ли места в машине? Угадал? Как тут не угадать — мешок-то с гостинцами. Консервов набрали?

— Прихватил малость.

— Предусмотрительный Хвалю Отдельной палаты Смыслову не предоставили, особых медикаментов из

Москвы ие привозили, а вдобавок бедиягу еще и голодом заморили. Хвалю, хвалю, лейтеиаит,— веселил себя Козырев.

— Товарищ майор медслужбы...

— Не майор, а подполковник медслужбы,— пряча усмешку, добивал его Олег Павлович.

Лейтеиаит потерянио скосился иа его одиозвездочные погоиы.

— Не веришь? — изумился Олег Павлович.— Честиое пиоиерское — подполковиик. Могу выписку из приказа показать.

— Поздравляю с присвоением очередиого звaиия, товарищ подполковиик! — гаркиул лейтеиаит и расковаиио засмеялся.

— Спасибо.

— А консервы у меия — ии одиому госпиталю ие сиились. Найдется чем и звездочку вашу обмыть. В военторге девчоика зиакомая оказалась. Бутылочку презеитовала, скажу я вам...— лейтеиаит чмокиул коичики сложенных щепотью пальцев.

С такими адъютантами, если ие хочешь, чтобы оии уселись тебе на спииу с погоиялкой, ухо иадо держать востро.

Козырев, пытаясь иесколько придержать бесцеремоиность лейтенаита, распахиул дверцу машииы:

— В таком случае... Вот сюда-с, рядом с водителем... Обратио как изволите? Если мой «виллис» понадобится,— уступлю, уступлю...

Не увидев умысла, лейтенаит с иебрежиым «Не-е, ие поиадобится» развалился на сидеиье, ие оборачиваясь, добавил:

— Я с Сакко Елизаровичем, с замом по строевой. Управится в артмастерских — в госпиталь прикатит. Ои сейчас в двух ипостасях — и зам, и иачальиик штаба. Что-то заколодило у иего без майора Смыслова.

По дороге прихватили Миигали Валиевича. По лицу видио было, что и ои ие попал под грозовые раскаты. Валиев бросил иа сиденье связку газет и писем, отдуваясь, сел и тут же потянул из кармана зараиее отложеиный треугольиик — письмо из дому. Уловив скошеиный на почту взгляд Олега Павловича, бросил коротко: «Тебе нет ничего» — и стал растеребливать, расправлять тетрадиые листки треугольника. Козырев приготовился услышать что-иибудь хорошее из чужих иовостей.

— Вслух читать? — спросил Валиев.

— Если нет секретов, читай.

«Атием багрем, син кайда?» — вспоминая певучий голос сына, начал было Валиев и тотчас замолчал. Стерлась улыбка, исказилось, как от боли, лицо. Мингали Валиевич откинул голову на спинку сиденья, прижал письмо к полыхнувшему лбу.

— Яныкаем [1]...

— Что случилось, Мингали Валиевич? — обеспокоился Козырев.

— Какой же я... Дождался...— Валиев дальнозорко нацелил глаза на письмо, с сердечной болью перевел прочитанную фразу: «Отец родной, где ты?»... Забыл уже, когда и писал им... О, как нехорошо...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На пятидесяти квадратных метрах комсоставской палаты с четырьмя кроватями было гулко, как в церкви. К предстоящей передислокации в мало их знает какие края Мингали Валиевич готовился без всяких скидок на известную условность. Кровати и тумбочки, упакованные в решетчатые ящики и укрытые брезентом (в первых числах октября то и дело шли дожди), громоздились теперь возле водокачки. Повизгивал пилой и стучал молотком плотник — готовил тару для другой утвари.

Четверых, оставшихся в угловой палате, непогода чаще держала в помещении. Неприютно, скучно, зевотно...

— Петр Ануфриевич,— обращается Боря Басаргин к майору Щатенко,— вы так вот всю жизнь — военный?

Петр Ануфриевич закрыл книгу, оставив в ней палец вместо закладки, хрустко, со вкусом потянулся. Читать ему надоело, и он не прочь поболтать. Отозвался:

— Всю жизнь, Борька. Счастливые люди в рубашках родятся, а меня вот в сапогах и гимнастерке на свет произвели. Поп, когда крестил, хотел и отпеть заодно, поскольку, говорит, служивый — ему так и так убиту быть.

— А если без этого, как его...

---

[1] Милушка ты мой... *(татарск.)*.

— Без глупостей? Без глупостей, Борька, всю жизнь я не мог быть военным. Тридцать три года — не вся жизнь. Если и убьют сегодня или завтра, все равно — не вся. Двадцать три из этой жизни взяли школа да институт.

— Десять лет — тоже немало.

— Много, Борька. Если учесть, что в училище всего два года, а остальное время на войне, то очень много. С басмачами на границе, летом тридцать девятого — Халхин-Гол, зимой того же года — на финской. Только подлечился после ранения — эта война началась. Два раза под пули попадал, а на третий раз вон какую железину в меня всадили,— Петр Ануфриевич дотянулся до тумбочки, постучал похожим на морскую раковину осколком.

— В институте вы на кого выучились, товарищ майор?

— Ни на кого не выучился, Борька. Болтался, как цветок в проруби. Поступил на физико-математический, через полгода в историки подался, потом журналистикой увлекся, а после третьего курса совсем с институтом расстался. Решил писателем стать. Накатал роман страниц на семьсот, отнес в издательство. Жду, когда перевод на тыщи рублей придет. Пришла открытка: прочитали, приходите. Стали мне про Пушкина, про Толстого говорить, а когда про Гоголя помянули, я сгреб свою рукопись и спрашиваю: «Где тут у вас печка? Хочу на Гоголя походить». С тех пор мечту о романах забросил, а рассказы и сейчас пишу.

— Печатают в книжках?

— Нет, Борька, не печатают,— Щатенко спустил ноги на пол, сел.— Никак не угодишь им. Очень короткие, говорят. А длинные я боюсь писать — вдруг опять на роман потянет.

— Прочитайте какой-нибудь.

— Прочитать можно, только вот какой? — Щатенко раздумчиво потер висок.

Боря перебрался к нему на койку, пристроился рядом, спросил:

— А где он у вас, с чего читать будете?

Щатенко вынул забытый меж страниц палец, положил книжку на тумбочку, чтобы не перелистнулась, придавил ее снарядным осколком.

— С мозга читать буду,— он костяшками кулака по-

стучал себя по лбу.— Они у меня все тут. Тебе какой, с заглавием?

— Лучше с заглавием.

— Тогда вот какой. Рассказ называется «Сплошал».— Щатенко прокашлялся, возвел очи горé и начал: «Он сграбастал его большой, как лопата, рукой за лицо и сдавил так, что высвободились зубы. Разъяренный, плюнул в этот оскал и тут же, бледнея от страха, понял, что плюнул не в того, в кого хотел плюнуть».

Рассказчик умолк, Боря недоуменно уставился на него:

— Все, что ли?

— Все.

— Почему он ему по харе не врезал? Плюется, гад...

— Не знаю.

— Как — не знаю? — опешил Боря.— Вы же сочиняли!

Щатенко ужал плечи и, пряча смеющиеся глаза, предположил:

— Трус, наверно, а у того ручища — ого!

— Может, пожалел? — высказал догадку Боря.— Ведь тот, который плюнул, сам испугался.

— Не исключено. Но не исключено, что и ударил.

— Тогда надо было написать — врезал!

— Зачем? Вдруг да не врезал?

Боря вконец растерялся, а Щатенко стал растолковывать:

— Допустим, человек только что сделал какую-то пакость, вот и решил, что это — ответ на нее. Принял как должное, не полез в драку.

— Ну и написали бы.

— Борька, если тебя начнут кормить разжеванной пищей, ты будешь глотать ее? (Борю передернуло.) Вот и писатель не должен совать разжеванное, недолго и плюху схлопотать. Людям нравится мозгами шевелить.

— А ну вас. Прочитайте еще какой.

— Слушай вот такой: «Ветер сдул с него шляпу, и она, вихляя, покатилась по мостовой. Боясь потерять шляпу, гражданин простер к земле руки и помчался за ней с дикой скоростью. Через минуту врезался в трамвай и сделал в нем башкой глубокую вмятину. В трамвае сидела невеста гражданина, она все видела и тут же отказалась выйти за него замуж».

— Вот это черепок! — восхитился Боря и задумался. — А почему девке замуж расхотелось?

Агафон Смыслов, пользуясь простором, шатко расхаживал по палате беспрепятственным маршрутом — с угла на угол. Слушая нашедшего себе развлечение Щатенко, не удержался и на вопрос Бори подсказал издали:

— У нее не было чувства юмора, Боря.

— А ты как думаешь? — спросил у него Петр Ануфриевич.

— Нужен ей такой пентюх! — засмеялся Боря.

— Отлично сказано. Рассказу дадим название «Пентюх». Но почему же он пентюх? — хитровато разжигал Щатенко воображение Бори.

— Он что, сдурел — по мостовой бегать? А если машина? Авария, шофера — под суд, этого дурака лечить или хоронить надо. За порчу трамвая штраф сдерут. Недотыка какой-то...

Восхищенный Петр Ануфриевич, обняв Борю, хохотал до слез. Смеялись и Гончаров со Смысловым.

— Вот тебе еще один рассказ, только с условием: дать к нему обстоятельные пояснения.

— Дам. Жалко, что ли.

— Тогда слушай: «Павел Павлович сначала увидел ведро с мороженными пельменями, потом шапку, а шагов через десять наткнулся на четырнадцатилетнего Веньку Губина. Простоволосый, озябший, пьяный до мучения, он сидел на снегу и давился собственными соплями».

Надолго установилась выжидательная тишина. Боря был под впечатлением, ворошил свои несложные думы. Потом зло выпалил:

— Сволочи! За это судить надо! Споили мальчишку... А ему, зас...у, мало, пошел в погреб за пельменями, там браги добавил.

Майор Щатенко от восторга так саданул Борю в бок, что тот, вскинув ноги, едва не перекувырнулся на другую сторону кровати.

— Ануфрич! — окликнул Смыслов майора Щатенко. — Пожалей Борину голову, присоединяйся ко мне.

Петр Ануфриевич посмотрел на него со вниманием, покачал головой:

— А ты себя пожалей. Вон уже пар валит. Сколько?

— Триста пятьдесят.

— Шагов?

— Скажешь! От угла до угла. И без тросточки.

Щатенко на глаз прикинул расстояние по диагонали, подсчитал вслух:

— Триста пятьдесят на десять... Ого, три с полови ной километра. Привал делал?

— Дважды.

— Бугай. Медведь уральский. Доложу Козыреву, пусть гонит в три шеи,— порадовался Щатенко за товарища.

Все показывало на то, что с выпиской Смыслову придется погодить, а вот возьми его — три с половиной. Радовался, конечно, этим километрам и сам Смыслов. Нелегко они дались. Поначалу, используя каждый погожий час,— по парку на костылях, потом с тросточкой в сопровождении Машеньки. Сегодня — рекорд. Если как следует изложить этот факт на комиссии, то есть без упоминания, что передвигался со скоростью «десятый день девятую версту», что после «марша» остервенело ноют костные мозоли, что последние метры шел не на ногах, а на одном упрямстве, то, глядишь, и на самом деле — в три шеи. Долечиться потом можно, тем более что начальнику штаба артиллерийского полка надобность ходить пешком за тридевять земель выпадает не так часто.

Смыслов добрел до кровати, сбросил тапочки и, изнеможенный, увалился поверх одеяла.

За окном пасмурно, дождевая морось где-то на крыше объединяется в тяжелые капли, и они, срываясь, редко и гулко ударяются о жестяной подоконник. Размеренное и монотонное бумканье отсчитывает секунды, минуты, часы, сжирает их, и душа тоскливо немеет от мысли, что так бездарно и невозвратимо истаивают дольки человеческой доли. Уходить, уходить надо отсюда...

Припорошенная водяным бусом, заявилась Надя Перегонова с букетом лимонно-желтого тмина и бессмертника с бордовыми и лазурно-фиолетовыми обвертками соцветий — нарезала с увядающих, заросших бурьяном клумб. Движение затворника Агафон Смыслов начал еще до ее ухода, и догадаться Наде, чем оно закончилось, было несложно. Она положила цветы на стол, наспех вытерла полотенцем лицо и руки, присела к Смыслову. Ничего не говоря, обхватила запястье, послушала биение сердца.

— Как у зайца,— сделала вывод,— вот-вот выскочит.

— Не преувеличивай, Надежда батьковна,— отнял руку Смыслов.

— Была охота. Давай помассирую.

Глупо отказываться от массажа. Засучив кальсонину до паха, обнажил рубец со ступенчатыми вмятинами от швов. Лукаво поблескивая глазами, Надя погрела захолодавшие руки в смысловской подколенке, стала растирать его натруженные мышцы, гладить свербящий заживлением шрам. Машеньке такого он не позволял даже в дни их душевного сближения — стеснялся, а сейчас она и сама не посмела бы предложить. Что-то непонятное, еще неосмысленное легло между ними, отдалило Машеньку. Что же? Этого Смыслов пока не понимал.

Влюбчивость ее до встречи с Агафоном Смысловым была не чем иным, как легким дурманом неискушенного подростка, но и не проходила бесследно. Зрело ее сердце, постигало жизнь и смелее устремлялось к тому, что приуготовлено природой, что рано или поздно должно сбыться. И оно сбылось, свалилось на Машеньку ослепительным, бесценным, но и тяжким даром. Нельзя было не увидеть этой любви, не распахнуться ответно.

Влетела как-то в палату сияющая, замерла перед ним.

— А у меня что-то есть! — объявила она и тут же выдернула из кармана халата фотографию, показала на расстоянии: — Вот я какая! Плохая, скажешь?

На снимке Машенька явно проигрывала. Все портила безвкусица фотографа, сотворившего «цветную» фотографию с помощью толченых карандашных стержней — желтого, синего и красного.

— Чудо! — восхищенно соврал Смыслов.

— Хочешь, тебе подарю? — Машенька подала фотографию.

На обороте старательным ученическим почерком было написано: «Ранбольному Смыслову Гане от медсестры Кузиной Маши. Люби меня, как я тебя».

«Спасибо, Машенька, буду любить»,— хотел шепнуть Смыслов, но Машенька уже скрылась, исчезла на весь день — до заступления на дежурство.

Все-все у Машеньки было от плоти земли, от избы, в которой рождаются, живут и умирают: взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на правду и неправду, добро и зло. Ее светлая провинциальная непосредственность, душевная чистота были умилительно-трогательны и покоряли людей.

..Тогда Смыслов еще был прикован к постели.

— Ты чего глаз жмуришь? — подошла к нему Машенька.— Окривел?

— Попало что-то.

— Покажи-ка.

Машенька оттянула веко, высмотрела, что досаждает глазу. Покосилась туда-сюда — не видит ли кто, как она будет «вносить инфекцию»,— и через мгновение кончик ее языка, выметнувшись, как у ящерки, влажно прошелся между веком и яблоком, слизнул соринку. Снимая ее с языка, Машенька смешливо наморщила переносицу.

— О, какое полено. С потолка, наверно.

...И не для одного Смыслова она такая.

— Владимир Петрович, зачем ногти грызете? — Машенька хватает со стола ножницы, усаживается рядом с Гончаровым.— Дайте сюда.— Завладевает рукой и пристраивает ее на своих коленях. Покачивая головой, ругает себя: — Тетеря я тетеря, совсем забыла, что сами состригнуть не можете. Нельзя зубами, можно руку попортить. Вон она у вас какая красивая... Сегодня ноготки с беляками,— значит, к обнове.

Гончаров смеется:

— Гимнастерку выдадут или обнова — в более широком смысле?

— А что? — наставительно рассуждает Машенька.— Вот поженитесь на Юрате...

Наблюдая такие минуты, Смыслов не мог нарадоваться ее милой, природно чистой наивности.

Но в святой, неисправимо русской патриархальности Маши Кузиной, как у всякой награды, была и оборотная сторона. Никто другой, пожалуй, не чувствовал так остро разделенности людей положением, их неравенства, как она с ее провинциальной натурой, в основе которой прочно жило неколебимое убеждение, что у каждого сверчка должно быть свое запечье.

Побитых, обескровленных, с переломанными костями, с душой на ниточке людей, с которыми судьба свела ее под одной крышей, называли для удобства общения кого крестным именем, кого, кто постарше, по имени и отчеству, а иных порой по званию и должности, а то и просто ранбольной, но все эти атрибуты не разделяли раненых, не обосабливали ни друг от друга, ни от Машеньки. Они представляли как бы особое сословие — беспомощных, временно обездоленных. Попечительство,

забота о них, причастность к их выздоровлению должны бы, казалось, даже укрепить Машеньку в чувстве собственной значимости, но это ощущение не приходило. Все для нее было естественным, предначертанным. И когда какой-нибудь Семен Семенович, которого, едва живого, мыла в санпропускнике, матерящегося колола шприцем в ягодицу, со слезами пополам кормила с ложки,— этот Семен Семенович, облачившись в форму, в блеске орденов, седины и звезд на погонах, приходил прощаться, Машенька мгновенно переносилась на свой шесток, смущалась и с почтительной робостью вкладывала свою ладошку в протянутую длань богатыря.

Нечто подобное произошло и в отношениях с ее милым другом Ганей Смысловым.

Заместитель командира артполка по строевой части подполковник Сарксян приехал в госпиталь к концу дня. Машенька испытывала невыразимую гордость, глядя, как этот солидный, с седеющими усами кавказец в немалых чинах обнимает, разглядывает, восторженно хлопает по плечам Смыслова. Рядом с ним и ее парень с хорошим именем Ганя словно преобразился, стал взрослее, суровее, что ввело Машеньку в некоторое смущение. И уж совсем стало неловко, когда увидела Смыслова в форме, с орденскими планками, которые введены недавно для ношения вместо орденов и которые здесь, в действующей армии, она видела только у больших офицеров тыла фронта. Адъютант полковника Лиховатого, увязавшийся за Олегом Павловичем, кроме шпротов, довоенного мыла ТЭЖЭ в обертке, одеколона и кулька конфет привез Смыслову эти цветастые планки и пошитое в его отсутствие обмундирование из добротного безворсового сукна. Начальник АХЧ [1] не мог допустить, чтобы начальник штаба вернулся в полк в заштопанной и пегой от застиранной крови одежде.

Бутылку какого-то особого коньяка распили в покосившейся беседке парка, куда заглянули на минуту и Олег Павлович с Серафимой Сергеевной. Серафима пококетничала с обворожительным джигитом, Олег Павлович заверил его, что с выпиской майора Смыслова постараются не затягивать, и они ушли. Чтобы не мешать

[1] Административно-хозяйственная часть.

деловому разговору сослуживцев, вскоре распрощались с Сакко Елизаровичем Боря Басаргин, Щатенко и Владимир Петрович. А разговор не был праздным, что-то встревожило Смыслова. Опираясь на плечо Машеньки, он высвободился из-за стола, избитого фишками домино, прислонился к резной опоре беседки. Машенька не узнавала Ганю Смыслова. Будто подевались куда-то его мальчишеские ямочки, глаза похолодели, между сведенными бровями вырубились две глубокие и пугающе разномерные складки. Галантный, обходительный подполковник проявил некоторую робость, стал смотреть настороженно. Наконец дернул усами:

— Какого черта ты вызверился, Агафон. План не утвержден, я назвал лишь некоторые пункты, которые наметили с начальником разведки.

— А я веду речь о тех, которые не наметили,— парировал Смыслов,— и, похоже, в голове не держали!

Машенька абсолютно ничего не понимала из того, что слышала, но понимал, видно, лейтенант, подарки которого (мыло, одеколон, конфеты) немедленно стали достоянием Машеньки и которые теперь там, в комнате, рассматривает, поди, удивленная Юрате. Лейтенант вобрал голову в плечи и испуганно перемещал взгляд с одного начальника на другого. Его состояние передалось и Машеньке. Даже сил лишилась, чтобы встать и уйти.

— Как же можно без согласования с корпусной артиллерией? — хриплым от расстройства голосом нажимал Смыслов.— Наши цели могла наблюдать и их разведка. Что же получится при артподготовке? Какую-нибудь вшивую пулеметную площадку станем молотить в десять стволов, в том числе и мощными корпусными, а дзот, допустим, оставим ковырять сорокапяткам стрелковых полков? И не говори мне, что ты никогда не руководил штабом, слышал уже. Я тоже не штабистом родился, это вот его,— махнул в сторону ушедшего Петра Ануфриевича,— произвели сразу в полной боевой готовности. Тут и строевику ясно, а не ясно... Сакко Елизарович, дорогой, есть ведь у нас с тобой начальник разведки полка, три — в дивизионах. Шкуру надо было спустить с них! Или верно, что позиционная передышка размагничивает даже старых вояк?

— Не размагничивает, не размагничивает. Пальцами на пузе не крутили,— ослаблял, сводил к шутке обост-

ренный разговор подполковник Сарксян.— Это ты тут ряшку наел. Садись вон в «доджа» — и со мной. Своих разведчиков сам освежевывай.

— Тебя бы — освежевать. Почему карточки ПТО [1] только на пушечных батареях? Потому что «зисы» на прямой, а гаубицы на закрытой? А если контрудар и немцы окажутся перед огневыми гаубичников? Молчи, молчи, знаю, что хочешь сказать. Я тоже в это не верю, но ведь готовность должна быть ко всему. Ты же людей расхолаживаешь!

Сакко Елизарович выставил перед собой ладони, замахал ими, будто останавливал прущий на него «студебеккер».

— Тихо, тихо, Агафон, а то ты такое наговоришь, что снимай ремень с пистолетом — и в Смерш [2] с покаянием.

Стихая, Смыслов, имея в виду наступление, спросил:

— Не знаешь, когда?

— Скоро. Это самая точная дата, которую соизволили сообщить нашему брату.

В душе Машеньки творилось невообразимое. Вдруг вспомнила: сидели вчера за сестринским домом, целовались, и она тянула руку Смыслова послушать, как стучит ее сердце... Мамоньки, стыдобушка-то какая! Лезли в голову еще какие-то воскресшие безобразия, обдавало жаром. Машка, с чего ты так расхрабрилась? Сюда припожаловала, коньяком чокалась. Господи, от вина, что ли, мутит? Всего-то глоток... «Люби меня, как я тебя». Кому ты вздумала о любви говорить, краюха ржаная?!

Машенька не заметила даже, как встала, как выбралась из беседки. Шагов через десять все же оглянулась. Разговаривают, горячатся, и нет им дела до того, что на душе Машеньки...

...Не повернул головы, не посмотрел вслед... Очень ты ему нужна...

У Нади Перегоновой от работы занемели руки, впору самой себе массаж делать. Смыслов не обращает внимания, думает о своем, грустном.

---

[1] Противотанковая оборона.

[2] Смерш — «Смерть шпионам» — армейская контрразведка.

— Хватит, что ли? — грубовато спросила Надя.

Смыслов спохватился, смущенно попросил извинения.

— Ну и волосатые же у тебя ноги,— распуская штанину, с усмешкой сказала Надя.

— Это не волосы, это — шерсть,— усаживаясь, поправил ее Смыслов.— Подтверждение теории Дарвина: человек произошел от мартышки.

— Такой красавец — и от мартышки! Если от мартышки, то от самой огромной и симпатичной... Волосы твои, Смыслов, называются — рудимент. Ты знаешь, что у человека семьдесят с чем-то рудиментов?

— Что это за штука?

— Остаточные, не нужные человеку органы. Неграмотный ты, Смыслов, хотя и шишка на ровном месте. Учиться тебе надо...

— Семьдесят? — ухмыльнулся Смыслов.— Не загнула?

— Очень-то нужно. Не помню все: аппендикс, остатки хвоста, вот шерсть твоя, есть даже лишние ребра, мышцы... Ты умеешь шевелить ушами?

— Только хлопать.

— Ого, шевелятся. А зачем? Еще зубы мудрости...

— Это ты брось. Как же без мудрости?

— Мудрить головой надо, а не зубами. Ладно, а то у меня цветы завянут,— поднялась Надя.

— Погоди,— придержал ее Смыслов за руку.— Не знаешь точно, когда комиссия?

— Восьмого, сказывали. Послезавтра.

Смыслов потянулся за тросточкой, рука замерла в воздухе — остановила какая-то мысль. Помедлив, решительно ухватил трость и с грохотом швырнул ее в дальний угол палаты.

— Значит, Надюша, послезавтра будем прощаться.

Восьмого под вечер за Смысловым из полка приехал Сакко Елизарович Сарксян. Распростившись с кем мог, Смыслов прошел в беседку парка, где ждал его с вещевыми мешками Боря Басаргин. Моросило. Подполковник Сарксян, не вылезая из машины, призывно помахал рукой.

— Сейчас! — откликнулся Смыслов.

Посмотрел на часы, потом на Борю. Боря понял и кивнул в сторону проходной:

— Вон Надя бежит, может, узнала что.

Оскользнувшись на замокревших листьях-паданцах, Надя Перегонова тяжело ввалилась в беседку. Часто дыша от спешки, сказала сердито:

— Нету. Говорят, ушла с Юрате помочь Гончарову. Ему комнату при театре дали.

Смыслов потускнел, печально покивал головой. Хмурый, угрюмо улыбнулся, протянул Перегоновой руку:

— До свидания, Надюша. Спасибо тебе, сестрица, за милосердие, за все...

Надя приткнулась к его гимнастерке, всхлипнула. Глядя снизу в тоскливые глаза Агафона Смыслова, часто взмаргивая мокрыми ресницами, спросила:

— Что передать Машеньке?

— Скажи... Нет, ничего не надо. Напишу...

Смыслов приобнял Надю за плечи, еще раз сказал «до свидания» и, прихрамывая, направился к машине. Боря Басаргин, вскинув оба мешка за плечо, пошагал следом.

Из Приказа Верховного Главнокомандующего генералу армии Черняховскому:

«Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и вторглись в пределы Восточной Пруссии на 30 километров в глубину и 140 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели опорными пунктами противника — Ширвид, Наумиестис, Виллюнен Вирбалис (Вержболово), Кибартай (Кибарты), Эйдкунен, Шталлупенен...»

Наступление это началось через пять дней после того как Смыслов и Боря Басаргин покинули госпиталь — 13 октября 1944 года.

Повесть о лейтенанте Пятницком

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Худой и низкорослый, с тусклыми глазами помощник начальника штаба артполка в чине капитана полистал тощее личное дело Романа Пятницкого, с канцелярской тщательностью завязал тесемки и, оборотившись к окну, наполовину заложенному битым кирпичом, безучастно сказал:

— Пойдете командиром взвода управления в третий дивизион.— Помолчав какое-то время, уточнил: — В седьмую, к капитану Будиловскому.— И тут же, дьявол его знает по какой причине, взорвался. Сгорбился над папкой, едва не задевая ее мясистым носом, стал колотить по картону толстым, крючковато согнутым пальцем: — Плохо начинаете жизнь, молодой человек, не вознамерьтесь плохо кончить! — Тенорок его набирал высоту и выдал разделенную на слога фразу: — И-всег-да-пом-ни-те-за-что-рас-стре-лян-ваш-пред-шест-вен-ник! — Картон, мрачно отзываясь на удары пальца, оттенял каждый слог.

Пятницкому еще в штабе дивизии стало известно, что лейтенант Совков, на место которого прибыл, погиб от мины, расстрелян командир огневого взвода и совсем другой батареи. Дрогнул парень перед немецкими танками, не сумел сдержать их напора, не придумал и как отступить по-умному. Целехонькое, неповрежденное орудие досталось врагу. Но предшественник расстрелян или не предшественник — от этого дело не менялось, и настроение Пятницкого вконец изгадилось.

В соседней комнате занятого под штаб особняка измученный зубной болью старшина, не вникая ни в какие подробности, сказал Роману:

— Предписание за поздним временем получите...— одной рукой он придерживал вздутую щеку, другой

ткнул в промятый, с высокой деревянной спинкой диван.— Я вот тут сплю. В семь ноль-ноль встать надо. Разбудите?

Пятницкий с жалостью посмотрел на перекошенную флюсом физиономию старшины, шевельнул плечом: надо так надо, можно и разбудить. Хотел было спросить, где же ему ночевать, но старшина и это предусмотрел, и нечто другое — вроде бы в компенсацию Пятницкому за все выпавшие на его долю потрясения, о которых догадывался, но о которых едва ли думал сейчас и с которыми, конечно, не связывал сказанное.

— Напротив связистки живут,— подмыкивал он от мерзкой боли,— есть нары свободные... Перед сном на концерт сходите, дивизионный ансамбль припожаловал. Не пойдете — до конца войны не удастся.

Роман согласно кивнул и посоветовал:

— Водкой прополощите.

— Спать пойду — все нутро прополощу,— мрачно согласился старшина.

Ничего не оставалось делать Пятницкому, как идти на концерт. Сарай был изрядно набит служивым людом. Высмотрел местечко у стены, угнездился на щепном мусоре, как и все,— ноги калачиком. Сильно исхудавший вещмешок пристроил меж колен. Хотелось есть. Пересилив неловкость, продиктованную театральной обстановкой, выудил из недр торбочки остатки промерзлого хлеба и круто соленного, прочного, как ремень, шпика, стал жевать и с ненавистью слушать пение очень красивой артистки в диагоналевой гимнастерочке с идеально прямыми от вставленного в них дюраля погончиками с желтенькой лычкой. Пела она изумительную песню о вальсе в прифронтовом лесу и таким же изумительным голосом. Ненавидел ее Роман за то, что она изменила мужу, хористу ансамбля, и он позавчера застрелился. Эту весть преподнесли ему за так местные кумушки мужского пола в надраенных кирзачах. Может, ненавидел Роман не эту молодую женщину, а треп о ней, кумушек языкастых, но он не уточнял этого, неприязнь пришла, жила в нем — и все тут.

Ночевал, как велено, у связисток. Они спали на нарах за брезентовой занавеской, он — на таких же нарах напротив. Посредине стояла печка — четырехреберная бочка с жестяной трубой. Девчонки проявили к нему величайшее равнодушие. Только засыпая, услышал приглушенное:

— Откуда этот симпатяга?

— Мишка сказал — из штрафбата

«Трепло»,— равнодушно подумал Пятницкий про старшину с гнилыми зубами по имени Мишка и заснул

Все шло своим чередом, как и положено в армии,— по инстанции: из дивизии в полк, из полка — в дивизион, из дивизиона — в батарею.

Сейчас лейтенант Пятницкий шел в батарею.

— Батарея ваша прямо по реке Йодсунен. По правде сказать, не то чтобы по реке. Одна пушка там, другая сям, третья во-о-он у того пригорка, а четвертая...— Говоривший приостановился, упористо расставил ноги, поискал глазами место четвертой. Не нашел, взлягнул задом, устраивая термос половчее на широкой и крепкой спине, махнул рукой: — Четвертая черт-те где. Ну, а мы, пехота,— там, за речушкой. Теперь, лейтенант, давай скакнем в ход сообщения. До передовой далековато еще, немец-то, по правде, и не углядит, до него километр с гаком, а вот... Есть такие. Цапнулся вчера с одним из охраны. Конечно, на передке постреливали, да разве сюда долетит! Ну, если и долетит какая, так ее, курву, когда на излете, можно и рукавичкой отмахнуть. А этот, из охраны который, колобок пухлощекий... Еще пороху не нюхал, а туда же...

Говорил все это сержант Пахомов. Он шел чуть впереди лейтенанта Пятницкого и ступал сапожищами по мерзлой, едва припорошенной снегом земле с равнодушной привычностью старожила войны. Познакомились они час назад в сараюшке господского двора Варшлеген, где старшина седьмой батареи Тимофей Григорьевич Горохов, немолодой полнеющий мужик, кормил Пятницкого невообразимой фронтовой роскошью — жареной картошкой и, заполняя термоса солдатским хлебовом, без особой надобности переругивался с писарем и поваром. Пахомов, заглянувший к артиллеристам по старому знакомству, не только вызвался проводить вновь прибывшего лейтенанта до наблюдательного пункта батареи, но и навьючил на себя один из термосов, приготовленных Гороховым для своих пушкарей. Он сказал Горохову:

— Ты, дядька Тимофей, занимайся своим делом, а варево я доставлю и за этим, по правде сказать, разболтанным народом не хуже тебя присмотрю.

Разболтанный народ — писарь с поваром — невнятно, не для ушей Пахомова, пробрюзжали что-то.

Пахомову двадцать три года, здоровенный, пудов на шесть. О таких говорят: несгораемый шкаф с чугунными ручками. Простоват, словоохотлив, и есть в нем что-то, что трудно объяснить сразу. Побудешь с таким человеком четверть часа — и расставаться не хочется. Имело, видно, значение и то, что Игнат Пахомов знал войну, не в пример Пятницкому, давно и со всех сторон. Там, в хозотделении дядьки Тимофея, Пятницкий приметил, что орден Красного Знамени у сержанта не из новых — не на колодке, а привинчен.

Игнат Пахомов упомянул колобка пухлощекого, который пороху не нюхал, и осекся, покосился украдкой на Пятницкого. Ладно, тот лейтенант из охраны, а этот-то свой, вместе солдатскую лямку тянуть будут.

Надо бы примять неловкость, да она как-то сама примялась. Прежде чем спрыгнуть в ход сообщения, Пахомов обернулся, крикнул идущим сзади:

— Курлович, Бабьев! Марш в ход сообщения!

— Молчи, пехота, мы тебе не подчиненные,— лениво огрызнулся писарь. Он и повар Бабьев тоже несли термоса.

Пахомов выпучил глаза:

— Ноги вырву, мышь бумажная, и скажу, что так было!

Рявкнул — и вся неловкость с сержантской души спала.

Тощий и сизощекий от небритости писарь сплюнул неумеючи, подхлестнутый криком, скрылся в траншее. Туда же последовали Пахомов с Пятницким. Но скакнул, пожалуй, только Пятницкий. Пахомов, с учетом дородности, просто-напросто обрушился.

Справа и слева вилюжистого хода сообщения — всхолмленная равнина, редкие колки клена и граба, исхлестанные железом, заваленные спрессованным воздухом. Все остальное — пахотная земля, размежеванная проволочной изгородью, в ряби глубоких и мелких снарядных выворотней. На озими, чуть припорошенной снегом,— военный посев: распяленные скелеты машин, горелые, растерзанные танки и самоходки, повозки вверх осями и без колес, побитые немецкие орудия, уткнувшиеся рылом в землю, скомканная дюралевая рвань самолетов, а между ними посев помельче — противогазные

коробки, тряпье, продырявленные каски, смятые наискось ящики, патронные «цинки»...

Шли они на самый-самый передний край войны, где грудь стоящего в окопе защищена земной твердью в километр, а голова — насыпкой бруствера, где за бруствером от ствола твоей винтовки до ствола вражеской винтовки — полоса нейтральная. Повернув голову к Пятницкому, Пахомов с неожиданной печалью в голосе сказал:

— Насчет ноги вырву — это у Кольки Ноговицина поговорка была. Нет теперь Кольки Ноговицина.

Пятницкий промолчал, опасаясь сказать не то, что надо сказать. Ведомо было Роману, отчего так тужит на войне голос солдата.

— Понимаешь, как от границы фрицев пиханули, ходко шли, а потом... Как белены объелись, сволочи, озверели. Пока контратаки отбивали, все время Кольку видел, потом, когда ротный дал сигнал на отход, потерял из виду... Раза три на «ура» поднимались. В нашем полку только у него Золотая Звезда была. В таких случаях пишут — пропал без вести. Убит, поди. В плен он не сдастся. Иначе как тут пропасть без вести...

Сержант Пахомов примолк, прислонился термосом к стенке траншеи, ослабил давившие на ключицы лямки. Отгоняя томившее, сказал немного погодя:

— Как потеряли Кольку, места себе не нахожу. Скорей бы наступление, я еще за Кольку... Ты вот что, лейтенант... Как тебя звать-то? Не коробит, что на ты?

Было от чего коробить, неразумный! Скинул Пятницкий трехпалую рукавицу, протянул руку:

— Роман Пятницкий.— И для большего сближения добавил: — Родился в краю вечнозеленых помидоров. Из Свердловска я.

Пожимая руку, сержант поддержал расхожую шутку:

— Где фрукты — клюква, а овощ — брюква. Считай, что земляки. У нас помидоры тоже на печке в пимах доспевают. Игнат Пахомов, из Омска,— хлопнул Пятницкого по спине.— Ты вот что, Роман, не сохни на своем НП, приходи. Твои «зисы» на прямой наводке, до наступления вряд ли постреляешь, а вот из пулемета... Все равно фрицев гонять надо. Обнаглели недоноски, поверху ходят, оборону укрепляют... Может, и ты свой счет откроешь.

Счет-то, если припомнить то сумасшедшее утро, был у Пятницкого. Да что сейчас об этом говорить. Пронизанный радостью хорошего знакомства, Роман поспешил заверить:

— Приду, Игнат, обязательно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Роман Пятницкий проснулся от кашля Будиловского. Так по утрам курильщики кашляют. Капитан, как и Пятницкий, не был курильщиком, но просыпался всегда с кашлем. Может, простыл? Или водица из проруби не впрок?

Роман поспешно сбросил ноги с топчана.

— Чего подскочил, лейтенант, спи,— сквозь кашель сказал Будиловский.

Чего уж там — спи. Не дело, чтобы командир батареи встал, а взводный — пузом кверху. Только вот встает комбат ни свет ни заря. Плохо спится что-то капитану.

Будиловский раздевался на ночь до белья, Пятницкий, еще не привыкший к быту в обороне, такой роскоши себе не позволял, отстегивал только ремень с пистолетом. Разувался и давал отдохнуть ногам только днем, когда убеждался, что на передке спокойно и неприятель не собирается тревожить командира взвода управления семидесятишестимиллиметровой батареи Романа Владимировича Пятницкого.

Романа Владимировича... Так называет его в батарее один Степан Данилович Тóрчмя, ординарец Будиловского — пожилой, неуклюжий разведчик. Да и не совсем так, а лишь по отчеству — Владимирыч. Впрочем, по отчеству Тóрчмя звал всех, начиная со взводных и кончая командиром полка. Остальные пушкари, как и положено среди военных, обращались к Пятницкому — товарищ лейтенант, а командир батареи еще проще — лейтенант.

Первые дни продувные бестии из разведотделения звали еще и детским именем — Ромчик. Заглазно, конечно. Видно, из открыток матери почерпнули, которые, как известно, может читать не только цензура. А они начинались всегда неизменным: «Милый Ромчик!»

Узкий сводчатый подвал с затухающим запахом плесени и сушеных трав освещался ужатой в горловине гильзой сорокапятки. Стиснутый в латунных лягушачьих губах фитиль пламенился тремя язычками. Крайний, оранжевый, самый длинный, заострялся удивительно белой, почти молочной струйкой, которая в свою очередь источала не менее удивительную мазутно-темную жилку. Эта черная нить лениво тянулась вверх, рвалась, расползалась хлопьями копоти и оседала на шершавом, когда-то беленном корытообразном потолке.

— Умываться будем, товарищ капитан? — вместо ответа на «Чего подскочил?» спросил Пятницкий.

Будиловский повернулся к телефонисту. Тот примостился на ворохе соломы у входа, телефонный эбонитовый аппарат стоял на чем-то напоминавшем детский столик. Столик там или еще что, понять было трудно, поскольку застлан был настенным матерчатым ковриком с изображением рогатых зверей, прыгавших по фиолетовым скалам.

Молоденький, до глянца умытый и жизнерадостный телефонист Женя Савушкин поспешно крутанул ручку аппарата, окликнул Астру и, когда Астра ответила, бросил в трубку, подвешенную тесемкой к его маленькому розовому уху, до предела понятные слова:

— На прорубь!

Будиловский и Пятницкий знали, что после этих слов все, кто бодрствовал, станут еще бодрее, кто спал, мгновенно поднимется, кто забыл что-то сделать вчера, примется делать сию минуту. Команда Жени Савушкина ординарцу Степану Даниловичу То́рчмя «На прорубь!» означала, что командир встал и сейчас вместе с новеньким лейтенантом будет обливаться до пояса обжигающе-студеной водой из речки, а потом осматривать хоть и невеликое, но довольно мудреное хозяйство батареи, затаившейся на прямой наводке.

Обливание по утрам Роман Пятницкий принял безоговорочно, сразу, как прибыл сюда «для прохождения дальнейшей службы». За первой процедурой Женя Савушкин наблюдал с восторженным ожиданием интересного: вот сейчас лейтенант стащит гимнастерку, Степан Данилович окатит его из ведра с гуляющими там льдинками, и Женя услышит девичий визг. Но ожидаемое удовольствие было испорчено с первого раза. Бугорчатые мышцы возле лопаток, каменно обкатанные бицеп-

сы лейтенанта заставили Женю уважительно крякнуть. Степан Данилович тоже оценил эту картину: «Ничего, жилистый Владимирыч».

Горячее тело парило, Роман мычал и шоркался полотенцем.

И остальные из взвода управления, кто откуда мог, наблюдали за происходящим — и в первый, и во второй день, а потом перестали смотреть, приелось. Не смотрели и в это утро.

Во время бритья Будиловский справился у Пятницкого:

— Какие планы, лейтенант?

Вопрос приятно тронул Романа. Неразговорчивый, нелюдимый и раздражительный капитан был, похоже, из тех людей, заглянуть в душу которых не каждому дано, а с невеликим жизненным опытом и вовсе — как в замерзшее окно смотреть, ничего не видно. Если только в проталинку, да и ту еще продуть надо. Старший на батарее лейтенант Рогозин доверительно сообщил Роману, что Василий Севостьянович в общем-то не такой, это его недавно стукнуло. Письмо какое-то, сказывают, получил.

Ну, если комбат спросил о планах Пятницкого, значит, признал его старательность. Не потому ли признал, что командир дивизиона капитан Сальников вчера похвалил Романа?

Хвалить было за что. Прибыл в батарею Роман с неисправимой училищной закваской и был несказанно поражен тем, что увидел на НП [1]. Журнал наблюдений и карточки целей, схемы ориентиров и боевого порядка, журнал фиксации действий вражеской артиллерии были в прескверном состоянии. И дежурство на наблюдательном... Если днем разведчики поглядывали, то ночью, порасслабившись в заманчивом затишье позиционной войны, бессовестно спали под стереотрубой. Все в норму привел лейтенант Пятницкий.

Вопрос Будиловского о планах мог означать только одно — свободу действий командира взвода управления.

— В пехоту, пожалуй, смотаюсь, надо ближе познакомиться, кого поддерживаем.

Капитан Будиловский перестал шуршать бритвой о щетину, приподнял белесую бровь, произнес:

[1] НП — наблюдательный пункт.

— Ну-ну...

И в этом междометии слышалось одобреиие. Роман даже порозовел, но ие столько от приятности, сколько оттого, что приврал малость. Очеиь хотелось повидаться с сержантом Пахомовым. Хотя почему — приврал? Правда, в пехоту собрался, и не куда-нибудь, а во второй батальон, который поддерживает их батарея.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Река Йодсуиеи, что обозначеиа иа крупномасштабной карте голубой извилинкой, и ие река вовсе. Так, речушка. Но и не скажешь, что курица вброд перейдет. Перед наблюдательиым пунктом батареи в шириу метров двадцати достигает. Даже мостик есть. Должно, с него свалился иемецкий танк, когда наши прижимали немцев к Гумбиинеу. Лобовой частью брони врезался в лед, да так крепко, что снаряды через люк высыпались и, припорошеиные сиежком, валялись теперь заостренными полешками.

По имеии этой речки и господский двор иазывается — Йодсунеи. Велики ли там господа, ио двор иичего, сиосный: кирпичиый дом с маисардой, кровля из иеломкой черепицы, стены перемерзшим плющом увиты, два сарая, коровиик с конюшней — тоже кирпичные, под навесом сеялки-веялки всякие, исщепленные да исклеваниые тихой войиой в обороне.

Двор — на левом пологом берегу, а на правом, суходоле, где иачинаются пашни, пехота нарыла окопы в человеческий рост. По лесным опушкам да на окраине Альт-Грюивальде, в километре от наших траншей (а где и меньше), обосиовались немецкие войска.

В мансарде господского дома, под самым коньком крыши, и утвердился НП седьмой батареи капитаиа Будиловского.

Артиллерийскому разведчику иесложно мысленно поменяться местами с противииком и посмотреть на свой наблюдательиый его глазами. Посмотрел лейтеиант Пятиицкий и увидел: вилюжистый, заросший ивняком берег речушки с русскими траншеями, а за охряными навалами брустверов, дальше, за речкой, чуть выше уровия земли торчит черепичная крыша, поскольку сам дом,

хозяйственные постройки, все подворье утонули в приречной низине.

Знал противник или не знал о существовании наблюдательного пункта под коньком крыши — трудно сказать, но увесистые снаряды и мины время от времени кидал сюда.

Пятницкий миновал двор, полюбовался на целехонький танк, который трофейные команды, надо полагать, приспособят потом к делу, и вышел к противоположному берегу. Постоял, вспоминая, каким ходом сообщения ближе в четвертую роту. Не вспомнил. На счастье солдат откуда-то вынырнул. Пятницкий остановил его, спросил. Заспанный, с неопрятным лицом солдат просипел недружелюбно:

— А тебе кого там?

— Командира взвода Пахомова,— с укоризной сказал Пятницкий.

— А-а, сержанта нашего,— пропустил солдат мимо ушей строгость молодого офицера.— Это вон туда. Поворота через три его берлога. Близенько тута.

Отцепляя котелок и оскользаясь на спуске, солдат, едва не падая, продолжал путь к реке.

«Экий ты неразумный, взял бы левее»,— проводил его взглядом задетый равнодушием Пятницкий.

Пехота не сидела без дела: углубляла траншеи, расширяла и строила блиндажи. «Берлога» командира взвода сержанта Пахомова за минувшую неделю стала более просторной. Теперь на земляных нарах можно разместить до десятка человек.

Игнат Пахомов искренне обрадовался приходу Пятницкого.

— Ромка? Здорово! Как живешь-жуешь?

Нет, десятерым, когда Игнат Пахомов в блиндаже, на нарах не разместиться. А еще говорят — мастодонты исчезли...

— Что нового? Навел порядок на НП? — сыпал Игнат вопросами.— Пулеметчиков вот собрался проверять Хочешь со мной? Фрицев из «дегтярева» попугаем. Далековато, по правде сказать. Саданешь очередью, они, как куры деревенские от полуторки,— кто в окоп, кто носом в землю. И не разберешь — ты свалил или просто так свалился. Одного все же угробил недавно,— посмеиваясь, рассказывал Пахомов.— Такая паскуда, слов нет. Скотина безрогая. Но, по правде, не из боязливых

Дождался раз, когда вылезут с лопатами,— врезал очередью на полдиска. Враз укрылись кто где, а этот на бруствере остался. Стоит, сука, в полный рост да еще по ширинке похлопывает. Аж в голове засаднило... На другой день все же смахнул немчика... По правде, может, не тот это был, который свое хозяйство рукавичкой проветривал, да хрен с ним. Все равно фриц... Сейчас осторожнее стали. Нет, не из-за меня. Снайпер у нас появился. Не снайпер — золото. Четырем уже черепки продырявил. Снайпер — глаз не отведешь. Зиночкой звать.

Посмеялись, порадовались, что есть на свете такие снайперы, и зигзагами окопа прошли до небольшого дзота. Пулеметчиком оказался тот самый солдат, которого Пятницкий встретил у реки. Сутул, хилогруд, он успел побриться, но молодцеватости от этого не приобрел. Стоял, сунув руки в залоснившиеся рукава, наушники шапки без тесемок, брезентовый ремень провис от подсумка ниже пупка.

Дзот пропах сыростью и паленой тряпкой. Пахомов поискал глазами источник смрада, сплюнул: едко чадил воткнутый в глинистую стенку туго скрученный жгут из белой ткани.

— Противогаз надел бы,— буркнул Пахомов,— помрешь ведь, Хомутов.

— Не помру,— возразил солдат,— без курева скорей сдохнешь. Старшина, жмот, вторую неделю ни единой спички.

— А кресало? Нет, что ли?

— Пошто нет, есть, так все козонки поотбивал. Отсырела, поди-ко,— объяснил Хомутов.— Была зажигалка — я ее у пленного леквизировал,— но бензин кончился, на махру променял.

Пахомов сорвал тлеющие тряпки, втоптал в земляной пол. Молча подал солдату сбренчавший коробок спичек. С такой же немотой пулеметчик принял спички, сунул их за пазуху — поближе к теплу и для большей сохранности.

Перед амбразурой лежал порошистый снег, присеянный семенем бурьяна. Упругий ветерок, набегая, перекатывал снежную россыпь, бросал ее внутрь дзота. Снежок оседал на площадке, крохотно сугробился у основания сошников «дегтярева». Судя по всему, пулемет давно бездействовал.

— Где второй номер? — спросил Пахомов.

— А вон, покемарить прилег.

Лейтенант Пятницкий и сержант Пахомов только сейчас разглядели в полумраке съежившуюся фигуру человека. Он лежал на грязной-прегрязной перине, закутавшись в шинель с головой.

— Поднять, товарищ комвзвода? — спросил Хомутов.

— Зачем, пусть спит. Пулемет почему морозишь? Фрицев жалеешь?

— Че их жалеть... Стреляем малость, когда вылазят. А так...— солдат вяло шелохнул плечом.— Дразнить только. Зараз минами швыряться почнут. Вчерась девчонка, снайпер энтот, неподалечку устроилась. Сковырнула одного — че тут подеялось! Ваньку Бороздина ранило, глушитель у пулемета покарябало...

— Нагнали страху, значит? — выговаривал Пахомов.— То-то ты руки в рукава: я вас не чепляю, и вы меня не чепляйте. Так, что ли?

— Пошто так? Нет, не так.

— Где снайпер сегодня?

Что-то живое мелькнуло на худом, с порезами выскобленном лице пулеметчика. Он шагнул к амбразуре, выпростал руки, ткнул узловатым, плохо сгибающимся пальцем в сторону нейтральной:

— Там вон. Затемно забралась. Давеча подстрелила одного... Веселая такая, красивенькая, а людей убивает.

— Людей,— передразнил Пахомов, устраиваясь у пулемета.— Нашел тоже людей...

Пятницкий укрепил локти на площадке, подкрутил окуляры бинокля по глазам. Немецкие окопы шестикратно приблизились. Безлюдные, будто вымершие.

У солдата глаза и без бинокля хорошо видели. Разъяснил:

— Попрятались. Боятся.

— Не тебя ли? — намеренно обижая, спросил Пахомов.

Солдат хмуро засопел:

— Я же говорю — че по пустому-то... Девчонка их тут всех перепужала.

Пятницкий, пытливо шаривший биноклем по нейтральной полосе, толкнул локтем Пахомова:

— Игнат, а это что, труп, да? Ничего себе поза... Не наш ли?

— Фриц, больше некому. Своих мы всех повытаскивали.

— Н-не, не похоже на фрица,— возразил Пятницкий,

разглядывая труп.— Шинель вроде наша, сапоги хромовые... Не сразу до смерти, встать еще хотел.

— Как это не фриц? — встревожился Пахомов.— Дай-ка бинокль. Чего ты мелешь, фриц это.

— Не тот, во-он правее копешки с клевером, снежком примело. Там еще столбик расщепленный. Если наш, то это же дико, Игнат. Будто врагам кланяется.

Жутко было видеть, как меняется лицо богатыря Пахомова. Долго не отрывал бинокль от глаз. Рассмотрев, убедившись в чем-то, хрипло проговорил:

— Выйдем.

В ходе сообщения, где их никто не мог услышать, сержант Пахомов сказал:

— Сдается, Колька Ноговицин... На карачках перед фашистами?! — Он сунул пятерню под шапку, ухватил волосы в горсть, скрежетнул зубами.— Как же так? Я сам ползал... Борьку Григорьева вынесли, танкиста обгоревшего вынесли, а Кольку... Как же так?

Ознобная дрожь пробежала по хребту Пятницкого от мысли, которую он тут же решительно высказал вслух:

— Давай сходим ночью, вынесем.

Игнат вскинул удивленный взгляд, задержал его на возбужденном скуластом лице Романа.

— Без командира роты тут...

— Доложим, расскажем.

— Новенький он у нас, что для него Колька... Нет, не согласится. Обгавкает и прикажет не рыпаться. Тут санкции свыше нужны.

— Санкции, санкции,— рассердился Пятницкий.— Вдвоем вынесем — вот и все санкции.

Пахомов нахохлился, расщепил плотно сжатые губы.

— Ну, ты... репей. У меня, что ли, не саднит? Колька! Герой Советского Союза — на коленях перед фрицами! Да я... Хрен со мной, пусть на пулю нарвусь... Шумугаму только вот наделаем. На всю дивизию.

— Вынесем — все спишут,— туже завинчивал Пятницкий.

— Спишут-напишут, потом резолюцию ниже спины наложат,— уже просто так проговорил Пахомов.

— Нашел чего испугаться! — необдуманно задел его Пятницкий.

— Но, ты, полегче,— нахмурился Игнат.— Тут моя забота. По правде, тебе и соваться нечего. Случись что с тобой — меня в штрафную или к стенке прислонят.

— Штрафну-у-ую,— оттопыривал губу Роман.— Рано туда собрался. Все разумно сделаем.

— Так-таки — разумно? Смотри-ко на него, будто он только тем и занимался, что трупы из-под носа немцев вытаскивал.

— Трупы не вытаскивал, а живого фрица вытаскивал. Один раз, правда. Так что опыт у меня есть.

— Где это ты вытаскивал? — Пахомов недоверчиво скосил глаза.

— В штрафбате.

— Где-где? — пораженно заморгал Пахомов.

— Сказал же, чего повторять-то.

— За какие такие грехи?

— Ладно, Игнат, история длинная...

Игнат сокрушенно помотал головой:

— Ну, Ромка, наделаем мы с тобой делов.

— Согласен?

— Согласен...— хмыкнул Игнат.— Я бы и один пошел... Давай-ка пошурупаем мозгами, как да что. Пулемет пристрелять надо. Я за него Баймурадова посажу вместо этого сутулого. Есть у меня туркменчик узкоглазый. Акы звать. Мировой парень. Без промаха на ходу с руки лупит и умеет держать язык за зубами. Если что — огоньком прикроет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Не сразу остыло тогда тело младшего лейтенанта Ноговицина, успело растопить под собой снежок. Теперь колени и руки льдисто приварились к щетине скошенного клевера. Задубевшего, промерзлого Ноговицина завалили набок. Похрустывая, отодралась пола шинели, по шву распялился рукав. Игнат протолкнул руку за холодную, как погребица, пазуху мертвого, пошарил.

— Все на месте. Ордена, звездочка,— прошептал он.

— Обратно поспешим? — спросил Пятницкий.

— Оттащим вон за те кучи, отдышимся малость. Я поволоку, а ты раком пяться, поглядывай, чтобы немцы на спину не сели.

— Не беспокойся, прикрою,— заверил Роман.

Говорили тихо, в ухо друг другу. Пятницкому и с невеликим его боевым опытом ясно было, как вести себя

в таких случаях. К тому же до полуночи хватило времени переговорить обо всем. Вроде бы каждую мелочь предусмотрели.

А вот этого никто бы не смог предусмотреть. Помогая Игнату половчее ухватить мертвого, Пятницкий задел сапогом неструганый дрючок, прижимавший клевер, и с копешки с церковным звоном посыпались снарядные гильзы. О-о, гадство! Какой болван их туда?! Может, орудие рядом стояло или фриц хитрую сигнализацию спроворил? Черт его знает, гадать некогда.

— Уходи,— сдавленно поторопил Игната Пятницкий,—у меня гранат шесть штук. Задержу.

— Не докинешь.

— Подожду, когда придут, докину.

Но приходить немцы не спешили, прежде два десятка автоматов обрушились на клеверные копны. Однако Пятницкий успел бревешком откатиться в сторону, за бугорок. Да и двести метров для автомата — только на авось надеяться. Лежал Роман, дышал в полгорла, прикидывал, как далеко успел отползти Игнат Пахомов со своим горестным грузом. Выходило, что достиг канавы. Теперь до самого кладбища будет от пуль укрытый, а там за могилой какой схоронится.

После звона гильз ни выстрелов, ни другого шума с нейтральной не услышали немцы. Перестали бросать ракеты, притихли, прислушались. На том бы и успокоиться им, да кто-то горячий нашелся, стал властно покрикивать. В онемевшей ночи слышно было, как меняют автоматные рожки, щелкают захватами, выскребаются на бруствер, перебрехиваются по-своему. Роман только слышал их, а увидел, когда метров на сорок подошли. Взамах отвел налившуюся силой руку, но кидать гранату не спешил, может, раздумают, повернут назад. Нет, не раздумали, прут. Человек десять, не меньше. Медленно, полушагом, но приближаются.

Близость опасности обострила зрение и слух, прояснила мысли. Спокойнее, лейтенант Пятницкий, спокойнее. Они насторожены, но ты не виден, то, что ты сделаешь, все равно будет для них неожиданностью. В этом твое преимущество, в этом твоя сила. Спокойнее, пусть вон дотуда дойдут, только не до межи, чтобы укрыться не было где... Не поворачивают? Что ж, для них хуже. Как для тебя потом будет, лейтенант Пятницкий, неизвестно, но для них уже плохо. Ой как плохо. Вон те

три дурака чуть не прижались друг к другу. С них и начну... Кинул в эту троицу, не дождался взрыва, вторую кинул, теперь из автомата туда, где дважды плеснулось пламя, где грохнуло раз за разом — и назад за Пахомовым. Пока арийскую кровь зализывают, можно до канавы успеть. А тут еще молодчина Акы — или как его там — свое слово сказал: густые струи алых, желтых, зеленых трасс потянулись от дзота. Обрывались, вновь возникали и утыкались в сумрачно видный взгорок траншеи. Бей, солнечная Туркмения, немецкую сволоту, спасай мою молодую жизнь!

О-о ,гадство, за ракеты взялись, снова посветить захотелось, поярче посветить, пошире ночь разогнать. Но дудки, межевая канавка — вот она, и я в ней, можно вздохнуть глубже, охладить нервы. Но поди, охлади, когда тебя пронизала до жути беспокоящая мысль: а если следом за Баймурадовым из других дзотов огонь откроют? Они-то не знают, что тут их взводный с Пятницким ползают, спасают честь погибшего воина. Еще не хватало от своих погибель принять! Нет, молчат. Только Акы садит и садит, загоняет немцев на дно окопа. Может, предупредил других, чтобы не в свое дело не встревали?

Роман кинул еще две гранаты для острастки — и не ползком, а на четвереньках, на четвереньках для быстроты, благо канавку не очень-то снегом задуло. А вот и каменная ограда кладбища с проломами, полежать две минуты — и туда.

Вот когда наш передок ощерился. И пулеметы, и минометы заговорили возбужденно. И не одной роты, трех сразу. К чертям передышку, броском до оградки. Где там! Чуть не впритирку зацвенькали пули, зафыркали в отскоке. Упал, голову за кочку сунул, а кочка — не кочка, одна видимость кочки — мышонку укрыться, да и то хвост наружу останется. Но в рубашке Роман родился, услышал голос:

— Сюда!

Впереверт на голос — и вниз, под уклон. Воронка! Килограммов на пятьсот тут бомбочка ахнула, укрытие Пятницкому приготовила.

— Цел? — тревожно спросил Игнат Пахомов, сползая следом за Романом туда, где скрюченно оледеневший лежал Ноговицин.

Дышалось Роману тяжело.

— Пересидим здесь,— сказал Пахомов.— Теперь спешить некуда. От немцев ноги унесли, осталась одна дорога — начальству в пасть. Э-э, да ладно... Дальше фронта не пошлют. Да ты что молчишь-то? Цел хоть?

— Цел, цел,— дряхло прохрипел Роман.

— В-во, весь батальон за нас грудью. Чуешь, чего настряпали с тобой? Из полка, поди, запросы, из дивизии...

С края воронки посыпались мерзлые комки, чьи-то тени зашуршали непромокаемой парусиной плащ-палаток.

— Эй, славяне, осторожнее, свои тут!— громко предупредил Пахомов.

Сверху, вонзая каблуки в подмерзший скос, тяжело спустился квадратный, большелобый старший лейтенант.

— Мать-перемать... в дугу... в христа... Под суд!— разорялся он. Увидев третьего, неживого, скрюченного,— притормозил, спросил с усилием: — Кто это? Он? За ним?

— За ним, за ним! — не собираясь раскаиваться, ответил Пахомов.

В воронку, не устояв на ногах, съехал не менее обеспокоенный происшедшим командир батальона майор Мурашов, за ним — двое солдат. Мурашов склонился над трупом, ухватил мерзлые щеки ладонями, молча вглядываясь в отчужденно стылое лицо.

— Коля... Ноговицин,— замедленно произнес он. Не потому что узнал, а потому что душа понуждала сказать что-то, и сказать он смог только это. Лишь погодя, стараясь быть суровым и не в силах этого сделать, обратился к Пятницкому:

— Почему вот так вот? Анархисты чертовы...

Старший лейтенант опять было начал лаяться почерному, но Мурашов оборвал его:

— Тихо, тихо...

— Получишь ты у меня,— буркнул все же ротный в адрес Пахомова.

Мурашов, имея в виду совсем иное, добавил:

— Все получат, кому что положено. Никого не обнесем.

Мурашов встал с корточек, хлопнул Пахомова по дюжей спине и распорядился:

— Ноговицина ко мне в землянку,— повернулся к Пятницкому, шевельнул подбритыми франтоватыми уси-

ками.— А вы, лейтенант, откуда? Из поддерживающей? От Будиловского? Новенький? Как фамилия?— И, не дожидаясь ответа на серию своих вопросов, закруглил: — Снюхались уже.

Непонятно было — в осуждение или с одобрением сказал.

О том, что Пахомов и артиллерийский лейтенант ушли на нейтральную полосу за телом младшего лейтенанта Ноговицина, командир батальона узнал от пулеметчика Баймурадова во время ночного обхода огневых точек. Застигнутый врасплох за приготовлением к ночной стрельбе, Акы Баймурадов не мог скрыть того, чего так и так не скроешь, и прикрытие самовольной вылазки велось уже под непосредственным руководством майора Мурашова. Командир батальона поднял на ноги не только своих людей, но и поддерживающую батарею капитана Будиловского.

Вернувшись к себе, Пятницкий застал Будиловского прилипшего к стереотрубе. Тот мрачно посмотрел на виновато понуренного Пятницкого и поднялся с футляра стереотрубы.

— Вернулся, лейтенант? — спросил Будиловский бесцельно.— Садись, занимайся своим делом.— Повернулся и заскрипел ступенями вниз.

Командир дивизиона капитан Сальников пришел на НП седьмой батареи перед обедом. В присутствии Будиловского строго сказал Роману:

— Вас следует примерно наказать, товарищ лейтенант. За самоуправство. Но так и быть — воздержусь.— Нахмурился еще больше и потряс пальцем перед носом Романа: — Смотри у меня!

Когда Пятницкий вышел, Сальников повернулся к Будиловскому — кислому, непроспавшемуся,— сказал:

— Это я для острастки лейтенанту, а вообще... Командир батальона через головы всех прямых и непосредственных дозвонился до генерала Кольчикова. Сегодня будет подписан приказ. Лейтенанту твоему и сержанту из пехоты кое-что светит.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Было по всему видно, что долгому, муторному, изрядно поднадоевшему и расслабляющему сидению в обо-

роне приходит конец. Со страниц «дивизионки» повеяло по-боевому бодрящим, в солдатских котлах помимо концентратов забулькало что-то еще более существенное, исчез, пропал, испарился, будто и не было его, филичевый табак, и славяне породнились с «эх, махорочкой-махоркой», исправней и бойчее закрутились шестеренки полевой почты, обозначились и другие вестники наступающих перемен — солидные и внушительные: разборы скопившихся заявлений о приеме в партию и в комсомол, ночные вылазки дивизионных разведчиков, загадочные визиты на передок представителей сверху и какое-то невидное, лишь угадываемое обостренным солдатским чутьем сгущение живых и механических сил там, далеко за спиной. Одним из таких признаков можно было считать и вызов Романа Пятницкого в штаб полка.

Для Романа это известие — что гром среди ясного неба, многоопытный же командир батареи без колебаний отнес его к примете грядущего. Нелюдимо замкнутый последнее время, подавленный чем-то своим, капитан Будиловский лишь один в батарее знал, что своевольная вылазка Пятницкого к немецким позициям не только прощена, но и оценена должным образом, но ничего не сказал ему.

По пути к штабу Роман мучился догадками.

Может, перед наступлением новое назначение? Вот уж это ни к чему, только-только успел обвыкнуть, узнать людей... А если то, из штрафного?

Приземистый особняк с обрушенной до скелета кровлей совсем не изменился за минувшие два месяца, но все окружающее его приобрело обжитой вид, суровую военную подтянутость. За чахлым по зиме садом, там, где еще недавно громоздились останки изодранных в бою немецких машин, теперь задами вверх торчали из своих укрытий «додж» и «виллис», а вдоль кирпичного сарая в такой же неактивной позе — несколько «студебеккеров». В расчищенные руины соседнего сарая впячен крытый «газик» с антенной, метрах в трехстах — горбы землянок с многослойными накатами. И у машины, и у землянок топчутся часовые. На крыльце особняка, где расположился непосредственно штаб, часового почему-то не было. Там, прислонившись к бетонным балясинам, утомленно курила женщина-сержант.

Пятницкий попереминался, тяжело вздохнул и шаг-

нул на крыльцо. Сержант притоптала недокурок, вяло улыбнулась:

— Поздравляю, лейтенант.

— С-с чем,— смешался Пятницкий, козыряя усталому представителю штаба.

— Будто не знаешь. Первый раз получаешь? — не ответила она на приветствие и неожиданно повысила голос: — Виталька! Вот еще один герой, принимай.

Пятницкий обернулся туда, куда посмотрела и крикнула женщина. От землянок бежал молодой, его возраста офицер. Он был без шинели, в щегольски растопыренных, как крылья махаона, бриджах, из-под меховой безрукавки выставлялись редкие на фронте парчовые погоны. Офицер с ходу сунул Роману свою руку.

— Из третьего дивизиона? Это ты за Ноговициным ходил? Пятницкий фамилия?

— Пятницкий, товарищ лейтенант.

Офицер хмуро оглядел Пятницкого с ног до головы, не выдержал и поправил:

— Капитан. Капитан Седунин, адъютант командира полка. Идем, идем,— подтолкнул он Романа к двери.— Повезло сегодняшним, сам Кольчиков прикатил.— И упрекнул: — Нет, что ли, гимнастерки получше? Чего в застиранную вырядился?

Намек женщины-сержанта и суетливые вопросы адъютанта Седунина сделали свое дело: через кровяной шум в голове к сознанию Пятницкого пробилось то, о чем уже подумал чуть раньше: «Может, и правда?»

— Раздевайся,— с приглушенной сердитостью распорядился адъютант.

Роман отступил к порогу, постучал сапогом о сапог, стряхивая остатки снега, и тогда уже бросил шинель на ящик рядом с безрукавкой капитана Седунина.

В довольно просторном покое с тремя разномастными столами находилось несколько человек, вид у них был послеобеденный. Генерал, которого Роман раньше не видел, сидел сбочь квадратного стола. Широко расставленные крепкие ноги генерала плотно обтянуты хромом голенищ и вбиты в паркет, на мускулистом прогретом лице с клочковатыми бровями — серые, внимательные глаза, под черным треугольником усов — толстые, в добродушном извиве губы. Рядом с ним пристроился сухощавый, с недоступной и свирепой внешностью двадцатипятилетний командир полка Варламов в кителе

с жестким, дудкой, воротником, со слепящим блеском орденов. На узкой груди подполковника орденов казалось больше, чем у генерала, хотя это было не так.

Роман, успевший привести нервы в норму, с добротной уставной выучкой доложил генералу, что «прибыл по вашему приказанию», хотя и понятия не имел — чье было приказание.

Генерал легко поднялся и протянул руку к столу, где на тусклом, согнутом створками картоне лежала медаль с изображением танка. Сухота в горле Романа сделалась нестерпимой. Голос генерала дошел до него сквозь войлочный завал:

— Поздравляю... правительственной...

Генерал подал ухватистую ладонь, почувствовал в ней такую же по-мужски цепкую и левой рукой сверху пришлепнул это рукопожатие — печать наложил, заверил подлинность происходящего.

— Ну, лейтенант, дай бог, не последняя.

Что скажешь на это? Служу?.. Нелепо. Роман шевельнул закляпанным горлом, сглотнул.

— Спасибо, товарищ генерал.

— Комсомолец? — желая что-то добавить к уже сказанному, спросил Кольчиков.

Роман споткнулся было в ответе, но встретил немигающий взгляд, не отвел своего и тихо, но внятно, слышно для всех, произнес:

— Никак нет, исключен.

Надглазные мышцы генерала дрогнули, прянула вверх, сломалась углом клочковатая бровь.

Из-за стола поднялся начальник штаба полка Торопов — высокий, седой, с мудрым лицом майор и, продвигая по столешнице другую картонку, похожую на офицерское удостоверение, но уже с орденом Красной Звезды, сказал:

— Глеб Николаевич, вот... Из пятьсот семнадцатой, по девятому штрафбату.

— Это о нем шла речь, Сергей Павлович? Он и есть тот самый Пятницкий? — с раздражением спросил генерал.

Взгляды присутствующих скрестились на Романе — взгляды бывалых, мужественных, битых и ломанных войной солдат. Они умели оценивать всех и вся своею высокой меркой.

— Дайте его личное дело! — тем же тоном распорядился генерал.

Кольчиков сел, с треском полистал содержимое папки, поданной начальником штаба. Насупленно и долго читал убористый машинописный текст двух листков папиросной бумаги. Откинул папку, зло пошевелил губами — зажевал грязные слова. В своей свите, занимавшей круглый стол, разыскал глазами человека с погонами майора юстиции, спросил:

— Что тут можно сделать?

— Сразу должны были сделать, товарищ генерал,— не вставая, ответил майор. Он заполнял какой-то бланк, взятый из полевой сумки.— Наградить ума хватило, а справку сразу...

Крыласто раскинув руки по столу, генерал Кольчиков остро посмотрел на Романа:

— Такие дела, Пятницкий. Война, она, стерва,— всякая... Будь настоящим воином, не держи на страну сердца.

Он знал об ордене. Сказали еще тогда, после боя Но мало ли — сказали, могли и... Губы Романа дернулись.

Стронув стол, генерал подошел, сильными, ловкими пальцами, едва не оторвав пуговицу, расстегнул Роману гимнастерку и безжалостно прорвал материю длинным нарезным штырем ордена, подал винт.

— Привинти.

Майор юстиции подождал, пока Пятницкий освободит руки, протянул листок со слепым от копирки текстом и чернильными вставками вместо пропусков.

— Приберите, Пятницкий, пригодится.

Генерал Кольчиков прошелся по комнате туда-сюда, пригасил гнев, сказал начальнику штаба Торопову — высокому и седому майору:

— Выдери обвинительное к чертовой бабушке, Сергей Павлович. Ему завтра в бой идти, его убить могут, а тут... Вырви с кишками, чтобы не пахло.

Посмотрел на майора юстиции, сел и стал растеребливать пачку с папиросами. Юрист понимающе поморщинил губы, поднес Кольчикову зажженную спичку. Поглотав дыму, генерал с невеселой улыбкой приободрил Пятницкого:

— Ничего, теперь ты кованый, будешь рубить до седла Иди, дорогой, воюй.

От долгого стояния навытяжку, от волнения у Романа не получился поворот — качнуло. Качнулся, сделал шаг,

но тут же был остановлен командиром полка Варламовым:

— Погоди, командир-то полка должен поздравить или нет?

Подполковнику Варламову, видно, приятно было произносить слова «командир полка», и он сказал их рокочуще, с удовольствием. А может быть, потому сказал с удовольствием, что с лейтенантом все вот так получилось — не тогда где-то, а сейчас, в его присутствии хорошо получилось. Варламов подошел легко, спортивно, потряс руку.

— А насчет этого,— чиркнул большим пальцем где-то под скулой.— Седунин, распорядись там...

У крыльца Романа Пятницкого дожидался ординарец Будиловского Степан То́рчмя.

— Вы чего здесь, Степан Данилович? — удивился Пятницкий.

— Севостьяныч встретить велел,— косясь на адъютанта и козыряя ему, ответил ординарец.— Его командир дивизиона вызвал, оттуда мы в Варшлеген причапали. Они со старшиной закусь соображают, а меня сюда разжиться турнули.

Адъютант хохотнул:

— Не дремлют пушкари. Фляжка-то есть, солдат? По сему большому поводу наполнить велено.

— Что? — переспросил далеко не глухой Степан Торчмя.— Фляжка? Нету фляжки, товарищ командир. Вот жалость, может, вы что приищите?

— Ладно, ждите,— адъютант помчался по известному ему адресу.

— О, Степан Данилович, вы еще и бестия ко всему прочему. Фляга-то вон, зачем соврали?— упрекнул Пятницкий.

— Как вы все видите, какие у вас глазки вострые,— скособочил голову Степан Торчмя.— Она, поди, не порожняя. Водчонку я вон в той землянке у военных женщин выцыганил.

На дворе заметно и быстро смеркалось. Степан Данилович недовольно повертел головой:

— Куда это расхороший командир запропастился? Пораспустили их тут...

— Пойдемте, хватит нам и того, что есть,— притронулся Пятницкий к плечу солдата.

— Владимирыч, не грешите, ради бога. От водки от-

казаться! Страсти какие! — неподдельно изумился ординарец комбата.

Подбежал рассерженный капитан Седунин.

— Кладовщик, скотина... Пока нашел. Держи пять, лейтенант, поздравляю и так далее...

Степан Торчмя, освобождая адъютантские «пять», поспешно перехватил взбулькнувшую флягу.

Из разбитой деревушки выбрались на дорогу к Варшлегену. Трехкилометровая отдаленность от передовой глушила звуки дремлющей позиционной войны. Здесь не было шумнее, но в сгущающихся сумерках солдатское ухо распознавало разделенные и настороженные работы. В низинке за буковой рощей урчали моторы тягачей, чуть поодаль позвякивали лопаты — готовили площадки для тяжелых орудий, за вековыми липами дорожной посадки вольно и россыпью, судя по голосам, шла колонна воинской части. Справа торопливо, опережая друг друга, злясь и сатанея, застучали зенитки, отгоняя припозднившуюся, принюхивающуюся немецкую «раму».

Степан Торчмя задал навеянный всем этим вопрос:

— Про наступление не выспросили, Владимирыч?

— Нет, не спросил.

— А скоро, поди, кожей чую. Нонче бы и кончить ее, войну проклятую. До сенокоса. Пропасть как надоела. Прямо изболелся весь. Вчерась приснилось, будто иду по утренней траве, роса холодит босые ноги, а моя литовка — вжик, вжик, вжик... Ах, мать моя родная... Даже сердце захолонуло... Да что это я! Владимирыч, медаль, медаль-то покажите!

— Медаль медалью, Степан Данилович, еще и Красню Звезду получил, — погордился Пятницкий.

— И Звезду еще! — восхитился Степан Торчмя. — Чинно! За что, Владимирыч?

— Это... — замешкался Пятницкий, — из прежней части, там награжден.

— Чинно, чинно. Рассказали бы.

— А, чего там... Мне вот, пока совсем не стемнело, бумажку бы одну прочитать, Степан Данилович.

Пятницкий, царапая тело штырьком ордена, извлек из нагрудного кармана документ, врученный майором юстиции, затаив дыхание, пробежал по нему глазами:

«Настоящая справка выдана (вписано от руки: Пятницкому Роману Владимировичу) в том, что он определением военного трибунала... дивизии от... за проявлен-

ные отличия в боях против немецких захватчиков освобожден от отбытия назначенного ему по ст. 193-17 п. «а» наказания — лишения свободы сроком на (вписано от руки: пять лет) и в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 февраля 1943 г. признан не имеющим судимость. Председатель военного трибунала...»

Заметя, как посуровело лицо Пятницкого, Степан Торчмя спросил:

— Важная бумага, Владимирыч?

— Очень важная, Степан Данилович, очень.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В ту предгрозовую пору редкий мальчишка не переболел мечтой стать если не Чапаевым, то, на худой конец, моряком или летчиком. Чтобы артиллеристом, такого Роман не знает. Во всяком случае, лично ему подобное в голову не приходило. Оборонных значков, отличавших активиста от обычного смертного, к восьмому классу на пиджаке Романа было не меньше, чем спортивных медалей у знаменитого борца Ивана Поддубного,— «Ворошиловский стрелок», БГТО, ПВХО, БГСО, ОСВОД и даже «Юный пожарник», но в военкомате, когда подошел срок, нашли, что это военно-прикладное богатство, скорее всего, нужно артиллеристу. Так сказали. На самом же деле, не без оснований думалось Пятницкому, получил он назначение в артиллерийское училище потому, что оно, перебазированное на Урал с берегов Черного моря, находилось неподалеку от Свердловска

Пятницкому повезло на преподавателей. Почти все они прошли Хасан, Халхин-Гол или финскую. Даже командиры курсантских отделений в их батарее были не из желторотых однокашников, а сержанты, только-только подлечившиеся после ранений. Пятницкий охотно и довольно успешно впитывал военные премудрости, радовался этому и не подозревал, что похвальные знания явятся в скором времени источником глубочайших душевных мук.

По прошествии одиннадцатимесячной, едва не круглосуточной учебы Роман Пятницкий в числе нескольких

преуспевающих курсантов был досрочно выпущен из училища с наивысшей аттестацией — на должность начальника разведки дивизиона с правом выхода в гвардейскую часть.

И тут-то вступила в силу справедливая (с точки зрения начальства), но и абсурдная, противоречащая их помыслам (с точки зрения таких, как Пятницкий) кадровая политика той поры: умеешь — учи других. Пятницкого направили в Горьковскую область, где дислоцировался артиллерийский запасной учебный полк, готовить для фронта солдат-пушкарей.

Военкоматы присылали сюда дождавшихся своего часа парнишек-новобранцев — худых, заморенных, изробившихся, но переполненных решимости в пух и прах расколошматить фашистскую Германию; возмужалых, знающих, что почем, фронтовиков из госпиталей; бодрых участников первой империалистической и гражданской и не участников, но тоже рождения конца прошлого века; рабочих, наконец-то освободившихся от брони, и каких-то сытых личностей, неожиданно лишившихся этой брони; сереньких хамов, отбывших срок за уголовные преступления; лобастых от стрижки, без вины виноватых парней из районов, освобожденных от оккупантов, и всякий другой люд, способный и обязанный носить оружие,— так называемый переменный состав.

Взводные и выше считались постоянным составом, и Пятницкий с ужасом думал, как бы не остаться «постоянным» до конца войны. Такая вероятность не исключалась в силу все тех же парадоксальных вещей. Чем больше он вкладывал в дело души и энергии, тем больше возрастала эта вероятность.

Лагерь учебной дивизии возник на пустынном месте в первые месяцы войны. Мелкий сосняк на песчаной почве, землянки-казармы, землянки-штабы, землянки-классы, землянки-склады... Офицерские общежития — тоже землянки.

В сумерках, когда, попукивая, затарахтел дизельный движок и по проводам пригнал от динамо слабенький ток к лампочке, Пятницкий, казнясь своим долгим молчанием, засел за письмо матери.

Писал торопливо, не перечитывая — не надеялся на долгий покой на исходе суматошного дня (принимали, мыли, экипировали новобранцев),— писал о том, что будет радостно маме, что подтеплит ее душу, захолодев-

шую после известия об отце: пропал без вести. Писал о своем великолепном самочувствии, хорошем питании, о прекрасных товарищах и командирах, о всегда чистых и сухих портянках, кое-где привирая при этом (не всякая правда по сердцу маме),— писал о том, что порадует маму; ее расспрашивал о житье-бытье, все еще не в силах представить слабенькую, интеллигентно-наивную, бесконечно дорогую и милую маму, гримершу театра, в брезентовом фартуке, в обшитых кожей вачегах на нежных руках, с грязным лицом от гудронной копоти и металлической пыли,— представить ее возле скрежещущей «гильотины», под мощный нож которой она, резчик металла, то и дело подставляет тяжелые, глухо вибрирующие, еще не остывшие после проката и с неровными, острыми, как бритва, краями листы стали... Она оставила театр со всеми эвакуированными сюда знаменитостями сцены и пришла на Верх-Исетский металлургический завод после известия о зловещей, не до конца ясной судьбе мужа, работавшего в листопрокатном цехе сменным мастером.

Последние строчки дописывал под нетерпеливым взглядом переминающегося с ноги на ногу посыльного, передавшего приказание явиться к подполковнику Богатыреву.

Прямо к Богатыреву? Что ж, когда командир дивизиона в отъезде, когда командир батареи в отъезде, то и Пятницкий — прямо к Богатыреву.

Заместитель командира полка по строевой части подполковник Богатырев был высок (до войны в артиллерию подбирали почему-то только рослых), строен, крепко мускулист, красив мужественными, броскими чертами лица. Вся внешность его, сорокалетнего, была покоряюще притягательной. Роман молился на Богатырева, прекрасного знатока артиллерийского дела, всегда с радостным трепетом ждал его прихода на занятия или с проверкой в караульное помещение, наблюдал в часы подъема по тревоге, любовался впаянным в седло во время учебных походов.

Юношескую влюбленность не могли поколебать даже собственноручные отказы Богатырева на рапортах Пятницкого об отправке в действующую. Возвращая рапорт, Богатырев с виноватостью улыбался, в дружеском бессилии разводил руками. Если Пятницкий начинал строптиво настаивать, Богатырев, чуть нахмурившись, говорил:

— Я же не встаю на дыбы, когда мне отказывают.

И это убедительно охлаждало. Если уж подполковник Богатырев не может добиться отправки на фронт, то куда ему-то, лейтенанту Пятницкому!

Все нравилось Роману в подполковнике. Даже звучная фамилия Богатырев, даже необычное имя Спартак, даже единственная медаль «XX лет РККА».

Подполковник Богатырев встретил его, не поднимаясь из-за стола. Нервно осунувшееся лицо. Глаза, которые Роман привык видеть искрящимися живостью и умом, сейчас были сухие и отрешенные, взгляд уходил куда-то за стены кабинета. Видно было — мучило подполковника что-то свое, личное.

В крохотном женском обществе учебного полка, затерявшегося в песчаном мелколесье, красавец Богатырев был вне конкуренции. Когда кто-нибудь заводил об этом разговор, Пятницкий передергивал носом и отмахивался — да пусть его! — хотя с огорчением замечал, как под тяжестью новых и новых любовных успехов Спартака Аркадьевича его кумир начинает блекнуть. А теперь вот эта смерть молоденькой посудомойки из офицерской столовой. Конечно, не Богатырев свел ее с деревенской повитухой, но... Тень от тучи, нависшей над Богатыревым,— вот она, на лице. Не исключено, что разговоры о парткомиссии — тоже правда...

Разглядывая какую-то бумажку — не поймешь, нужную или ненужную в данный момент,— Богатырев угрюмо сказал:

— Предстоит поездка на две-три недели. Послать больше некого, Пятницкий.

Действительно, кого еще? Все офицеры уехали с маршевым эшелоном. Только вот куда поездка, зачем?

Богатырев сделал паузу, вздохнул при мысли о том, что сейчас скажет, и сказал:

— Колхозу помочь надо, заодно для дивизии заготовить. Забирайте всех вновь прибывших — и в Приокский колхоз. Сено косить будете.

Вот оно что! На сенокос. Как не порадоваться человеку, измученному военной муштровкой. Только как это — забирай вновь прибывших? Он их еще разглядеть не успел, по взводам, по отделениям не разбиты. Присягу не принимали. Потом... Призывник призывнику рознь. Новобранцы, как один, из западных областей, что отошли от Польши. С такой хохляцко-польской мо-

вой, что и не поймешь, о чем «гутарють». В бане мыл... Надо же — у каждого крестик на бечевке. Не сена, как бы чего другого не накосить. Вся жизнь под панами да фашистами, о Советской власти только от них знают.

Пятницкий сказал о всем этом подполковнику Богатыреву. У того дернулся уголок губ. Что же это получается? В недомыслии его обвиняют? Не подумал юноша, что перечит начальству, что может неудовольствие, гнев вызвать?

Пятницкий не подумал, а вот он, Богатырев, когда в дивизии сказали о сенокосе, подумал. Ему бы по-деловому о том же, о чем сию минуту сказал Пятницкий, да добавить к этому, что новобранцы еще и через фильтр особистов не прошли, а он подумал о возможных для него последствиях из-за смерти девчонки — и не сказал.

Богатырев сдержал раздражение, лениво и осуждающе сказал:

— Приказы не обсуждают, Пятницкий.

— Я не обсуждаю,— слабо возразил Пятницкий.— Может, подождать, когда вернутся сопровождающие эшелон. Что я один с этими...

У Богатырева снова задергался уголок губ. Еще не хватало, чтобы закричал сейчас. Пятницкий приложил руку к пилотке:

— Разрешите идти?

— Вернутся офицеры — пришлю,— буркнул Богатырев.

На сенокосе крутился как мог. С одним сержантом. Ленивый и себе на уме, сержант был вроде помпохоза. Кладовая, пшено, шпик — остальное ему как щуке зонтик. С косцами одному Роману приходилось. Все из крестьян, работящие, исполнительные, иные до угодливости исполнительные — даже противно становилось. От рассвета до темноты, как машины, пластали высокие пойменные травы.

Жили в здании школы. Распорядок — уставной: ночное дневальство, утренняя поверка, вечерняя поверка, осмотр «по форме двадцать» (не завелось ли в белье чего живого) — все как положено в армии. Физзарядку только не проводили — ее на покосе хватало. Самоволками, самогоном, другим недозволенным даже не пахло. Колхозницы сердились на Пятницкого. Сам, дескать, недоспелый, то хотя бы хохлов своих не держал взаперти.

Смехом, конечно, говорили такое. Да что уж там, не всякое желание шуткой прикроешь. Только солдаты Пятницкого были равнодушны до игрищ — семейные большей частью, блюли себя. Да и изматывались до крайности, только оставалось на уме — поесть скорей да носом в солому, до утренней зорьки.

Ночами Пятницкий вставал, проверял часовых-дневальных. Спали, неразумные. Как не уснешь после костоломки под палящим солнцем! Растолкает Роман умаявшуюся стражу, поворчит — и ладно. Сам вконец вымотался от недосыпу. Дней десять спустя после приезда с грехом пополам, едва не оборвав в правлении ручку настенного аппарата, дозвонился до полка, доложил о ходе работ. Богатырев порадовался цифрам скошенного, похвалил, снова пообещал прислать сержантов и офицеров в подмогу. Пообещал и не прислал. А вскорости в ненастную ночь из отряда исчезли семеро — самые угодливые.

Облаву Пятницкий устроил всем колхозом. Но что это за облава — девки да бабы. Потоптались возле поскотины и подались домой. Причину выдвинули уважительную: не ровен час, бахнут из ружья... Бахнули только на третий день, в соседней области — изголодавшиеся забили овцу. Но Пятницкого в это время уже не было в Приокском колхозе, был он в части и давал следователю показания по поводу чрезвычайного происшествия.

Пятницкого судили показательным — за преступно-халатное отношение к исполнению воинских обязанностей.

О том, что те семеро из неопознанных бандеровцев — об этом ни слова не было сказано. Об этом говорили, наверное, там, где судили дезертиров, здесь упоминать о них не нашли нужным.

Осуждающе-ярко выступил подполковник Богатырев. Оказывается, Пятницкий — самонадеянный офицер, у него не нашлось смелости сказать, что не справится с заданием, игнорировал указания командования, не поставил в известность о возможном побеге... Преступление Пятницкого должно послужить примером другим...

Его не арестовывали, не лишали звания, у него даже не изъяли того, к чему поспешил сразу после зачтения приговора, но пистолета на обычном месте в землянке не оказалось. В землянке сидели вернувшиеся с заседа-

ния трибунала офицеры батареи и лысый, насупленный капитан Вербов — парторг дивизиона. Пистолет Романа лежал на планшетке Вербова. Вербов подождал, когда лейтенант Пятницкий закончит поиски, сделал зверское лицо и показал ему кулак левой руки — на правой руке парторга Вербова не было четырех пальцев. Пятницкий лег на топчан и заплакал...

С подполковником Богатыревым Пятницкий встретился утром в коридоре штаба полка. Хотел пройти мимо, даже не приложив руки к фуражке, но Богатырев сделал движение в сторону и загородил ему путь.

— Как думаешь до станции добираться? — спросил подполковник.

Не было желания и отвечать, но это было бы слишком. Богатырев все же заместитель командира полка, по существу командир, поскольку полковник, весь израненный, то и дело лежал в госпитале.

— Проголосую на шоссе,— буркнул Пятницкий.

— Запряги моего Упора в коляску. Если дом по пути, продлю срок прибытия.

— Не по пути. Мой дом на Урале,— посмотрел на стену Пятницкий.

— Упора возьми,— повторил Богатырев и чуть колыхнулся, чтобы идти, но замер, заметив мгновенно мелькнувшую на лице Пятницкого тень нерешительности.— Говори.

Это «говори» сломило Романа. Иного выхода у него не было.

— На пару часиков Упора... Под седло.

— На весь световой день. Отбыть можешь и завтра,— отчеканил подполковник Богатырев и своей красивой, стройной поступью скрылся за какой-то дверью.

В батарее было восемь лошадей — доходяга на доходяге. Порой, когда даже не оставалось охапки сена, под их животы подводили ременные постромки, чтобы не упали и не околели. Девятым был жеребец Упор, верховой конь Богатырева, заместителя командира полка по строевой части, который статью своей напоминал своего хозяина. Он только квартировал в конюшне батареи. Ухаживал за ним, прогуливал и кормил его особым рационом специально приставленный сержант из штабной братии, похоже, из категории самосохраняю-

щихся от невзгод переднего края. Настолько он был подхалимист и лакейски услужлив, разумеется, не с лейтенантами.

Сержант оглаживал Упора овальной щеткой, очищал ее о скребницу и тягуче ныл что-то бессловесное. Коротко привязанный к коновязи, Упор приятно вздрагивал лоснящимися боками. Ни слова не говоря, Роман принес седло, стал заседлывать жеребца. Сержант перестал гундосить, удивленно заморгал желтыми глазами. Бывало, этот Пятников, или как его, объезжал Упора, а теперь-то... Осужденный ведь. Господи, верхи куда-то наладился. Сказать — так кабы чего... Эвон бугай какой... Когда Пятницкий стал толкать удила в зубы закапризничавшей лошади, сержант пересилил робость.

— Куд-да эт-то? Куд-да? — запротивился он, хватаясь за чембур.— По какому такому позволению?..

Разговор с подполковником Богатыревым, радость скорой встречи с Настенькой ослабили тяжесть свалившегося, влили в Романа веселую и злую приподнятость. Сержант услышал от него такое, чего никогда не слышал от лейтенантов в учебном полку:

— Не кудахчь, не курица. Марш открывать ворота!

Посеменил ведь, распахнул жердевые провисшие ворота. Он потом поспешит, конечно, куда следует, осведомит кого надо... Ох уж будет, если что, офицеришке...

Пригодилась одинаковость роста с Богатыревым — стремена не надо подгонять. Роман легко взметнулся в седло, понудил застоявшегося Упора боковым шажком, с перебором, выйти за ворота, крикнул оттуда сержанту, чтобы к вечеру приготовил коляску, и бросил Упора в галоп.

Маршрут учений, состоявшихся месяц назад, проходил через деревеньку на берегу Клязьмы. Пятницкий и два других взводных из батареи высмотрели из стайки прибежавшей детворы мальчонку побойчее, попросили принести напиться. Парнишка шмыганул в ближайшую калитку, а лейтенанты, приморенные пешим переходом, уселись на скамью у ворот. За высокими глухими воротами, подряхлевшими без хозяйского досмотра, усиливая давно мучившую жажду, забренчала колодезная цепь. И тут же раздался девичий голос:

— Товарищи, вы пройдите сюда.

Подошли к колодезному срубу. Придерживая рукой тяжелую помятую бадью, стояла в полинявшем платьице с пряменько гордым поставом головки то ли девушка, то ли девочка. Роман глянул на нее и ослабел, прилип глазами. И с ней враз что-то случилось. Смотрит прямо в лицо, а в глазах столько удивления — испуганного и радостного одновременно. Друзья даже подумали — знакомые встретились. Не стали любопытствовать, попили и молча подались из ограды. Из расклепавшегося шва бадейки бьет струйка воды, густые, невесомо льняные волосы колышет речное дуновение, играет ими в солнечной яркости. Парнишка дернул бадейку, оплеснулся остатками, обругал сестру:

— Настя, че рот-то разинула, командир пить хочет!

— Ой,— сдавленно вскрикнула девушка,— я сейчас, извините.

Роман завладел воротом, сам добыл воды. Братишка убежал — на улице интересней. А Роман так бы и стоял, век не уходил никуда. И ей уходить не хотелось.

О чем говорили потом — убей не помнит.

Возвращаясь с учений, снова зашел. У ворот стояла, ждала Настенька — умытый росой ландыш среди подорожника. Вспыхнула вся, засветилась счастливой нежностью, в избу позвала. И вот уж чего совсем не ожидал — к матери потащила. «Мама, это Рома, знакомься... Папа у нас на фронте... Это братишки, сестренки, на печке еще одна. Семеро нас у мамы...» Говорила и говорила с непосредственностью подростка, всю родословную пересказала. Табель свой за седьмой класс притащила. Ни одной «удочки». В девятый пойдет, в учительский институт поступит... А он разок назвал ее Настенькой, потом не мог остановиться — Настенька да Настенька.

За деревней сыграли сбор сигнальные трубы.

— Ой! — как в тот раз, вскрикнула Настенька, и от этого вскрика Роману защемило сердце тянущей болью. Как еще из ума не вышибло адрес свой оставить, Настенькин записать...

Теперь вот — третья встреча. Не думал, не гадал, что такие сообщения таким вот Настенькам надо как-то по-особому делать. Взял и бухнул, и не ей, а матери:

— Елизавета Федоровна, проститься приехал. На фронт уезжаю.

Кажется, даже весело сказал. Обрадовал! Роман ты Роман неразумный, болван с языком-распустехой, дурак по самую маковку... Глаза у Настеньки становились все больше и больше, заволакивались влагой. Припала острыми грудками к пропыленной гимнастерке Романа, обхватила за шею — при матери, при сестренках, братишках голопузых,— заплакала громко, надрывно. Несмышленыши тоже в рев пустились. Тот, что водой поил, Настенькин погодок, шоркнул рукавом под носом, выскочил в сенки. Елизавета Федоровна, глядя на дочку, оцепенела. Неужто и дочушке приспело отрывать от сердца... Боже мой, рано-то как, боже...

И у Романа стало под веками набухать, мямлит что-то. Тут вернулся парнишка, не зная того, выручил:

— Я коня вашего во двор завел, сена бросил.

Настенька оторвалась от Романа, ушла за занавеску.

— Зачем же сено, поди...— хотел упрекнуть Роман Настенькиного братишку, но тот махнул рукой:

— Ниче, нонче мы с сеном. С мамкой да Настей добрую копешку поставили. Дожжи вот прошли, еще укос хоть махонький сделаем.

Будь она неладна, война эта! Э-э, да что там... Сказано — на весь световой день, пусть так и будет.

— Попоить коня-то? — деловито спросил мужичок, а другое, что охота спросить, в глазах высвечивает. Только убрал он глаза, уставил куда-то в угол. Но такое и по затылку угадать можно. Сам-то давно ли таким был. Роман понимающе подмигнул ему:

— Заберись-ка, парень, в седло, да погоняй немножко. Конь строевой, ему проминка требуется.

Просиял парнишка. Рубаха полыхнула в дверях — и пропала.

Настенька появилась из-за занавески смущенная, ужатая вся.

— Елизавета Федоровна, мы погуляем немножко? — робко спросил Роман.

Мать горько вздохнула:

— Идите, идите, милушки вы мои, попрощайтесь. Господи, горе-то, горе-то какое...

По огороду, за огородом ходили, на бережку посидели. Прощались у ворот. Не заплакала больше. Тоскливо смотрела на Романа, пальчиками притронулась к его щеке, погладила бровь. Ну какая она девочка! Разве девочка может сказать такое:

— Как в песне той грустной... Рома, неужто и мне такая судьба выпадет?

— В какой песне? — осторожно спросил Роман.

Настенька тихо пропела: «Помню, я еще молодушкой была...»

Не по себе сделалось, заговорил торопливо, сбивчиво:

— Настенька, милая, я люблю тебя, я живой вернусь, приеду к тебе... Настенька...

Настенька тепло дышала в шею Роману. Возле палисадника Упор позванивал удилами, голопузые ребятишки поглядывали в окошко.

Настенька подняла подбородок, потянулась к губам Романа, припала к ним своими молочными, неумелыми.

Так и расстались...

В тот же вечер Пятницкий выехал в распоряжение штаба Третьего Белорусского фронта, оттуда в Каунас, где пополнялся новым составом девятый штрафбат.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В уютно обжитом закутке сарая, занятого хозяйством дядьки Тимофея, прихода Пятницкого и Степана Даниловича ожидали комбат Будиловский, вызванные с огневых командиры взводов Рогозин и Коркин, а также обитающие при старшине санинструктор Липатов, артмастер Васин, командир отделения тяги Коломиец. Увидев столь представительное собрание, Степан Торчмя воскликнул:

— Елки-моталки! А вы говорите, Владимирыч,— зачем водка. Тут канистру подавай — и то мало будет.

Капитан Будиловский встретил Пятницкого необычайно оживленно и многословно. Роман, грешным делом, причину такой метаморфозы увидел во флягах, а сбор батарейной элиты отнес к собственной персоне. Но вскоре убедился, что все это так и не так.

Командир первого огневого взвода, он же старший на батарее, недавний студент консерватории Андрей Рогозин высок и статен, интеллигентен до самой малой косточки. В зубах фасонистая трубка, дымившейся которую Пятницкий никогда не видел. Рогозин с рас-

полагающей улыбкой взял у Романа шинель, передал старшине Горохову, без зависти порадовался наградам.

Коркин бравого вида не имел: низкоросл, худощав. Он поклевал ногтем эмаль ордена, прикинул на вес медальную бляху. Имея в виду награды, спросил удивленно:

— Сразу две?

Пятницкий отшутился:

— Больше не было, пришел поздно.

Поздравил Романа не по-фронтовому тучный Тимофей Григорьевич Горохов — дядька Тимофей, пакостный ругатель и золотые руки младший сержант Васин, большеголовый и ушастый лекарь Семен Назарович Липатов, ужасно конопатый рядовой Коломиец. У загородки, разделявшей сарай на кухню и апартаменты старшины — продуктово-вещевую каптерку и канцелярию одновременно, где готовился пир на весь мир,— восхищенно пялились на Пятницкого седоусый ездовой Огиенко, повар Бабьев, по летам, скорее всего, не повар, а поваренок, и сухой, подслеповатый на один глаз писарь Курлович. Они уже давно, правда самым благопристойным образом, мозолили глаза капитану Будиловскому. Получив наконец разрешающую улыбку, принялись от души выдергивать Пятницкому руку из плеча.

Столу мог позавидовать владелец поместья Варшлеген: офицерские доппайки в виде печенья и американской колбасы в жестяных баночках с присобаченными к ним открывашками-раскрутками, раздетые догола луковичные репки в суповой тарелке, две стеклянные банки консервированной индюшатины — сбереженные старшиной трофеи первых дней наступления в Восточной Пруссии — и полуведерко горячей картошки, обсыпанной для духовитости сушеным укропом.

Капитан Будиловский дождался, когда все рассядутся. Он был благодушен, легок сердцем и сказал с торжественностью, которая была понята так, как и следовало понять:

— Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, давайте выпьем в эту богом дарованную минуту за нашего боевого товарища, за его награды...

Он еще хотел что-то сказать, люди ждали, но он оборвал себя и высоко поднял вычурную, звеняще тонкую, богатого сервиза фарфоровую чашку.

Предусмотрительный Степан Данилович поторопился внести поправку:

— Давайте попеременке: поначалу за орден, потом за отважную медаль.

Выпили за орден, выпили за медаль. «Теперь в самый раз бы за справку»,— подумал Пятницкий, но решил, что справка — его сугубо личное дело, и по праву поздравленного виновника торжества вздернул вверх свою чашку:

— За нашу победу, за то, чтобы все мы... победили.

Нескладность тоста была прощена. На самом деле, зачем слова, которые хотел сказать лейтенант и не сказал, которые и не помешали бы... Но что толку! Сколько ни желай вернуться живым и здоровым, сколько ни клацай чашку о чашку — с водкой ли, с вином ли самым что ни на есть заморским,— не все останутся живыми, не все вернутся здоровыми. За победу — это да, победу будут добывать и мертвые.

Среди старшинских шмуток разыскалась рогозинская шестигранная гармоника. И вот оно — нет войны, сидит Роман в натопленной комнате, наслаждается песней из репродуктора, принюхивается к аромату из кухни, где стряпает мать, и никак не решит — куда сегодня податься: на танцы в клуб или завалиться с книгой на диван? Мечтательной довоенной картины не рушил гул войны: он походил на гул завода, от которого до дома — рукой подать.

Андрей Рогозин спел фатьяновскую «Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя». С каждым куплетом Василий Севостьянович менялся на глазах — мрачнел, обугливался. Когда притих последний вздох концертино, Будиловский стал прежним — обрюзгшим, постаревшерыхлым. Степан Торчмя завозился, запоглядывал на писаря — не наскребет ли тот чего по сусекам, чтобы развеять крученую морочь. Курлович поднялся было, но Будиловский пересилил маету, решительно придавил ладонью поверхность стола:

— Хватит, друзья. Теперь — о главном.— И он сказал об этом главном: — Послезавтра переходим в наступление...

Говорили о порядке подвоза снарядов (Коломиец — весь внимание), о доставке пищи (начальственный перст погрозил в сторону Бабьева), о раненых (выразительный взгляд на Липатова), о запасных катушках связи, о срочной замене, кому надо, валенок (Тимофей Григорьевич щитком выставил ладошку: дескать, уже,

уже...), о канистрах с бензином, о починке, в случае беды, пушек («Одними матюками тут, Васин, не отделаешься»), о гранатах по пяти штук на рыло («Не к теще на блины едем, с пехотой, огнем и колесами»), о противогазах (с собой таскать или побросать на хозмашину). Все обговорили.

Напоследок Будиловский сказал:

· Предусмотреть замену, если кто выйдет из строя.

Несколько ошеломленный переменой в застолье, Пятницкий в недоумении поднял брови: как это выйдет? из какого строя? что, в колонне пойдем?

— Если что случится со мной, батарею примет Пятницкий,— продолжил Будиловский.

Не сразу дошло, о каком выходе из строя идет речь. О себе решил: надо сказать Кольцову, заменит, если что. Но мысль из-за последней фразы Будиловского получилась неловкой.

Когда Кольцов заменит? Когда из строя выйдет капитан и он, Пятницкий, возглавит батарею или когда его самого не станет и взвод надо будет принимать Кольцову?

Настроение Пятницкого расквасилось. Андрей Рогозин выразительно посмотрел на Васина, хватанул на своей смешной гармошечке плясовое-развеселое. Васин лихо вздернул голову и загорланил первое, что попало на язык:

Сы-лов не выки-нешь из пьесни,
В батареи-и гов-ворят,
Так си-ильней по ньемцу тыресни,
Читоб ус. ньемец гы-ад!

Старшина Горохов устрашающе пообещал Васину:

— Язычок у тебя... Завяжу у сонного в два узла.

— Чинно бы,— поддержал Степан Торчмя.

Васин посерьезнел, застегнул верхние пуговицы гимнастерки.

— Все, дядька Тимофей, отоспались.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

От сектора наблюдения Пятницкого вправо на сорок километров и влево на то же расстояние окопались в по-

зиционной готовности полки и дивизии пятой, двадцать восьмой, тридцать первой и второй гвардейской армий, а за их спиной, как стрелы в натянутой тетиве, с иголочки одетые и до нормы укомплектованные войска одиннадцатой гвардейской армии, двух танковых корпусов, артиллерийских частей РГК [1], инженерные и другие вспомогательные войска. Но забота Пятницкого не об этих войсках, не о силе, которая противостоит им, его ума дело — вот этот кусочек земли перед Альт-Грюнвальде с изломистыми морщинами немецких окопов и охряными горбами их огневых точек — полоска, где он за время стояния в обороне успел разведать двадцать девять целей, завести на эти цели документацию, рассчитать координаты, дотошно, час за часом, описать их действия. Право, не хватало только анкетных данных тех фрицев и гансов, что приставлены к этим двадцати девяти дзотам, наблюдательным пунктам, пулеметным площадкам, огневым позициям противотанковых орудий.

Пятницкий уже видел в этих объектах некую собственность, личное движимое и недвижимое имущество, и было странно, что наступит час, и он с величайшим воинским рвением станет ломать, рушить это движимое и недвижимое, кромсать с размахом всех знаний ведения артиллерийского огня, иначе славяне Игната Пахомова не успеют сделать того, что надо сделать на этой войне, а если повезет, то и после нее, иначе несдобровать ему самому и его славным пушкарям.

В этом видел Пятницкий одну из важнейших задач всего комплекса управления кусочком войны, возложенную на командира взвода управления артиллерийской батареи. За ней последуют другие задачи: выбор нового НП, обеспечение связи, разведка новых целей и беспощадное подавление этих целей.

Одним словом, работа с утра тринадцатого января виделась предельно четко, и это видение, понимание предстоящего дела наливало силой, непоколебимой верой в свою способность действовать в высшей степени толково и грамотно.

Нет, не от одного желания выругаться, очистить сердце назвал не так давно генерал войну стервой Ясно видимое, по полочкам разложенное, выверенное этап за этапом стало рассыпаться еще накануне, а утром

[1] Резерв главного командования

тринадцатого января вообще полетело к едреной матери. Разведанные цели пришлось сдать незнакомому старшему лейтенанту из корпусной артиллерии. Полюбовавшись на все движимое и недвижимое Пятницкого, старший лейтенант расписался в карточках целей, дескать, принял, все в порядке и пожал Роману руку. Офицер был старше не только по званию: по тусклому лицу молодого лейтенанта он прочитал все, что творилось в его задетой душе. Прочитал, понял и положил руки на плечи Пятницкого.

— Первые твои? — спросил.

Роман тоже понял его и ответил.

— Первые.

Умный был мужик этот старший лейтенант — не усмехнулся, даже не позволил себе пошутить. Вынул из кармана зажигалку — не зажигалку, мечту трофейную — пистолетик вороненый.

— Возьми.

— Не курю,— смутился Роман.

— На память о встрече и... первых твоих.

— Возьму,— протянул руку Роман, и стало легче на сердце. Забыл спасибо сказать. Сказал, когда прощались.

Ну а утром тринадцатого не помогло бы никакое душевное-раздушевное слово...

Снежная завируха началась еще ночью. Попервости она обрадовала. Седьмая батарея, оставив обжитые огневые, где стояли долго и затаенно, успела передвинуть свои орудия вплотную к позициям пехоты. Будиловский взял на себя первый огневой взвод, со вторым приказал следовать Пятницкому. Сказал:

— Всю училищную науку, лейтенант, прибереги до лучших времен, а пока действуй по обстановке.

Действуй... Как действовать? Завируха продолжалась. К началу артподготовки стало похоже, что тебя с головой окунули в сугроб.

Артмастер Васин, присоединившийся к Пятницкому согласно боевому расчету, не находил слов.

— А-а, в господа... Сто редек ему в рот...— дальше следовало такое богохульство, что не отмолить его Васину до гробовой доски.

Естественно, артподготовка шла вслепую, авиации не дождались. Когда пехота по скользким приставным лесенкам выкарабкалась на бруствер и гаркнула «ура» (разве смолчишь, когда душа реву просит, а в этой

обстановке лучше бы молчком), ее встретила такая пальба, что, казалось, свело руки и ноги. Но шли. И вот уже не видно никого, муть сметанная. Открывать огонь? А если в спину славянам? Тогда, братва, поднавались на колеса — и вперед, вперед!

Пятницкий ухватил за веревочную петлю ящик со снарядами, рядом вцепился Шимбуев — низкорослый солдат с маленьким подвижным лицом — потянули, поволокли следом за пушкой. Сержант Горькавенко кричит: «Навались!», матерится, зло и раздраженно хрипят другие. В снежной ветродури сгинула пушка Вальки Семиглазова.

Приостановилось движение у Горькавенко. Там полный ужаса крик. Сгрудились, зовут Липатова. Липатов в первом взводе, поди докричись. Что делать? Не бросать же раненого, ему помощь нужна. Выходит, двое из расчета — долой? Где взять сил остальным для пушки?

Вдруг из пурги вынырнула дивчина, похоже, пехотная, занялась перевязкой.

— Сисенбаева в живот прямо! — прокричал надсаженной глоткой подбежавший младший сержант Васин. Это он было остался с раненым.

Пятницкий невольно передвинул набитую книжками полевую сумку на живот. Это ужасно — когда в живот...

Наткнулись на лежавших, заметенных снегом солдат. Роман подумал — убитые. Нет, стреляют. Куда стреляют? А так, перед собой, в непроглядь.

— Чего завалились?! — закричал употевший, растерянный Пятницкий.— Вперед! Где командир?

Из снега вытряхнулся пожилой усатый сержант.

— Чего орешь, лейтенант? Я командую, убит взводный.

— Так чего вы развалились? Вперед надо!

— Куда, может, покажешь?

И правда — куда? Роман крутнул головой. Не поймешь, откуда, с какой стороны двинулись, где восток, где запад? Нет, вон темь полосой — деревья вдоль дороги, а дорога туда, в Альт-Грюнвальде.

— Орудие к бою! — закричал, рванул крышку ящика, сунул в чьи-то руки снаряд,— Горькавенко, командуй! Огонь, огонь по захватчикам! Прицел...

О, гадство! Какой прицел? Что делать? И чуть не прыгнул от радости, от светленькой мысли. Поле, изученное им с НП, идет чуть на подъем. А что, если...

При малом прицеле угол падения... Должен быть рикошет! Должен!

— Горькавенко! Прицел четыре! Четыре! Понял? Отражатель проверь, на нуле чтобы! Колпачки не снимайте!

Ничего, лейтенант Пятницкий, еще малость соображаешь, не все пургой выдуло!

Грохнуло орудие, завыл снаряд, отскочивший от мерзлости, разорвался, рассыпался, как бризантный, в воздухе. Загудело в груди от восторга. Получился рикошет, не обманулся Пятницкий!

— Беглым, Горькавенко, беглым! — закричал обрадованно. Стал Коркину кричать, чтобы стреляли на прицеле «четыре» фугасными.

Лупануло в беспросветности другое орудие — слева, где младший лейтенант Коркин. Услышал Коркин, сообразил Коркин, молодец Витька Коркин, тоже на рикошет повел!

Поутихли огненные трассы со стороны немцев. Хорошо, видно, обсыпали их сверху стальные обломки! Пятницкий выхватил пистолет, вскинул на всю руку

— Сержант, поднимай пехоту! За мной! За Родину! За Сталина!

Солдаты поднялись без особого рвения, засеменили в пуржистую гущу, заспешили за горластым лейтенантом, Шимбуев рядышком побежал.

Заговорило вдесятеро больше стволов. В упор. Начали шлепаться и мины, осколками повизгивать. Солдаты попадали. Кто насовсем, кто так. У Пятницкого шапку козырьком к уху повернуло. Оступился в канавную глубь, плюхнулся кулем, шапка свалилась.

Выходит, не только фрицев, но и просто снег обсеивал на рикошетах? Вскочил разъяренный.

— Вперед! За мной!

Усатый сержант грубо толкнул его под прикрытие толстого осокоря.

— Какого хрена колготишься, лейтенант! Людей побьем. Остынь, говорю!

От бессилия, унижения, обиды навернулись слезы. Сержант поднял шапку, подал. Из дырки вата торчит. Сказал примирительно:

— Погодим малость, должно развиднеться Видишь, что творится? Встряхнись же, не то пуля вот такого-то быстро сыщет

Пятницкий прислонился к осокорю, задрал голову, от пуль не прячется. Шимбуев дернул за шинель, стащил в канаву.

Скоро муть разжижела. Плохо, но видно стало темную горбину впереди — сады немецкого поселка. Завиднелось орудие Семиглазова, кляксами стали проявляться два других. Пехоты побольше подсобралось: кто зарвался вперед — спятился, кто отстал — подтянулся. Подошел «студебеккер» со снарядами, видно, Будиловский сумел организовать.

Разгружались торопливо, с некудышно упрятанным раздражением на громадину «студера», припершегося на самый передок, на шофера Кольку Коломийца, который, выискивая немцев, крутил башкой — будто первый день на фронте. Горькавенко не выдержал, прикрикнул на Кольку:

— Помогай, холера тебя возьми! Сожгут твою колымагу!

В строптивости Колька мог и не обратить внимания на окрик, но поблизости грохнули четыре мины, у «студера» паутиной разнесло лобовое стекло и вырвало щепки из дощатых ребер кузова. Спесь с Коломийца враз сбило.

Пятницкий хотел было побежать к комбату, переговорить, как и что делать дальше, но тот не позволил, выслушал вопросы по телефону, дал советы и сообщил, что в первом огневом взводе ранило двоих. Наводчика Баруздина тяжело, пожалуй, не выживет, а Рогозину только щеку располосовало...

Скрутило мышцы Пятницкого зябкой судорогой, заныло в груди, от прилившей бешеной крови в голове пошел гул. Андрея ранило! Еще Баруздина... Шагов на триста продвинулись, еще боя, по сути не было, а троих уже нет. Если так дальше пойдет... Кретин несчастный! «Вперед! За мной!..» Не шапку надо было, а башку твою неразумную продырявить!

— Коркина пришли сюда,— давал указания капитан Будиловский,— вторым взводом сам покомандуешь. Разведчиков при себе держи, обеспечение связи возьму на себя. Понял, лейтенант?

Все понял Пятницкий, с трудом, но понял. Без труда тут не сразу поймешь. Андрея изуродовало, Баруздин, сказали, не выживет, у заряжающего Сисенбаева рана тоже не из легких.

К аллее дорожных осокорей подошли три самоходки.

Рослый офицер в раскрыленной плащ-палатке, издерганный неудачными атаками, блажным голосом кричал на самоходчика:

— Ни минуты промедления! Пехота за вами пойдет!

Самоходчик пытался что-то втолковать ему, до слуха Пятницкого донеслось только:

— Это не танки, поймите...

Никакие доводы, похоже, не действуют, глух к ним тот, в плащ-палатке, глушит сознание, что лежит пехота.

— Не празднуйте труса, капитан! — бьет по самому чувствительному.— Вперед, развернутым строем!

Перекосило всего, налило злобой капитана, да не тот у него чин, чтобы одолеть налетевшего, вернуть ему благоразумие. Делает последнюю попытку:

— Разрешите хоть одному орудию задержаться, прицельно с места поддержит.

Эта попытка настоять на более разумном еще больше взбесила пехотного командира, стал размахивать кулаком.

— Никаких с места! Полдня царапаемся на месте! Вперед!

Пятницкий возбужденно встряхнулся, закипел жаждой действия. Расстегнул давивший на горло крючок полушубка, сиганул через кювет, через другой, запинаясь о спрессованные гусеницами выворотни снега, побежал к самоходкам.

— Товарищи, минутку! — задыхаясь, выкрикнул он и едва не ударился о броню урчащих, подрагивающих в боевом нетерпении САУ.— Подождите малость!

Дюжий, внешне напоминающий Игната Пахомова, измученный и красный лицом офицер в плащ-палатке ошалело посмотрел на возбужденного Пятницкого.

— Это что за явление Христа народу? С самоходки? Почему удрал с машины?

— Я не с самоходки. Пушки... сейчас подтащим...

— В-вон отсюда! Пришибу! — остервенел большой начальник, в лицо Роману брызнуло слюной. Может, и не слюной, может, талый снег слетел с рукава... Роман уцепился за полушубок капитана самоходчика.

— Пять минут. Хоть одну пушку перетащу через дорогу. Поддержим, прикроем...

Капитан досадливо отмахнулся:

— Нам ли с тобой решать тут!

Капитан бешено посмотрел на пехотного чина и, чуть

задев траки, перекинул тело через бортовую броню. Подтянув шлем с наушниками, что-то неслышное крикнул вниз механику-водителю.

САУ-76, такие же, как и у Пятницкого, семидесятишестимиллиметровые пушки, только на собственном ходу и прикрытые кое-какой броней, загуркотали моторами и, отдаляясь друг от друга, взрыхлили, подняли россыпью снег, для бодрости хлопнули выстрелами и помчались на Альт-Грюнвальде. Солдаты — в христа, в бога! — отпрянули, давая проход, устремились следом.

Поднялась пехота и по эту сторону дороги. Велением Будиловского заговорили орудия седьмой батареи (и там и тут обошлись без него!). Загудела дальнобойная артиллерия — теперь уже по глубине обороны противника. Полковые и батальонные пушки палили без передыху, стараясь помочь безрассудно брошенным вперед самоходным орудиям. Да разве поможешь! Одна установка уже горела, ветер рвал с нее маслянистые шлейфы дыма, мешал со снегом. Две другие, едва видные в снежной мути, проскочили все же до Альт-Грюнвальде, успели сделать несколько выстрелов и загорелись там, на околице.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ординарец командира батареи Степан Данилович Торчмя, ухватив внушительными лапищами за щиколотки кем-то разутого гитлеровца, кряхтя и посапывая, задним ходом тянул его из блиндажа. Труп не успел окоченеть и податливо выволакивался из узкого входа в не менее узкую и глубокую траншею. Заметив за изгибом на ближней прямизне окопа лейтенанта Пятницкого, Степан Данилович без околичностей попросил:

— Владимирыч, помогите эту падаль через бруствер кинуть.

Роман не хотел прикасаться к неживому телу и ухватился за полы задравшейся шинели. Но из этого ничего не вышло — с трудом удалось поднять едва до половины окопа. Надо было перехватиться, а чтобы перехватиться, пришлось подставить под труп колено. Производя эту малоприятную работу, Пятницкий едва не уронил ртутно тяжелое тело. Напрягшись, переместил руку на лацканы и резко поднял омерзительный груз вверх. На

мертвеце затрещало, на дно окопа выронилось содержимое карманов. Наступая на упавшее, Пятницкий и Степан Торчмя столкнули тело под откос бруствера, к меже с гривой промерзшей травы. Перевернувшись со спины снова на спину и собрав на себя снежный нанос, оно осталось лежать в ожидании, когда вот с таки́м же чувством гадливости кто-то из похоронной команды отволокет его к небрежно вырытой яме и свалит труп для вечного забвения.

Степан Данилович ковырнул носком сапога оброненное мертвецом, поднял, разглядывая, проворчал:

— Славяне... Обувку сняли, а на портаманет не обзарились... Добрые у них сапоги, только вот голяшки твердые делают... Сапоги — конечно, а портаманет на што. Облигации, што ли, там выигрышные? — складной карманный портфельчик висел загибом на его пальце, как патронташ. Степан Данилович хмыкнул, довольный своей остротой, и весело покосился на Пятницкого.— Может, и облигации, только какая сберкасса за них заплатит. Вам не надо эту трофею, Владимирыч?

Желание узнать о немцах что-то новое, чего не знал до этого и что может оказаться в этом бумажнике, взяло верх над брезгливостью. Роман принял изрядно потертый бумажник из кожзаменителя, покопался в нем и не нашел ничего привлекающего. Только фотография с посекшимся по диагонали глянцем задержалась в его руке. С настороженным любопытством, будто подглядывает чужое, он смотрел на семейную фотографию: в кресле молодая женщина в темном платье с белым кружевным воротником, на ее коленях — пухлощекая девочка с бантом в жиденьких волосиках, года два девочке, не больше; рядом, вытянувшись и выпучив глаза в усердии, мальчик лет десяти, рука, как воробьиная лапка, сжимает подлокотник кресла.

Обычность фотографии поразила Романа — будто обманули его, подсунули не то, что ждал. Что в ней немецкого, вражеского? Такие у всех есть, и у него тоже. Вместе с Настенькиной хранится. На карточке той — папа с мамой, а в центре он с оттопыренными ушами, в матроске и бескозырке с надписью на ленточке — «Моряк».

Похожесть запечатленной на фотографии чужой и враждебной жизни на его, Пятницкого, жизнь заставила возмутиться: «Нечисть фашистская, а тоже... Фотогра-

фия с деточками...» Но фотографию не бросал, разглядывал и в конце концов как-то иначе глянул на детские лица. По инерции в уме еще потянулось презрительное: «Фа-ши-сти-ки...», но приглохло. Неразумный ты, лейтенант Пятницкий, какие они фашистики! Пацаны и пацаны, и носы сопливые им, сдается, вытерли, когда сниматься повели.

Степан Данилович приблизился и тоже посмотрел на фотографию.

— Интересно, кем вырастут без отца-то? А, Владимирыч? Неужели такими же? — спросил Торчмя, бросая взгляд за реку, где вдоль обрывистой кручи занял оборону противник.

— Какими — не знаю, Степан Данилович, но чтобы после войны фашисты верховодили — этому не бывать.

— Как это? Германию присоединим?

— Мы не захватчики, на черта она сдалась. Коммунистов, которые в концлагерях, освободим... Они вправят мозги тем, кто от Гитлера да Геббельса угорел, откроют людям глаза и начнут разумную жизнь налаживать...

Помолчали.

— Разыскать бы этих пацанят лет через десять.— Роман повернул фотографию оборотной стороной.— Имена и фамилия есть, город... Кажись, Кройцбург написано.

— Где такой?

— Здесь, в Пруссии. Может, и его брать будем.

— Возьмем. Не убили бы только до этого,— вздохнул Степан Данилович,— охота дожить до победы, Владимирыч. Наплевать мне на этих гансиков из Кроцбу... тьфу... Мне бы со своими пожить еще. Пять дочек у меня, Владимирыч.

— Одни дочки? — удивился Роман.

— Одни дочки, сынов, как в старину говорили, бог не дал. Видно, природа такая. У нашего агронома и вовсе... Шесть девок, а он: «Костьми лягу, Данилыч, а сына произведу». Супруга его седьмым затяжелела и опять произвела дочку. Так вот,— засмеялся Степан Данилович.— Дочки — тоже неплохо. У меня вон какие! Клавдия, средняя, тебе в невесты годится. Приезжай, Владимирыч, такую свадьбу завинтим!..

Сказанное Степаном Даниловичем заставило Настеньку вспомнить, услышать тоскливо занывшую душу. Пятницкий сунул фотографию в планшетку, портмоне отдал

Степану Даниловичу. Тот заглянул в бумажник, повторил свою шутку:

— Нету госзайма? Ну и ладно. Приберу.

Пятницкий, давая отдых набрякшей голове, охлаждая затылок, откинулся на бруствер и закрыл глаза. Степан Данилович скосил на него глаза. Осунулся-то как! Вздохнул и посмотрел в сторону выброшенного ими трупа. Тихий низовой ветер шевелил давно не стриженные кудельные волосы мертвого, засыпал в раковины ушей обдув полыни и донника с межевой гривки.

Степан Данилович зло швырнул бумажник в сторону немца, плюнул и, утираясь рукавом, буркнул:

— Отвоевался, скотина безрогая...

Блиндаж для капитана Будиловского и командира взвода управления Пятницкого Степан Данилович облюбовал вполне сносный, хотя и не очень поместительный. Строили блиндаж немцы и, разумеется, в своих интересах. Захваченный наступающими, он оказался теперь выходом к противнику. И ничего тут не сделаешь. «Повернись сюда задом, туда передом»? О, как бы он порадовал, подчинившись этой просьбе-присказке!

Пятницкий критически пощурился на приобретенное жилье, оттопыренным большим пальцем ткнул через плечо:

— Все, что прилетит оттуда,— прямо в дверь.

Степан Данилович покачал головой:

— Страсти господни! Как все наперед знаете. Прилетит... Чисто ворожей,— но все же призадумался и чуть погодя добавил: — Если прилетит, дак всюду достанет.— Он поводил глазами — нет ли кого поблизости, не услышат ли того, что для всех говорить не хотелось, и доверительно сообщил: — Лейтенанта Совкова, заместо которого вас прислали, знаете как убило? И блиндаж где надо отрыт был, и не чета этому — три наката, а мина возьми и шмякнись в бруствер напротив входа. Комбат с Совковым обедали. Все железо в лейтенанта, комбату только руки покарябало да похлебкой окатило. Он поглыбже сидел... Да вы не пужайтесь, Владимирыч, не может того быть, чтобы в одной и той же батарее лейтенантов одинаково убивало. Да и не замешкаемся здесь, ноне же дальше двинем. Коли потурили фрица — остановок долгих не будет. Хоть ночку в тепле побудете, небось иззяблись совсем. Григорьич, старшина наш, скоро горяченького поисть пришлет, фляжку с наркомовской... Я землянку мигом приберу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Уютный и надежный подвал с корытообразным потолком в Йодсуиеие оставили еще тринадцатого января, когда начали прорыв обороны противника. Сиегопад, ожесточениое сопротивлеиие немцев, иичем и никем не восполияемые потери затрудияли продвижение, и оио шло черепашьими темпами. Гумбиинен, шпиль ратуши которого хорошо просматривался с НП Пятницкого в Йодсунене, взяли только двадцать первого, двигались по километру в сутки. Сегодия опять уткиулись в препятствие — реку Алле, один из мощиых рубежей укрепрайоиа «Хайльсберг».

Степан Торчмя подобрал для комбата оставлеиный немцами небольшой блиндаж. После обхода огневых (как они там устроились?) Будиловский пришел усталый, мрачиый. Ели, сидя на земляных иарах. Пятницкому, решившему переиочевать у комбата, досталось место напротив входа, капитану — «поглыбже». Подумал: «Хозяии что чирей, где хочет, там и сядет. Залетит черепок мины — и будь здоров лейтеиант Пятиицкий». Уловил придавлеиность Будиловского собствеииым душевиым разором и устыдился своих мыслей. Нарочно, что ли, сел туда! Вошел первым — вот и сел.

В блиидаж просуиулся Степан Торчмя. Обращаясь к Будиловскому, попросил:

— Вышли бы, Севостьяныч. Одеяла застелю. Я их хорошенько выхлестал, чистые.

Выйти действительно надо было, втроем — повериуться иегде.

Пока Степаи Данилович обихаживал место для спаиья и устраивал в нише картоииые плошки-светильиики, Будиловский с Пятницким стояли в траншее и смотрели за реку, где будет новый бой, до иачала которого осталось совсем иемиого.

С пугливой издергаииостью противник швырял в иебо ракеты, заливая стылую реку иеестественным мертвым светом, и он выхватывал из мрака примагниченные ко льду фигурки трупов. Когда немцы замечали движение саиитаров, что отыскивали ие успевших окочеиеть товарищей, пулеметиая стрельба учащалась.

Наша пехота, измотаиная диевиым продвижеиием, на нервиый и суматошиый огоиь из-за реки отвечала иехотя.

Поеживаясь, Будиловский сообщил, что место для закрытой позиции выбрали сносное, пушки вот-вот установят, и поинтересовался, как дела у разведчиков, будет ли готов к рассвету наблюдательный пункт и нет ли возможности заблаговременно пристрелять батарею. Пятницкий понял это по-своему и сказал:

— Чуток передохну — и обратно.

Вялые думы Будиловского смешивались с чем-то далеким от того, что спрашивал, но ответил Роману по сути, хотя и нудно:

— Нечего сейчас делать на НП, лейтенант, Кольцов управится. Ложись поспи, впереди дел — во! — он провел ребром ладони ниже подбородка.— Речку штурмовать будем.

Другой какой военный термин тут не подходил. Действительно — штурмовать. Пятницкий успел познакомиться с этой — будь она проклята! — речкой под названием Алле. Предвидя неизбежность отступления в глубь страны, немцы заблаговременно превратили ее в неприступный на первый взгляд оборонительный рубеж. Особой надежды окончательно остановить наступающие советские войска они, может, и не питали, но на то, чтобы задать трепку, пролить побольше крови, все возможности у них были: понастроенные по кромке берега доты огнем пулеметов способны выкосить перед собой все живое. Обрезанную водой кручу опутали несколькими рядами колючей проволоки, увесив ее, как новогоднюю елку, противопехотками, а там, где можно ступить ногой, уложили, присыпав землей и снегом, нажимные, натяжные и другие убойные выдумки, вплоть до «шпрингенов» — мин-лягушек.

Попытки захватить железобетонные сооружения с ходу кончились тем, что стрелковый полк усеял трупами не очень прочный речной лед и, обескровленный наполовину, откатился и залег в кустарниках заливного берега. Поняв, что такое лбом не прошибешь, командование наступающих войск решило до утра пошевелить мозгами и придумать более эффективное и менее болезненное. Будиловский с Пятницким тоже изнурялись думками и сошлись на том, что было бы здорово вытянуть пушки на прямую наводку. Определив место для орудий, Роман с комбатом вернулись в блиндаж. Котелок с углями, добытый заботливым ординарцем, ласкал теплом, а водянисто потрескивающие плошки и горячее

хлебово из общей посуды приглашали к доверительному разговору.

Роман Пятницкий кое-что знал о своем командире. Учитывая обстановку, короткий срок совместной службы и замкнутость этого человека, можно считать, что кое-что — уже немало. То обстоятельство, что Василий Севостьянович недавний учитель, больше того, директор школы, если и не вызывало глубокой уважительности в силу вот этой отчужденности, то почтительную робость, знакомую со школьной скамьи, вызывало обязательно: понуждало постоянно чувствовать разделенность, возрастную, образовательную, иерархическую дистанцию. Поэтому все, что придвигало их друг к другу — услуги одного ординарца, пища из одного котелка, совместные закалки водой из проруби и житье в землянках,— смущало Пятницкого, вызывало чувство неловкости.

В данный момент дистанция сократилась. Но стоило Будиловскому поинтересоваться тем, что, по мысли Пятницкого, уже было известно, как разделенность ощутилась прямо физически.

— Десятилетку закончил, потом работал немного,— бормотнул Роман на вопрос об учебе.

— Ты с Урала вроде? — устало и, кажется, опять без нужды спросил Будиловский.

— Из Свердловска,— ответил Пятницкий.

Нет, не без нужды спросил Будиловский. Это был примитивный, но нужный к разговору ключик.

— А я из Гомеля. И жена оттуда,— он отрывисто вздохнул, поморгал белесыми веками сухих глаз, горько дернул уголком губ и добавил: — Была...

— Что, погибла? — обеспокоенно и неловко спросил Пятницкий.

Увязая в тягостных мыслях, Будиловский выдавил:

— Лучше бы...

По лицу Василия Севостьяновича мелькнула нервная тень. Пятницкий поежился, примолк, ложка зависла на полдороге, с нее капало. Будиловский, без желания черпавший из котелка, привалился к дощатой стенке блиндажа, изорванной осколками противотанковой гранаты.

— Жениться-то не успел, лейтенант?

И это был ключик, предлог к развитию разговора. И тоже не заранее подготовленный. Такое проявляется, когда на душе скребет и хочется выговориться.

Роман смутился. Скажет тоже — жениться. Когда?

На ком? На Настеньке? Совсем неразумно, она же.. Семнадцати нет. У Романа тоскливо и сладко ворохнулось в груди. Виделись-то несколько раз, а пишет и пишет... Милая, славная Настенька... Показать Василию Севостьяновичу письмо?

Лицо комбата отражало совсем иные мысли, далекие от всего, что происходит за пределами блиндажа на изрытых окопами то морозно твердеющих, то раскисающих полях и на всем белом свете с его трагической событийностью последних лет. Что уж тогда говорить о душе лейтенанта! Сердечный порыв Пятницкого был явно не к месту, и рука, нацелившаяся было сунуться в полевую сумку, крепче сжала черенок ложки. Роман сильно и неловко смутился.

— Значит, не женился,— хрипловато заключил Будиловский.

В слабом колеблющемся свете стеариновых плошек его лицо показалось неузнаваемо постаревшим. Может, и не постарело, увяло просто, стало таким, каким становится, когда тяжко бездомной душе.

— Ну, тогда еще женишься. И дай бог тебе сойтись с человеком безошибочно верным...— на губах Будиловского шевельнулась прежняя мучительно скованная усмешка. Продолжая свою мысль, добавил: — Сойтись с человеком, которого не надо умолять и упрашивать: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Человек, которого надо упрашивать быть верным, не стоит того, чтобы его упрашивать.

Что творилось в душе Василия Севостьяновича? Еще там, под Гумбинненом, когда стояли в обороне, накатилась на Будиловского вот эта давящая печаль, которая, в силу житейской неумудренности Романа, принималась им за сумрачность и иные производные скверного характера. Тоску, уязвленное чувство любви, боль ревности эгоистичная молодость считает своей монополией. Не под силу ее незрелому разумению отнести подобное к человеку в возрасте Василия Севостьяновича.

А как раз эти чувства и владели теперь капитаном Будиловским. Невысказанные, затаенные, были они мучительны и неуправляемы. Высказаться, ослабить сковавшую угнетенность?

Уловив смущение Пятницкого, Будиловский неожиданно сделал то, что мгновение назад порывался сделать Роман,— вынул из кармана вчетверо сложенный тетрадный листок.

— Почитай, лейтенант, может, скажешь что...

Глаза Будиловского были раздраженные, злые. Словно Роман хотел узнать что-то запретное о нем, и будто Василий Севостьянович уличил его в этом желании и теперь с грубой мстительностью — на, смотри! — распахивал это запретное.

Пятницкий нерешительно протянул руку. Будиловский быстро сказал:

— Письмо жене... почитай,— и, похоже, боясь передумать, сминая листок, сунул его в руку Пятницкому.

Когда Роман стал недоуменно и робко расправлять исписанную карандашом бумагу, Будиловский смягчил тон, приглушенно пояснил:

— Уже и не помню, сколько вот таких написал... Писал и не отправлял. Это — отправлю...

Роман не сразу вник в смысл написанного. Речь, по всей видимости, шла о сыне Василия Севостьяновича, который потерялся или погиб и которого он по многим, не зависящим от него, причинам не смог спасти. Было не очень понятно — оправдывался или просто хотел объяснить Василий Севостьянович, как все получилось. Он подробно описывал бомбежку, десант немецких парашютистов, срочный вызов в военкомат. Роман, вчитываясь в малоразборчивые строки, вплотную присунулся к потрескивающему огоньку с гибким восходом дымного хвостика. Будиловский прервал его замедленное чтение прикосновением руки, хотел сказать что-то, но, раздумав, утяжелил прикосновение и буркнул:

— Читай. Потом...

Письмо заканчивалось:

«Наше общее горе ты считаешь только своим и виноватым видишь только меня. Это жестоко и несправедливо. Может, такое нужно тебе, чтобы с меньшими угрызениями думать о том, что сделала? Да, это упрек, но он — последний. Скверное предчувствие неизбежной смерти не покидает меня. А завтра бой... Малодушие? Вполне возможно, но это не очень похвальное человеческое качество рождено другим — неизлечимой любовью к тебе, любовью, жестоко обманутой. Все прощаю. Прощай».

Пятницкий дочитал, растерянно пожевал губы. Надо было как-то и чем-то ответить на неожиданное, поразившее его откровение комбата. Пятницкий ожидал встретить сожалеющую ухмылку (нашел перед кем рас-

крыться!), но встретил подавленный взгляд, увидел мелкие морщины у глаз, собранные нетерпеливым ожиданием ответа, и проникся жалостью, хотелось сделать что-то для этого страдающего человека. Заговорил медленно, проникновенно:

— Василий Севостьянович, не мне судить о том, что вы пишете. Да и мало что понял. Но вот,— в голос Романа вплелись мягкие нотки упрека,— но вот о гибели, право, совсем ни к чему...

Возможно, Будиловский не расслышал всего, приступ откровенности продолжался:

— У Нади больное сердце. Врачи запретили рожать, а она хотела и родила, и едва не померла при этом... Последний год жили в Слониме, война застала нас в разных местах: меня — дома, Надю — в Минске, сына... Ему девять исполнилось. Алеша был в пионерском лагере. В первый же день лагерь вместе с ребятишками оказался у немцев... Я находился ближе к Алеше, но вывезти не смог. Этого тогда никто не смог. Надя не хотела понять: как так — не смог? Сам — вот он, а сын.. Не дай бог тебе, лейтенант, когда-нибудь видеть ненависть в глазах любимой женщины... Меня направили в часть, Надя с райкомом осталась в лесу. Три года ничего не знали друг о друге, и вот — письмо... В Йодсунене получил. Надя счастлива, она снова с Алешей... Этот Алеша родился у нее от командира партизанского отряда...

Наступившее молчание нарушил Пятницкий.

— Н-не знаю, Василий Севостьянович... Нашлась, жива, счастлива... Когда любишь, наверное, радоваться надо... Чего ее винить. Война виновата. Были бы рядом — ничего бы этого не было. У нас вон соседка... Провинился муж, она топором его... Вылечился, живут...

Удивление, ироничную заинтересованность Будиловский выразил весьма неприметно — всего лишь приподнял бровь. Сказал со значением:

— Топор топору рознь, лейтенант..

Скрытая ирония задела Романа, и он выпалил бесцеремонно и даже дерзко:

— Вы же мужчина, отец.. На кого еще было ей надеяться?

Приподнялась и вторая бровь. Тон Романа, вероятно, возымел действие. Будиловский отреагировал виноватым голосом:

- Пойми же, лейтенант, обстановка такая была, не мог я вывезти Алешу.

— А сейчас другая обстановка. Вот-вот Гитлеру шею свернем. Может, Алеша ваш там, в неволе. Вот и надо отцу ради сына, ради всех... А вы жену смертью своей стращаете, себе в голову черт-те что неразумное... Порвите письмо, Василий Севостьянович.

Будиловский потер кулаком надглазницы, взял у Романа письмо и с непонятной интонацией произнес:

— Ладно, лейтенант... Слишком многое мы рвем поспешно... Погодим.— С последним словом он положил ладонь на колено Пятницкого и, словно забыв обо всем, что говорилось, спросил: — Не думал, как, чем или кем можно пушки к берегу подтянуть, на прямую наводку?

Может, за разговором он и впрямь отмяк душой? Пятницкий сказал после паузы:

— Думал. С младшим лейтенантом Коркиным советовался. Предлагает повозку Огиенко приспособить. Ну, как крестьяне плуги на пашню возят. Сошники к повозке веревкой прикрутим, в повозку — снаряды.

— Учитывая возможности старой кобылы,— вздохнул Будиловский,— более двух пушек не успеем, да и то при условии, что противник не обнаружит. А надо бы все.

— А что, может, и вытянем,— посветлел Роман от враз посетившей его идеи.— Вот схожу в батальон, а потом доложу вытянем или не вытянем

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Командирам рот батальона Мурашова и представителям поддерживающих средств велено было собраться на КП батальона в шестнадцать ноль-ноль. В назначенное время Пятницкий был уже там.

Оставив сопровождавшего разведчика Шимбуева у входа в блиндаж, Пятницкий протиснулся поглубже и лицом к лицу столкнулся с Игнатом Пахомовым. Тараща обрадованные глаза, Игнат облапил Романа «чугунными ручками» и с такой душевностью давнул его, что затрещали швы полушубка.

– Ромка? Опять вместе? Пехоте-матушке штаны поддерживать?

– Что, пуговицы пооблетали? – улыбнулся Роман,

освобождаясь от объятий Пахомова. Но тут же согнал улыбку, увидев изменившееся, ставшее злым лицо приятеля.

— Пооблетали, Ромка,— короткой хрипотцой ответил Игнат.— Видел на льду? Мою роту еще не так ужалило, а в других...

Роман поднял взгляд, хотел что-то сказать в ответ и не сказал. Не нужны тут слова. Даже самые верные. Когда убивают людей, облегчающих слов нет. Только и сделал, что похлопал Игната по плечу. И уж потом обратил внимание на его погоны.

— Вчера приказом...— объяснил Игнат.— Опять у нас ротного ранило. Не сильно, правда, может, вернется.

Судя по дыркам в зеленом сукне, полевые погоны Пахомова еще недавно были капитанскими, возможно, принадлежали некогда командиру батальона Мурашову, теперь на них, изрядно мятых, неумелой рукой было пришпилено по одной звездочке.

Сколько же времени прошло, как встретился с сержантом Пахомовым? Офицер уже, ротой командует...

— Поздравляю, Игнат, поздравляю,— с искренней радостью сказал Роман,— обскакал ты меня. Пока до Кенигсберга дойдем — полк получишь.

Наконец собрались все. Командир батальона Мурашов коротко знакомился с офицерами поддерживающих подразделений, уточнял их задачи, не забывая потрясти и своих командиров рот. Среди поддерживающих артиллеристов был даже командир взвода управления бээмовской [1] системы — батареи двеститрехмиллиметровых пушек-гаубиц. Майор Мурашов, теребя картинные усики, с улыбкой сказал ему:

— Гляди, лейтенант, по льду не завали. Не то моим мужичкам через Алле вплавь придется.

Бэзмовец принял эту полушутку и, не дожидаясь расспросов о его огневых возможностях, такой же полушуткой ответил и доложил одновременно, чем располагает:

— По льду, товарищ майор, мне нет интереса. В моем распоряжении всего пять снарядов.

— Пять? — не огорчившись, переспросил Мурашов.— Пять — это полтонны. Не так уж мало. Начнем — положи их чик-в-чик по второй траншее. Полную-то подготовку можешь, чтобы немцам сразу капут сделать? — И уже к

[1] БМ – орудийные системы большой мощности.

Пятннцкому: — У вас, лейтенаит, как с боеприпасами?

— Хватнт всю Пруссию перепахать,— с простодушной гордостью ответнл Пятинцкнй, смутио догадываясь, что благо в внде двух боекомплектов свалилось иа нх батарею не от переполиеностн армейских складов, не от нзбытка там боеприпасов, а в снлу каких-то высших соображеиий·фроита.

Так оно и было. Придавая велнкое зиачеиие скорейшему выходу цеитральиых армий фронта к морю, а значнт, н расчлеиеиню Восточно-прусской группировки протнвинка, командующий Третьим Белорусскнм фроитом выкронл из своих заиачек несколько вагонов боеприпасов для этнх армнй, и толнка нх досталась седьмой батарее

— Перепахать-то хватит,— повторил Пятиицкий,— только вот...

— Договаривай,— иасторожнл внимаиие Мурашов.

— Нашн «знсы» там,— Ромаи показал затылком,— полтора кнлометра до инх, а для дела сюда бы иадо.

— На прямую? Да я бы расцеловал тебя. Только куда на «студерах»? Всех гансов переполошишь,— усмехиулся Мурашов.

— На руках.

Мурашов досадлнво отмахиулся:

— Это нз области фантазни, лейтеиаит. В гору, по размазне?

— Одним расчетам, конечно... Пуп сорвут. Вот еслн бы вы...

— Что — вы? — нсподлобья спроснл Мурашов и тут же повернулся к ротиому Пахомову: — Как ты иа это смотрншь?

— Человек двадцать выделю.

— Да онн же у тебя на ногах не стоят,— посомневался Мурашов,— а утром опять... Еще и сиаряды.

— Мои орлы, когда узнают, что пушкн к ним под бок... Пойдут, пока не упадут, потом еще сто верст пройдут.

А Ромаи добавнл:

— Снаряды иа лошадн подвезем

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Осилнть прнречный подъем, потом спустить пушки к речке н установнть нх в замусореином весеиннми поло-

водьямн кустарннке удалось только перед рассветом. Да н то вряд лн успелн бы, еслн бы не спас ударнвшнй к ночн морозец, затверднвшнй почву. Он же спаял рыхлый ледяной покров рекн, н на душе солдат стало несколько поуютнее.

Буднловскнй, Пятннцкнй н Пахомов, роте которого было прнказано первой ступнть на обнаженную открытость рекн н блокнровать дот, до начала получасовой артнллернйской подготовкн нсползалн весь переднні край, побывалн у каждого орудня. Пршлн к еднному: пока ндет артподготовка, пушкарн Будиловского, не жалея снарядов н самнх орудні, будут долбнть протнвоположный берег, уннчтожая проволочные н мннные заграждення, а с началом атакн все четыре ствола повернут на дот. Командир огневого взвода Коркнн, назначенный после ранення Рогознна старшнм на батарее, встанет, как уже не раз бывало, за наводчнка. Он поклялся, что хоть однн снаряд да влепнт в амбразуру. Класть такую удачу в расчет предстоящего боя было бы верхом легкомыслня, но что стреляет Коркнн превосходно, нзвестно, н Буднловскнй надеялся — а вдруг... Бывает же — вдруг. Иначе пронзойдет такое, о чем страшно подумать, что трудно будет поправнть, а может, совсем не поправнть. Ведь когда рота Игната Пахомова рнnется на лед, этот дот на возвышенностн... Еслн не заткнуть ему глотку, мало кто уцелеет.

Полуоглохшне от сатанннского грохота, Буднловскнй н Пятннцкнй лежалн неподалеку от первого орудня н неотрывно смотрелн на тот берег. По нему с закрытых познцнй бнлн орудня н мнномEты разных калнбров. Сотрясая землю, разворачнвая ее до самого нутра, с ннтервалом в трн мннуты рванулн стокнлограммовые снаряды пушкнгаубнцы. Бэзмовец не оказался пустобрехом, уложнл снаряды куда надо.

Над левым берегом стояла раздерганная, багровочерная стена землн н дыма с ослепнтельным поннзу высверком разрывов. Окуляры бнноклей подолгу задержнвалнсь на этом лютом хаосе, нн с чем не сравннмо беспокоящем солдатское сердце. Огонь орудні был расчетлнв н продуктнвен: взламывался проход пехоте в мннно-проволочных загражденнях на крутнзне, которая сама по себе — загражденне.

Пушкарн превзошлн себя н добнлись невнданно уча-

щенного неистового темпа стрельбы. Едва успевала пушка после выстрела выплюнуть исходящую дымком гильзу, как в ее чрево, лязгнув полуавтоматическим замком, влетал новый заряд. Было опасение, что пушки не выдержат бешеной, немыслимой скорострельности, могут перегреться, потечь откатниками. В это время взвилась красная ракета, рассыпалась и зависла огненным зонтом. Пехота россыпью скатилась на лед. Ее яростный самовозбуждающий рев не был слышен, но он был, без него не обходилась еще ни одна атака.

Вернулся посланный во взвод младшего лейтенанта Коркина ординарец Степан Торчмя. Крикнул в ухо Будиловскому:

— Младший лейтенант опять через ствол садит!

Будиловский ничего не ответил. Пятницкий ухмыльнулся, представляя сухопарого одногодка Витьку Коркина за этой работой. Всегда шныряющий взгляд его теперь сосредоточен. Только вот губы Витька не умеет унять, опять, наверно, трясутся. Витька в эти минуты не Витька — черт. Раз считает, что поймать цель через жерло ствола вернее, чем через оптику панорамы,— пусть. Хоть бы сотряс стены, контузил пулеметчиков, отогнал их от амбразуры, заставил улечься на спасительный бетонный пол. А если повезет, может, и внутрь влепит снарядик, достанет их там, на спасительном полу.

Нет, не повезло. Ни ему, Коркину, ни наводчикам других трех орудий, когда они тоже перенесли огонь на дот. Но, к великой радости Пятницкого, из амбразуры, когда пехота пошла на штурм, пулеметное пламя не сверкнуло ни разу. По атакующим били автоматы и неподавленные огневые точки с открытых площадок, смертоносно рвались фаустгранаты, а вот железобетонный колпак не выбросил из своего зева ни единой очереди. Может, у пулеметчиков нервишки не выдержали? Распахнули с той стороны массивную дверь и дали драпу? А может, смерть все же нашла их за этой твердыней? Не велика дыра амбразура, и все же дыра. Могло же повезти Коркину?

Много полегло из батальона Мурашова, на льду заметно добавилось к тем, вчерашним. Но живые уже взбирались на противоположный берег. Орудия седьмой батареи оказались в бездействии. Надо спешно перебираться туда, на тот берег, к пехоте, и уже с закрытой позиции сопровождать наступающих.

— Савушкии! Жеиька! — окликиул связиста Пятиицкий.— Где тебя черти иосят?

— Здесь я, товарищ лейтеиаит,— выбираясь из окопа, откликиулся Жеия Савушкии. К спиие его приторочеи стаиок с катушкой провода, сбоку болтается коробка телефоииого аппарата, иа плече карабии вверх прикладом, в руках еще по катушке.

«Нагрузили пария — ишак ишаком,— подумал жалеючи Пятиицкий,— а что сделаешь? Где их возьмешь, людей-то?»

— В-во! — с радостиым удивлеиием воскликиул Савушкии.— Еще бы катушку, дак руки всего две.

— Тащи еще,— распорядился Пятиицкий,— я поиесу.

Подошел Будиловский с ордииарцем, сказал Ромаиу:

— Может, оставим полушубки, лейтеиаит? Упреем,— и, имея в виду иемцев, поясиил: — Скоро оттесиим их за рощу, а там и Степаи Даиилович с барахлом подоспеет.

Ромаи, отвергая услышаииое, сказал иеловко:

— Вам здесь иадо остаться, товарищ капитаи. Коркииа осколком задело, в саибат иадо. На огиевой ии одиого офицера.

Будиловский усмехиулся:

— Уж ие мое ли письмо тебя троиуло, лейтеиаит? От пули уберечь хочешь?

— Ну при чем тут письмо? — мягко досадуя и упорствуя, ответил Пятиицкий.

Не имел ои права распоряжаться, ио распоряжался, потому что держал иа уме прежде всего письмо Будиловского, а скорее всего — малодушие капитаиа, рождеииое этим письмом, и готов был взять иа себя ответствеииость за все, что может произойти, хотя сомиевался, имеет ли иа это право, и оттого чувствовал себя ие в своей тарелке. Тем ие меиее упорствовал:

— Вы же слышали — Коркииа раиило, иа огиевой ии одиого офицера.

— Коркии ие считает себя раиеиым и остается,— строго возразил Будиловский.

Теперь не было смысла мудрить, чтобы отдалить комбата от опасиости, а ее, опасиости, там, куда иадо идти, ие в пример другому какому месту,— по самую маковку, и Ромаиу было иаплевать — уличеи или ие уличеи ои в своей примитивиой хитрости. Ои продолжал иесговорчиво:

— Коркии ие считает, мы должиы считать. Раиеи — зиачит, миого ие иакомаидует, а там обстаиовка может быть такой, что даииые черта с два подготовишь. Я хоть координаты передам или ракетой обозиачусь. Здесь от вас больше пользы.

Бровь Будиловского поползла вверх. Ого, оказывается, где-то от иего может и ие быть пользы. Потребовались усилия, чтобы ие осадить Ромаиа. Но, иесмотря на сказаииое, Будиловский все же ие мог ие видеть и ие поиимать искреииего порыва Пятиицкого и скрытой за этим порывом разумиости доводов. Идти с пехотой вдвоем действительио слишком жирио, а если идти кому-то одиому, то в этой свистопляске важиее выносливость молодого. Здесь же, на огневой, которую так или иначе скоро придется менять, а зиачит, решать уйму проблем, связаииых с переправой через реку, иаведением связи, доставкой боеприпасов и с ииыми заботами, которые упрутся в иеукомплектоваииость личным составом, важиее всего опыт, а ои у него, ие в пример лейтеиаиту, имеется — с лета сорок первого иа войие.

— Ладио,— через силу согласился Будиловский.— С собой, лейтеиант, возьмешь Степаиа Даииловича Если проволоку порвут или с рацией что — связиым используй. А пока за иосильщика сойдет.

Жеия Савушкии притащил еще два барабаиа. Ромаи отдал их Степаиу Дании\ловичу, у Жеии забрал тот, что потяжелее — с красиым трофейиым кабелем.

Через речку шли как по миниому полю — того и гляди, угодишь в сиарядиую полыиью, предательски затяиутую ледяиым крошевом. Трупы еще... Не ступать же по иим.

Разглядывая тела — и те, что смерть кусиула без виешиих меток, и те, что ие обошла своим скотским изуверством,— Пятиицкий до бухаиья в висках боялся увидеть знакомое лицо. Нет, ие было среди убитых Игиата Пахомова. Не было и других зиакомых. Хотя... Вои тот Похож вроде иа сутулого пулеметчика, дзот которого Ромаи иавещал под Йодсуиеиом. Нет, этот круглолицый и волосы вроде посветлее

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Обороиительиая полоса иемцев вдоль Мазурского канала, одиа из последиих в укреплеииом райоие «Иль-

менхорст», была прорвана в начале 1945 года. Пятая, двадцать восьмая армии и вторая гвардейская армия Третьего Белорусского фронта в сходящемся направлении устремилась к заливу Фришес-Хафф. Корпус, в состав которого входила дивизия генерал-майора Кольчикова, с ожесточенными боями пробивалась к Прейсиш-Эйлау, но завязила свое острие на реке Алле. Измотанным, понесшим большие потери в предшествующих боях полкам потребовалось более суток, чтобы проткнуть новое препятствие — передовые позиции укрепрайона «Хайльсберг».

Батальон майора Мурашова полторы тысячи голого как ладонь левобережья преодолел быстро, без особых потерь, но у шоссе, соединяющего Шиппенбайль и Фридланд, снова напоролся на яростное сопротивление и стал оглядываться — не податься ли обратно? Спасли от срама немецкие окопы, зацепиться за которые отступающий противник не смог или не захотел, имея в виду что-то более надежное.

Окопы не были сплошной линией — всего в три фаса, но и на том спасибо. Стрелковые роты повыгребли снег и попрятались в них от изводящего артиллерийско-минометного огня.

Романа Пятницкого, Степана Торчмя и Женю Савушкина, догонявших пехоту, налет застал поблизости от этих разрозненных окопов. Ушибаясь о мерзлую пахоту, они как ящерицы добрались до занесенного снегом, еще не занятого пехотой окопчика с тремя изгибами и стали кротами зарываться в его спасительную глубину.

Серия мин легла так близко, что у Пятницкого нестерпимым грохотом запечатало уши. Комья земли булыжной тяжести садануло в спину, затылок, у Савушкина к чертям собачьим отбросило порожнюю катушку. Отплевавшись, Роман приподнялся. Н-ну, немец, откуда у тебя столько добра взялось! Вокруг рвалось, крутилось, застилало сизым дымом. Перекати-полем пронесло что-то в отрепьях шинели, посорило брусничным высыпом.

Направление на огневую можно угадать, расстояние тоже известно. Провались они, коэффициент удаления и шаг угломера! Хоть на глазок, самым приблизительным образом кинуть пару снарядов, увидеть разрывы, потом легче будет!

Скосил глаза на Женю Савушкина. Женя обнимал ап-

парат, дул и кричал в трубку. Он успел ущемить кабель в клеммах аппарата, даже, для усиления индукции, посикать на вбитый в мерзлоту штырь заземления и теперь тщетно упрашивал «Припять» откликнуться.

— Савушкин! Что у тебя там?! — что есть силы закричал Пятницкий.

Будто от этого крика враз прекратился обстрел. Вернее, не прекратился — утишился. Смерч огня и металла отсечно перекинулся на реку, слепя, укрощая, вынуждая на бездействие артиллерийские и минометные батареи, те самые батареи, которые полчаса назад громили вражеские укрепления, взламывали его береговую оборону, помогали пехоте одолеть удобренный минами крутояр и выйти вот на это шоссе.

Степану Даниловичу без вопросов было ясно — втяпались. Если разведка — глаза, то связь — нервы. С перебитыми нервами много не узришь, не наработаешь. Батарея будет молчать, немцы долго чесаться не станут, скоро пойдут в контратаку, и надо надеяться только на себя. Хотя почему на себя? Слева и справа — пехота. Понимают мужики, что и как, не ждут манны небесной. Степан Данилович устроил перед собой автомат, вынул из карманов гранаты, оглядел, как яблоко, каждую, будто искал местечко, куда вонзить зубы.

Оглушенный, испуганный обстрелом, Женя Савушкин тревожно и растерянно сообщил:

— Нету связи, товарищ лейтенант!

Нет связи... По рукам спутан! Скорее отправить Степана Даниловича на линию? Да где там! Автоматная трескотня и вой сотен глоток близятся. Пятницкий переложил ТТ за отворот полушубка, устроил гранаты половчее. Савушкин клацнул затвором карабина — вогнал патрон в патронник. Уцелевшие, пересидевшие обстрел бойцы из батальона Мурашова отряхнулись от накиданного на них, ощетинились оружием. Не очень-то пронял их этот налет. Заносчиво вплелись во вражеский гам короткими стежками «дегтяревы», солидно застучали «максимы», бодря, затакал ДШК, малость выждав, торопясь, сливаясь в градовый гул, сыпанули автоматы.

Перед окопом Пятницкого немцы появились неожиданно, вынырнули холера их знает из какой ямины Внешне спокойный, Степан Данилович несуетливо, расчетливо кинул две гранаты, взялся за автомат. Пятницкий бросить гранату не успел: ДШК, похоже, узрел этих нем-

цев, резанул по ним крупнокалнберной светящейся струей Повернулн, дали тягу. Чека выдериута, обратно в кармаи гранату не сунешь, на бруствер не положншь. Кннул — аж в плече хрустнуло. Боялся — не долетнт. Нет, хорошо упала. Успел н Савушкнн обойму выпустить, сиова прниик к трубке.

— Степаи Даиилович! — окликнул Пятннцкнй разведчика.

— Иду, Владнмнрыч,— Степан Даннловнч выпростался из снежиого гнезда, положил ближе к Пятннцкому оставшиеся гранаты, подал автомат.— Возьмнте, а мне свой пнстоль на всякнй пожарный.

Пятиицкий отдал ТТ, прннял автомат. Степан Торчмя ухватнл провод в рукавицу н швырком скатнлся за бугор. Уже оттуда крнкнул Савушкнну:

— Жеия, кннь неразмотанную катушку, может, наращнвать прндется!

Первое время о продвиженин Степана Даннловнча сообщал втнснувшнйся в снег красный трофейный кабель: пошевелнвался, вздрагнвал, рыхлил земляные смерзки. Потом успоконлся — далеко отполз Даинлыч. Савушкнн вдавнл трубку в ухо, слушал, время от времени, нажав клапан, умоляюще спрашнвал: «Прнпять, Прнпять... Ну где ты, Прнпять? — н для верности иазывал себя: — Я Кама, я Кама. Припять, слышншь?»

Не слышала батарея, ие отклнкалась.

А тут опять немцы. Эта схватка длнлась дольше, чем первая, но того уннзнтельиого, гнусного страха, который сковывал вначале, не было. Страх, вызваиный малочисленностью «войска» Пятннцкого н его обособленностью от пехоты, прошел с появленнем трех упыхавшнхся, чумазых солдат с ручным пулеметом.

— Кто тут Ромка? Есть такой? — весело спросила потная оскаленная рожа, обдав Романа махорочным перегаром.

— Кто такне? — холодно спроснл Пятннцкий.

— Ай не вндишь? Свон в доску... Не дуйтесь, лейтеиаит. Ротный увндел артиллеристов н прямо места не иаходнт, тревожнтся: «Неужелн там Ромка, иеужелн Ромка?» Вот я так н спроснл.

Второй, сутулый дылда, оборвал его:

— Хватнт, ботало коровье. Вы — Пятннцкнй?

— Да, Пятннцкий. Кто вас послал? Какой ротный? — проговорнл Роман, узнавая в солдате того, нз дзота под Йодсуиеиом, н догадываясь, о каком ротиом ндет речь.

Стал приглядываться к нему и пулеметчик.

— Младший лейтенант Пахомов послал. Велел узнать, что тут у вас, все ли целы. Вот он,— показал на третьего,— возвернется, обскажет, а нам приказано ваше НП охранять. Эти гады, того и жди, полезут. Чуете?

Стихший было обстрел реки снова усилился. Часть минометов перекинулась на позиции мурашовского батальона. Пришлось вкопаться поглубже.

«Ботало» установил пулемет и повернулся к Пятницкому. Похлопывая пулемет рукавицей, весело спросил:

— Пять дисков. Хватит, товарищ лейтенант?

Роман встречал таких веселых. Нервная у них веселость. Что ж, в бою всяк по-своему себя бодрит. Только вспыльчивы такие весельчаки до бешенства. Пятницкий подмигнул ему и сказал тому, третьему — худому, умученному:

— Скажешь, что Пятницкий человека на линию выслал. Наладится связь — четыре ствола будет. Понял?

— Чего не понять-то. Понятно. Идти можно?

— Идти...— усмехнулся ободренный Роман.— Доползи хоть в целости. И это... Скажи — рад слышать о нем, мастодонте.

— О ком таком?

— О звере во-от таком,— раскинул Роман руки и одновременно с близким взрывом взвыл от боли. Стряхнув перчатку на снег, он детским движением сунул пальцы в рот. Сутулый качнулся к нему.

— Че тако, че с вами?

Роман вынул пальцы, помахал, охлаждая, и только тогда посмотрел на них. Ногти покрывались синюшной темью.

Убедившись, что с лейтенантом ничего серьезного не произошло, связной сказал: «Ну, я пошел» — и пескариком скользнул под уклон.

— Комком тебя, лейтенант, хлобыстнуло. Распустил крылья-то,— объяснил «ботало».

— Закрой хайло,— одернул пулеметчик напарника.- Тебе бы так. Вы снежком их, товарищ лейтенант, пальцы-то, пусть охолонут.

Мучаясь от нестерпимой боли, Роман нагреб в кучу серого снега, упрятал туда кисть. Почуяв облегчение, благодарно посмотрел на солдата, вспомнил утренний переход через Алле и даже фамилию этого солдата.

— Как хорошо, Хомутов, что встретились. Я там, на речке, про одного на вас подумал.

Некрасивое вытянутое лицо солдата потускнело.

— Я ничего, живой покуда. Дружка мово... Помните, на перине кемарил? На леде остался, вот эту боталу дали...

— Я тебе что, пряник? «Да-ал-и-и»,— передразнил его напарник.

— Зачем пряник, ботало, говорю,— улыбнулся вроде бы глухой к юмору старый знакомец Романа.

— Какой есть. Умных-то — к умным, а меня вот — к тебе.

Незлобивую перебранку прервал рев новой контратаки. Пятницкий почувствовал, как инстинктивно поджались пальцы ног, криво усмехнувшись над этой мерзкой человеческой слабостью, взялся за автомат. Савушкин торопливо завязал тесемки на шапке, освобождая руки для карабина, сунул трубку под наушник и лег рядом с Пятницким.

— Ничего, Женя, отобьем и этих,— сказал ему Роман.

— А чего, я ничего,— бодрясь, пролепетал Женя и передвинул мешавший под животом подсумок.

Сутулый пулеметчик пощурился в сторону немцев — как далеко, растуды их,— деловито установил прицел, полулежащий, устраиваясь поупористей, посучил ногами.

Автоматный огонь становился все гуще и плотнее, пули летели над головами, цокали о землю, фырча и повизгивая, рикошетили.

Пятницкий приладился к прикладу, борясь с волнением, выцелил рослого немца с раззявленным ртом, нажал спуск. Коротко и быстро стукотнуло в плечо. Немец выронил автомат, повалился. Роман, выискивая новую жертву, стал перемещать ствол, но Женя Савушкин толкнул его криком:

— Связь! Товарищ лейтенант, связь!

Степан Данилович, милый! Жив, значит, связал ниточку! Роман выдернул трубку из-под Жениной шапки, приложился к ней и услышал:

– Я Припять, отвечайте, отвечайте...

Мучаются на огневой, никак не дозовутся до наблюдательного.

Роман зажал больной рукой второе ухо, закричал:

– Я Кама, дайте седьмого!

— Кама, я...– затухало у реки.

Что там, опять порыв?

– Припять, Припять! — яростно потрясал трубкой Пятницкий.

Замолчала, отсоединилась Припять. Роман забыл о

всем на свете. Припять, только Припять нужна ему. Он не видел, как справа от них немцы подошли вплотную к окопам и там люди с первобытным ревом кинулись друг на друга; как почти у самого бруствера испуганный, ошалелый Савушкин из его автомата свалил двух немцев; как сутулый пулеметчик хладнокровно расстреливал вражеских солдат, а его напарник, «ботало», зараженный дикой схваткой в пехоте, улапил возникшего с фланга автоматчика, не остерегаясь, остервенело выламывал ему руки и помутненно требовал: «Сдавайся, твою мать, сдавайся, зараза!» Немец, надо думать, всей душой, чтобы сдаться, но от адской боли в суставах лишь протяжно выл.

— Кама, я Васин! — снова услышалось в трубке.— Где лейтенант? Кама, лейтенанта к аппарату! Кама...

И опять ни звука, одно потрескивание.

Роман боялся не поймать голос, продирающийся через какие-то помехи, и, выкрикнув два слова, отпускал нажимной рычаг. Не забывались, ныли болью пальцы левой руки.

Выглянул на миг, посмотрел туда-сюда, перекинул трубку в ушибленную руку, правую вооружил гранатой. Снова в трубке:

— Кама! Я Васин, у нас тут...

Да что он, неразумный, не может короче, главное! Самому успеть сказать!

— Кама...— и опять гасит голос артмастера Васина. Нет, зашеборшило. Соединяет, скручивает Данилыч проводки непослушными пальцами.

Может, ранен? Может, уже не он на линии?

Отложил гранату, прикрылся полушубком, чтобы лишний шум не попал в трубку.

— Васин! Всеми пушками! Прицел сорок! Направление — белая ракета. Даю белую ракету!

— Кама! Понял! Прицел сорок. Повтори направле...

— Припять, Припять...

Молчит Припять, молчит батарея. Степан Данилович, родной, что же ты?

Немецкая артиллерия продолжает бить по реке, но здешний бой угомонился. Срезанный очередью, лежит на бруствере второй номер пулемета, руки окостенели на горле изломанного, придушенного им автоматчика.

Пришел в чувство Савушкин, затеребил Пятницкого: «Что там?»

Хотел бы знать Роман — что там, на линии. Но снова

в наушинке зашуршало, запотрескивало. Вндно, плохо скрепляются у Данилыча провода, только задевают друг друга.

— Кама, прнцел поиял. Направленне дайте, угломер!
Какой там, к хреиу, угломер, иеразумиые!

— Направлеиие иа белую ракету!!! — оглушающе взревел Пятницкий, боясь разъедннення.— Даю белую ракету! Прнцел сорок! Сорок!!!

Спешат по проводу слова Васнна, царапаются о стальиые жилкн, затухают, ио слышно:

— Понял, передал...

— Васин, слушай. Десять снарядов на ствол, саднте беглым!

— Понял! По десять!

Пятнццкнй отдал трубку Савушкнну, перемогая боль под ногтямн, через колено переломнл ракетнницу, увндел белую попку патрона. Славнеиько, хоть тут порядок! Дымным следом ушла ракета ввысь, достигла предела, лопнула молочным светом.

Немцы с тупым упрямством наладнли третью атаку. Густо в цепях. Бнлн, костоломнли их, а все не убывают. Свежих, что ли, подкннули?

Не подвел, разобрался Васнн. Настнгая друг друга, запелн в воздухе роднмые семидесятишестнмнллнметровые. Вот н разрывы: резкне н настильные — осколочные, ухающне н вздыбленные — фугасиые. Зачем фугасные? Ладно, забылся кто-то неразумный, ие сннмает колпачков со взрывателей...

Меткость, прямо скажем, нн к черту, но эффект, эффект! В-во-о, как уторкалн, запылнлн пространство возле рощн.

Немцам лн знать — прицельным нлн непрнцельным садят по ннм, нет резоиа дожидаться худшего, во все лопаткн кннулись под прикрытне леса. Да, теперь вндно: вон она, роща, что иа карте обозначена. Вшнвенькая роща, ннзкорослая, войиой нсклевана.

— Женька, как там Припять?

— Опять на лнннн что-то, товарнщ лейтенант! — откликнулся Савушкни.

— Вызывай, вызывай беспрестанно!

— Есть вызыва-а-а... Есть! Есть! Связь есть! Припять, Кама слышнт!

Пятннцкий — за трубку, затанл дыхаине, ловнт радующие звуки.

— Кама, Кама, Шимбуев говорит. Отвечайте.

Алеха? Откуда он? Там же Васин.

— Алеха, доворот передай...

— Лейтенант, я с линии,— голос не похож на голос Алехи-проныры, не похож, но все равно его голос: — Кабель сростил, иду к вам, передавайте.

— Кама, Кама,— это уже голос с огневой позиции.— Говорит капитан Сальников.

— Товарищ семнадцатый!

— К чертям кодировку, дуй открытым. Что у вас, какие возможности для стрельбы?

— Отличные, товарищ капитан!

— Карта есть?

— Есть!

— Координаты седьмой батареи?

— Если не переместилась, есть!

— Даю координаты всех трех. Записывай. Мы тут слепые. Будешь огонь вести дивизионом, снарядов не жалей. Сможешь дивизионом, Пятницкий?

— Вспомню... Попробую... (А-а, гадство, лепечешь!) Смогу, товарищ капитан! Записываю! Икс... Игрек... Есть. Так, девятая. Восьмая... Женька, держи трубку!

Сунул Савушкину трубку. Спокойней, спокойней, лейтенант Пятницкий. Где же координатная линейка, черт?. Вот она, за книжкой... Очень хорошо стоят огневые. Гаубичная чуток на отшибе... Ничего, не дрейфь, ты помнишь все, пристреляешь... «Снарядов не жалей...» Пальну залпом, скорее увижу свои разрывы, а там...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Перебегают, падают, снова торопливо перебирают ногами и приближаются двое — сюда, к его окопу. Один могучий, сапожищами топает — земля колышется. Не видит их Роман, не чует — у самого внутри все колышется, ум за разум заходит...

Вызревший в боях командир роты Игнат Пахомов сваливается на Пятницкого. Сваливается бережливо — насмерть бы придавил, мастодонт. Радостно обхватил Пятницкого:

— Ро-омка!

— Тихо, Игнат, целоваться потом будем,— отстранил его Пятницкий.

— Я ие целоваться, по правде, морду бить прибежал. Почему пушки замолчали? Мурашов всех чертей поминает. В самый раз самим атаковать, вышибить их из лесочка!

— Погоди, заговорят. Двенадцать стволов заговорят.

— Что, Сальников твой? — обрадовался Пахомов.

— Он распорядился, он. Только огнем дивизиона я управлять буду.

Пахомов даже крякнул от восхищения. Спросил:

— Сколько?

— Молчать сколько? — оторвался от подсчетов Роман

— Балда. Сколько до открытия огня? Мурашову доложить, людей готовить.

— Оставь здесь человека или сам. Минут пятнадцать на подготовку данных и на пристрелку Потом на саму работу. Минут десять надо? Как смотришь?

— Ревякин! Жми обратно, нитку мою сюда!

Завершив подготовку данных для гаубичной, Роман окликнул телефониста:

— Савушкин, Припять давай!

— Есть Припять! — бодро ответил Савушкин, радуясь, что успел развинтить микрофон, посушить капсулу под мышкой. Уж шибко орали, отсырела, поди.

— Девятой батарее! Прицел.. Угломер... Веер параллельный! Один снаряд на орудие, залпом... Огонь!

Роман не притронулся к биноклю, высунулся так, чтобы шапку или что другое не продырявило, впился острыми глазами в рощу.

Загудело в небесном пространстве незримое, потом отстало ухнуло за рекой. Правее и дальше рощи прянуло в зенит четыре темных конуса, высверкнули исподу, стали распадаться. Секунду спустя обрушенно донесся грохот.

— Ого! — восхитился Игнат Пахомов.

— Не ого, а гаубичные,— поправил его Пятницкий.— Левее ноль двадцать, прицел...

Счетверенный взрыв переместился, рванул по опушке в дранье изорванной рощи.

— Ладно? — спросил Пятницкий у Игната.— Или по леску закатать?

— Черт их знает, где их гуще.

— Сделаем так: гаубичную по самой роще пристреляю, а пушечные седьмую и восьмую на опушку выведу.

Игиату Пахомову притащили связь. Ои обстоятельио доложил комаидиру батальоиа о возможиостях артиллеристов. Мурашов порадовался, поторопил для порядка и тут же закричал, даже Ромаиу стало слышио: «Смотрите правый срез рощи! «Фердииаиды»! Одии, два... Два «фердииаида». Дождались молодчики, мать вашу...»

— Ответь, Игиат, упредим. Еще три мииуты...

Немецкое самоходиое орудие поработало одиой гусеницей, довериулось и мгиовеиио выстрелило. Звоикий и хлесткий выстрел стегаиул Ромаиа по ушам. Сиаряд рванул иа левом флаиге батальоиа и, видио, ие безрезультатио. Прямой выстрел есть прямой выстрел, и за прицелом, иадо полагать, сидит обучеииый фриц, ие тюха-матюха Не дать еще...

Пятиицкий перекииул огоиь седьмой и восьмой батарей к срезу рощи. «Фердииаиды» задергались, попятились. И только теперь Ромаи отчетливо увидел зафиксироваииые зреиием предыдущие залповые разрывы. По три в залпе. Почему по три? Закричал Савушкииу так, будто ои виноват:

— Жеиька! Почему седьмая и восьмая ведут огоиь тремя пушками?

Жеия быстро переговорил с телефоиистом иа огиевой, доложил упавшим голосом:

— Две пушки.. Ребят...

Зиачит, ие двеиадцатью, десятью стволами работать будет. Жестко скомаидовал:

— Дивизионом! (О, как затесиило в груди — дивизиоиом!) Десять сиарядов иа орудие! Беглым! Огоиь!

Савушкин, сглатывая застрявший в горле комок, дублировал комаиду.

Теперь ие залповые, а разобщеииые, иаслаивающиеся выстрелы доиосились из-за реки — били системы в семьдесят шесть и сто двадцать два миллиметра калибром

Измореииый, едва душа в теле, прицарапался разведчик Шимбуев со связистом, смахивающим иа аборигеиов Заполярья. Кажется, видел его в штабиой батарее. Алеха пристроился рядом с Жеией Савушкииым, стал докладывать с пятого иа десятое:

— Степаи Даиилович почти до иас дополз. Вот пистолет его, бумаги... Шесть его сростков иасчитал. Последиий... Изоляцию даже ие мог сиять, так притыкал, оба коица в руках зажатые. Кровь иа сростках, раиеный полз. Во втором взводе орудие... Чииить иечего — куда

колеса, куда щнт... Прямое попадание. Комбат там был... Насмерть комбата. Еще Решетникова, Таипова... Накоснл, падла...

Накосил... Коса в костлявых руках скелета... Расчудесиая аллегория смерти! Скелет — с крестьяиской косой, с литовкой Степана Даниловича!

Кого еще там? Васнлия Севостьяновича, значит. Дада, Шимбуев сказал. Огневиков вон сколько... Может, еще кого? За то время, что Алеха добирался?

— Кабель как? Часто рвать будет? — спросил Пятиицкий.

— Не должио, мы его, где можно, в межу перетащили. У позиций Лнпцев проверять будет. Капитаи Сальииков за эту связь... Такой разгон дает. Всех иа иоги поставил.

— Рацню бы прислал...

— Рацию... До меия двое уходили. Лежат, как и Данилыч. Все из штабиой. Мы вот с ним,— кивиул ои иа широколицего с плоским носом солдата,— не зиаю как... Все межой да межой. Крюку дать пришлось... Зато надежнее.

Пятницкий слушал уже вполуха. Прнстрелялся, пора и на поражеиие... Хорошо, где иадо, торкаются и рвутся пристрелочиые.

Забыв, какая тут предусмотрена иаставлеиием команда и не теряясь от этого, более того, возбуждаясь, уверенный, что на огневых позициях поймут его, разберутся и не осудят, Пятницкнй скомаидовал на Прнпять:

— Засекнте время! Десятимииутный обстрел! Беглым!

Роман ие мог ошибиться. Там, иа том коице провода, у трубки был капитан Сальииков. Не удивляясь партизанской команде Пятницкого, Сальннков серьезно и четко повторнл каждое его слово. Только после, когда выкрнкнул вслед за Пятиицким бесновато вздымающее слово «Огонь!», быстро спроснл:

— Атакуете?

— Да.

— Мурашов жив? С ним нет связи. Передай, пусть дальше рощи не зарывается. Закрепляйтесь в роще и держитесь там. Подошли свежие силы. Понял?

— Понял, товарищ капитан!

— Работай, композитор!

Непонятно, почему — композитор, да н вникать ие стал. В такие мннуты мало ли что с языка...

Работа уже шла. Оттуда, где еще не убранные лежали возле станин и ровиков тела Василия Севостьяновича, Решетникова, Таипова и, быть может, еще кого-то, дивизион с бешеной силой кидал на двухкилометровую дальность снаряды, и они люто, зло терзали землю, деревья и все, что там было.

Содрогнув землю, рванули два стокилограммовых снаряда. Наверное, тот бээмовец по такому случаю еще парочку выпросил. Черным, тягучим шлейфом пополз дым от правой оконечности рощи. Значит, какому-то «фердинанду» в самый раз угодило. Второго бы накрыть.

Артиллерийский огонь противника, казалось, удвоился, и обещанные свежие силы не смогли выйти на рубеж майора Мурашова, роты которого преодолели изрытвленное снарядами четырехсотметровое пространство и просочились в рощу, где не было не только живых, но и мертвых немцев.

Продравшись через лесной бурелом, Пятницкий выбрался на другую окраину рощи и неподалеку от насмерть изувеченного штурмового орудия (вот и второй «фердинанд»!) разыскал командира батальона.

Сразу за лиственным колком (кажется, грабы, березы да худосочный осинник, теперь изломанные в прах) начиналась низина, скупо запорошенная снегом и изрябленная бесчисленными воронками, исполосованная колесами, истоптанная сапогами. Слегка прогнутое поле в километре от рощи утыкалось в постройки, кирпичные стены которых с удушающим хладнокровием сообщали, что тут иванам рассчитывать на что-то сносное в ближайшее время нет никаких оснований. Пустынная залежь, давно не тревоженная лемехом, правой оконечностью обрывалась у дорожных посадок, левым крылом уходила к приречной пойме, где Алле делала крутой заворот на запад.

Мурашов был мрачен, его картинные усики потеряли франтоватость, затерялись в темной небритости многодумного, осунувшегося лица. От двухсот человек, начавших штурм берегового кряжа, осталась едва треть, офицеров — раз-два и обчелся, из ротных один младший лейтенант Пахомов. Успокаивало наличие трех легких минометов, ДШК, двух станковых и четырех ручных пулеметов. Силища для стольких штыков! Успокаивало, да не совсем Боеприпасы были на исходе, а мин — семь-

восемь на «самовар». Кипяточком фрица не ошпаришь, так, самим морально погреться. Вся надежда на лейтенанта из артполка. Только бы связь не изрубили. О своей нечего думать. Рация побывала в полынье, а проводная натянута лишь между ротами. Вот артиллерийскую ниточку надо пуще жизни беречь. До темноты немного осталось, а там... Помыться с вехоточкой, отоспаться. Мужичков бы с автоматами сотенки полторы... Ладно, не надо жадничать — сотенку...

Мурашов с Пятницким стояли в отростке траншеи, где, по всей видимости, находилось у немцев боевое охранение.

— Дельно ты их сработал,— кивнул Мурашов в сторону самоходки. От нее разило железной и керосиновой гарью.— Разделали бы они нас, как бог черепаху.

Роман успел пристрелять по поселку первые орудия всех батарей, и его настроение, не в пример майору, было приподнятым. Мурашов отыскал в кармане сухарь черепичной крепости, разломил, подал Пятницкому.

— За «фердинанда», что ли?— улыбнулся Пятницкий.

— За это,— майор очертил полукружие,— с генерала потребуем. Сухарями не отделается. Кстати, ты, лейтенант, в сих делах не скромничай, особенно когда дело солдат касается. На всех пиши, кто не трус, на мертвых тоже. Сверху рядовых мужичков плохо видно, начальство может и не почухаться.

— Товарищ майор,— осмелился подойти не отлучавшийся далеко от Пятницкого Шимбуев.

Мурашов с треском куснул сухарь.

— Чего тебе?

— Разрешите к лейтенанту обратиться.

Мурашов хмыкнул: нашел где строевую выучку показывать.

— Обращайся.

Шимбуев. приставил ППШ к стенке окопа, проворно скинул тощий вещмешок.

— У меня тут банка тушенки, дядька Тимофей успел сунуть, печенье офицерское. Пошама... Покушать бы вам

— Ординарец, что ли?— поглядел Мурашов на Пятницкого.

— Не положено взводному. Разведчик. Валяй, Алеха, в землянку, сварганъ. Не возражаете, товарищ майор? У Шимбуева и во фляжке найдется.

Шимбуев хотел что-то сказать, но махнул рукой, под-

хватил затаскаииую котомку и скрылся за изгибом траншеи. Мурашов суиул огрызок сухаря в кармаи, сказал:

— Тушеики пожевать ие откажусь, а фляжку — потом. И без водки голова кру́гом. Как думаешь, не выщелкают иас до темиоты?

— До темиоты оии сами деру дадут,— убежденно ответил Пятиицкий.

Мурашов даже глаза распахиул.

— Твоими бы устами...

— Поглядите,— Роман махнул биноклем иа пустошь, на излучину реки Алле, видную отсюда зарослями ивняка.— В бинокль видиее.

Мурашов долго смотрел в бинокль и без бинокля.

– Д-да, если у иашнх фрицев мозги ие набекреиь, иного им не остается, как ноги в руки. Двадцатая вон уже куда проперла.

За изгибом реки отчетливо прослеживался след боя, смещающегося все далее на запад. Прошли иа бреющем «ильюшииы». То иаращивая, то утишая гул, косо воизая в землю реактивиые молнии, оии покрутили там карусель. Усилился, плотнее стал огоиь тяжелой артиллерии. Пятницкий указал на кирпичиые строения и предположил о иемцах:

– Тоже, поди, приглядываются.

Вериулся Шимбуев, пригласил в блиндаж:

— Идите с товарищем майором, подогрел на щепках. Мы с Жеиькой последим за немцами.

- Бинокль где?— спросил Пятиицкий, не увидев на груди разведчика привычиого там бинокля.

— Когда сюда пробирались... Осколком. Тут вот больио, кашлять трудно... Дайте мие ваш, я потом себе у иемцев достаиу, с головой сыму.

Что посидят вдоволь, отдохиут в покое – этого и в уме ие было, ио перекусить все же успели. Ухнул иеподалеку тяжелый, за ним – второй, третий... И пошло. Как живые, шевельиулись иакаты землянки, иацедили пересохший суглииок. Мурашов с Пятиицким поспешили вон. В щепки разиосило остатки рощи, насажеиной лет сорок иазад здешиими земледельцами.

— Ты прав, лейтенаит! — прокричал Мурашов. - Уходит немец, это ои иас треножит, боится — в штаиы вцепимся!

Пригиувшись, Роман побежал по зигзагам траншеи к участку, где оставил Шимбуева с Савушкиным

— Что тут происходит? — торопливо спросил разведчика.

— Фрицы манатки сматывают, — по-своему подтвердил Шимбуев высказанное Мурашовым. Он не повернулся на приход Пятницкого, продолжал наблюдать в бинокль. Добавил к сказанному: — Несколько порожних машин подошло, беготня какая-то.

— Дай-ко, — ухватился Пятницкий за бинокль.

— Товарищ лейтенант, семнадцатый вызывают! — крикнул сидевший на дне окопа Савушкин и, задрав голову, понял, что нет у лейтенанта времени отрываться от бинокля. Женя зажал аппарат под мышкой, поднялся и подставил Пятницкому трубку к уху.

— Пятницкий, чем вызвана перемена в огневой работе противника? — спрашивал Сальников от реки.

Роман доложил, что немцы, по всей вероятности, начали отступление. Им хорошо видно, как загибается левый фланг соседней дивизии, боятся в мешок угодить, вот и бьют по наседающему батальону.

— Передай приказ Мурашову, приказ генерала Кольчикова, — оставаться на месте, — горячо говорил Сальников и подстегнул вопросом: — Почему пауза? Ломай, что можно изломать, не давай живыми уходить, нам с тобой в Кенигсберге легче будет!

Подав команду на огонь по данным последней пристрелки, Пятницкий передал Мурашову приказ командира дивизии и потянул Шимбуева за рукав:

— Воды, Алеха. Глоток бы, горло как рашпиль.

— Нету. И бинокль и баклажку разнесло.

Хотя бы снежку хватануть. Но не было снега: с копотью, с землей перемешан.

Полчаса спустя появилась группа автоматчиков. По внешнему виду на свежие силы они не походили. Скорей всего, сузился фронт и вытеснил более общипанные части. Следом за авангардом автоматчиков высыпали густые цепи пехоты и, не останавливаясь, минуя позиции мурашовского батальона, неровным волнистым неводом пошли по давно не паханному и не рожавшему полю.

На опушку выбежали проворные минометчики, с заученной быстротой стали устанавливать свои «самовары» Четыре танка, поотставшие при обходе рощи, наращивали скорость, обгоняли пехоту. Пятницкий изморенно опустился рядом с Женей Савушкиным. Освоившийся, во-

спряиувшнй малость Женя позволнл себе даже побаловаться самокруткой.

— Курншь?— удивнлся Пятиицкий.

Жеия смутнлся.

— Когда филичевый давали, не курил, а сейчас чего... Вас! — ои поспешио подал трубку Пятиицкому.

От голоса младшего лейтеиаита Коркииа у Романа радостио заспешнло сердце н совестно стало за свои утренние мысли. Уйди Коркин в медпункт — иикто ие осудил бы его, хотя рана, если исходить из обстановкн, ие из тех, чтобы покидать батарею, ио раиа есть рана, н тут иичего ие попишешь. Однако Ромаи, хотя и убеждал Буднл̆овского, что Коркии должен ие воевать, а лечиться, внутрение готов был ие одобрить его уход. Остался Коркин, и Пятиицкому было иеловко сейчас за то, что подумал тогда.

— Витя, жив?— прокричал Роман в трубку.

— Жив,— ие разделнл его радости Коркии: ие очеиьто приглядиая картииа была иа огиевой, ие до восторгов Коркину, спросил мрачно:— Сам-то как? Вот и отличио Мы уж тут всякое думали. Теперь слушай. Тебе велеио принять комаидоваиие батареей и спать до утра, я пока покомаидую. Синмаемся. Место сосредоточення — Баумгартеи. Туда и приходи утром. Найдешь, где поспать? Да, еще... Тут товарищ из днвизиоики пришел, спрашивает, чего и сколько уиичтожила иаша батарея. Ну, орудий вражеских, машии, пулеметов...

— Что?— опешил Ромаи.— Его, случаем, ие коитузило? Рощу с лица земли сиесли — и ии одиого трупа. Всех мертвяков уволоклн... Деревня вон горит, может, побежать, посмотреть, посчитать? Машины ему, пулеметы..

— Не знаю, ие знаю,— с оттеиком ироиии произнес Коркии.— Уважать иадо прессу.

— Два «фердииаида» иакрыли, можешь сказать, за это ручаюсь, да и то с кем-то делнть иадо,— закричал Пятиицкий.— По всему другому пошли подальше.

— О «фердииаидах» скажу, посылать сам изволь. Передаю трубку.

Какой липучий газетчик! Что ему сказать? Обалдеть можио!

— Товарищ лейтеиаит,— в трубке голос старшнны Горохова. Слава богу, ие корреспондеит.

— Слушаю, Тнмофей Григорьевнч.

— Начальиик штаба приказал сматывать хозяйство

Так что не беспокойтесь, все сделаем. Покушать есть что? Я прншлю.

— Не нужно, Тнмофей Грнгорьевнч, не гоняй людей на ночь глядя. Какне потерн?

— Трое. Сейчас со всего днвнзнона собнрают, во Фрндланде похоронят... Еще раненых трое. Их Лнпатов в медпункт увез.

— О Степане Даннловнче знаете?— спроснл Пятннцкнй.

— Д-да,— запнулся Горохов, вздохнул прерывнсто.— Я послал за ннм... Как рука ваша?

Это еще откуда — о руке? Посмотрел на Савушкнна Тот отвел взгляд, чтобы не вндеть, как товарнщ лейтенант головой покачнвает.

— Чепуха, старшнна, маннкюр попортнло,— отозвался Пятннцкнй н вдруг вспомннл:— Тнмофей Грнгорьевнч!

— Что?— встревожнлся старшнна.

— Документы капнтана где? Сумка, планшетка? Там его пнсьмо жене, в Гомель. Слышншь? Не отправляй!

— Все у меня пока.

— Пнсьмо найдн, прнпрячь. Сам ей напншу.

Вспомннлся разговор с капнтаном Буднловскнм, заныло, потянуло сердце — будто вноват в его гнбелн, будто сам бесчестно увернулся от смертн, вместо себя другого подставнл. Поннмал — глупость все это, поннмал, но мучнлся.

Только-только забрезжнл рассвет. Пятннцкнй, Шнмбуев, Савушкнн н связнст нз штабной батарен, мнновав поле, берегом рекн вышлн на дорогу к Баумгартену. Баумгартен бралн соседн, н Роман с любопытством оглядывал место побонща. Группа нестроевых солдат нз похоронной команды собнрала непрнятельскне трупы. Пятннцкнй недовольно подумал: «Что, пленных для этого не нашлось, что лн?» Средн побнтого, нзорванного снарядамн можжевельннка вднелась отрытая за ночь и наполовнну заполненная яма.

— В-во наворачкалн! — зябко восхнтнлся Шнмбуев

Враскачку, по-утнному, подъехала полуторка. Сндевшнй поверх кладн солдат, покряхтывая, слез, открыл борт, снова, оскользаясь подметкой на шине колеса, вскарабкался в кузов. Ногамн, березовой рогатиной начал сталкнвать то, что там было. Подходнлн друrне солдаты, цеп-

лялись своими приспособлениями за сброшенное, тащили к яме. Роман миновал их, стал спускаться к сараям — к окраине Баумгартена. За сараями, среди безжизненно холодных, давно сгоревших строений и еще тлеющих развалин жилых домов, стояли колесные кухни, суетились люди. Кто-то разжился губной гармошкой и теперь безжалостно и неумело дул в нее. Чисто и хорошо смеялись военные девчонки. В народившейся поутру кладбищенской тишине было это удивительно и щемило давней молодой тоской.

Из кустов на дорогу выбрался солдат лет за сорок. Перекинув веревку через плечо, он волочил к яме мертвого. Шинель покойника задралась, длинные неживые руки мотались на неровностях, из кирзовых сапог, перехваченных буксировочной петлей, торчали пожелтевшие портянки.

Кирзачи! Пятницкий оцепенел, остановился в ознобе. Гул в голове обрушил тишину.

— Т-ты что?— задохнулся Пятницкий.— Т-ты что, иначе не можешь? Он тебе кто — немец? Фашист? Не видишь, глаза протереть?

Подсмыгнув по погону веревку, солдат покосился на молодого лейтенанта, огрызнулся:

— Потаскай-ка всю ночь... Нацепляют звездочек, ходят, распоряжаются...

— Стой! — срывая голос от страшной догадки, закричал Пятницкий и схватил солдата за лацканы видавшей виды шинели.— Ты куда его? А? В эту яму?!

— Чего орешь! Отцепись,— с упрямством и усталым озлоблением солдат дернулся и выпустил веревку. Задубевшие ноги покойника ударились о землю. В душе Пятницкого взорвалось все сгустившееся из пережитого, пересиленного, перетерпленного за последние сутки. Он с силой толкнул солдата, и тот полетел вперевёрт. Роман выдернул из кобуры пистолет.

— Погибшего советского... Я тебе покажу, мерзавец! К стенке! — помраченно выкрикивал он и наступал на поднявшегося и ощерившегося солдата.

Стенки не было, спина близилась к стожку полешек-кривулин. Все пошло на дрова безлесого, экономного прусского крестьянина — пни, коряги, сучки... Улежный стожок наполовину был обобран, видно, для тех вон кухонь. Потемневший — ветрами обдутый, дождями моченный,— он желтел одним боком. Закрываясь от пистолета щитком ладони, боясь упасть, солдат другой рукой уперся в нагромождение крохотных полешек. Наг-

лость вылетела из него, испарилась, глаза распялил страх.

— Вы что, вы что... Товарищ. Я же...

Шимбуев бросился к Пятницкому, но не успел. Разрывая тишину, обращая внимание всех, слонявшихся у развалин по делу и без дела, грянули пистолетные выстрелы. Вздрагивая, щепались и выскакивали уплотненные деревяшки возле обмершего, прощавшегося с жизнью погребальщика. Невидимо мелькавший затвор ТТ остановился, из открытого зева патронника курнлся легкий дымок. Пятницкому хотелось двинуть солдата в зубы Сдержался. Трудно дыша, выдавил:

— Похорони как положено. Проверю. Если что... Взаправду убью. В той... с немцами зарою.

Повернулся спиной и пошел. Шимбуев настиг его, спросил тревожно и с упреком:

— А если бы... промазал?

Пятницкий промолчал, обошел воронку и резко остановился. Постоял, посмотрел на закрытое протянутыми тучами небо, на своих неочухавшихся спутников и спросил·

— Шимбуев, солнце было хоть раз? Ну, как мы в прорыв пошли?

Солдаты переглянулись.

— И я не помню,— вздохнул Пятницкий.

Глянув на него, твердо зашагавшего дальше, штабной связист сказал Шимбуеву:

— Лейтенант про солнце, а я маму вспомнил. Ее предки солнцу поклонялись... Я только по отцу русский, мама из нганасанов, самоедов авамских. В их племени, чтобы сказать: «Я жить хочу», говорили: «Я солнце видеть хочу». Вот и лейтенант, значит, жить хочет.

— Во! Вякнул тоже,— запнулся в шаге Алеха.— Тебе, поди, не хочется.— Шимбуев, как и Пятницкий минуту назад, запрокинул голову и широко открыл глаза на хмурое небо, невесело цыкнул слюной через зубы: — Конечно, куда с добром, когда — солнце.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Пятницкий сидел в кабине «студебеккера» и, притулившись к шоферу, сладко посапывал.

Трехосные машины с семидесятишестимиллиметровыми

орудиями в прицепе стояли колонной на узкой шоссейке Когда остановились, к чистому духу оттаявшей земли примешались запахи пороховой гари от пушек, бензиновых паров — от машин. По обочинам — голые яблони, еще не хлебнувшие весенних соков, на булыжнике немецкого проселка — жиденькая размазня. И над всем этим и вокруг этого — непроглядная темень.

Кто-то поскребся в дверцу, ругнулся, нащупывая ручку, и простуженным голосом вначале спросил, потом распорядился:

— Комбат-семь? В голову колонны, срочно!

Шофер Коломиец, он же командир отделения тяги, удивительно конопатый солдат — даже кисти рук обрызганы бурым,— пошевелил плечом, на котором лежала голова Пятницкого.

— К командиру полка вызывают,— пояснил Коломиец, вороша затекшим плечом. Все это время он сидел без движения, боясь потревожить спящего командира батареи.

Пятницкий потянулся, поправил съехавшую на живот кобуру, пошарил под ногами шапку, зевнул.

— Может, на переформировку?— с безразличием, в котором скрывалась надежда, спросил Коломиец.

Пятницкий насупился, промолчал. Открыл дверцу и прыгнул в черноту.

Из кузова, раскрылив полы шинели, как курица с нашеста, слетел ординарец Алеха Шимбуев и упал на четвереньки. Встал, обтер руки о голенища сапог, удобней вскинул автомат и молча зашагал рядом.

Полузаснувшая колонна оживала. Пятницкий, мучимый зевотой, ускорил шаг. Шимбуев, шлепая по грязи, бойко поспешал рядом. Покосившись раза два на комбата и уловив в его лице озабоченность, он, как и Коломиец, спросил с плохо скрытой надеждой:

— Может, на переформировку, товарищ комбат?

Услышав этот вопрос вторично, а если точнее — в третий раз, поскольку раньше Роман задавал его себе сам, Пятницкий сердито ответил:

— А шут его знает, Алеха.

Снова молчание, понятное обоим.

Люди вконец измотались от бессонных ночей и от постоянного телесного и душевного напряжения. Ждали, что после боев на реке Алле им дадут отдышаться. Не тут-то было. В Баумгартене задержались, конечно, но всего

иа сутки: чтобы личный состав помыть, одежду через вошебойку пропустить, боеприпасами пополниться. Батарея Пятницкого из артмастерскнх пушку получила вместо разбитой — чужую, раиее покалечениую, приведеииую теперь в полный порядок.

Вот с людьми — хуже. Из резерва или запасиых полков не прислали ии одиого человека. Берегут, поди, для Кеннгсберга. Из днвизноиа АИР пятерых, не пригодных для арнстократической иниструмеитальной разведкн, но, по разумеиию иачальства, способных заменнть погнбших орудийных номеров, перевелн все же в дивнзион капнтана Сальникова, но в седьмую батарею Пятинцкого ни одного ие попало.

Вот так вот перетасовалн кое-что виутри дивнзнн, произвелн перестановки — н все. Вроде сил добавилось, покрепче стали. Так-то оио так, только фронт днвизии теперь с учетом этнх снл — всего тысяча метров.

Сегодия иеожиданио сиялн с передовой, отвелн куда-то на левый фланг армни. Может, решилн все же по-настоящему укомплектовать? По госпнталям да саибатам пошарнть, а то прнзывников подбросить? Лучше бы, коиечно, нюхавшнх пороху. Да что говорнть! И от зеленых стручков иикто бы не отказался. Взять его батарею. Воевавшнх, опытных, профессиоиально подготовлеиных пушкарей, артиллеристов в полиом смысле этого слова — одии-два на орудие. В помощь к иим переведеиы буквально все. Даже старшииа Горохов. Ничего плохого о Горохове ие скажешь, но вести хозяйство батарен — одио, вести бой иомерным орудня — совсем другое. То же самое н пнсарь Курлович, н повар Бабьев, н саинниструктор Лнпатов... Но и с ннмн в расчетах только по четыре человека.

Связнсты Лнпцева — те вообще разучилнсь спать, иет подмены. С офнцерамн... Взводом управлеиня все еще сержант Кольцов комаидует. Вернувшнйся нз санбата лейтенант Рогозин, украшениый свежеподжившим шрамом иа правой щеке, третий деиь хромает. Связки, говорнт, потянул. Похоже - врет, скорее всего, осколком задело Шнмбуев вндел, как он, таясь, делал перевязку.

— Мотает бннт, морщится,— рассказывал Алеха Пятннцкому,— а сам ннтеллнгентио так по матушке, по матушке...

Понятио, почему врет. Из санбата опять в саибат? Неловко парню, поннмает· людей-то кот наплакал, вот н помалкивает о раиеини.

— Д-да, подремонтнроваться надо бы,— Шнмбуев плюиул в темиоту и убеждеиио добавил:— Только ни хрена не выйдет. Это уж точио.

...Вглядываясь в лнца офнцеров третьего дивизиоиа, подполковиик Варламов показал иа карту, раскнутую иа столе штабного автобуса.

— Ближе,— сказал он.— Достаиьте свон. Квадрат., Видите этого паука? Перекресток пятн дорог. Две дороги из сходящихся идут от противиика. По даииым авиациоииой разведки, по этим дорогам двнгается моторнзоваииый корпус, в голове которого таиковая дивизия. Зарыться и ие пропустить. Первый и второй дивнзиоиы будут здесь, левее. Им распоряжеиия даиы. Вам, Сальинков, тут. На самом перекрестке — батарею... Какую иамереиы, комдив?

Капнтаи покосился на Пятницкого. Варламов одобрил:

— Прннято! Седьмая, Пятннцкого. На том месте сейчас развернулась батарея зеннтчнков. Перестраивается для стрельбы прямой наводкой. Впереди них четыре полковых сорокапяткн. Те и другие в оперативном отношении будут подчннены Сальннкову. До рассвета корпус едва ли подойдет. За это время врыться по ушн. Остановишь, Пятницкий?

Пятнннцкий едва ие выпалил: «Умру, ио остановлю!»— и смутился оттого, что собрался сказать эту веками освящеииую клятву, которая прозвучала бы сейчас в тесиом, жарко натопленном штабиом автобусике крайне иапыщенио. Пятинцкнй замедлился с ответом, соображая, как сказать то же самое, ио другими словами.

— Чего молчншь?— подстегиул комаидир полка, н Пятиицкий ие иашел других слов.

— Умру, ио остаиовлю! — глядя в глаза Варламова, сказал он.

Судя по реакции присутствующих, они ие иашлн ответ иескромиым, для иих он был вполие уместиым. Только Варламов ие преминул виести поправку:

— Умирать, Пятинцкнй, погоднм. Мы с тобой еще в академню вместе поедем, ие боямн, парадамн командовать будем.

Горячее н благодарное тронуло душу Пятинцкого.

Комбата Пятницкого на батарее ждали. Возле машины Коломийца собрались командиры расчетов и отделений, оба офицера — лейтенант Рогозин и младший лейтенант Коркин.

Присели, прикрылись плащ-палаткой. Роман коротко изложил поставленную батарее задачу.

— Куда их черти несут, комбат?— спросил Коркин.

— В Кенигсберг, больше некуда.

Старшина Горохов преувеличенно весело выдохнул:

— Это есть наш последний и ре-ши-тель-ный бой..

Пятницкий осуждающе нахмурился:

— Ты, Тимофей Григорьевич, гимн под лазаря не перестраивай, пожалуйста.

Старшина недоумевающе пожал плечами, но проговорил виновато:

— Чего вы серчаете, товарищ комбат?

— Ладно. Сам знаешь,— ответил Пятницкий и скомандовал:— Орлы, разумные-неразумные, по местам.

Двигались в плотной темноте со скоростью улитки. Возглавлял колонну командир отделения тяги Коломиец. Он, как колясочный гоночного мотоцикла, провис из дверцы, вглядывался в осклизлую булыжную дорогу. Упаси бог съехать на поле. До рассвета пробуксуешь. Надо же, март не наступил, а тут... Скорее бы опять приморозило.

— Ползем, как в дегте,— недовольно заметил Пятницкий.

— Можно и поскорее. Только вот что, комбат,— притормаживая, сказал Коломиец,— накиньте на спину полотенце и шпарьте впереди «студера», быстрее будет.

Роман добродушно проворчал:

— У тебя, Николай, ни на грош чинопочитания, но за разумное предложение бог тебя, возможно, простит Давай свое полотенце.

Пятницкий выбрался из машины, пошел впереди. С полотенцем на плечах в шаг с ним разбрызгивал грязь Шимбуев. Колонна сразу прибавила скорость. Кургузый Алеха, поспевая за комбатом, пыхтел, скользил подошвами, рвал их из черноземной каши и вполголоса отводил душу.

— Стой! — неожиданно раздался властный женский голос.— Стой!

— Стою, хоть дой,— показал Шимбуев свое скверное настроение, но на всякий случай шаги стал делать помельче

Понятно стало — вышли к позициям зенитных батарей Значит, где-то рядом место огневых Пятницкого.

Через канаву перемахнуло несколько фигур с автоматами на изготовку. Разобрались, что за колонна, куда направляется. Цыганистого вида дивчина с сержантскими нашивками на погонах откровеннейшим образом полюбовалась Романом, потом уж повернулась к Шимбуеву Уставившись на нее, тот стоял с распахнутым ртом. Зенитчица сдвинула на глаза Алехе шапку и насмешливо спросила:

— Кого доить-то, мышонок?— и тут же подлудила голос:— Будешь ходить полоротым — немец подоит твою кровушку. А ну, захлопнись!

Довольный остановкой и восхищенный девицей, Шимбуев даже не рассердился, буркнул только:

— Экая тетенька,— и, обращаясь к Пятницкому, высказал свою догадку: — Жарко будет. Если уж бабенок против танков...

Пушки отцепили на положенном расстоянии друг от друга, быстро разобрали лопаты. Рогозин с Коркиным расставили буссоль, определили места для орудийных окопов.

Началась опостылевшая, но всегда нужная и без понуканий выполняемая работа. Копали, прислушивались, вглядывались в темноту — туда, где рогулькой пропадали дороги, снова брались за лопаты. Пятницкий проверил наличие подкалиберных и бронебойных снарядов, распорядился доставить еще двадцать ящиков.

Ожидание боя взвинчивало. Пока окапывались, этого не замечалось, но когда, гася звезды, стало бледнеть небо, на позиции легла гнетущая тишина. Роман не мог сидеть на месте. Он по десятку раз осмотрел каждую пушку, побывал у соседей-зенитчиц, на огневых сорокапяток, но обрести спокойствия не мог. Скорее бы, скорее. Лучше бой, чем эта парализующая немота сереющей ночи, это нервное ожидание...

Стоит присесть, задуматься — в голову лезет всякое Черт бы побрал дядьку Тимофея! «Это есть наш последний...» Как испорченная пластинка зудит под черепом

Роман идет к третьему орудию. Им командует артмастер Васин вместо Семиглазова... Жив ли Семиглазов? Должен выжить. Липатов говорит, если навылет, то ничего, починят...

Шимбуев — тенью рядом. На огневой позиции расчета Васина раздраженная перебранка.

— Зубов много?— яростно спрашнвает Васни – Убавлю. Рой, кулема, рой глубже.

Перед Васииым стонт худой, нескладиый, со впавшими щеками н всегда плохо пробритый писарь Курлович, отланвается.

— В чем дело? Чего сцепнлнсь, неразумиые?— остаиовил их Пятиицкий, поиимая прнчину раздражеииости.

— Не могу, товарищ комбат, ладони в кровь стер, выдохся,— прнзиался жалкнй в этот миг Курлович. Еле зрячнй глаз его слезнлся.

— Хлюпнк! Интеллигеитская тряпка!— продолжал разоряться младшнй сержант Васнн.— Первым же осколком выковырнет тебя нз этой г...ной ямки. Дай лопату, сам копать буду!— не обращая внимання на Пятинцкого, продолжал крнчать Васни.

Курловнч ослушно тяиул лопату к себе. И вырвал бы нз цепкнх лап Васииа, да вдруг застыл растерянио, выпустнл черенок.

— Слышнте?— проснпел ои.

Явственно доноснлся гул мотора. Танки? Уже? Теперь вступал в силу закои протеста. Не сейчас, потом, позже! Но когда потом? Когда позже? Пусть сейчас, немедленно! Пусть ндут, пусть включают самую скорую скорость этн чертовы таикн! Пусть внхрем ворвутся в эту ватиую, наэлектрнзованиую тншииу, воспламенят, взорвут ее, тогда... Тогда все будет иначе. Тогда ожнвет в человеке все, что в ием есть, что заложеио про запас, на будущее.

— Слышнте?— проснпел Курловнч.

Васнн слышал н уже разобрался в доиоснвшемся гуле. Смешлнво поморщнл нос, сказал прнмнрнтельио:

— Чего пснхуешь, Юрнй Нколаевнч? Это «студер» наш. Колька Коломиец, раздолбай коломеискнй, снаряды прет.

Курловнч со свнстом втянул воздух, затрясся в кашле впалой грудью и с жеиской неловкостью воизнл лопату в освобожденную от дерна и теперь податлнвую землю.

В редкнх окопчиках переклнкаются пехотннцы н копают, копают, лезут поглубже в землю. Танков нет. Но онн будут, скоро будут.

Прихрамывая, к Пятннцкому подошел Андрей Рогознн. Свежнй шрам безобразнл его чистое ннтеллигентиое лнцо. В зубах — ие зиающая огия трубка. Горбоиосый, глаза ввалилнсь. Спросил:

— Роман, из штаба есть что-нибудь?

Пятницкий сообщил, что знал:

— Ждите, говорят, танки прошли Грюнхоф.

Рогозин посмотрел на небо, шрам дернулся.

— Значит, скоро. К рассвету, заключил он

Дегтярная темень жижела, в зените просматривались рваные, быстро текучие облака. Рогозин похлюпал трубкой.

— Роман, ты помнишь «Сомнение» Глинки? Попытался вспомнить сейчас... Не смог. Страх напал, что ли?

— А ты что, из другого теста?— спросил Пятницкий с улыбкой и покривился, чувствуя боль пересохших губ

— Из того же, но смерти не боюсь,— мрачно сказал Андрей и так же мрачно пропел: «С ней не раз мы встречались в степи...» Это помню, а «Сомнение» нет. Гляди вон, у первого орудия по тебе кто-то соскучился, шапкой машет.

Махал Женя Савушкин. Пятницкий спрыгнул к нему в ровик.

— Как дела, композитор?— с ободряющим смешком спросил в трубке голос командира дивизиона.

Что ему этот «композитор» втемяшился? Или фамилия что навеяла? Тогда, во-первых, знаменитый однофамилец не был композитором, он собирал народные песни. Во-вторых... Что за дурацкая манера у армейских патриархов прозвища лепить подчиненным! Но Пятницкий не сказал об этом, ответил:

— Готовы, встретим, товарищ семнадцатый. Настроение? А что оно... Ждем.

Отдал трубку, взобрался на бруствер, сел, свесив ноги в окоп. Ждем. Чего ждем? Победы? Будет победа, никуда от нас не денется. Снова будем ходить по тополиным улицам Свердловска, удить рыбу на Шарташе, прошвыриваться с девчонками у почтамта... Нет, прошвыриваться не придется. Он поедет за Настенькой, привезет ее к маме... А если ничего этого не будет? Ворвутся, сомнут — и одна мертвая кровь на земле... Разве мало ее было?

Ну-ну, возьми себя в руки, хлюпик.

Кого это назвали хлюпиком? А-а, Курловича. Трусит? Может быть. А другие? Как они? Страшно всем. Страшно сейчас, потом страха не будет, будет только ожесточение, лихорадочная работа мозга и мышц. У Андрея

Рогозина голова всегда остается светлой. Он станет ходить под разрывами, спокойно отдавать команды и посасывать бестабачную трубку. Позер немножко Андрюша Рогозин, но не трус, н-не-ет, не трус... Горькавенко только на вид вялый. В нем затаенная взрывная энергия. Бой он проведет бурно, но без раздражающей суеты.

Не будет суетиться и Васин, артмастер, а теперь командир орудия, только крепче станет крестить святых угодников... Младший лейтенант Коркин? Витька? Он бледнеет, в бою у него трясутся губы, трясутся до того момента, пока, забыв об обязанностях взводного, не оттолкнет наводчика и сам не встанет к панораме. Прямые выстрелы у него точнехоньки...

— Комбат, гудит что-то.

Это присел к нему сержант Горькавенко. Он еще прежний Горькавенко — увалистый, будто переел сытной пищи. Руки в мазуте, он вытирает их грязной ветошью.

— Откатник подтекал, подтянули с Васиным,— поясняет Горькавенко.— Слышите? Гудит...

Пятницкий уловил принесенный движением воздуха отдаленный гул, схожий теперь с шумом затерявшейся в чащобе порожистой речки. Он подобрал ноги, резко поднялся. Слева, где сорокапятки, громко, на все поле, крикнули:

— К бо-о-ю!

И снова тишина. Плотная, давящая на мозг тишина. И внезапно в этой напряженной тишине мирный, будто на колхозном дворе, причмокивающий голос:

— Н-но, милая!

И скрип, обыкновенный тележный скрип.

Горькавенко, смешливо подергивая ноздрями, принюхался.

— Огненко. Кашу везет.

Огненко, пятидесятилетний ездовой, оставался в тылу и за писаря, и за старшину, и за повара. Работящий, исполнительный мужик спокойно, с хозяйской рачительностью делал все, что на него сваливалось.

Термоса быстро растащили. Огненко в старенькой, с подпалинами и сборками на животе шинели подошел к Пятницкому.

— Я остаюсь, комбат,— сказал он, для чего-то перекладывая гранату-лимонку из левого кармана в правый.

Он не спрашивал, он ставил в известность. Он сказал это так, что невозможно было возразить, приказать что-то

вопреки сказанному этим далеко не молодым человеком

— Ладно, Иван Калистратович, идите к Васину,— недовольно сказал Пятницкий.— С повозкой пусть Курлович отправит.

Через минуту, как ушел Огненко, прибежал писарь Курлович. Растерянный, возмущенный, взъерошенный и ужасно официальный.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Вы не смеете! Это, это...

— А чтоб вас — Пятницкий неожиданно для себя сказал нехорошее слово, хотя сказать хотелось — и надо было сказать — самые хорошие, какие только есть на свете слова.

Повозку отправили с раненым пехотинцем

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Только заглох стукоток повозки по булыжникам, с тылу затарахтел мотоцикл. Прикатил начальник разведки дивизиона старший лейтенант Греков. Бодрый, сияет. Выпил, что ли? В дивизионе ни у кого нет мотоцикла, у него есть. Трофейный. Однажды даже «оппелем» обзавелся. Вытряхнули Грекова, «оппель» отдали в автобат.

— Как дела, седьмая? — неуместно для этой обстановки Греков большеротo улыбался

— Как сажа бела,— хмуро отозвался подошедший сержант Кольцов.

— Во, выскочил. Не тебя спрашивают, отделенный,— махнул на него Греков кожаной рукавицей.

Роман поздоровался за руку, доложил, что все, что требовалось, сделали, теперь дело за немцами.

— Где они? — спросил Грекова.— Минут десять, как слышу.

— Соскучился? Близко. Ты, это, за фланги не беспокойся. Слева двадцатая пушек наставила — плюнуть некуда, а справа наша гаубичная и пушки первого дивизиона. Я туда сейчас.

Греков не слезал с мотоцикла, только ногу на землю поставил. Теперь нацелился педаль давнуть, поднял колено, но спохватился.

— Да, чуть не забыл. Замполит полка нашему парторгу разгон давал. Маринует заявления в партию. О тебе говорили.

От этих слов Роману горячо стало.

— Черкани быстренько, я подожду. Парторг просил

Роман помолчал немного и медленно сказал:

— Н-не сейчас. Потом...

— Что так?

— Что я с бухты-барахты.

— Малоподкованный, что ли? — засмеялся Греков.— Или рекомендации дать некому?

— Рекомендации будут, старший лейтенант! — озлился на веселость Грекова парторг батареи сержант Кольцов.

— Вот, одну Кольцов дает. Дал бы и я, да не примут комсомольскую,— колыхнулось в смехе рябоватое лицо Грекова.

— Будет и другая. Немец... даст.

Кольцов сказал это таким тоном, что Греков поначалу растерялся, а когда дошло, выпалил:

— Во, это рекомендация! Глядишь, опять в газете напишут.

Теперь и Роман рассердился:

— Катись-ка ты отсюда, Греков.

— Нет, серьезно, что я парторгу скажу?

— Да пойми ты, некогда! — вконец разозлился Пятницкий.— Ты и так у меня уйму времени отнял.

— Во, бешеный! — потаращился Греков и, едва не вздыбив своего коня, умчался.

Роман стоял недвижно, слушал удаляющийся шум Но шум не затухал, даже становился громче. Обратно, что ли, повернул, неразумный?

Да нет, не мотоцикл это, и не шум уже, а гул. Теперь не рокочущий, а похожий на весенние громовые раскаты — то затухающий, то усиливающийся при напоре ветра. Он близился, становился различимым по звуковым оттенкам моторов, гусениц. Роман беспокойно насторожился. Возбужденно исказились мышцы лица. Вдохнул глубже, крикнул протяжно и властно:

— К бо-о-о-о-ю-ю!

Замелькало, задвигалось около орудий.

Танки не видны. Они там, в низине.

Заглатывая снаряды, лязгнули затворами пушки. Люди перестали мельтешить, замерли у заряженных орудий, ждут накаленно. Наводчики стоят в полный рост, смотрят поверх щитов.

Пятницкий перебежал к орудию Васина. Никто на

его появление не обернулся. Слушают, ждут. Здесь же старшина Горохов — заряжающим. Санинструктор Липатов, ездовой Огиенко, писарь Курлович, повар Бабьев — тоже в расчете Васина. Все хозотделение под себя собрал.

Глаза у Горохова сужены, злые, мешковатое брюшко подтянуто. У ящиков с подкалиберными возится Липатов, передвигает их, устраивает поудобнее. На плащпалатке лежит расстегнутая сумка с красным крестом. Смертной тоской повеяло от загодя раскрытой санитарной сумки. Почти слепой на один глаз, писарь Курлович сидит тут же. По-птичьи скосив голову, он прогирает остроконечные, в талии перетянутые снаряды. Весу-то в снарядишке три килограмма с граммами, а на дальность прямого выстрела лучше не подходи, шестьдесят миллиметров брони — как в масло.

Блестит снаряд, блестит гильза, а Курлович, прихваченный ожиданием того, что должно вот-вот произойти, все трет и трет.

Огиенко с крестьянской основательностью сморкается, аккуратно складывает платок. Васин вытянул худую, как у гусенка, шею, прищуренно вглядывается вдаль, шепчет привычные матюки.

Надо что-то сказать солдатам, но что? Чем встряхнуть? Пятницкий посмотрел на Курловича и тихо бросил ему:

— До дыр не протри, неразумный, порох из гильзы высыплется.

Курлович, сглотнув спазму, заморозил болезненную улыбку.

Огиенко снова достал платок. Васин, перестав смотреть туда, куда стволом указывает пушка, поморщился на него и посоветовал·

— Помалу сморкайся, надольше хватит.

Пятницкий бросил взгляд на соседнее орудие. Там на трубчатой станине сидит Горькавенко, придирчиво осматривает каждую деталь прицела и дурашливо тянет:

— Милый дедушка Константин Макарович, забери ты меня отседа... Буду табак тебе тереть...

Не перегрелись бы нутром, не истлели раньше времени.

Ожидание боя сминает прямо физически, люди безотчетно ищут выхода из этого состояния. Курцы потя-

нулись за кисетами, запалили самокрутки. Ладно, что уж тут...

Ждали, контролировали каждый миг, который послужит началом, разорвет нервное состояние, и все же начало было внезапным. Расколов тишину, ударив в уши, слева донеслись учащенные выстрелы десятков стволов — это с металлическим тембром заговорили «зисы» соседней дивизии. В их скорую, непереставаемую пальбу вмешались такие же частые выстрелы сорокапяток. Сухо и зловеще прозвучали ответные выстрелы вражеских танков. Пятницкий различил среди них редкие, с подземной приглушенностью выстрелы из стволов калибром восемьдесят восемь. Сомнений не оставалось — немецкий танковый корпус был оснащен и «тиграми».

Нет, не перегрелись, не истлели нутром пушкари Пятницкого. Побросали цигарки и враз оказались в той позе готовности, в которую поставила начальная команда «К бою!». Так и стояли в напряженной бездвижности, пока слева, за возвышенностью, не увидели маслянистые, с коричневыми прожилками дымы, сносимые в их сторону. Васин не удержался:

— Горят, недоноски! Отломилось!

Пушкари оживились, стали веселее поглядывать друг на друга. На лице Курловича с обнаженной четкостью высвечивалось: «Может, мимо пронесет?»

В окопчике Савушкина опять зазуммерило. Женя, уже осведомленный в чем-то, что порадовало, но и в сомнении — не рано ли радоваться? — робко улыбнулся, протянул Пятницкому трубку и, сказав: «Капитан Сальников», стал выжидающе прислушиваться.

— Композитор, жив? — спросил Сальников.— Танки вышли на участок двадцатой. Не снижай готовности, жди своих.

Так и есть — рано и нечему радоваться.

Прошел час, другой. Не было «своих», не слал их немец для батареи Пятницкого, и Пятницкий через каждые четверть часа докладывал на КП дивизиона:

— Бой слева, у нас пока тихо.

Внутреннее неспокойствие оставалось. Хотелось уйти от него, отвлечься другой мыслью, но мысль пришла не сторонняя — выпнулся разговор с Грековым. Как он сказал? «Опять в газете напишут». Подтрунивал, что ли? Не похоже. Завидовал, скорее всего. Напишут... Написал ведь тот, который на Алле у Коркина допытывал-

ся, чего и сколько батареей уничтожено. Откуда только выудил такое. Два «фердинанда», шесть пулеметов, до роты противника... Черт с ним, с этим, из документов, из сводки, может, какой позаимствовал, но зачем выдумывать: «Отважный артиллерийский разведчик, когда немцы вплотную приблизились к его наблюдательному пункту, из личного оружия застрелил семерых гитлеровцев...» Ишь как! Даже наизусть запомнилось... Из личного.. Из ТТ, что ли? Но ведь с пистолетом Степан Данилович на линию ушел. Если из автомата, то одного, это точно. Почему семерых-то? Гранатой? Кто видел - сколько? Может, ни одного... Напишут... Что на этот раз напишут? Стояли насмерть? Геройски погибли?

Смрад горелой солярки, перекаленного железа и тротиловой копоти, накатившийся на батарею Пятницкого, развеивался. Бой, по звукам, уходил в сторону — туда, откуда пришли танки, стал приглушенней. А вскоре повеселевший голос Сальникова известил:

— Пятницкий, давай отбой. И не обижайся за композитора.

Тут-то, когда надо было извлекать из утроб орудий так и не использованные снаряды, укладывать их в ящики, чехлить пушки, вызывать из укрытий машины, загружать их, заботиться, чтобы славяне не забыли ни одной лопаты, не затеряли мешающие в бою противогазы,— вот тут-то Пятницкий увидел, до какой степени истомлены его люди, не сделавшие ни одного выстрела, насколько измучены его орлы-пушкари. Физически исчерпанные, они сидели на станинах, снарядных ящиках, просто на земле и бездумно наслаждались гудящей в теле усталостью.

Только лейтенант Рогозин был неестественно оживлен. Он присел на корточки возле провалившегося в забытье Пятницкого, тихонько толкнул его в плечо и, вынув изо рта трубку, сказал ссохшимся голосом:

— Роман, я вспомнил «Сомнение». Послушай.

Взбодрив кашлем дыхание, Рогозин стал насвистывать ошеломляюще неуместную сейчас, берущую за душу мелодию.

Роман послушал и сказал, тоже некстати, об ожившем в подсознании:

— Парторг дивизиона говорит, чтобы заявление в партию...

Рогозин без труда разобрался в состоянии комбата

и отреагировал так, будто разговор у мотоцикла происходил с ним, а не с Грековым:

— Давно пора. Считай, что моя рекомендация у тебя в кармане.

Пятницкий измученно улыбнулся:

— Спасибо. Вот уже две. Одну Кольцов обещал. А сколько надо? Две или три? Кто может дать третью? Вспомнил командира полка и убежденно решил: «Он, Григорий Петрович, даст». Сказать Андрею? Роман помял ладонью лицо, сказал устало:

— Поспать бы, Андрюха, а?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

По нашим понятиям, Розиттен — самый настоящий хутор: домишко на три комнаты да несколько хозяйственных построек, но на «пятидесятитысячной» под условным знаком стояли мелконькие буквы «г. дв.», что означало — господский двор. Младший сержант Васин разъяснял эти сокращения по-своему. Но дерьмовым Розиттен с его кирпичными постройками и ухоженным садом ни с какой точки зрения не назовешь, тем более с военной — с полуночи за него бились. Немцы оставили Розиттен только на рассвете, когда соседний полк взял такой же господский двор Вальдкайм и навис над левым флангом частей, оборонявших Розиттен.

Ушли немцы поспешно, даже походную кухню бросили — на потеху одному дураку в обмотках. Сунул болван противотанковую гранату под крышку котла и заорал блажным голосом:

— В укрытие! Сейчас рванет!

Рванула вначале военная братия: кто за сарай, кто среди сучьев, срезанных осколками, растянулся — не хватало еще от забавы недоумка погибнуть. Кухню разднуло бутоном, окутанные паром и дымом макароны повисли на кустах и деревьях. Так смешно, так смешно — живот надорвешь. Только смеяться никому не хотелось — взялись шутника разыскивать. Отыскали, потолковали маленько. Теперь, когда целиться будет, прищуриваться не надо.

Пятницкий пришел в Розиттен чуть позже этого спектакля. Поспешил к сараю, заранее присмотренному

для наблюдательного пункта. Скорей бы на крышу взобраться. Знал, сейчас пехоту вперед выпихивать будут, успех развивать. А как его разовьешь, если впереди два километра поля без единого кустика, а за ним новый «г. дв.» под названием Бомбен! Без артиллерии, как ни выпихивай, далеко не выпихнешь, на первой же меже залягут. Пристрелку быстрей надо.

На покалеченную, расшатанную взрывами крышу взобраться не удалось. Устроился на остатках сеновала. Разведчик Липцев с Женей Савушкиным быстро подтянули кабель с огневой, обеспечили связью.

Вытаскивать батарею в Розиттен не имело смысла. Для прямого выстрела Бомбен недосягаем, а раз так — лучше с закрытой. Пятницкий указал огневикам место посреди поля зеленеющей озими — метрах в пятистах от хутора. Не ахти как хорошо на открытом всем ветрам поле, но иного выхода не было. Зато вот она, батарея, с НП — как на ладони, а для немцев... Хоть и ободрало деревья минувшим боем, но не настолько, чтобы с той высоты, на которой вальяжно расположился Бомбен, разглядеть его батарею.

Неподалеку от огневой Пятницкого, где установкой пушек распоряжался Коркин, стала окапываться полковая батарея пятидесятисемимиллиметровых орудий. Большеголовый старший лейтенант в длинной шинели и со шпорами на брезентовых сапогах, отправив упряжки в укрытие, тоже прибежал в Розиттен. Досадливо посмотрел на Пятницкого: видимо, как и Роман, планировал для НП этот же сарай. Можно было бы и рядом с Пятницким, но и рядом проворонил — опередил командир минометчиков. Вот он — подгреб уцелевшее сенцо под себя, щурится, пригретый солнышком.

Пехоту и впрямь пихать стали, подстегивать по телефону. Пятницкий мельком видел Игната Пахомова, еще каких-то пехотных офицеров, тоже, как и большеголовый, бегают, суетятся. Ну, суетятся, это непосвященному кажется.. Делают каждый свое, и то, что надо, быстро делают, поэтому в общей массе и похоже на суету.

С подготовкой исходных данных Пятницкий управился скоро, хотел было за пристрелку браться, команду на огонь подавать. Оглянулся еще раз на хорошо видную батарею — вот она, аж душа радуется, но представил зрительно траекторию, и душе этой не до радости стало — мурашки по коже. Розиттен в створе огневой

позиции и занятом иемцами Бомбеиа, по которому собрался стрелять, а деревья в Розиттене метров на пятиадцать вымахали! Как можио забыть про гребень укрытия! При этом прицеле...

Пятницкий торопливо, волнуясь, произвел расчеты и, глядя в сторону огневой, выискивая глазами Коркииа, сердито покачал головой. Н-иу, Коркин, и-иу, Витя... Бить тебя некому, и мие иекогда. При этом прицеле — прямо по кроиам. Первым же снарядом славяи, что за стеиками сараев передышку устроили, перекалечишь. Придется орудия метров иа триста назад откатить. Вот уж поматерятся огиевики от новой, некстати свалившейся работы! «Студебеккеры» в рощу отогнали, пока вызовешь. Не-ет, никаких машин: иа руках, только на руках, и как можно поспешиее. И снаряды на руках, хоть иесколько ящиков, потом Огиеико на подводе перевезет. Крутиулся к связисту:

— Савушкин! Женька, трубку!

Схватил трубку, вызвал Коркииа.

— Коркии, иазад батарею! Слышишь? На триста метров. Гребень укрытия ие позволяет. Торопись, Витя, потом ругаться будешь..

И без того ие сладко иа батарее, вставшей среди паханиого и засеяниого с осеии поля, а тут. Что-то опять иачал Коркин. Пятницкий взбесился прежде всего на себя: взводного, как девицу, уговаривает.

— Товарищ младший лейтенаит, выполияйте приказ! Через десять минут доложить о готовиости к открытию огия! Все!

Побурев, бросил трубку Савушкиу. «Надо же, какой комбат стал»,— испугаиио подумал Жеия. А Пятницкий все кипел: Коркии старший на огневой, он должен иаимеиьший прицел рассчитать и доложить комаидиру батареи. Раззява... Да и сам хорош, иапомнил бы. Что касается срока — десять минут... Ничего, бойчее шевелиться будут.

Коркин сознавал свою вину, зашевелился. Шугаиул расчеты к орудиям. Кииулись, покатили. Вязкая земля, не вышедшая в трубку озимь наматываются на колеса, утяжеляют орудия, но ребята катят, тужатся, из сил выбиваются, ио катят. Глядя на эту картину, Пятницкий распорядился передать иа «Припять», чтобы от иитки не отцеплялись, держали связь иа ходу. Но и этого мало Взял у Савушкина трубку.

Коркин, позади вас небольшой участок кустарника, вербы, кажись, это место для первого орудия. Бегом с буссолью туда. Данные от этих кустов пересчитаю. Понял? Действуй!

Ошибку с выбором огневой Пятницкий заметил вовремя, предотвратил беду, ио во что может вылиться смена позиции — и в ум не пришло. Рокировка орудий привлекла внимание какого-то пехотинца, и он понял маневр по-своему. Заорал:

— Пушкари драпают!

Да так заорал, будто ему в копчик иеношеным сапогом пнули. Уж не тот ли, которому глаз заузили? По второму бы ему сейчас, чтобы помеиьше видел.

Немцы, можно подумать, услышали взбалмошный крик, подогрели его — ударили по Розиттену из «скрипачей». Затрещали деревья, в щепки разиесло парокоиную двуколку, лошади запутались в упряжке и, волоча за собой дышло, с ошалелым ржаиием понеслись в дыму через развалины скотиого сарая.

К наблюдательному Пятиицкого подбежал офицер в развевающейся плащ-палатке, выхватил пистолет, заорал что-то непонятное, плохо слышное на сеновале. Неужели и он подумал, что пушкари драпают? Кипит, аж пар идет.

Пятницкий спрыгнул с возвышения и увидел возле своего иоса ствол пистолета, услышал захлебистые матюки:

— Сейчас же верни батарею! В пехотиую цепь орудия! В цепь! Немедлеино!

Такому и не объяснить сразу, такого еще успокоить надо. А успокоить — только глотка на глотку, такого психа только глоткой возьмешь.

— Замолчать!!! — взревел Пятницкий, заранее иастроившийся на этот крик. Так взревел, что в кашле зашелся.

Плащ-палатка сползла с плеча офицера, обиажила мятый-перемятый капитанский погон. Пятиицкий было оробел, смутился своего иахальства, но преодолел себя, снова повысил сорваиный, осипший голос:

— Не паникуйте, капитан! И не суйтесь не в свое дело!

Теперь впору капитану оробеть, каблуки соедиинть, подпрямиться в своем невеликом росте. И он впрямь шевельнулся, сделал попытку к этому. От властного крика

могли же звездочки Пятницкого до подполковничьих увеличиться. Нет, не спутал лейтенанта с подполковником. Спятился шага на три, выдавил растерянно и злобно:

— Я т-тебе покажу, я те ..

И просвет один видел, и звездочки невеликие, коли такое выдавил. Просто сказалась военная косточка. Похоже, не ох как любил капитан выслушивать обалдевшее начальство. Что из того, что лейтенант. Если из корпуса или, не дай бог, из армии, то и лейтенант похлеще иного полковника бывает.

Капитан поспешил к полковым артиллеристам. На шум прибежал майор Мурашов. Измененного в лице Пятницкого узнал не сразу, а когда узнал, спокойно спросил:

— Что произошло, лейтенант?

Пятницкий задрал голову на верхушки деревьев:

— Гребень укрытия для моих «зисов» велик, а с их зарядом,— указал на полковую батарею,— саданут и всех тут покалечат. Надо менять позицию.

— Клюкин! — повернулся майор к вестовому.— Пулей туда, чтобы...

Клюкин не пуля и не снаряд. На поле за Розиттеном, там, где утвердилась батарея пятидесятисемимиллиметровых орудий, ахнуло, а через секунду — промежуток, нужный снаряду, чтобы пролететь шестьсот метров,— ахнуло прямо над головами солдат, в ветвях древнего дуба. Посыпались сучья, черепки кровли. Солдат, возвращавший битюгов, всполошенных обстрелом «скрипачей», бросил поводья, приседая, схватился за враз окровеневшую голову. Мурашов чертыхнулся сквозь зубы, крупно пошагал за развалины.

Проклиная неловкие в беге и жаркие для весеннего дня ватные брюки, Пятницкий догнал Мурашова. Большеголовый старший лейтенант и капитан, под напором которого этот старший лейтенант успел выпустить пристрелочный снаряд, перестали размахивать руками, замолчали. Щуплый капитан подал Мурашову руку, а владелец длинной шинели и брезентовых сапог со шпорами настороженно уставился на свое непосредственное начальство. Мурашов хмуро посмотрел на старшего лейтенанта, бросил язвительно:

— Отличился? Отправляйся менять позицию.— Повернулся к капитану: — А ты почему здесь, Заворотнев?

Роман остановился в двух шагах, посмотрел на умаянного, растерянного капитана Заворотнева и подумал: «Полезет — вон в те кусты запросто кину». Но заляпанный грязью малорослый капитан не намерен был продолжать ссору с Пятницким. Только качнул головой с укором, усмехнулся, показывая вставной, самоварного блеска зуб. Где-то видел Роман этот зуб.

Мурашов сказал Пятницкому:

— Знакомься, артиллерист,— зам по строевой из третьего. Заворотнев. Их батальону вон там надо быть, а он тут околачивается, моей артиллерией командует.

Теперь Роман вспомнил, где видел золотой зуб — под Фридландом, роту этого капитана поддерживал. Тогда Заворотнев ротой командовал. Не встречались больше.

Зам по строевой из третьего пропустил замечание насчет того, где ему быть положено, сверкнул примирительно зубом.

— Ну, лейтенант, ты даешь! Не мог по-человечески-то?

— Вам надо было по-человечески. Один обормот завопил — и вы туда же.

Капитан перестал улыбаться, повернулся к Мурашову.

— Недолго припадочным сделаться. Нет хуже славянам остаться без артиллерии, а пушкари, изволь радоваться, сразу четыре пушки назад поперли. Хоть бы растолковал, а то как с цепи сорвался.

— Ты-то почему здесь, Заворотнев? — повторил свой вопрос Мурашов, не получивший ответа в первый раз Может, и не нужен был ответ, спросил, чтобы сказать следом: — Не трать время, пужни свою братву в окопы, мои уже за селом. Иначе немец скоро всех тут перемолотит.

Это верно, надо и Пятницкому от сеновала подаваться. Натура у человека такая — к хатам прижиматься Где-то этого не оспоришь, а здесь, на переднем крае, надо ломать натуру, иначе немец такого наломает.. Подождет, пока иваны поднапрутся, помедлит, чтобы немного разгулялись, осторожность свою, внимание утратили, остерегаться перестали - и врежет всем, что имеет в наличии. Напрасно, что ли, мины кидал, из шестиствольных пристрелочный залп сделал.

В стороне, где медсестра бинтовала только что раненного, собралась группа солдат Костерят артиллери-

стов, но беззлобно, по въевшейся пехотной привычке и больше для красноречия, чтобы обратить на себя внимание сестрицы. А ей не до их зубоскальства. Немолодой солдат, но и не старый еще, страдальчески скукожился, допытывается — шибко ли задело. Сестра успокаивает:

— Не волнуйся. Кожу да клок волос. Просто ударило больно.

Раненый огорченно помотал головой, у сестры даже бинт из рук выпал

— Ай-я-яй...

Не волновался солдат, что тяжело ранен, надеялся, что тяжело. Потому ответ не утешил, огорчил его.

Боец в расстегнутой шинели, с автоматом, перекинутым через плечо дулом вниз, ехидно скривил губы.

— Тебя, Боровков, весна отравила. В госпиталь тебе захотелось, на простыню стирану, чтобы утку и сестру на минутку. Ничего у тебя не получится. В санбате еще разок помажут йодом и назад в роту пошлют.

— Конешно, назад завернут,— поддержал тонконогий солдат в обмотках и продолжил мечтательно: — А хорошо бы в госпиталь... Весной-то щепка на щепку плывет, а мы люди все же, живые покуда...

Пятницкий вгляделся в Боровкова. Щеки всосаны, нос острый, над правой бровью вмятина от прежнего ранения, из-под бинта седые пряди торчат, слиплись от крови.

— Чего мелют, чего мелют,— обиженно бормотал Боровков. Увидел майора Мурашова, к нему обратился: — Скажите, товарищ майор, разве я что плохое задумал? Ведь одиннадцать ран на теле моем. Сколько можно... Примериваются, примериваются — да и убьют когда... Если сильно пораненный, можно и полечиться. Кто запретил лечиться? А они — про весну, про щепки... И никуда я не пойду, шибко нужен мне этот медсанбат. Перевяжет сестричка — спасибо ей,— и довоюю перевязанный.

Пятницкий подумал: «Доведись до меня — отпустил бы Боровкова совсем с фронта. Хватит с него. Вон, уже от своих попало...»

Вздохнул горько, с болью сердечной: «Неразумный ты, комбат Пятницкий. Если всех таких отпускать...»

Козырнул Мурашову, побежал по своим делам, своими заботами заниматься.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Умеют немцы отступать, умеют, сволочи. Бросили Розиттен — и до Бомбена. Нате вам два километра голого поля, а мы за кирпичными стенами заляжем, бойницы в них понаделаем, окопы до полного профиля доведем — те самые, что загодя нарыты. Идите, суньтесь.

Первая атака захлебнулась в километре от Бомбена. Пехота расползлась, укрылась в межах, воронках, ямках всяких, лопатами да касками перед собой бугорки наскребли.

Командир роты Пахомов и поддерживающий второй батальон лейтенант Пятницкий устроились за буртом бурака. Игнат выковырнул из-под опревшей соломы корнеплодину с полпуда весом, очистил кинжалом и спросил Пятницкого:

— Роман, хочешь немецкую фрукту-брюкву?

Смореный Пятницкий, привалившись к бурту, перематывал портянку. Отозвался:

— Давай.

Как ни старался Игнат сделать дольки чистыми, все же не смог: руки не оттерлись ни шинелью, ни соломой и оставляли на свежих срезах брюквы грязные следы. Наткнув порцию на кинжал, протянул товарищу и посоветовал:

— Ромка, ты поплюй да об рубаху нижнюю.

— Ничего, так сойдет,— вяло улыбнулся Роман и пытливо поглядел на Алеху Шимбуева.

Шимбуев и Женя Савушкин ковыряли землю малыми саперными и выдолбили окопчик чуть выше колеи. Употевшие под пригревающим солнцем, они были без шинелей. Шимбуев заметил взгляд комбата, вытер мокрый лоб и принялся отстегивать фляжку.

— Тут много. Товарищу командиру роты тоже хватит.

Игнат покосился на своих присных, одному сказал с намеком:

— Учись, Вогулкин.

Автоматчик, он же связист, связной, ординарец и еще черт знает кто по совместительству,— Вогулкин этот хмыкнул:

— Где уж нам уж выйти замуж..

— Вот и ходи холостой,— простецки зацепил его Пахомов,— а я выпью.

Выпили понемногу, соблюдали дозу, но так, чтобы спиртная веревочка другим концом до брюха достала, а не только во рту помочила. Погрызли сочный бурачок — закусили. Роман глянул под рукав, сказал больше для себя:

– Скоро начало.

Игнат расставил сапожища пошире, налег грудью на бурт, прицелился в Бомбен биноклем Сказал, не оборачиваясь:

— Слышь, Ромка, а ведь они, по правде говоря, не пустят нас туда.

— Попроси получше, может, и пустят.

Пахомов бросил бинокль на грудь, крутанулся к Роману, показал злое, в мышечных буграх лицо. Попадись в такой момент мастодонту — надвое переломит.

- Ничего, Ромка, не такое брали и это возьмем Кровью блевать будут!

Эти слова холодком скользнули по хребту Жени Савушкина, копать перестал. Покосился на Пахомова, скашлянул, опять за лопатку взялся. Ковырнул несколько раз, потом уж, вспоминая сказанное Пахомовым, весело оскалил зубы. В этой веселости и увидел ползущего сбочь заросшей бурьяном межи солдата. Шлепнул Шимбуева лопаткой по заду.

— Алешка, глянь, ишак на коленках идет.

Шимбуев бросил лопатку и в два прыжка оказался возле ползущего, сдернул с него тяжелый мешок, помог подтянуть до бурта. Пахомов строго спросил подносчика патронов:

— Почему так поздно?

Солдат тяжело дышал.

— Я бы раньше... Расфасовать вот...

— Рас-фа-со-вать! За прилавком работал? — повеселели глаза у Игната.

— Н-не. Я грузчиком в аптеке, в складе,— уточнил подносчик.

— Поскольку же расфасовал?

— По четыре пригоршни. Штук по сто будет. Мы со старшиной какие-то тряпицы фрицевские изрезали, узелков наделали,– обстоятельно докладывал солдат, развязывая мешок и показывая как образец аккуратный, с заячьими ушками узелок из плотной материи.— Ялдаш да Ванька Ившин в третий и второй взвод потащили, а я к вам, отсюда к первому поползу.

— Никуда ты не поползешь, без того язык вывалился. Смотреть на тебя, по правде,— только настроение портить.— Игнат пригнулся, взял узелок.— Что вот так вот сделал — молодец. Вогулкин! Шумни по цепи, пусть из первого за патронами пришлют.— Протянул Шимбуеву узелок.— Как тебя? Алешка, что ли? Возьми себе, поди, только о водке заботишься.

– Что вы, товарищ комроты,— обиделся Шимбуев и ткнул лопаткой в свой сидор. Глухо звякнул металл о металл.— Полная цинка, еще гранат сколько-то.

— Запасливый,— похвалил Пахомов Шимбуева и тут же, толкнув его в начатый окопчик, крикнул хлесткое

— Ложись!

Немецкий пулемет трассирующей струей давно шарил вдоль дорожной посадки и теперь, растревожив прошлогодний бурьян на меже, подбирался к ротному НП. Взрыхливая землю с недолетом, пули рикошетом вонзались в бураки. Тесно прижавшись друг к другу, Шимбуев и Савушкин лежали в окопчике на спине, смотрели в бездонное синее небо и о чем-то тихо переговаривались. Слышно было, как там, на высоте, невидимо скручивая воздух, в сторону Бомбена прошел снаряд, следом донесся отставший звук гаубичного выстрела.

Встревоженный Пахомов кинул взгляд на часы, потом на Романа. Дескать, что они ни с того ни с чего, рано ведь. Пятницкий успокоил:

— Все нормально, Игнат. Утреннюю пристрелку проверяют.— Пятницкий посмотрел на оседающую в Бомбене кирпичную пыль и добавил: — Наша, девятая гаубичная. Проверю и я свою. Женя, тряхни огневую

Женю Савушкина невозможно было представить без телефонной трубки. Она и сейчас лежала возле его уха

— Младший лейтенант у аппарата, товарищ комбат,— подскочил Женя.

Роман спросил о готовности батареи, услышал, что на огневой позиции все в порядке, и распорядился:

— Витя, кинь фугасный первым орудием, посмотрю. Да-да, по первому рубежу.

Пятницкий подошел к бурту, прислонился плечом к Игнату, кивнул подбородком в сторону Бомбена

— Смотри между сараев.

— Посмотрю,— приложился Пахомов к окулярам

Землю вскинуло с небольшим недолетом. Полагая, что Роман огорчился результатом, Пахомов сказал·

— В самый раз. У них окопы там.

На окраине господского двора, поодаль от водонапорной башни, возникло еще несколько одиночных разрывов. Это уже минометчики не удержались и проверили, как налажены их «самовары».

Игнат опять посмотрел на часы, перчаткой, как веником, помахал по лежащему на бурте автомату, скинул с него соломенную труху. Что бродило в голове Игната — один бог знает, только мысли вильнули куда-то, разбередили больное. Сказал:

— Кольку Ноговицина в Каунас увезли, на центральной площади похоронили.

О чем еще мог думать командир роты перед атакой? Как одолеть это пространство? Как зацепиться хотя бы за оградку? Как строить бой потом? Об этом он уже думал и передумал. Видно, и другое в голову пришло: о новых мертвых, которые обязательно будут и которых не повезут ни в Каунас, ни в другой какой город. Где-нибудь здесь похоронят, может, в этих же недорытых окопчиках, только если не поленятся, малость углубят. Не исключено, что Игнат и на себя со стороны посмотрел, пособоображал тоскливо, где его зароют, когда жизнь кончится. Кончиться ей хоть сегодня, хоть завтра — совсем немудрено...

— Игнат, с первой цепью пойдешь? — спросил Пятницкий.

Игнат отщелкнул диск автомата, надавил пальцем на выглядывающий патрон. Патрон лишь чуть-чуть подался. Успокоенный Игнат водворил диск на место и ответил:

— Прослежу, как дойдут до тех вон поваленных столбов, потом уж.

— Я здесь останусь, Игнат, пока не ворветесь. Ты не подумай чего...

— Балда! — гневно сверкнул глазами Пахомов.

— Я перекатом. Со взводными продумано все.

— Хватит, Ромка,— оборвал его Пахомов.— Говорили — и хватит!

Пахомов хотел снова глянуть на часы, да не успел. В точно установленное мгновение по высоте с господским двором открыла огонь артиллерия. Бомбен быстро утопал в глинистой пыли, взвихренном мусоре слежалых листьев, в крошеве земли и кирпича, в ватно клубящемся дыме.

Пехота враз рванула из своих окопов, окопчиков, ямок, воронок. Солдаты, горбатые от вещмешков, бежали с быстротой, кто на какую способен. За канонадой артподготовки не было слышно привычного возбуждающего рева. Даже ДШК, бьющие разрывными с флангов, и выскочившие из дальних кустарников счетверенные пулеметные установки на «доджах» казались безмолвными.

Игнат сунул в карман фланелевые перчатки, чутко, совсем немного оттянул затвор автомата, проверил на слух — загнан ли патрон в патронник. Не глядя на Пятницкого, крикнул, чтобы слышно было:

— Ну, бывай, Ромка!

Шагов через двадцать обернулся, поднял автомат на вытянутую руку, потряс им.

Роман, чтобы лучше видеть не только Бомбен, но и дорогу, продвинулся к правому краю бурта. По возне за спиной понял: догадливый Женя Савушкин подтянул аппарат поближе. Роман взял трубку, натеплившуюся от руки Жени, не спуская глаз с поля боя, спросил в микрофон:

— Коркин? Машины готовы? Через десять минут цепляй.

Через десять минут первый взвод прекратит стрельбу, «студебеккеры» подхватят две его пушки — и на участок третьего батальона, к левому срезу парка, где есть довольно сносные укрытия. Неважно, что участок совсем другого батальона. В самом Бомбене участки метрами мериться будут. Там, в скученности, и вовсе не придется разбираться, кто кого поддерживает.

С этим взводом на прямую наводку пойдет Андрей Рогозин. Как только пехота зацепится за окраину или ворвется внутрь селения, Пятницкий прекратит стрельбу вторым взводом с закрытой позиции и как можно быстрее переместит наблюдательный ближе к пушкам Рогозина. Переброска двух «зисов» второго взвода к Бомбену — на совести Витьки Коркина.

Не первый бой, не раз уже испытано, а все равно ждешь от артподготовки чуда. Но откуда оно, чудо? И теперь вот. Ведь все вроде разнесли в Бомбене к свиньям собачьим, ан нет — стучат несколько пулеметов. Из-за дыма, из-за всего, что обрушилось на немцев, бьют пулеметы пока не очень прицельно, но и не совсем попусту: рота младшего лейтенанта Пахомова за-

метно редела. И все же шла, не останавливалась, залегала и вновь поднималась, вот-вот войдет в зону поражения наших снарядов. Пора об удалении огня позаботиться. Роман крикнул в трубку:

— Припять. По второму рубежу!

Перебросили огонь и другие батарейцы. Корпусные орудия давно уже долбили противника на дальней окраине Бомбена, где господский пруд, где кладбище с господскими могилами. Полковые пушки на конной тяге помчались вдогон пехоте. Хороши все же трофейные першероны. Не очень резвы, зато из любой болотины вытянут. Вот только на поле-то голое слишком отчаянно, опрометчиво. Уж не тот ли старший лейтенант со шпорами верховодит? Да что там упрекать — опрометчиво! Его, Пятницкого, орудия — вон они жмут, аж подпрыгивают на неровностях — разве скрытнее на дороге? Только и утешения, что липы по обочинам. Лыко, что ли, с них драть? Врежут немцы по кронам, и лыко, и куль рогожный — все будет.

Заскрипело, заныло, окутало дорогу молочным дымом Сыграл шестиствольный! Вот еще разок. Теперь другой — в те шесть труб еще мины затолкать надо. Роман закрыл глаза до боли, до светлячков. Андрей, как ты там, родимый?!

Из дымного облака вырвался один «студебеккер», другой. Пушки... Целы пушки! Подпрыгивают, мотаются на крюках, но целы. Так-то, фриц неразумный, бьешь ты здорово, метко бьешь, да не пофартило тебе на этот раз. Вон и головы хлопцев, пригнутые при обстреле, показались над бортами. Все ли здравы, хлопчики?

О-о, как рванул головной «студер»! Колька Коломиец, черт конопатый, жмет. Не съюзило бы, не занесло в кювет. Нет, пронесло...

Надо бы успокоиться, но нервная дрожь не унимается. Христос с нею, уймется. Скорее туда, за Рогозиным. Пятницкий отжал клапан трубки.

— Припять!

Нормально, слышит Припять. Осмотрел враз все видимое. Рота Игната Пахомова уже в огородах окраинных усадеб, другая рота с минуты на минуту ворвется в те длинные кирпичные коровники. Батальон, где замом по строевой Заворотнев с золотым зубом, слева, как предусмотрено, огибает господский двор Вовремя, вовремя Рогозина туда перебросил Сейчас другие две пушки надо

Э-эх, «ильюшиных» бы сюда, чесануть по огневым немецкой артиллерии. Но давно Пятницкий не видел авиации. Говорят, вся на Земландский полуостров переброшена, там уже Кенигсберг обошли. Что ж, значит, на севере соколы нужнее Впрочем, и немецкие самолеты не появляются. Тоже у Кенигсберга понадобились.

Снова давнул на клапан, чтобы дать команду на батарею.

— Припять, отцепляюсь от нитки, ухожу к Рогозину У вас три минуты работы — и на колеса!

Но что это?

Пятницкий поупористее поставил локти на гряду с бураками, приник к биноклю.

Свертывающимися клубами, черно и густо дымили стога возле сараев и сами сараи, набитые сеном Эта удушливая завеса вытолкнула нескольких человек к облитому солнцем колку орешника. Затоптались, завертелись славяне на месте, хотели снова нырнуть в дымную непроглядь, но оттуда высыпало еще десятка три солдат Некоторые волочили на себе раненых. У Пятницкого больно и оглушающе застучало в висках. Отходят! Не смогла пехота зацепиться в Бомбене, даже на окраине не смогла. Теперь путь один — на голое поле. Тогда немцам добить оставшихся от роты Пахомова, от двух других рот мурашовского батальона не составит труда. Пока мешает дым.

Не только Пятницкий, но и Игнат, и Мурашов поначалу тоже думали — все потеряно Но подумать одно, сделать — другое. Завернул Мурашов свои роты под прямым углом, направил вдоль орешника, стали прижиматься к овражкам. От них до Бомбена — один бросок. Откашляются, отплюются, набьют магазины патронами — и снова вперед.

Старший лейтенант со шпорами на брезентовых сапогах тоже разобрался в обстановке, сообразил повернуть своих першеронов к безлистому, но плотному островку кустарника – туда, где налаживался боевой порядок перепутавшихся, перемешавшихся остатков мурашовских подразделений. Рогозин с двумя орудиями, надо полагать, давно там, успел развернуться. У Мурашова две сорокапятки... Дело за пушками, что с Коркиным на закрытой позиции остались. Теперь их срочно под стены Бомбена!

— Савушкин!

Женя мгновенно протянул трубку.

Плеснулась неожиданная мысль, и подготовленная Пятницким фраза для команды заклинилась. Только в начальном развитии эта мысль чуть не лишила Шимбуева разума. В разгар боя, в разгар такой заварухи комбат Пятницкий вдруг спросил его:

— Алеха, тебя за что из училища вышибли?

На досуге, за кружкой наркомовской, можно было бы поболтать, рассказать, как до офицера чуть не доучился, но сейчас! У лейтенанта часом не выпала клепка из головы?

Смотреть в раскрытый Алехин рот не было времени

— Чего онемел, пастух козий? – с напускной строгостью прикрикнул на Шимбуева.— Ладно, в другой раз расскажешь.

Мысль простая в сути своей, но очень и очень стоящая. Пехота не смогла войти в Бомбен, и снимать с позиции второй огневой взвод не имело смысла. Во всяком случае, в ближайшие двадцать — тридцать минут — до новой атаки немецких позиций в господском дворе Надо бить и бить по Бомбену, содействовать этой атаке и развертыванию полковушек старшего лейтенанта. За это время и сам Пятницкий сумеет перебросить НП на окраину селенья.

Пятницкий выхватил из кармана блокнот, выдрал листок, спросил Шимбуева:

— Алеха, сможешь продолжить работу с закрытой?

— Проще пареной репы,— смело заверил разведчик.

Самоуверенность Алехи поколебала Пятницкого. Шимбуев заметил это колебание, поспешил:

— Да что вы, комбат! Помните занятия в Йодсунене?

Помнил Пятницкий. В обороне и на занятия время выкраивал. Тогда и узнал, что Алеха Шимбуев в артучилище — то ли в Томском, то ли в Тамбовском — учился. Еще дома, поступая на курсы комбайнеров, подделал справку, и свои четыре класса выправил на девять. С этим образовательным цензом и в армию ушел. Диктанты в училище не писали, задач о бассейнах не решали — и сходило Алехе. Но когда дошли до деривации, суммарных поправок, боковых слагающих и коэффициентов всяких, Алехин мозговой аппарат не выдержал, отчислили. Все же много полезного и нужного осталось в неглупой голове Алехи Шимбуева, и сейчас он развеивал сомнения Пятницкого:

— Сокращенную не смогу, забылась, запутаюсь с картой, а глазомерную запросто.

— Не надо готовить данные, Алеха. Все пристреляно. Корректируй по обстановке. Вот,— подал листок,— тут все пристрелочные. Бей по Бомбену, а через тридцать минут дашь команду огневикам сниматься — и за нами. Я буду во взводе Рогозина.

Вызвал Коркина к аппарату, приказал:

— Взвод, к орудиям!

Коркин, видимо начавший грузить снаряды на машины, готовить пушки к буксировке, заартачился было, но Пятницкий прикрикнул:

— Коркин! К чертям дебаты, делай, что приказываю. По данным первого рубежа...

Когда донесся залп, Пятницкий обернулся к Шимбуеву:

— Разрывы видишь, Алеха? Давай работай.

«Скрипачи», взявшие под контроль шоссе, несколько раз заставляли Пятницкого укладываться в придорожную канаву. Женя Савушкин примащивался рядом, прижимался к Пятницкому. Поначалу Роман не обратил на это внимания, но когда шестиствольный заныл в третий раз и Женя опять оказался под боком, Пятницкий беспокойно глянул в его лицо. Боится? За него прячется? Или напротив — хочет комбата прикрыть, чертенок? Да нет, не то и не другое. Роман встретил такой радостный, озорной взгляд чистых голубых глазищ, такой блеск молодых зубов, обкусывающих липовую веточку, что растерялся даже. Он играл, забавлялся, этот пацан! Женька не тянул сейчас проклятый кабель, не тащил на себе ломающую ребра тяжесть катушек, не обдирал ладоней торчащими из паршивой изоляции стальными жилками, не вгонял их под ногти, не обмирал от страха за целость аппарата... Карабин да плоский вещмешок за плечами — разве это тяжесть для Жени Савушкина! А тут весна, в жухлом войлоке травы раскручиваются шильца зелени, шныряют букашки.. А «скрипачи» — тьфу на них!

Женя тычет жучка липовым прутиком, жучок опрокидывается на спину, дергает ногами. Смеется Женя.

Пятницкий приятно ожегся этой дурашливостью, прижал пальцем нос Жени Савушкина.

Женя попрядал розовыми, запыленными ноздрями и спросил:

— Товарищ лейтенант, чем они мины начиняют, «скрипачей» этих? Дымище — с души воротит

— Тебе надо, чтобы — одеколоном? — весело прищурился Пятницкий.

Женя заливисто засмеялся.

— В седьмом я первый раз под бокс подстригся Парикмахерша за пульверизатор: «Освежить, молодой человек?» Э-э, где наша... Катька — мы на одной парте сидели — весь урок краснющая сидела, думала, я для нее наодеколонился...

В этих словах — тоже весна.

Интересно, чем ее, весну, начиняют?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В течение дня пехота трижды врывалась в Бомбен, в это барски ухоженное, подстриженное, вылизанное селеньице, и столько же раз поредевшая, измученная, выкатывалась гороховой раздробью.

Триста метров туда, триста обратно, а сил расходовалось — в другом месте на три атаки бы хватило.

Истомленные, нервные пехотинцы раздраженно ругались на во всем виноватых пушкарей, пушкари в свою очередь винили пехоту, которая довольно скоро оставляла Бомбен, и они не успевали даже выбить упоры из-под сошников.

Четвертой атакой сумели ворваться в центр селения и отбросить немцев до сараев, что с трех сторон охватывали господский двор. Немцы снова контратаковали, но что-то разладилось в их обычно согласованных и хорошо продуманных действиях. Так и остались у тех окраинных сараев. Зато под шум этой схватки нашим артиллеристам удалось закатить в Бомбен несколько орудий. Закатить, правда,— не то слово, хотя и верное в сути своей. Орудие сержанта Горькавенко, например, доставил туда Колька Коломиец. До бортов груженный снарядами «студер» (Горькавенко в кабине с Коломийцем, двое на ступеньках в дверцы вцепились) спрямил путь и, как танк, приминая ограды сквериков, с натужным ревом приткнулся к полуразрушенной стене только что отбитого у немцев строения. Пока Горькавенко с наводчиком и заряжающим скидывали орудие с бук-

сирного крюка, подоспели остальные номера расчета

Выгрузить все ящики немец не дал. От нижних домов, где возобновились схватки, пулемет — есть у них такой МГ-34 — высмотрел возню у сарая, а может, не сейчас высмотрел, а раньше, когда «студебеккер», едва не обрывая мотающуюся в прицепе пушку, мчался в Бомбеи,— высмотрел, проследил за ним и теперь короткими очередями, чтобы не перегреть ствол и не возиться с его заменой, пригвоздил людей к земле и стал крошить кирпичи, подбираясь фосфорическими стежками все ближе к машине.

Пулеметчику удалось угодить под брюхо «студера», где бак с горючим. Жидкостные струи пламени плеснулись на землю, освежились воздухом и вздыбились выше кузова — охватили борта, ящики с боеприпасами. Багровея в ярости, Горькавенко кинулся к орудию, чтобы подальше откатить от нависшей опасности. Огневики уперлись в щит, ухватились за правила станин, натужились Но тонна двести, пусть и на двух колесах,— все та же тонна двести.

Коломиец, метнувшийся было помогать расчету, тут же понесся обратно к машине и запрыгнул в кабину «Студебеккер» взревел мотором, стронулся.

— Назад!!! — запоздало завопил Горькавенко.

Из кабины набиравшей скорость машины вылетели запасная камера, телогрейка, противогаз, вещмешок Черт конопатый, он еще о шмутках думает!

Раскрыляя незакрепленные дверцы, «студебеккер» вывернулся на побитую взрывами и заваленную трупами аллею и, пылая, подскакивая, помчался под уклон, навстречу пулеметным трассам. Пушкари в остолбенелой беспомощности смотрели вслед.

Но взрываться вместе с машиной Коломиец не собирался. Поравнявшись с залегшей пехотой, он, прихваченный огнем, вывалился на обочину. Потеряв управление, «студебеккер» завихлял на аллее, двинул плечом дерево, качнулся с боку на бок, перемещая по жестяному днищу снарядные ящики, сунулся в сточную канаву и неподалеку от кинувшихся врассыпную немецких автоматчиков застрял, бросив окрест ошметки пламени Взорвались бензобаки, а мгновение спустя — с чудовищным грохотом и снаряды. Раздвинуло парк в этом месте, завалило несколько деревьев.

Все это произошло на глазах Романа Пятницкого.

прибежавшего в Бомбен с разведчиками и связистами следом за вторым орудием. Страдая от потери машины и боеприпасов, он мысленно похвалил себя, что не поддался соблазну воспользоваться другими тягачами. Орудие, которым продолжал командовать артмастер младший сержант Васин, ввезли в Бомбен с помощью лошадки ездового Огиенко на скорости, на какую она, исхлестанная, была способна.

Стали разгружать повозку

— Десять ящиков всего,— сокрушался Васин.— У тебя сколько, Горькавенко?

— Восемнадцать. Не успел больше. Колька союзного «студера» на таран пустил

— Нашел что таранить — сосну! — внутренне восхищенный Коломийцем, съязвил все же Васин.— Гнал бы до самих фрицев.

Липатов смазывал Коломийцу ожоги, и тот, морщась от болезненных прикосновений, лишь буркнул в ответ:

— Тебя бы в кабину, трепливого...

Пятницкий еще раз пересчитал ящики и успокоил командиров орудий:

— Сто сорок снарядов на два ствола Ничего, разумные, жить можно

Да, на два ствола. На большее - на пушки Витьки Коркина - Пятницкий не мог рассчитывать. Сам он уже разобрался в сложившейся обстановке, а более четко оценить ее помог подошедший майор Мурашов. Насмешливо глядя на повозку, к задку которой веревками были прикручены сошники пушки, он спросил:

— Сам определишь место для «зисов» или подсказать? — Не дождавшись ответа, посоветовал: — Ту, что у кормокухни, там и оставь, а с этой — к парку. Другие два направления сорокапятки прикроют

— Круговая?

— А ты не видишь разве?

Вот она какая — обстановка. Потому Пятницкий и рассчитывал на два ствола, которые при нем, а не на четыре. Рассчитывал на два, но все же сказал ездовому Огиенко:

— Дуйте, Иван Калистратович, за третьим «зисом»

Тогда, на перекрестке пяти дорог, когда ждали танковый корпус противника, Огиенко, вопреки желанию Пятницкого, остался на огневой позиции, и Пятницкий ничего с этим не мог поделать — не нашел весомого

повода отправить пожилого человека с передовой и хоть в какой-то степени отдалить его от опасности. Сейчас повод был — привезти орудие. Только повод, не больше, а привезти... Не успеет Огиенко привезти. Немцу надо быть законченным идиотом, чтобы оставить в покое и не перерезать дорогу, по которой Пятницкий сумел перебросить в Бомбен пушки первого взвода. Пусть хоть успеет мужик вернуться в тылы батареи.

Но и этого не успел Иван Калистратович — дорога простреливалась с обеих сторон. Пытаясь все же прорваться, выполнить приказ о доставке третьей пушки, Огиенко пустил лошадку вскачь через кустарники, был замечен и обстрелян из минометов. Некоторое время спустя солдаты из роты Пахомова перехватили одичалого коня, волочившего повозку на одной передней оси. В повозке лежал труп изувеченного взрывом Ивана Калистратовича Огиенко.

Когда батальон майора Мурашова начал наступление от Розиттена на Бомбен, солнце светило в затылки, теперь оно светило кому в лоб, кому в щеку, кому, как и прежде, в затылок — в зависимости от того, где было указано место в обороне. Выбралось поутру из-за горизонта, полезло вверх, начало пригревать, но не сильно, вспомнило: рано еще, не сезон. Проторенно прошлось по унылому, безрадостному небу, от неиссякаемых щедрот своих наделило всех одинаково — русских и немцев — и упряталось за другой предел земли, на покой, значит. А скорее всего по иной причине: глаза бы не видели, что творится на обжитой планете...

Что ж, не хочешь смотреть — не смотри, не надо, можешь зажмуриться, за тучи спрятаться, а то и совсем не всходить, лейтенанту же Пятницкому в оба смотреть надо и сразу во все стороны: порядок наводить на той малости войны, которая ему доверена, чтобы ни тебе, светилу, ни другому кому не было стыдно и горько смотреть потом на планету.

Да и не так уж темно становится в Прибалтике, когда солнце спать укладывается. А тут еще дом, что на склоне к пруду, хорошо разгорелся, не погасишь, хотя немцы вначале и пытались бороться с огнем, уж очень нужен был им этот невеликий дом из плотно спаянных кирпичей Пригодился бы он и батальону Мурашова,

да что теперь сделаешь, не сумели сразу взять его, не хватило силенок. А вот пригорок захватить, освещенный пожаром сбоку, очень кстати – батальону дышать намного бы легче стало

Выдался момент, когда Мурашов, Пятницкий, Игнат Пахомов оказались вместе. Сгрудились в стойле, ближнем от входа в коровник – стойла были отделены друг от друга кирпичными перегородками, – запалили фонарь, накидали на металлическую поилку сена, покрыли плащ-палаткой Шимбуев с Клюкиным, вестовым Мурашова, устроили кое-что пожевать товарищам командирам. Мурашов вытянул из-за голенища карту, сложенную до размеров курительной книжечки, поднес ближе к свету Черные прямоугольники домов и хозяйственных построек, кружочки и крапинки парка, изгибистая, в две линии, дорога, амебами — горизонтали рельефа. Отыскали все уплотняющиеся паутинки горизонталей · высотку, что в двухстах метрах от пылающего дома

— Ну как? – спросил Мурашов.

Через головы, сдвигая Пахомову шапку на переносицу, протянулась рука Клюкина, поставила котелок с кусками мяса. Рядом Клюкин высыпал горсть соли, сказал извиняющимся голосом:

— Трофею забили, а не посолили Мечтательный повар попался.

Шимбуев передал искромсанную буханку.

Пахомов, не притрагиваясь к хлебу, изжевал кусок мяса, сказал первым:

— У них орудие там и десятка два автоматчиков.

— Это я знаю,— недовольно отозвался Мурашов, ожидавший от Пахомова чего-то другого.

— Я не для сведения, соображаю, как лучше

— Сколько можешь?

— От силы пять-шесть человек.

Мурашов стряхнул прилипшие к руке кристаллики соли, поцыкал зубом, сказал решительно:

— Мало

Игнат Пахомов упрямо отозвался:

— В роте тридцать три гаврика, на кого я оставлю западную окраину?

Полчаса назад Рогозин доложил Пятницкому, что обзавелся несколькими ящиками фаустпатронов. Воспоминание об этом подбросило Пятницкому мыслишку. Притянул за полу Алеху Шимбуева, шепнул в ухо·

— За лейтенантом Рогозиным сбегай.

— Сколько у тебя людей, лейтенант? — спросил Мурашов у Пятницкого.

Тот прикинул в уме: в расчетах по шесть, управленцев восемь, значит — двадцать. Хотя нет, еще шофер сгоревшей машины и лекарь Липатов.

— Двадцать четыре с офицерами, – ответил Роман

— Д-да, сила,— иронично произнес Мурашов.— Но вот что...

Говоря о численности гарнизона в окруженном Бомбене, Мурашов совсем упустил из виду дивизионных разведчиков, незнамо как оказавшихся в расположении его батальона. Двадцать сорвиголов под командой старшины Соловьева кое-что значили.

— Вот что,— повторил Мурашов, обращаясь к вестовому.— Видел ровики у центральной аллеи? Отыщи старшину Соловьева и немедленно сюда.

Игнат Пахомов понял командира батальона и сказал

— Ну, к Соловьеву, по правде, на драной козе не подъедешь.

И без того увеличенные в полумраке зрачки Мурашова еще больше расширились, франтоватые усики дернулись.

— Соловьев не баба, что его умасливать! — Остальное, что не сказал, на лице было написано: пусть попробует хвост задрать — долго жалеть будет.

Пятницкий был наслышан о Соловьеве и теперь с любопытством ожидал его прихода. Широкая молва обостряет воображение, а воображение у каждого по-своему развито, у иного оно и нимб к голове пристроит У Соловьева нимба не было. На арбузной голове пышущего здоровьем двадцатипятилетнего парня лихо сидела кубанка, стеганый ватник туго перепоясан офицерским ремнем без портупеи, к ремню, на немецкий лад — у левого паха, немецкий парабеллум в немецкой же кобуре, три гранаты с деревянными рукоятками, тоже немецкие, на ногах трофейные бурки. Только за спиной наш ППС с рожковым диском — автомат последней конструкции

Было бы к месту спросить, есть ли у Соловьева еще что русское, кроме автомата, но Мурашов вспомнил: старшина — башкир, вопрос прозвучал бы нелепо. Сказать это же как-то иначе расхотелось. Опять-таки нечего начинать с укусов. Мурашов показал на место рядом с собой

— Садись, Соловьев, потолковать надо Каким тебя ветром сюда?

— В поиск пошли, вчера еще, нигде не проткнулись, хотели на вашем участке, а тут петрушка такая..

— Помощь твоя нужна, Соловьев. Сработаем — языки будут, можешь в кадушках солить про запас.

— Какое дело? — спросил Соловьев с затаенной настороженностью: не собирается ли майор покуситься на его самостоятельность, на его особое положение?

Подошел Рогозин. Соловьев покосился на его шрам, на трубку роскошную. Рогозин с подозрительной галантностью поклонился. Он был явно предубежденно настроен по отношению к Соловьеву.

Мурашов объяснил задачу: скрытно подобраться к высотке — а это лучше, чем орлы старшины Соловьева, никто не сделает — и неожиданным ударом захватить ее. В случае неуспеха отход прикроет орудие сержанта Горькавенко, в случае успеха это орудие перебрасывается на бугор, который надо удержать во что бы то ни стало.

Командир прославленных разведчиков несогласно покачал головой:

— Нет, товарищ майор, это в наши планы не входит.

— Зато в мои входит! — вспылил Мурашов.

— Входит, так делайте! — мгновенно пробудился характер Соловьева.— При чем тут мои разведчики?

Лицо Мурашова пошло нездоровыми пятнами, над переносьем собрались тугие складки.

— При том, что здесь армия, а не шарашкина артель В данных обстоятельствах ты будешь выполнять, что я прикажу!

— Чего вы кипятитесь, майор, на хрена вам эта высотка. Мы с ребятами решили барский дом взять.

Офицеры ошеломленно переглянулись.

— Какой дом? — не веря услышанному, изумленно спросил Мурашов.— Особняк этот? Кто позволил? Только посмей! Все планы наши загремят. В доме больше взвода автоматчиков, несколько пулеметов, подходы прикрыты тем орудием на бугорке... Возьмем и его, но всему свое время. Вот тебе мой сказ: ни шагу без моего ведома, не посмотрю, что ты Соловьев.

Старшина ожег ухмылкой, враз поднялся.

— Вот это уж зря... Как бы перед Глебом Николаевичем отвечать не пришлось.

Рогозин повелительно положил руку на плечо Соловьева, хотел резко повернуть к себе, но плечо ловко выскользнуло, и Рогозин напоролся на острый, язвительный взгляд. Скулы у Андрея Рогозина выпятились, шевельнули багрово потемневший шрам.

— Степной орел, князь удельный... Ишь ты, о генерале, как о родном дядюшке... Кубанка, бурки, часы на каждую руку... Носятся с вами, как с писаной торбой..

— Лейтенант! — вздумал Мурашов остановить Рогозина, но тот не унимался.

— Насмотрелся, пока в медсанбате лежал! Сходят в поиск — и дрыхнут до одури, дурех с погонами обхаживают, банно-прачечный в бардак превратили... Вон те, в окопах, не от задания к заданию, каждый час под смертью, а все плебеи для таких сановных. Да я самого замурзанного телефониста не променяю на тебя, героя в пимах фетровых...

— А-а, героя... Герой не... Да он мне кровью!

— Кровью? А это что? — посунулся Рогозин вплотную к лицу старшины, даже шелохнул его, неподвижного, налитого силой.— Это что? Кошка оцарапала или шлюха какая? Может, у тебя кровь особая?

— Прекратите! — вновь крикнул Мурашов и раздвинул готовых сцепиться.

Может, так, машинально сказалось насчет героя, может, слышал что Рогозин, но получилось не очень ладно. Сильно и уязвимо задело гордыню Соловьева. Представление о присвоении звания Героя Советского Союза ушло месяц назад, на кончике языка разнесли эту весть штабные сороки. Ждал парень, газету с Указом во сне видел...

— Остынь, Соловьев,— ровным упористым голосом проговорил Мурашов.— Знаем, что не за так, не за твои распрекрасные... Пьянеть от славы не надо. Помни — тут не пугачевский стан, а ты не Салават Юлаев. Отправляйся и скажи орлам лихим...

Старшина натренированно, с профессиональной ловкостью юркнул из стойла, моментально перехватил автомат со спины, крепкой ладонью обвил рукоятку.

— Я знаю, что сказать,— надменно оскалил он редкие, синевой отдающие зубы и скрылся за дверью — будто и не было его.

— Час от часу не легче,— тяжело вздохнул Мурашов.— Черт бы его побрал, эту гордость дивизии. Свалился на мою голову Ты еще, лейтенант, масла в огонь.

— Барский дом и трофеи в нем — выдавил Рогозин через подрагивающие губы.

Поразительно, но все происшедшее будто не тронуло Пятницкого, не задело ни за один чувствительный нерв, даже развеселило малость, думать заставило. К тому, что задумал, вспомнив о трофейных гранатометах, и для чего посылал Шимбуева за Рогозиным, в момент перепалки добавилось еще кое-что

— Товарищ майор,— решительно, словно иных мнений и быть не может, начал свое Роман,— извлечем из этого полезное. Пусть Пахомов поспешит к Соловьеву и успокоит его. Это он сможет. Если уж в атаку захотелось, нехай «атакуют», не вылезая из ровиков. Стрельба, несколько гранат под «ура» погромче... Под эту демонстрацию лейтенант Рогозин с моими управленцами... Своих мужичков отщипнете от батальона? Подберется и Сколько у тебя, Рогозин, фаустпатронов?

— Восемь ящиков.

— Парами? Значит, шестнадцать. Как только накроют высотку фаустпатронами, Горькавенко передвигает туда пушку, закрепляется. Тогда уж Соловьев может поднимать своих и идти добывать особняк... с несметными трофеями.

Мурашов с некоторым промедлением посмотрел на Пятницкого, посоображал, пощипал усики, перевел взгляд на ротного.

— Как ты на это, Пахомов? — спросил его.

— Лучшего варианта не вижу, и время подпирает Соловьев этот, по правде, ишак, каких свет не видел Надо быстрей к нему,— ответил Пахомов.

— На том и порешили! — утвердил Мурашов и добавил: — Гляди, Пахомов, чтобы спектакль, как в Большом московском.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Лежа грудью на краю мелкой воронки, Пятницкий смотрел вслед уползающей группе, которую вел Андрей Рогозин. Слева, справа и чуть позади группы двигался стрелковый взвод — человек двенадцать, не больше — под началом усатого сержанта, который пуржистым утром тринадцатого января в атаке под Альт-Грюнвальде грубо и справедливо усмирял бестолковый пыл Романа Пятницкого.

Готовые к открытию огня и передвижению на высоту, стояли номера расчета сержанта Горькавенко. Тревожился Роман, давило его беспокойством: как-то справятся его управленцы с непривычным для них заданием?

Неподалеку от помпезного фасада особняка с двумя утолщенными по центру колоннами, где в рыхлой почве газонов были нарыты окопчики дивизионных разведчиков, выпирающе обозначилась густая автоматная стрельба, рванули гранаты и следом взревело устрашающе воинственное «ура!». Будто давно и настороженно ожидая этого, с бугра сразу бумкнуло немецкое орудие, усилился автоматный огонь из бойниц и сводчатых окон особняка. Пространство, где таились невидные отсюда, размытые темью центральная аллея, цветник и бетонная чаша фонтана, заполнилось багрово-желтыми всплесками огня, грохотом разнотонно и неистово лопающегося металла.

Чуть погодя донеслись урывисто-резкие, как орудийные выстрелы, взрывы немецких кумулятивных гранат на высоте. Это Рогозин бил по высоте фаустпатронами.

— Может, поспешить? — спросил Горькавенко.

— Надо спешить, только разумно,— ответил Пятницкий,— обстановка еще далеко не ясна.

Роман посмотрел на часы. Немецкая пушка последний выстрел сделала четыре минуты назад и, похоже, совсем замолчала. Четыре минуты... А где сигнал от Рогозина?

Длинная, нежно светящаяся, как при салюте, взмыла в зенит тягучая автоматная очередь. Пятницкий жадно хватанул воздуха. Вот он, сигнал!

Жми, Горькавенко! Со связью не медли — нитку сразу давай!

Дом, что сбоку высоты, догорал, вспышки чего-то съедобного для огня увядали, растрачивали последние силы.

Пятницкий привстал в неглубокой, до колен, воронке, возможно, его же снаряда, когда вели огонь от Розиттена, передернулся от сырой прохлады, от непривычного одиночества, подошел к изрядно исколупанной стене кормокухни, прикинул, как быстрее проскочить к орудию Васина. Внезапно левее и ниже особняка, где находился небольшой прудок, вспыхнула, стала усиливаться стрельба.

Еще одна попытка вышибить батальон из Бомбена? Все может быть, не исключено и это.

Пригнувшись, Пятницкий метнулся к парку, достиг толстого дерева, прижался к нему на секунду. К тольк

что вспыхнувшему бою в низинке подмешался рев десяток глоток. В этом будоражащем, поднимающем реве нельзя было ошибиться — наши, пехота-матушка наша! Но откуда она там?

Хлестко пальнула сорокапятка, дульное пламя плеснулось левее окопчиков дивизионных разведчиков. Пока Роман добежал до полковушки, атакующие подошли вплотную к особняку. Возле орудия Пятницкий едва не столкнулся с теми, кого принял за номерных орудия. Да это же Горохов! Тимофей Григорьевич! Кто же второй? Надо же — Курлович!

— Вас что, на снаряде перекинули? — удивленно спросил Пятницкий. Но некогда объясняться, что да почему, сказал радостно: — За мной, разумные вы мои, потом поговорим!

Две войны изрядно поизносили дядьку Тимофея, упыхался, но не отстает. Курлович — вот и возьми его! — выглядел бодрее. Но это только казалось — бодрее, как добежали до огневой позиции Васина, скинул с плеч термос и упал замертво, даже глаза закрыл. Коли его штыком — не встанет. Горохов, напротив, сразу начал, хотя и с одышкой, о деле — о новостях, скопившихся за вчерашний вечер и минувшую половину ночи, но Пятницкий остановил его, важнее было послушать младшего сержанта Васина. А новости Васина, как и всякие новости,— такие и этакие: дважды накрывало минометами, отбили контратаку, погиб заряжающий Тищенко, подносчик Мишин — ранен. Снарядов — кот наплакал.

Зато порадовала новость старшины Горохова: к рассвету «коробочки» будут, а пока, надеясь на танки, командир дивизии смело отдал для Бомбена последний резерв — роту третьего батальона. Вот, значит, кто атаковал от пруда!

Ко всем новостям — радующим и мрачным — еще одна добавилась, и опять мрачная. К сараю, где недавно совещались Мурашов, Пахомов и Пятницкий, где безуспешно возился с рацией командир отделения связи Липцев и где санинструктор Липатов устроил свой перевязочный, двое, спешно вышагивая, несли на плащ-палатке третьего.

Острые глаза Романа Пятницкого узнали Алеху Шимбуева и Женю Савушкина. Кому в компанию несут — к убитым или раненым? Спешат, едва не бегут Алеха с Женей, значит, еще живого несут. Кого? Пятницкий тоже заторопился.

— Я с вами,— метнулся за ним Горохов.

Возле Андрея Рогозина — это его принесли — уже хлопотал Семен Назарович Липатов. Андрей был без сознания. Женя Савушкин плакал и не таился этого, грязным кулаком размазывал слезы по щекам.

— Руку оторвало,— дергал носом Женя,— в спину угодило, в ногу...

— Есть еще кто? — холодея, спросил Пятницкий.

Устало опускаясь на корточки, Шимбуев ответил:

— Из пехоты троих и сержанта нашего. Горькавенко потом вынесем. Его сразу...

— Как орудие? — все больше тревожился Пятницкий.

— Живое. Товарищ сержант Кольцов командует,— Женя всхлипывал все реже и реже.— Хотели нас... Отбились... Не могли сразу-то товарища лейтенанта принести.

В коровник вбежал Бабьев — посланец от Васина. Правду говорят — беда в одиночку не ходит.

— На бугре у лейтенанта Рогозина свалка, Васин приказал сообщить! — выпалил это и столбнячно вытаращился на полураздетое тело Рогозина, про которого сказал как о здоровом.

Значит, не совсем отбились, значит, нечего стоять тут Пятницкому.

— Шимбуев! — выкрикнул Пятницкий.— Со мной!

— А я-то?! — с испугом и растерянностью ребенка, оставляемого бог весть на кого, закричал вслед ему Савушкин.

Пятницкий отозвался из дальней темноты, из-за порога:

— Женя, Семену Назаровичу помоги, потом со старшиной в расчет к Васину!

Пробегая мимо господского дома, Пятницкий понял — особняк взят: из узких сводчатых окон над капителью, вышибив рамы, выкидывали то ли живых, то ли мертвых. Не останавливаясь, послушал: все-таки мертвых — молча падали.

Контратаки немцев, вообще-то не склонных к ночным схваткам, в Бомбене вопреки всему повторялись одна за другой. Велись они яростно, люди, схлестнувшись в запекающейся злобе, гибли с той и другой стороны, но цели, ради которой они вскипали, немецкие контратаки

не достигали. Организуй их противник одновременно с трех-четырех направлений — несдобровать бы батальону Мурашова, не помогла бы и артиллерия, своевременно втянутая на этот кусок земли, охваченный уплотнившимся кольцом вражеских подразделений. Тем более что боезапас артиллеристов был крайне убогим.

Что-то неясное, не разгаданное ни Мурашовым, ни Пятницким, сбивало немецкую организованность, понуждало к лихорадочным, разрозненным наскокам, и Мурашов успевал маневрировать своими небогатыми силами. Захват же высотки, а затем и пробившийся в Бомбен резерв во главе с золотозубым капитаном Заворотневым позволили Мурашову противопоставить суматошной тактике врага спокойную, продуманную оборону. Но спокойствие это было относительным. Нервировали задержка на этом пятачке и сознание, что задача, которую должен был решить батальон к исходу вчерашнего дня, не выполнена: автостраду Кенигсберг — Берлин так и не оседлали.

После очередной контратаки на позиции батальона обвально рухнул шквал огня. Били минометы средних и тяжелых калибров, омерзительно ныли шестиствольные. Переждав этот судорожный обстрел, Пятницкий пошел к майору Мурашову. Миновав кормокухню, развороченную и пропахшую смрадом горелого силоса, он попытался хоть что-то увидеть там, далеко слева по ходу наступления, где не только не их дивизия, но и армия другая. Мешали вековые деревья дорожной посадки и кладбищенская роща. Но по зарницам артиллерийского огня все же можно было судить, что левые соседи еще больше загнули фланг и двигались уже не на северо-запад, а строго на север. Пятницкий недоуменно подумал: «Какого же черта немцы вцепились в этот Бомбен? Самое время уносить ноги!»

Поделился мыслями с Мурашовым, а тот напомнил про автостраду Кенигсберг — Берлин.

— Действует автострада, лейтенант,— сказал Мурашов.— Сдается, все, что связано с ней, немцам дороже тех сотен солдат, которых мы положили и еще положим здесь.

Пятницкий отщелкнул кнопки планшета, вынул карту — не свою, рабочую, а выдранную из какого-то учебника еще в запасном полку. На ней он отмечал сообщения Совинформбюро. Мурашов усмехнулся:

— Хочешь увидеть, где мы застряли, с высоты Верховного?

— Черта лысого тут увидишь. Кенигсберг, Инстенбург... Пиллау еще... Всю Пруссию мизинцем закрыть можно.

— Под мизинцем этим не только мы — сотни тысяч воюют.— Мурашов подсунулся ближе к освещенному фонарем пятну.— Где тут Берлин?

— Вот,— ткнул пальцем Пятницкий.

Мурашов втянул верхнюю губу, покусал подзапущенные усики, сказал:

— Не думаешь, что немец не к Кенигсбергу по этой дороге подбрасывает, а наоборот — от Кенигсберга к Берлину? В Пруссии, чует, так и так крышка.

— Тогда нам головы поотрывать мало! — искренне взорвался Пятницкий.— Чешемся тут...

— Нам оторвать — немцам легче,— возразил Мурашов.— Немцам башки отрывать надо.

— Как бы они нам...— прислушиваясь, насторожился Пятницкий.— Кажись, опять на той высотке?..

Где-то далеко на востоке зрело, накалялось солнце, но сюда его беспредельное напряжение в этот час доходило ослабленно и было в силах обозначить рассвет лишь посеревшим небом. Четче обрисовались макушки деревьев, контурно выпятились развалины строений, в низинной теми, там, где пруд, неровно, едва приметно зашевелился отлипший от воды полог тумана, а со стороны кладбища потянуло погребной могильно-тревожной прохладой. Почему-то раздражающим в этой обстановке послышался гортанный лягушиный клекот. Для этих тварей и война нипочем. Вставая, Пятницкий передернулся.

— Пойду туда,— показал на бугор, где стояло орудие убитого Горькавенко и которым командовал теперь парторг Кольцов.

Пятницкий ушел, а чуть позже немцы начали наседать и с той стороны, где держал оборону орудийный расчет Васина. На этот раз немецкую пехоту поддерживали два танка. А ведь даже признаков не было, что у немцев — танки. Не было танков, воровски подобрались откуда-то.

Первыми встретили их сорокапятки. Передний танк наскочил на бронебойные и остался без гусениц. Со вторым было сложнее. Он пробирался парком и вышел к позиции Васина. Пехоту мурашовские мужики отогнали

пулеметным огнем, а танк на малом ходу с ревом продолжал лавировать между деревьев и время от времени бил по особняку, где с полуночи хозяйничали разведчики старшины Соловьева и засела часть автоматчиков резервной роты. Толстенные липы, дубы, каштаны надежно прикрывали танк. Казалось, что орудие Васина бессильно что-либо сделать. Васин нервничал, поглядывал на нищенский боезапас и ждал, ждал...

Нервничала и пехота. Что там артиллерист копается? Вот шалава...

Похлеще нашлись бы у пехоты слова, узнай она, что на огневой Васина давно уже нет ни одной осколочно-фугасной гранаты, что те громы и молнии, которыми он подбадривал на рассвете продрогшую в окопчиках пехоту, всего лишь стрельба подкалиберными. Бахнет пушка, завоет улетевший снаряд — и на душе уютнее: не в одиночестве пехота-матушка, бог войны рядом. А то, что снаряд послан черт знает куда, ударился черт знает обо что и, потеряв баллистический наконечник, стал похожим не на снаряд, а, скорее всего, на катушку от ниток, закувыркался, зачуфыркал и упал нестрашным и неразорвавшимся, потому как взрываться нечему, одной порошинки в железе нет,— это уже другое дело, этого никто не видит.

Но и подкалиберными Васин редко услаждал слух пехоты. Берег и подкалиберные. Артиллерист, он не мог не думать о танках. Будут они или не будут — у немца не спросишь, а не знаешь — ко всему будь готов. Теперь не сильно, но радовался, что сохранил кое-что. А сохранилось и при той скопидомской стрельбе всего пять снарядов, всего один ящик. Потому и выжидал Васин.

Тем хорош подкалиберный, что вылетает из ствола с дьявольской скоростью, только вот от своего малого веса, от своей тюрячковой конфигурации выдыхается скоро. Потому самое милое дело — подпустить немца метров на сто, тогда и лобовая броня нипочем. Тысячная доля секунды понадобится такой катушке, чтобы влипнуть в броню, сотрясти ее кованую непробиваемость и проткнуть раскалившимся до девятисот градусов сердечником...

Взмок резиновый наглазник окулярной трубки, взмок и Васин — от шапки до портянок, подкручивает маховик туда-сюда, следит стволом за движением танка, сквернословием ближе подманивает.

Танк заскреб траками по корневищам, стал продвигаться в сторону орудия, чтобы получше высмотреть цель и врезать наверняка, а Васину впрямь кажется — подманил. Танк приблизился, ударил из пулемета. Пули обозленно щелкают в щит. Не убили бы, сволочи, раньше времени... Приблизился, похрустел останками горелого «студебеккера», пошевеливает дульным набалдашником, нащупывает, где тут младший сержант Васин. Васин оторвал руку от маховика, перенес назад, не глядя нащупал рычаг спуска. Опередил немца...

Орудие дернулось, прянул вниз клин затвора, со звяком выкинул прокопченную ожогом гильзу. Видимость впереди застлало дымом. Васин обернулся диким бескровным лицом, рот распялил крикнуть на заряжающего, но Женя Савушкин — заряжающий вместо убитого Тищенко — уже сует в патронник новый патрон. Сует неумело, чуть баллистический наконечник не сковырнул. Все же приноровился парень, наддал гильзу под зад, и она послушалась, защелкнула за собой клин затвора. Васин опять ухватился за маховички, приник к наглазнику панорамы, стал выцеливать нужное.

Из танка низом струйками цедился жирный дым. Но танк живой, спячивается задом. Еще одним гвоздануть для верности?

Рявкнула пушка, добавилось звону в ушах. В проредях мазутной копоти пробилось пламя и скользнуло с моторной части на лобовую. Немного погодя внутри танка рвануло, чудовищным скоплением газов сняло башню и отшвырнуло ее в сторону.

Восторгаясь Васиным, из окопов загорланила пехота. Но не до восторгов Васину. Посмотрел на оставшиеся три патрона с подкалиберными — и под ложечкой заныло. Направился к снарядным ровикам, где хозяйничали старшина Горохов и командир отделения тяги Коломиец. До прихода Васина они успели со злобой расшвырять пустые ящики, искали — не завалялся ли где ненароком осколочно-фугасный снаряд. Теперь они сидели перед ящиком, облепленным землей, и так радовались, словно не пять снарядов, а целый погреб боеприпасов нашли.

— Взрывом засыпало,— расплылся в улыбке конопатый Колька Коломиец.

Из железной коробки, что на щите для ветоши, Васин достал чистую тряпицу, вытер лицо, заморенно лег рядом

с драгоценным боезапасом, облегчая душу, выматерился.

— Что, мало тебе? — обозлился Коломиец.— Скоро танки подойдут, тогда подвезем.

— Хорошо, если наши танки, а если...— Васин не завершил фразы, перевернулся, прижался щекой к траве.

С западной окраины, где стояло орудие сержанта Кольцова, вернулся Пятницкий с Шимбуевым. У Романа не хватило сил перешагнуть бруствер орудийного окопа, сел на него, оглаживая землю, съехал. Сказал Шимбуеву:

— Раздобудь воды, Алеха.

Женя Савушкин подал спрятанный в кустах котелок. Пятницкий подул, отогнал от края натрусившиеся хвоинки, поглотал вдоволь. Намочив платок, отдал котелок ординарцу и стал с брезгливой тщательностью удалять загустевшую меж пальцев кровяную клейковину. Сырой, испачканный чужой кровью платок отбросил подальше.

— Вон, на лбу еще,— подсказал Шимбуев.

Роман подставил ладони ковшиком, поплескал в лицо. Савушкин тихо спросил Шимбуева:

— Опять там?

— Опять. Схлестнулись.

Первыми танки увидели пехотинцы, крикнули на огневую. От Розиттена по полю, где прошлым годом росли бураки, наращивая гул, заполняя им пространство, торопились «коробочки» — наши «тридцатьчетверки». Немного их было, от силы — десяток, но что сокрушаться — немного, и за то низкий поклон!

Появление танков доконало немцев. Начали выскакивать из окопов, тыкаться туда-сюда и падать под огнем танковых пулеметов. Не вылазили из окопов те, у которых нервы покрепче. Побросали оружие и воздели руки до предела. Когда танк приближался, они глубже втискивались в окоп, потом выныривали и снова показывали свое «сдаюсь». «Тридцатьчетверки» шли мимо, не трогали.

Роман устало поднялся, хмуро посмотрел на испятнанную шинель и направился к коровнику — где Липатов с ранеными, где умерший Рогозин, где другие убитые.

...Трудно умирал Андрей.

Слезы путались в отчетливо обозначившейся щетине одрябших щек, скапливались в неровностях шрама. Голова завалилась на сторону и осталась жалко-недвиж-

ной, с некрасивой гримасой страдания. Вот он, и — нет его. Не стало Андрея...

Пятницкий дошел до стриженного бобриком кустарника и только тогда опомнился, окликнул старшину Горохова и шофера Коломийца. Глядя в глаза Горохову и смущая этим, сказал:

— Тимофей Григорьевич, пойди к Липатову, побеспокойтесь, чтобы ребят побыстрее в санбат. Или в полковую санчасть, она, наверное, ближе. Рогозина и других — похоронить как положено... Зайду потом.— Повернулся к Коломийцу: Ты, Николай, за машинами... Снаряды сюда побыстрей, с гильзами не возись, потом вывезем.

Подумал, что еще сказать. Сказать больше было нечего. Уткнул глаза в землю, пошел к пехоте. Надо было разыскать Мурашова.

И на этой окраине немцы сдавались. Затравленно суетились, словно боясь на что-то наткнуться, выставляли руки ладошками перед собой, бежали цепочкой от кладбища к пруду, сбивались в безоружные жалкие фаланги, шарахались от своих и русских трупов, непричастно отводили глаза. Отставшие одиночки с угодливыми физиономиями то и дело спрашивали: «Во плен?» За плечами, будто навечно прибитые к спине,— ранцы с покрышками из телячьей шкуры, к застежкам приторочены котелки, через руку запасная шинель или одеяло. Куда уж без них, в Сибирь-то!

Внезапный подход советских танков враз отодвинул этот участок фронта. Господский двор Бомбен, а с ним и вражеские подразделения оказались в тылу наших войск. Это был полнейший разгром еще недавно хорошо организованной, дисциплинированной силы, теперь потрепанной, панически отказавшейся от дальнейшей борьбы.

Сломленное сопротивление противника, незнание, чем заняться в эти минуты, на первых порах внесли сумятицу в ряды бойцов. Они оказались вроде бы не у дел. Ошалелые от миновавшей опасности, от первой зыбкой радости, они бродили по селенью без особой надобности, презрительно и зло разглядывали сдавшихся на милость победителя. Свирепого вида солдат в разбитых ботинках с обмотками облюбовал немецкого парня в добротных сапогах, сграбастал его и молчком запихнул в снарядный пролом в стене сарая. Пленный солдат выкарабкался оттуда – в чем только душа держится, видно, не чаял живым остаться. Жадно хлебнул воздуха живой! Без

обувки только. В дикарском танце, вскидывая босые ноги на кирпичных обломках, выскочил на дорогу, прижимая к груди драные красноармейские ботинки, помчался догонять бесконвойное человеческое стадо.

Бродят славяне, в подполье барского дома заглядывают, шарят — нет ли чего пригодного для брюха. Два взвинченных пожилых сержанта, не скупясь на зуботычины, наводят порядок. Солдат с обгоревшей полой шинели, придерживая занывшую от тычка скулу, поднимает с земли оброненную шапку, несмело бубнит что-то в адрес сердитых сержантов. Тут же, на мелкой брусчатке аллеи, возле шапки, расколотая склянка с вареньем.

Ни у кого не повернется язык осудить сержантов за их излишнюю строгость. Лучше вот так, чем потом хоронить сладкоежку — когда немец тяжелыми обрушится. Дальнобойная немецкая медлит пока, еще не разобралась, что творится в Бомбене, а разберется, тогда... Что из того, что в поселке густо своих, угодивших в плен. Не пощадят: лучше мертвые, чем живые в русском плену.

Фасад особняка основательно разворочен, угол — от проема окна до фундамента — обвалился, через дыру виден кухонный интерьер, он режет глаза белым кафелем. Возле пролома —«тридцатьчетверка», ее башенный люк открыт. Высунувшись по пояс, в люке стоит подполковник в танкистском шлеме и кожаной куртке, смотрит вслед удаляющемуся строю машин, подает команды в микрофон. Подал последнюю, выпростался из тесноты, спрыгнул к майору Мурашову. Расправили карту на танковой броне, стали разглядывать.

Пятницкий ошеломленно уставился на подполковника и услышал теплые, ликующие толчки сердца. Растерянная и счастливая улыбка высветила его поблекшее от измотанности лицо. Может, обернется танкист? Ждал. Нет, не обернулся.

Пятницкий подошел ближе. Хотел подделать чей-то голос, но подражание не получилось, сипло выдавилось:

— Рядовой Захаров!

Подполковник обернулся, от удивления и радости откинулся всем корпусом назад, раскинул руки, воскликнул:

— Рядовой Пятницкий! Роман!

Несуразность восклицаний поразила Пахомова, заставила прислушаться.

Занят подполковник, дела торопят, да ладно, за пол-

минуты ничего с войной не случится, не прокиснет война — надо же обнять товарища! Кинулись друг к другу, переплели спины руками — рослые, ладные, взволнованные до комка в горле. Один — седина даже в бровях, другой — в сыны ему в самый раз.

— Роман!

— Виктор Викторович!

— Командуешь?

— Батарея вот... С рукой как?

— Засохла, Роман. У тебя как — с комсомолом?

— Недавно на парткомиссии в кандидаты...

— Дай-ка я еще тебя помну...

Скрипит кожанка о портупею Романа, обнимаются мужики.

— У вас как, Виктор Викторович?

— Нормально, воюю... Ну, до встречи, командир Красной Армии, дружище ты мой...

И все. Мужские сердечные дела еще и еще потерпят.

— ...Адрес не потерял?

— Что вы!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Подполковника Виктора Викторовича Захарова и Романа Пятницкого судьба свела в Каунасе. Прибыли они сюда разными путями и в разных качествах: несколько раньше Виктор Викторович с группой офицеров, вернее, бывших офицеров, из Вильно, где военным трибуналом рассматривалось его дело, Роман Пятницкий из учебного запасного полка в Горьковской области. Первый в звании рядового под конвоем, второй в звании лейтенанта и без конвоя.

Пожилой капитан Каунасской комендатуры выслушал доклад Пятницкого и, не заглядывая в предписание, долго и странно рассматривал его. Так обычно нескорые на ум готовятся сказать что-то, оттеняющее положение той и другой стороны, хотя и без того ясно, кто и что в этот момент значит. Роман ждал услышать вроде «достукался» или похожее на это и чувствовал себя совсем погано. Но услышал неожиданное:

— Ты бы, лейтенант, хоть умылся.

Показал добродушную улыбку, слазил в карман гим-

настерки и вынул оттуда вклеенное в картон прямоугольное военторговское зеркальце. Пятницкий с отлегшим сердцем принял этот предмет, с усталым любопытством (что он узрел на моей морденции?) заглянул в него, пояснил:

— Остаток пути на тендере добирался.

— Личное дело с собой?

Даже этим Пятницкий отличался от своего будущего товарища Виктора Викторовича Захарова — личное дело было доверено везти самому, правда, за сургучными печатями.

Воинская часть, обозначенная в предписании номером полевой почты, оказалась по соседству.

Через несколько минут после того, как за Пятницким захлопнулась дверь проходной, он получил вполне приличные погоны рядового, брезентовый ремень в обмен на комсоставский, был накормлен и пожалован местом для спанья на втором ярусе дощатых нар с тюфяком из перетертой соломы. Чтобы жесткая постель не очень огорчала Пятницкого, младший лейтенант, под начало которого был назначен, с предельной краткостью объяснил:

— Это ненадолго.

Затем безотносительно к сказанному, а может, как раз поэтому, спросил:

— Почему тебе статью-то по Кодексу Украины определили?

Любопытный парень, успел бумажки полистать. По службе, что ли, положено? Только толку-то. Откуда Роману знать, почему по УК УССР! Вероятно, потому, что те семеро — с Украины. Листал бы внимательно, может, что и написано. Пятницкий пожал плечами, младший лейтенант удовлетворился этим.

Одеяло, подушка и всякие там простыни для опального — аристократизм, разумеется, и посему их не было. Все же сапоги, взбираясь на верхотуру, Пятницкий снял, тюфяк застелил портянками, чтобы за ночь просохли под телом, и пролежал без сна незнамо сколько. Глядел в высокий-высокий потолок с ажурным переплетением балок, до которого, если потребуется, можно воздвигнуть нары и в шесть ярусов, и размышлял о всем происшедшем до тех пор, пока, истомленный, не провалился в глубокий сон.

Утром отправили на работу в пакгауз — то ли к на-

чальнику клуба, то ли к художнику. Варил там клей, размешивал краски, грунтовал фанерные щиты.

За стенами пакгауза и дальше за забором (с колючей проволокой поверху) шумел осенний ветер, вскрикивали паровозы, стучали вагонные сцепления; совсем рядом слышались голоса людей, занятых передвижкой чего-то тяжелого. Роману надо было сходить в одно популярное дощатое сооружение. За углом наткнулся на бойцов, подваживающих громоздкий котел с отшибленными вентилями и скособоченными фланцами. Они перемещали его в дальнюю часть двора, наполовину освобожденного от хлама, что остается после врага во вновь занятых городах.

Судя по лицам и разговорам, солдаты были не совсем солдаты. Одного узнал — на утренней поверке стояли рядом. Высок, спортивен, виски седые, гимнастерка и бриджи — комсоставские. Он завязил свою лесину под котлом и пытался подопнуть ногой деревянную чушку ближе к ущемленному концу — сделать рычаг подлиннее. Роман сообразил, что требуется, просунул чурбан до упора, налег на шест. Котел шевельнулся, ослабил нажим на другие ваги, солдаты поспешно продвинули их дальше под днище и, руководимые чьим-то тренированным командирским баритоном, дружно и рассерженно-бодро взгаркнули: «И-ищо-о... взяли!» Котел гуднул нутром и встал, куда велено.

Человек, с которым Роман на утренней поверке стоял рядом, бросил вагу на землю, сказал Пятницкому:

— Перекурим, что ли? Ты это куда с утра затерялся?

— Туда вон... послали,— махнул Роман рукой в сторону пакгауза.

— Пятницкий, кажется?

Гляди ты, запомнил, подумал Роман. Новый знакомец будто услышал это.

— Запоминающаяся фамилия. А моя — Захаров, Виктор Викторович. Где бы нам за ветерком укрыться? Тучи такие паршивые, снегом пахнут. Рановато бы снегу... Насыплют. Не снегу, так мокрее чего, а то враз то и другое.

Потом они сидели на мешках с торфяными брикетами. Виктор Викторович дымил едкой самокруткой, в которой потрескивали корешки печально прославившегося филичевого табака. На левом берегу Немана, у разрушенного моста, который недавно начали восстанавли-

вать, шарнлн лучн прожекторов, выхватывая в рано потемн евшем небе медленно н тоскливо плывущие облака. Внктор Викторовнч рассказывал Пятнницкому о себе.

В том, что оказался в штрафном батальоне, он, командир танковой бригады, не вннил ни болото, где сели танки, нн карту, на которой это проклятое болото не было обозначено, ни дождь проливной, ни черта, нн дьявола,— виннл только себя. Не психовал, не проклинал немцев, что не сожглн в танке, как других, не пытался в отчаяннн пустить пулю в лоб — надеялся еще повоевать. Хоть рядовым. И повоюет. В этом ннкто не откажет.

Зло подергивая губой, сдержнвая себя от резких замечанн́й, Виктор Викторович напряженно выслушал н печальную нсторню Пятнницкого.

— На весь белый свет обиделся,— говорил о себе Роман,— день тот проклял, когда родился... Сейчас вот думаю: напрасно я так. Матка бозка, пан Езус! Шестьдесят богомольных мужиков под началом. Советской властн не вндела, националнсты, бандеровцы... Отломилн за лопоухость — н будь здоров, не кашляй. Радуйся, что на фронт попал, смывай кровью.

Захаров затоптал окурок, обнял Романа за плечн и убежденно подвел под его самонстязаннем краткую н злую черту:

— Богатырева твоего смывать. Поганку бледную...

Пятннцкнй подумал: «Может, н поганка, только не бледная, еслн та девчушка из офнцерской столовой и правда от аборта скончалась...»

Разведывательный отряд был сформирован в ночь на двадцатое сентября. На машннах перебросилн в район Внлкавншкиса. Вначале по шоссе на юго-запад, потом проселками через нсковерканные, тронутые пожарамн островкн сосняка. В разбнтой лнтовской деревеньке получилн оружне н через два часа сидели в окопах первой лннни.

Роман Пятницкнй нн на шаг не отставал от Захарова. Когда офнцеры местного разведотдела стали делить отряд на три группы, хоть в малой степени учнтывая, кто и в чем снлен нз этнх рядовых, Роман н тут сумел прнмкнуть к Виктору Викторовичу. Перед тем с Захаровым толковал майор с измученным лнцом н кровянистыми от недосыпу глазамн. Прнказано было отобрать десять

человек для выполнения, по выражению майора, особо важного задания. Так что Пятницкий, пожалуй, не примкнул к Захарову, а был примкнут им, как штык к винтовке, с учетом уже кое-каких испытаний на крепость.

По характеру задачи отряд штрафников вопреки всему, что приходилось слышать Роману от много и все знающих, мало отличался от разведывательных отрядов, которые выделяются от дивизий первого эшелона в начальной стадии прорыва обороны противника. Цель та же: скрытно преодолеть минные полосы, проволочные заграждения, внезапно войти в соприкосновение с противником, ворваться в его траншеи и попытаться закрепиться в них. Одновременно ставилась и, по сути, сама собой решалась главная разведывательная задача — выявление огневых средств обороняющихся. Тут уж хочет или не хочет неприятель, а проявит себя. Не будет же сидеть сложа руки и ждать, когда, пройдя через ад заграждений нейтрального всполья, на него обрушатся изорванные до костей, окровавленные и беспощадные русские иваны. Ну и немалое место в этой задаче — контрольные пленные, на что особо указывалось группе Захарова.

Отряд вывели в траншеи до рассвета. Захаров надеялся в течение дня приглядеться к местности, по которой придется ползти ночью, рассмотреть заградительные сооружения, пособображать, как одолеть их при сильнейшем огневом воздействии врага. Вчистую рассеялась надежда, потому что не рассеялся низко легший утром туман.

Первая волна отряда поспешно поднялась, взревела «ура!» и стремительно пошла на вражеские траншеи. Проволочного забора не было, но возле окопов наткнулись на спираль Бруно. Движение замешкалось, ноги цеплялись за нити мин натяжного действия. Взрывы «шпрингенов», автоматная трескотня взбулгачили весь передний край немцев. Кинжальный огонь пулеметов, грохот потревоженных минных ловушек увалили атакующих, прижали к земле. В это землетрясное громыхание взрывчатки, буйно наращивая атакующую силу, с неистовым ревом сыпанула вторая атакующая волна.

Преодолевая заваленные телами спирали колючей проволоки, штрафники в трех местах сумели достичь немецких траншей и схватились там врукопашную.

Произошло то, что и требовалось: ожила почти вся огневая система не только передней линии с ее пуле-

метными гнездами и позициями орудий прямой наводки, но и артиллерийских и минометных батарей в глубине обороны. Врожденный рефлекс самозащиты сломил вышколенную воинскую дисциплину врага, принудил приоткрыть свои карты.

Захаров стоял рядом с майором из разведотдела в неглубоком, по пояс, окопе. Майор смотрел на часы. Захаров притронулся к его руке, сказал:

— И без часов ясно — слабеют.

— Да, пора,— отозвался майор и расстегнул кобуру.

Роман видел это и поразился. Тоже пойдет? Вот этого он никак не ожидал!

Майор, загоняя патрон в патронник, передвинул затвор ТТ и поднес ко рту свисток, зажатый в левой руке. Свистеть помедлил, снова повернулся к Захарову, сказал строгим, непреклонным голосом:

— Со своей группой пойдешь следом за нами. Людей побереги, оттуда хоть одного живьем надо.

Захаров кивнул, и майор длинно засвистел, и свист этот до странности был пронзительно высоким, далеко слышным в грохоте боя.

С мрачным, жутким молчанием перевалил через бруствер третий человеческий вал — вал разжалованных офицеров и, не давая истаять силам, ушедшим перед этим вперед, ринулся в непосредственную близость вражеских, бушующих боем окопов.

Пятницкий в оцепенелой скованности смотрел на майора, легко перешагнувшего через пологий навал земли перед окопом, на его вскинутую с пистолетом руку. Майор крутнул головой влево-вправо и побежал, потерялся во взбулгаченной ночи вместе со всеми. Минуту спустя, следуя движению Захарова, поднялись и десять человек группы захвата.

Роман перескакивал через проволоку, запинался о трупы, падал, взбодряя себя, выкрикивал что-то, поднимался и снова бежал, стиснув зубы до судорог. Только бы не отстать, не отбиться от Захарова, от его десятки, добраться до немцев, а там уже сделать то, что приказано сделать.

Слева, скрытые до сих пор на прямой наводке, бездействовавшие в обороне, били в упор сразу четыре немецких орудия.

Снаряд разорвался совсем рядом. Падая, Пятницкий слышал, как осколки, выщипывая клочья ваты, пробо-

роздили стеганку. Вторым разрывом из-под ног Романа выхватило землю, кинуло его в клубок обвитых проволокой человеческих тел, нестерпимой болью ударило в левое ухо. Роман не стал терпеть эту боль, этот вонзенный беспощадной силой большой и раскаленный гвоздь,— не стал терпеть, добавил в сумасшедший гвалт пронзительный, неудержимый из-за этой боли вой. Кровь текла из уха, из обеих ноздрей, скопляясь под скулами, мочила ставший тесным воротник гимнастерки. Сплевывая горячие, солоновато-приторные сгустки, Роман оперся о что-то податливое, скользкое, недавно живое и рванулся дальше.

Первобытный рев людей, автоматные выхлесты в упор, хрястанье прикладов, сатанинский грохот уничтожающе дробящегося металла улавливались теперь не контуженым, знойно забитым слухом, а всем телом, каждой нервной клеткой. Влекомое вперед лютым азартом боя, опьяненное близостью смерти, тело Романа слышало вибрирующую дрожь земли, ее глухой, незатухающий, захлебывающийся стон. В неровном, меняющемся свете — то ярко вспыхивающем, то матово оплескивающем округу,— в освещении всего, что может гореть, вспыхивать, пламенно взрываться, обливно виделись растерзанные, исшматованные, расчлененные человеческие тела, адовы корчи живой плоти. Чернеющая в жилах кровь и боль, проникающая в самый мозг, мутили рассудок, наливали одичалой яростью.

В отрепьях тумана, лимонно-багровых от выстрелов, взрывов и непрестанно взвивающихся ракет, Роман увидел аспидно-черную могильную щель окопа. В этой щели, наружно подсвеченная, колыхалась, плыла гладко обтянутая спина. Роман вкопанно встал и повел стволом автомата вдоль окопа. ППШ послушно отозвался на усилие пальца, прижавшего спусковой крючок. Многоточие рвущегося сукна стежкой прошлось наискось спины, остановило живое движение, заставило посунуться бегущего и обрушенно исчезнуть на дне траншеи.

Пещерный восторг ополоснул Романа. Но вид следующего немца напомнил о главном, утраченном помраченным сознанием. Пятницкий запоздало выругался и обеими ногами враз прыгнул на живое, бегущее по окопной прямизне. Падая, обдирая лицо о дощатую обшивку окопа, умножая и без того невыносимую боль, Роман перехватил изгибом руки горло оседланного немца,

оперся коленом в позвоночник и, резко подавшись назад, переломил костлявое тело в обратную сторону.

Не подоспей Захаров, контуженый, изнемогающий Пятннцкнй не смог бы вытащнть нз траншеи измятого, нзломанного в сплошную боль человека. Захаров кричал что-то, по его дико искаженному лицу Роман поннмал, что кричнт он что-то важное и нужное, но не слышал: гул в голове, разбитой спрессованным воздухом, возвысился до воя сирены,— не слышал, но по тому, что начал делать Захаров, сообразил, что надо делать ему самому.

Изловчившнсь, подняли пленного на бруствер. Только теперь Пятннцкий заметнл, что правая рука Захарова согнута в локте н беспомощно прижата к груди, где болтается автомат с опустошенным днском. Помог Захарову лечь на край окопа, подтолкнул. Выбрались, поволоклн добычу, не думая и не нмея сил думать о всем, что творится вокруг.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Васнн окликнул двух пехотиицев, которые былн поближе, чтобы шли с котелками пообедать вместе с его расчетом. Рядом дралнсь, обмолвиться и словом не пришлось. Теперь не грех н потрепаться немного, поуспоконть нздерганные нервы. И повод подходящий — термос с хлёбовом все еще не опорожнен, не до того было. Пожилой солдат с грязной повязкой на голове н давним шрамом над бровью — Боровков по фамилин — оказался земляком Васнна, тоже нз города Серова, работал на промкомбннате.

Остывшую полусуп-полукашу (термос расчету пробитый достался) черпалн молчком — тяжко было на душе, давила, не отпускала война. Потом, насытившнсь, слегка оживели. Боровков взглядывал на Васнна отцовским глазом, лестно было, что его земляк такой молодой, а командир над пушкой, танк подбил, н это все виделн. Обращаясь к нему, Боровков побалагурил:

— Ложка-то узка, таскат по три куска, надо б развестн, станет цапать по шести.

Васнн несогласно уточнил:

— Было бы что таскать, можно и щепкой.

— Вон тот поваренок вашу еду кондером назвал,— продолжал свое Боровков.— Подставляй, говорит, папаша, котелок, кондеру наложу. А у меня война в голове, шум всякий — не расслышал. Показалось — колеру наложу. Думаю: спятил, какого колеру? Я ведь маляр. Школы, больницы... Много до войны строили. Дворец тоже. Земляк, Дворец помнишь? И ему красоту наводил. Ем, а сам думаю: работы скоро будет — успевай поворачиваться. Когда про кисти вспомнил, аж под сердцем что-то ворохнулось, запах краски услышал...

Вот и отмякли, разговорились немного, а то сидели молчком, перемучивали не потухшее жжение боя, сердца свои изводили о тех, кто убит.

— Д-да,— продолжал разохотившийся на разговор Боровков,— если бы не танкисты... Положение наше, скажу я вам, хуже губернаторского получалось.

В плутовских глазах Васина уже давно горели огоньки нетерпения: так и подмывало загнуть что-нибудь к слову, а к слову не приходилось. Теперь пришлось, поддержал разговор земляка:

— Ну вот, губернатора приплел. Ты знаешь, почему так говорят?

— Пословица, товарищ сержант, землячок мой хороший. Пословица она и есть — пословица.

— По-сло-овица,— махнул рукой Васин.— Молчал бы, если не знаешь.

— Ты много знаешь,— нахмурился Боровков,— ты, поди, при губернаторах жил.— Он облизал ложку, завернул в тряпицу, сунул в затасканный сидор и заметил Васину: — Ты вот почему, сержант, свою едалку за голенищем держишь? Все на машинах, артиллерия... Походил бы с наше, она бы тебя, ложка эта, обезножила, показала кузькину мать. Потом же портянка там, микробы заразные.

Васин покорно поблагодарил за науку, перепрятал ложку в карман и опять — про губернатора. Боровков снисходительно поощрил:

— Давай, давай, растолкуй. Ишь какой знающий выискался.

— Тут и растолковывать нечего, в Серове каждый пацан знает,— нос Васина смешливо наморщился.— В каком-то году, до революции, конечно, губернатор проводил в волостях ревизию и замешкался в одной деревне до самой ночи. Отвели ему избу для ночевки,

хозяева горницу уступили, кровать свою... Под утро губернатору до ветру приперло, а как выйти? На полу возле порога хозяева спят. Тогда он, значит, вынул ребенка из люльки, переложил на кровать. Пока он в люльку-то мочился, ребенок ему в постель по-большому сходил. Вот с тех пор и говорят: «Положение хуже губернаторского».

Орудийный расчет хохотал в полное удовольствие. Боровков начал было обиженно подниматься, но вообразил нарисованную Васиным картину и тоже захохотал. Только не пришлось ему посмеяться вволю, тут же за повязку схватился.

— В-во, бельма бесстыжие, не язык — помело, чирей бы тебе на него. Рану, кажись, разбередил.

Хотел было Пятницкий подстегнуть батарейцев строгой командой, приказать свертывать огневую, но язык не повернулся.

Васин заметил подошедших офицеров — Романа с Пахомовым,— сделал радушный жест:

— Прошу к нашему шалашу, только со своим...

Боровков не дал Васину договорить, тревожно толкнул его в бок.

— Гля, земляк, немцы!

Нашел чем удивить! Вон их сколько мимо прошло — несколько табунов. Сгрудили всех за Бомбеном, турнули в Розиттен. Но в голосе Боровкова слышалась тревога. Пятницкий встал на станину орудия, пригляделся. Что-то неладное виделось в этой немецкой группе: с автоматами, один на плече фаустпатрон прет. Похоже, организованная группа. Обрывистый, по-грачиному резкий доносится начальственный голос. Немцы один за другим поспрыгивали в траншею. Траншея невелика протяжением — всего в четыре загиба, но полного профиля: у солдат одни каски торчат.

На бруствер своего окопчика выскочил веселый боец, стал махать шапкой, показывать в сторону Розиттена:

— Э-эй, фрицы, туда плен, туда!

По нему враз — автоматная очередь. Солдат не сразу понял, что произошло. Спрыгнул в окоп, стал теребить товарища:

— Чего это они, чего?

Пятницкий не успел и рта раскрыть, как Васин подскочил к пушке, кинул в казенник патрон, приладился к панораме. Как всегда после затишья, гремуче шиба-

нуло в уши. Болванка подкалиберного пробороздила пласты дернины на бруствере, взвыла от рикошета, заколбасила по воздуху.

Из окопов, где прятались немцы, поднялся автоматный ствол с белой тряпицей. Пятницкий облегченно провел рукавом по вспотевшему лбу. Васин самодовольно хмыкнул, дескать, давно бы так, сто вам редек... У остальных тоже от души отлегло: ишь чего удумали, все, кто сдались, обутки в Сибирь навострили, а эти...

Игнат Пахомов окликнул Боровкова, который оказался под рукой, распорядился:

— Возьми еще кого в помощь, сопроводи до тылов эту сволочь.

Солдат, который в Розиттене упрекал Боровкова, что тот нацелился в госпиталь улизнуть, искательно посмотрел на товарища, всем видом показывая, что ему очень хочется конвоировать пленных, побыть немного от войны подальше. Мудрый Боровков угадал его желание, сказал важно и покровительственно:

— Пойдем.

Обрадованный солдат заторопился, поправил подпояску, подкинул автомат за плечом. Боровков осмотрел его, мотнул головой в сторону окопа, где немцы, положив автоматы на бруствер, размахивали ветошью, скомандовал:

— Шагом марш!

Боровков и его товарищ до белого флага не дошли шагов десять. Лавина свинца ударила в них, опрокинула. Над головами пушкарей засвистело, в бруствер зацокало, звонко стало попадать в щит орудия, в люльку. Возле орудийного окопа, глуша автоматную трескотню, разорвалась фаустграната. Бабьева осколками — насмерть, только и успел распахнуть глаза в удивлении.

Пятницкий не пригнулся, не присел в окопе. Сжал губы в комок, окостенел, душой помутился. Но сработал командирский инстинкт. Закричал надсадно:

— К ор-руд-дию!!

Женя Савушкин сделался белым-белым. Трясло его. Женя сжал кулаки перед собой, застучал сапогами о землю, закричал непривычное для себя: «Бл...ди, бл...ди!» Васин удивленно зыркнул на него, тряхнул криком:

— Женька! Снаряд! Снаряд давай!

Савушкин сгреб снаряд, держит, как ребенка, пялит глаза на товарища лейтенанта: как быть, ведь подкалиберный это!

Вся взбаламучениая кровь ударила Пятницкому в голову.

— Ящик!!!

Ящик с осколочио-фугасиыми мгиовеино растеребили.

Первая же граиата врезалась в зев траншеи и глухо сработала в его глуби. Вылетели обломки искалеченного оружия, щепа обшнвочиых досок, рванина одежды и человеческих тел. Пополз, закачался в потревожеином воздухе тротиловый дым. Второй сиаряд раскидал волнисто стелющийся полог, распорол бруствер, занизил его, завалил глыбы иа дио. Васии бульдожно спаял зубы, подправляет ствол для вериого выстрела. И снова утробный, как при камуфлете, взрыв в чреве окопа вскинул зловещий куст из шматков слежалого суглинка, из всего, что было в окопе, что можио вскииуть силой взрыва.

В дыму дальиего иеобрушеииого, иеосыпавшегося, целого еще участка окопа сиова на чем-то длииным стал мотаться влево-вправо тряпичный лоскут, будто ополоумел кто-то, вздумал гоиять голубей в эту смертную миниуту. Васин скосил иа Пятиицкого взгляд. Пятиицкий прочитал в этом взгляде гаснущую решительиость, закричал исступлеино:

— Огоиь, Васии!!! Огонь!!! В прах, в прах извести!!!

Жгло под черепом, в висках одичало билась кровь. Перед глазами плыли круги, и в кругах этих медлеино вращалось тело одиииадцать раз раиеииого солдата Боровкова, теперь добитого из-под белого флага. Слабея, не находя сил побороть слабость, Пятницкий ухватился за щит орудия, ища воздуха, запрокиинул голову к небу, но и там плыли разводы удушливо-мутиых кругов, втягивали в чериый, бездоииый омут похожие на людей облака.

Пушка молчала. Не было больше осколочно-фугасиых, ие было подкалибериых. Да и стрелять не было иадобиости.

Игиат Пахомов положил руку иа плечо Пятницкого. Ромаи ворохнул губы в улыбке, проговорил с трудом:

— Перед тобой, Игиат, междуиародиый злодей, поправший обычаи и законы войиы, установлеииые коивенцией в одиа тысяча... хреи зиает в каком году...

Игиат сказал со вздохом:

— Войиа проклятая, поговорить с человеком ие даст...

Это ои о подполковиике-танкисте вспомнил, кото-

рого встретил Роман Пятннцкий возле господской виллы с обвалившейся колониной, провнсшей капителью, с ободранными со стен лианами плюща. О проклятой войне, которая ие дает поговорить с человеком, Игнату хотелось сказать еще тогда.

Тогда ие удалось сказать. Теперь сказал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Офнцерское совещаиие закончилось за полночь. Густая темнота плотно спелеиала немецкий поселок Цифлюс, куда позавчера вступил снятый с позиций крепко обескровленый артиллерийский полк подполковника Варламова.

Комаидир восьмой батареи старший лейтеиант Еловских, потягиваясь, прошелся на распрямленных ногах, подергал ягодицами, сказал из темиоты:

— Насиделся, аж зад плоским стал.

Минуя ступеиьки, Пятницкий спрыгиул с крыльца, фонариком осветил разминающегося Еловских.

— Послушай, комбат-восемь...

— Меня Павлом зовут,— отозвался Еловских.

— Послушай, Павел, у меия идея...

— Идею материализовать иадо,— без труда догадался Еловских,— в голом виде она меня не устраивает. Так-то, комбат-семь.

— Меня Ромаиом зовут.

— Проклятье, даже нмен друг друга не зиаем, фамилии — только из приказов. Не будь таких выходов в тыл — век бы ие встретились. На том свете разве. Черта с два, там иашего брата со всех фронтов, подика разыщи... Эй, Костяев, капитаи! — обернулся Еловских к отставшему командиру гаубичной батареи.— Шире шаг! Как его зовут, Ромаи?

— Хасаном,— подсказал Пятницкий.

Худой, нескладный комбат-девять предложил:

— Идемте ко мие. У меия этого добра вдоволь. На семерых похороики ушли, а писарь, паршивец, «иаркомовскую» по старой строевой записке получал.

Костяев с Пятиицким открывали консервные баики, а Еловских ударился в мрачную философию. На совещании у него произошел обостреный разговор с замом

командира полка по строевой майором Замараевым, который за какие-то старые грехи объявил Павлу трое суток домашнего ареста. И когда Еловских не без ехидства заметил, что от такого внимания к его особе уважения к майору не прибавится, Замараев вскипел и зловещим тоном спросил:

— А если еще трое суток прибавлю? Что на денежный аттестат останется?

За домашние аресты производились вычеты из офицерских окладов, и Еловских, глядя исподлобья и дерзко, ответил, что его не встревожат и десять суток — аттестата он никому не высылает. Замараев завел было нуду об элементарном долге перед родными, но Павел, обрывая, выкрикнул ему в лицо:

— Я знаю, что такое долг перед родными, и буду выплачивать его до смертного часа!

Тяжелый и неприятный получился разговор. Надо бы Павлу придержать язык, но и Замараев... Ведь знал же, что жена, дочь — все родные Павла расстреляны гитлеровцами...

Теперь, захмелев от первого стаканчика, Еловских придвинулся вплотную к Роману, помахивая для внимания распрямленным указательным пальцем, говорил:

— Насчет ощущения власти, Роман... Жажда подмять под себя кого-то, взобраться повыше, наслаждаться превосходством впитывалась в душу человека веками. Пусть коза, но на горе, и она уже выше коровы в поле... Дядька мой до революции половым в трактире служил, а в двадцатом вознесся до начальника милиции района и сразу прислугу завел... Превосходство, оно... У превосходства один корень с превосходительством, остается только притяжательное местоимение «ваше» добавить. Мысль о сложностях жизни, ее углах и овалах, о том, что надо делать ее пригожей для всех, а не только для себя, у таких людей, Роман, никогда не родится. А если родится рахитичная, похожая чем-то на эту мысль, они, мерзавцы, еще в пеленках ее придушат... А-а, подь они все верблюду в ноздрю! Ты вот лучше скажи: письма родным убитых написал? Не похоронки — письма?

— Когда, неразумный? — удивился Пятницкий.— Вы трое суток в Цифлюсе, а я только из боя.

— Извини, Роман... Как вы там? Потери большие?

Батарея Пятницкого и две минометные роты поддерживали батальон майора Мурашова, который добивал

в лесу несдавшуюся группировку немцев. Роман ответил:

— Обошлось. Подняли белый флаг и вышли. Почти двести человек.

Разговор в застолье егозливый, но и в этом есть своя закономерность. Еловских пристукнул стаканом по столу:

— Вот! У меня тоже двести человек было, а то и больше.— И снова, сосредоточивая внимание собеседника, выставил указательный палец: — В Литве, под Вилкавишкисом. Худо было, но я не поднял белого флага... Танковая дивизия «Великая Германия» раскидала нашу пехоту — страшно вспомнить. Город сдали, перемешались, командиров потеряли. Эти двести с тремя полковыми пушками без снарядов прибились к моей батарее. Ждали: сейчас старший лейтенант что-то скажет, гаркнет какую команду, и они прозреют, обретут силу... Можно было гаркнуть. Они бы пошли на танки с голыми руками...— Еловских долго и мутно смотрел на стакан, плеснул в него из фляги, но пить не стал, продолжил сдавленным голосом: — Я сделал иначе... Я уже знал тогда о жене, родителях... Дочке было полтора года... Что там моя жизнь! Кликнуть пяток добровольцев, остаться с ними, пока другие двести пробьются. Так просто... Но это простое тогда мог и Валька. Он не мог иного, того, что мог только я. Среди двухсот я оказался старшим по званию. Руководителем признали — меня, поверили — в меня, надеялись — на меня. И выручать их из беды мне надо было. Я сказал Вальке, своему последнему взводному: «Бери, Валька, любой расчет, пушку, тридцать семь снарядов, что не израсходованы, задержи танки, пока я людей и технику из окружения вызволю». Видел бы ты Валькины глаза! Но он остался, а мы пробились. Снова дрались. Мои двести потом обратно Вилкавишкис брали...— Павел потянулся через стол, подвинул к себе чей-то кожаный порттабак, подрагивающими пальцами стал скручивать папиросу. Цигарка лопнула, Павел бросил ее и выпил налитое в стакан. Подышал по-рыбьи открытым ртом, спросил: — Роман, ты бы мог так? Друга своего и еще шестерых?

— Если иного выхода нет...— неуверенно, собираясь с мыслями, начал Пятницкий.

— Но это жестоко! — вскриком перебил Еловских.

— Вся война, Павел,— жестокость.— Роман хотел сказать это мягко, успокаивающе, но фраза прозвучала

менторски нудно. Еловских вздернул голову и неприязненно уставился на Романа.

— Ты мне брось эту высокую материю. Война... Я о Вальке говорю, о бесчеловечной арифметике: семеро под гусеницами — не двести... Но я смог! Я решился на это простейшее сволочное действие! Больше не смогу. Больше на такое у меня нет сил, Роман.— Помолчал, неприязненный взгляд сменился пытливо-проникающим:— Второй раз, Роман, ты бы смог?

— Что ты мне душу вяжешь! Все зависит от обстановки. Командир обязан это делать, иначе он не командир...

Еловских сопел и разглядывал Романа хмельными глазами. Навалился ребрами на столешницу, погрозил пальцем:

— По харе вижу — сможешь... Второй, третий и пятый раз сможешь. А я — нет. Кончился во мне командир, под Вилкавишкисом дух выпустил.

— Вспомнишь своих ребят,— с надсадной тоской произнес Хасан Костяев,— горло перехватывает. А если всех вспомнить? Миллионы в земле зарыты! От такой мысли сердце не должно выдерживать, а оно выдерживает, жить велит, драться до победного конца.

Роман прикрыл глаза, вздохнул и, будто досадуя на что-то великое и мудрое, но поступающее вопреки своей сущности, продекламировал:

— «Что ела ты, земля,— ответь на мой вопрос,— что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез?» Сто лет назад написано. Сейчас слез и крови больше...

— Напишут и об этой войне, не хуже напишут,— убежденно сказал Костяев.

— Все стихотворение — две строчки,— продолжал Пятницкий,— а какая страшная картина! Будто убитые за все войны человеческой истории враз в один голос спросили. Только земля тут ни при чем. Дождями, солнцем была бы сыта, а люди кровью ее, кровью... Своей кровью. Наши потомки будут ужасаться тому, что творилось. Им мало будет наших писем, стихов, книг. Антропологи найдут способ, как из атомов распыленной под солнцем мертвой человеческой плоти воссоздать, вернуть к жизни хоть одного фронтовика, чтобы спросить его: как вы могли все это вынести и победить? Услышать свидетельство не от бессловесных, немых, бесплотных документов — от живого человека.

— Оставлю в гильзе записку,— сказал Еловских застоявшимся голосом,— чтобы меня первого воскресили.

— Не надо воскресать, Павел,— с улыбкой возразил Костяев.— Раскаешься. Из четырнадцати миллиардов нервных клеток, что имеет человеческий мозг, умственной работой мы занимаем только семь процентов. У тех, которые тебя оживят, разовьются все четырнадцать миллиардов. И будешь ты перед ними дурак дураком. Олигофрен, одним словом.

— Нет, Костяев, хоть вполглаза глянуть, что там за нашей смертью, за какие коврижки мы умирали.

В это время растворилась дверь, всунулся ординарец капитана Костяева.

— Сальников идет! — испуганно предупредил он.

— А-а, вы здесь, соколики! — голосом городничего приветствовал своих комбатов вошедший следом за бдительным солдатом капитан Сальников.— Как, голубчики, поживаете?

Толстоногий, широкогрудый, бренча расшатанными дощечками паркета, он прошел к столу, потряс одну флягу, другую.

— На который заход нацелились?

— Шабашим, товарищ капитан,— улыбнулся Костяев.— Но с вами... Галимзянов, марш за резервом!

Ординарец рванулся к двери, но Сальников вытянутой рукой преградил ему путь.

— Не надо. Мы у Сергея Павловича коньячком побаловались. На вашу сивуху теперь не потянет.

— Как хотите. Было бы предложено.

— Спасибо, Костяев. На огонек зашел. Опасение возникло — не засиделись бы.

— Напрасно вы так, товарищ капитан,— успокоил комдива Еловских.— Не у тещи, поди...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«Студебеккер» натужно гудел и спячивался. Подфарники скудно отодвигали кромешную тьму, освещая понизу корявые стволы яблонь, неухоженность садовой земли. Ветви деревьев скребли борта и брезентовый верх кузова. Под колесом что-то захрустело, машину качнуло.

Взвизгнули тормоза. Старшина Горохов, чертыхаясь, поспешил к машине и стал колотить кулаком в дверцу кабины:

— Конопатый! Чтоб тебя мама разлюбила. Куда прешь, не видишь?

Коломиец высунулся из машины, разглядел старшину и, огрызаясь вполголоса, спрыгнул на землю. Хлопнул в сердцах дверцей, пошел посмотреть, что так разволновало Тимофея Григорьевича.

— Любуйся! — кричал Горохов, тыча лучом фонаря в задние скаты. Поплясывая конусом света, показал развал мешков и ящиков.

— А, сатана вас углядит в темноте. Нашли, где каптерку...— успокаиваясь, упрекнул старшину командир отделения тяги.— Хорошо, хоть консервы давнул, мог бы вас вместе с писарем.

— Замолкни, дура коричневая,— проворчал Горохов и стал уточнять потери от содеянного Коломийцем.

Урон был невелик. Старшина, облегчая себя воркотней, сказал:

— Колька, за это безобразие я тебя «наркомовской» лишу... Спячивай сюда. Курицын сын, и вся шоферня у тебя такая...

Ориентируясь на свет машины, натыкаясь на ветви, прибежал восторженно-довольный Алеха Шимбуев. Не опуская согнутой руки, которую, чтобы не остаться без глаз, держал у лица, Алеха радостно доложил:

— Дядька Тимофей, тут изба — что надо! Совсем целая. Шесть комнат, всю батарею разместить можно. Две я досками подпер — комбату и под каптерку. Надо перетаскать шмутки.

Старшина посмотрел в ту сторону, откуда заявился Алеха. Отдаленные плотной темнотой, там изредка вспыхивали запретные огни фонарей, обрисовывая квадраты окон. Пушкари обследовали жилье, спеша приткнуться, уснуть, забыться перед новыми заботами.

— Ничего перетаскивать, Алеха, не будем. Завтра.

Шимбуев еще не все сказал о разведанном в доме.

— Дядька Тимофей, барахла-а там... Полные шкафы... Ужас. А пери-ины...

— Я те дам перины,— Тимофей Григорьевич строго посмотрел на оживленного Шимбуева.— Руки оторву по самое некуда. Видел за деревней стога соломы? Вот и тащите, лучше перин будет.

— А комбату? Тоже на соломе? — скосился Шимбуев на старшину.

— Комбату возьми две перины. И простыни две. Да смотри, чтобы стираные, а то наградишь лейтенанта фашистскими вошами.

— Что ты, дядька Тимофей, разве я без понятия,— откликнулся Шимбуев, соображая, как под командирскую марку и себе перину организовать.

— Без понятия... Понятия в тебе еще с гулькин нос. Иди давай. И смотри насчет барахла. Тут ведь люди живут, хотя и немцы. Может, сироты, у которых мы отцов поубивали. Очухаются в бегах, вернутся. Им жить надо.

— Слушаюсь, дядька Тимофей, всем накажу.

Из-за «студебеккера» появился лейтенант Пятницкий. Старшина скользнул по нему светом фонаря.

— Товарищ комбат? До-олго вас мурыжили...

— На батарее как дела? — спросил Пятницкий.

— Очень даже хороши, только никуда не годятся.

— Что-нибудь случилось? — насторожился Пятницкий.

— Нет-нет. Так я, от настроения. Колька, холера конопатая, подпортил. Жаль, гауптвахты нет, упек бы его на пару суток.

Коломиец отозвался из темноты:

— Старшина, сделай милость. Водочную пайку за месяц вперед отдам.

— Что за народ,— беспомощно помотал головой Тимофей Григорьевич.— Ты им слово, они — десять.— И стал подробнее отвечать на спрошенное Пятницким: — Не беспокойтесь, все как положено. Орудия в парке, на чурбаках. Стволы засветло с керосином продраили. Снаряды, которые лишние, Колька на склад отвез, вернулся вот, курицын сын, консервы мне... Лейтенанты — в парке. Насчет бани Семен Назарович, санинструктор, распоряжение мое получил. Спать личный состав сам уложу. Вам бы тоже лечь, после водочки-то в самый раз.

— Унюхал?

— Чего нюхать? Живые, поди, люди. Из боя ведь, офицеры к тому же. Как без водочки. Взводным вон тоже фляжку налил, выпьют с устатка.

После совещания в штабе, дружеского застолья и успокоительного доклада Тимофея Григорьевича Пятниц-

кому хотелось чего-то обыденного, простого, дурацкого. Оттянул средний палец и щелкнул им верного ординарца в лоб. Крепко щелкнул, не жалеючи. Носишко Шимбуева собрался в страдальческие морщинки.

— Так его, товарищ комбат,— одобрил Горохов.— Думал, за соломой убежал, а он тут ошивается.

— Пятеро за соломой ушли, дядька Тимофей! — рассерженно выкрикнул Шимбуев, потирая лоб.— Я комбата хотел подождать!

Грозно, как самому казалось, Пятницкий спросил Алеху:

— Сколько раз говорил, что есть старшина, а не дядька Тимофей? — Спросил и сам же ответил: — Тысячу раз. Ты мне брось эту деревенщину, пастух козий.

— Никогда пастухом не был, я комбайнер,— буркнул надутый Алеха.

— Не комбайнер, а боец Красной Армии,— продолжал увещевать Пятницкий.— Это вы, товарищ старшина, распустили их, племянников. Подтягивать надо дисциплину.

— Я стараюсь, товарищ комбат,— проникая в тайное Пятницкого, проговорил старшина.

Хотелось дурацкого, по-дурацки и получилось. Пятницкий повернулся к Шимбуеву.

— Что, больно?

— А вы думали.

— Не дуйся, до свадьбы заживет,— утешил его Пятницкий.— Сообрази поспать, с ног валит.

Стоило Пятницкому утонуть в перинах, заботливо взбитых Алехой Шимбуевым, как все закачалось, поплыло, закружилось. Блаженно улыбаясь, он успел прошептать: «Спасибо, пастух козий, разбуди в четыре» — и провалился в сладкую немоту покоя.

Говорят: уснул как убитый. Разве убитые спят? Спят живые. Убитые — это убитые, неживые, мертвые, их никогда не будет. Будут слезы о них, сохранится память о них на долгие-долгие годы, а их, бездыханных, не будет.

На перинах спал живой лейтенант, еще не убитый командир пушечной батареи, которому от роду неполных двадцать лет.

Спать бы да спать ему, отдавая пуховикам накопленную усталость. Спать каждой клеточкой, каждой жилкой, каждой кровинкой — без дум и сновидений. Но

война есть война, она не покидала Пятницкого даже на перинах.

Боль о тех, кого никогда не будет, притупили суета отхода во второй эшелон, проческа лесов от вооруженных и не сдавшихся гитлеровцев, другие заботы. Эта боль сжалась в комочек, упряталась в дальних закоулках сердца, и сейчас, во сне, она растекалась отравой по всему телу, давала о себе знать. Проступали видения в угарных потемках, мучили и в конце концов заставили Пятницкого открыть глаза, услышать, как часто и гулко стучит сердце.

За окнами голубел рассвет. Значит, поспал все же. Когда взбудораженная кровь притихла, поуспокоилась, присниввшееся стало видеться не в бредовой дымке, а так, как было,— стало видеться памятью. Пятницкий закинул сцепленные в пальцах руки за голову.

В полумраке коровника, вдоль стены — лежачий строй. На правом фланге — лейтенант Рогозин, рядом — сержант Горькавенко. Потом уж рядовые Кулешов, Сизов, Тищенко, Мишин, Огиенко, Бабьев... Как убили Сизова и Кулешова, Пятницкий не видел. В то время его самого убивали.

Орудие младшего сержанта Васина стояло у скотного сарая восточной окраины Бомбена, и то направление считалось менее опасным. Туго приходилось расчету на высотке, при штурме которой был убит Горькавенко и смертельно ранен лейтенант Рогозин, и Пятницкий чаще находился там. На этом бугре то и дело вспыхивали рукопашные. В одной из них побывал и Пятницкий.

Не первая, может, и не последняя для него рукопашная, но могла быть и последней. Когда возле огневой позиции Кольцова раздались автоматные очереди и разрывы гранат, Пятницкий, прихватив Шимбуева, поспешил туда. Возле орудия шла свалка, в которой трудно было сразу разобраться. Охваченные бешенством, пушкари теснили напавших вниз к ручью и не видели, как другая группа немцев, раскачивая их «зис», пыталась выкатить его из окопа. Немцы никак не могли смириться с тем, что их пушка, исковерканная взрывами кумулятивных «фаустов» группы Рогозина, валялась тут же, и хотели притащить взамен русскую. Пятницкий, остерегаясь повредить прицел, понизу стегануил автоматной очередью. Немцы бросили орудие и скатились под уклон. Оставив Шимбуева у пушки, Пятницкий кинулся

к другому склону, густо заросшему кустарником,— туда, где шла драка.

Удар был несильный, показалось — споткнулся в цепкой низкостелющейся заросли, но в следующий момент почувствовал, как клешнятые жесткие пальцы, нащупывая горло, в бешеной торопливости скользнули по воротнику шинели. Не знало тело Романа никакой хвори, живым и крепким было, но, видно, все же жиже замешено, чем у немца. Близость смерти взъярила, взрывчато подбросила силы ухватить пальцы, сжимавшие горло, заломить их на всю боль, освободить дыхание. Немец содрогнулся, зарычал, подтянул ногу и всей тяжестью вмял колено в подреберье Пятницкого. Не подоспей Шимбуев, быть бы сейчас Пятницкому в том лежачем строю правофланговым. Вот и не видел, как погибли в рукопашной Сизов с Кулешовым...

Вспомнил все это, и сердце зачастило снова. Роман расцепил пальцы, с мычанием потянулся и тут же испуганно вздрогнул от шершавого и мокрого прикосновения к лицу. Бросив передние лапы на кровать, нерешительно пошевеливая хвостом, на него смотрел рыжешерстый пес.

— Ах, чтоб тебя! — сгоняя испуг, громко крикнул Пятницкий.

Пес ужался и нырнул под кровать. В комнату заглянул дядька Тимофей.

— Что случилось, комбат? Или во сне поблазнило? — спросил он.

Пятницкий усмехнулся, качнул пяткой под кровать.

— Посмотри там.

Горохов прошлепал босыми ногами по крашеному полу, присел. Пришел и Шимбуев — любопытно было, чего это старшина помчался в комнату комбата в одних подштанниках. Стоя на коленях, Горохов заломил на него голову, спросил ехидно:

— Алешка, как же так? Уложил комбата, а под кровать не посмотрел. Там же немец живой.

— Чего буровишь? — вылупил глаза Шимбуев.— Никого там не было, смотрел я.

Потревоженный старшиной, худой большеголовый недопес немецкой овчарки, поскуливая, отполз в дальний угол.

— Как попала сюда эта тварь? — возмутился Шимбуев.

— У тебя надо спросить, тетеря бесхвостая. Вот сниму с ординарцев, определю на кухню вместо Бабьева,— напустился на Алеху сердитый Тимофей Григорьевич.

Злость дядьки Тимофея Алеха переадресовал собаке.

— У-у, какая зверюга. Она покусала вас, товарищ комбат?

Тимофей Григорьевич сел рядом с собакой, стал поглаживать с причитанием:

— Песик, дурашка, сиротинка животная...

— Дядька Тимофей,— испуганно предостерег Шимбуев,— смотри, цапнет!

— Ты в уме? Щенок еще.

— Хорош щеночек. С теленка,— все никак не мог настроиться Алеха на дружелюбное к собаке.

Старшина задрал голову, показал непробритую шею, прошипел сердито:

— Уйди со своим настроением, не действуй на собачонку.

Пятницкий, застегивая нижнюю рубашку, строго остановил Шимбуева:

— Почему не разбудил как велено? — И к старшине: — А вы? Пользуетесь, что комбат дрыхнет. Где баня? Кто людей мыть будет?

Тимофей Григорьевич поднялся, колыхнул брюшком, соединил голые пятки и послушно ответил:

— Сейчас все будет сделано.

Добродушно морща губы, он вышел.

Подавая Пятницкому гимнастерку, Шимбуев укоризненно сказал:

— Дядька Тимофей только что прилег. Всю ночь с Липатовым возились, сделали в этом... Ну, где свиньям жратву варят. Выскоблили, соломы настелили. Фрицы, наверное, в корытах моются, ни одной бани в деревне. Свою сделали. Хорошая баня получилась. Хозотделение и взвод управления уже моются. Вон, слышите? Визжат, может, чего поросячьего налопались.

Пятницкий прислушался. Восторженный стон, хохот, уханье, тонкое прерывистое повизгивание, смачные шлепки по мокрым ягодицам... Разделяя голоса, Пятницкий с душевной болью отличал девчоночье повизгивание повара Бабьева, гулкий, как в бочку, хохот Горькавенко, певучие картавинки Сизова... Но тут надсадный, с задыхом, подвизг замученного щекоткой сменился безоста-

новочной матерной бранью — и сгинули голоса мертвых. Пятницкий, окончательно отгоняя наваждение, больно потер лицо и явственно услышал Васина в его нетленном репертуаре, Липатова с подвальным уханьем, Женю Савушкина с заливистым голоском...

Пятницкий глянул в окно, увидел старшину Горохова, который, хлябая надернутыми на босу ногу сапогами, тащил узел с бельем, и ощутил неприятную подавленность своей неправотой. Принимая гимнастерку, заметил свежий подворотничок. С повинной расположенностью обнял ординарца.

— Спасибо, Алеха, за заботу твою. За немца того — особо.

— Нашли о чем вспоминать,— отмахнулся растроганный Шимбуев.

— ...ревела бы сейчас Настенька, умывалась слезами...

Шимбуев посмотрел на затосковавшего комбата и, проникаясь состраданием, спросил:

— Карточку покажете?

Роман вспомнил заплаканное лицо Настеньки, ее теплые руки с протянутой фотографией. Фотографию она держала так, как держали икону в старину, благословляя уходящих на войну служивых.

— Я тут плохо вышла,— говорила она,— никому не показывай. Только для тебя.

Вспомнив это, грустно ответил Шимбуеву:

— Настенька не любит, когда на нее посторонние смотрят.

Алеха растерянно помигал, вернулся к своим обязанностям:

— Сейчас умыться принесу, потом завтракать. Коломиец из ПФС кое-что трофейного прихватил. У него земляк там.

Высказав это, Шимбуев проворно покинул спальню Пятницкого.

Разглядывая себя в не выпавшем из рамы клинышке разбитого зеркала, криво висевшего на стене, увидел позади поднятую в любопытной настороженности морду потревоженной и забытой теперь собаки. Она лежала на прежнем месте и присматривалась к происходящему.

В жизни Романа был один-единственный четвероногий дружок — Бобик, дворняжка, хвост крендельком. Завел, кажется, в девятом классе. На книжку выменял.

Еще в училище написали из дома, что окривел Бобик. Кто-то вышиб глаз палкой. Позже собачники поймали на петлю из проволоки. Как давно это было! Сто лет назад.

Пятницкий перебирал шерсть за ухом покорно лежащего пса — исхудавшего, шейные позвонки как трубка противогазиая — и разговаривал с ним:

— Что, набрался страху, как я завопил? То-то, не лезь в постель, не лижись... Сколько же тебе месяцев? Три? Пять? Где хозяева? Нас испугались, удрали? Как тебя звать? Бобик, Шарик? Кабыздох? Э-эх ты...

Пятиицкий подиялся. Встал и пес. Хо-орош пес! Подкормить — матерый вырастет.

Вернулся Тимофей Григорьевич.

— Идемте завтракать, товарищ комбат. Шимбуев стол изладил, как в ресторане. Где только видел такое, мамкин сын. Вилку, говорит, слева, ножик — справа...

Перехватив направленный иа собаку взгляд Пятиицкого, Тимофей Григорьевич потер переиосицу. В самый раз бы скуластому лейтенанту с собачкой возиться, книжки читать, с девчонками обниматься, а он — подумать только! — батареей командует, дивизионом стрелять доверяют. Шутка ли, сидеть под носом у немцев и бить по иим из орудий, которые черт знает где! Такое иа финской повидал, но думал, что это под силу только тем, у кого ромбы в петлицах...

— Командирам взводов сказали про завтрак? — спросил Пятницкий.

— Младший лейтенант Коркин придет, а новенький заият. Просит туда принести. Кабель перематывают, побитого да голого много... Пойдемте. Собаку не хотите оставлять? Забирайте с собой.

— Дайте ваш ремешок,— кивнул Пятницкий на потертую до кирпичиого цвета кобуру Горохова.

Тимофей Григорьевич, привыкший к нагаиу еще по работе в заводской охране, а потом на фииской войне, ие захотел иметь другое оружие и теперь иосил эту древность в кобуре из толстой кожи, пристегнув рукоятку к кольцу иа командирском ремне. Старшина отцепил карабинчики, подал ремешок Пятницкому.

— Это правильно, у него ошейник есть.

Пятницкий защелкиул пружинящий крючок за колечко ошейиика, потяиул собаку к дверям.

— Пойдем, песик, пойдем. По-русски не понимаешь? Ну, ком, ком, коммен... Пойдем, зиачит.

— Нихт ферштеен кобелек,— засмеялся Горохов и поманил щенка: — Иди сюда, иди, собачка. Ком... Комка ты, Комка... Глядите-ко, хвостом завилял, на Комку отзывается...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Даже не верилось — десять километров от передовой! В бане отменно помылся, отоспался, кинопередвижка приезжала, в сарае для ансамбля помост сколачивают, военторг торгует, гимнастерку можно ушить у портного, сапожник молотком постукивает... Курорт, да и только! Правда, со временем не как на курорте — успевай поворачиваться. Артмастер Васин, с утра и до ночи хлопотавший со своими и не своими пушками, так обстановку обрисовал:

— Как у той хозяйки поутру: печку топить надо, корова недоена, квашня убежала, поросята голодные, ребенок обмарался и сама ... хочу.

Туго было со временем. Все же в полдень вырвался из артмастерской, чтобы кое-что сверх запланированного сделать. Три письма написал родным погибших, в медпункт сбегал окалину из глаза убрать.

Алеха Шимбуев, вернувшийся со склада ГСМ, куда ездил с Коломийцем получать горючее, прибежал к Пятницкому с потрясшей его новостью.

— Товарищ комбат, в те хаты немцы заселились! — ошеломленно сообщил он.— Старики, бабы с ребятишками!

— Ну и что из того? — охладил его равнодушием Пятницкий.

— Дык, интересно...

Пятницкий пожал плечами. Что интересного в том, что в дома на отшибе, полуразрушенные и потому оставленные солдатами без внимания, немецкое население вернулось? Подумал так и понял: весть и для него любопытная, и тут же побеспокоился о собаке. Может, хозяева заявились, а нет — кому другому песика оставить. Не велика беда, если отлучится на короткое время.

Шимбуев беспокойно ждал, что решит комбат. Пятницкий сказал:

— Сходи за Комкой, прихвати у старшины булку хлеба.

Шимбуев скособочил голову — чего это комбат удумал? — спросил:

— Немцев, что ли, кормить?

— Иди и делай, что сказано,— насупился Пятницкий.

По дороге к старшине, когда остался один, Алеха бурчал:

— Я бы накормил их чем... Нашел бы чем...

Комка шел без поводка. Роман с огорчением подумал: узнает кого — сразу убежит. Пес кружился в придорожных кустах, побегал за рано отогревшейся бабочкой-крапивницей, игриво полаял в чью-то нору, поскреб ее лапами.

Ближний дом, множество раз продырявленный войной, был пуст, из второго пулей вылетела девчонка лет восьми. Оглядываясь, насмерть перепуганная, она скрылась в сарае. Это было длинное строение из кирпичей, связанных бревнами-крестовинами, напоминавшее наши амбары. Оно уцелело более других. Только пробоина под стрехой, да черепица кое-где пообсыпалась.

Как амбар по-ихнему? Шуппен, кажется. Нет, шуппен — сарай вроде бы. Амбар как-то иначе. Попытка поворошить свои знания немецкого раздражила Пятницкого. Какие там знания, мусор один!

Вошли в дверь, за которой исчезла девчонка. Хоть и подняла она там тревогу, запереться не посмели. Заскрипела пересохшая дверь, пропустила Пятницкого с Алехой. В помещении с устоявшимся запахом мякины был полумрак. Присмотревшись, Пятницкий раздраженно подумал: зачем приперся? Что тут делать? О чем с ними говорить? Сидят вдоль противоположной стены — на узлах, на чемоданах, на тележках в четыре колеса. Морщинистые, усохшие старики и старухи, в глазах — один смертный ужас. За спинами старух и под тряпьем укрылись ребятишки. И у них на лицах страх взрослых. По той же причине — от страха — нет здесь ни девок, ни женщин молодых. Как же! «Русские иваны насилуют всех, потом расстреливают».

Сказать или не сказать ихнее «гутен таг»? Что-что, а это Роман помнил, на каждом уроке немецкого языка, встречая учительницу, гудел эту фразу в нос. Сказать — вроде бы глупо получится. Экий джентльмен явился! Ладно, если бы после приветствия поговорил о чем. Ведь как рыба молчать будешь. Так что и сейчас помолчи...

Комка, вняяя хвостом, подбежал к немчуренку, тот — в рев, так зашелся, вот-вот задохнется. От этого рева немцы еще больше оцепенели. Комка тоже труса сыграл — поджал хвост н вылетел вон.

Небритый, гунявый старнк — кожа да костн — поднялся при появлеиии русских сразу и стоял теперь истукаиом. Из столбияка его вывел рев ребеика. Подрожал отвнслымн щеками, для иачала, как пароль, прошамкал: «Гнтлер капут» — и стал тыкать себя пальцем в грудь:

— Русскн плен... Говорить кляйн слофф... малё...

Такая покориость, такая угодливость на лимоином дряблом лице — плюнуть хотелось.

— Не знаете, чья это собака? — кивнул Пятницкий на дверь, за которой скрылся Комка.— Кто хозяии? Здесь нет его?

— О, хуид! Найн хозянн. Хаус... Дом ист Шталлупеиен.

Эвои откуда! Почтн у самой границы с Литвой.

— Чего бежали-то? Геббельс уговорил?

Видно, только Геббельса и поиял старик, поспешил на всякий случай, как и от фюрера, откреститься:

— Капут Геббельс. Швайн Геббельс!

Вот это старик! Свииьей иазвал Геббельса.

— Голодные, подн? Есть хотнте? Брот, кнндер, ессеи.

Старик испуганио помнгал воспалениыми веками, втянул черепашью шею.

— Герр оффицнр, найн брот... Вир хюнгери...

Не совался бы ты, Пятницкий, со своим немецким! Этот ветхий пеиь еще подумает, что ребятишек с хлебом съесть хочешь. Не стал больше Роман нскушать себя иемецким языком, взял у Шимбуева из-под мышки буханку, сунул старнку в руки.

— Детей покормите. Книдер, ферштейи? — порубил ладоиью воздух иа частн, потыкал пальцем на ребятишек, дескать, на них поделнть надо. Резко повернулся и, зло возбуждеиный, вышел. С отвращеиием вспомиил свою школу. Несправедливо, конечио,— всю школу, но кое-что в ией ииого и не заслуживает. С бешеиством спросил Шимбуева:

— Алеха, здорово я по-немецки говорю?

— Да уж куда с добром,— с подозрительной интоиацией ответнл Шимбуев.

— Ты что, в способностях комбата сомневаешься?

Так слушай: перфект, имперфект, плюсквамперфект, номинатив, аккузатив... Во, а ты...

— Ну и поговорили бы. Чего вас из сарая как ветром выдуло?

— Страсть какой ты невоспитанный. Не веришь, грубишь начальству...

Довольный, что сумел задеть лейтенанта, Шимбуев кривил губы в усмешке. Пятницкий все еще не мог успокоиться, шел быстро и рассерженно. Подумать только, с пятого класса немецкий язык учил, по два часа в шестидневку, да домой задавали. Сколько же это получается? Имперфект, генитив... Подавились бы этими спряжениями да склонениями. Десять слов к уроку! Назубок! Под страхом исключения из школы! И не надо бы ничего больше. Без спряжения, в одном падеже. Умный поймет, а с дураком и говорить нечего. Через шесть лет... Подсчитал, сколько учебных часов в году, умножил на шесть, повернулся к Шимбуеву.

— Алеха, таблицу умножения помнишь?

Шимбуев даже остановился.

— Комбат, я уже думал однажды, что у вас клепка выпала, больно вопросы-то... Как с печки шлепнулись.

— Помнишь или нет?

— На хрена мне таблица, без нее сосчитаю.

— Тогда считай: шесть раз по восемьдесят одному, да на десять умножить.

— Четыре тысячи восемьсот шестьдесят,— без промедления отчеканил Шимбуев.

Пятницкий подозрительно посмотрел на Шимбуева, наморщил лоб, проверил подсчет.

— Точно. Ты это как так?

— А я знаю? Сосчиталось, и все.

— Ты кто? Пифагор? Лобачевский? Софья Ковалевская?

— Честное слово, комбат, у вас с головой неладно. Бабу еще приплел. Шимбуев я! — ухмылялся Алеха.

— Странно... Зря тебя из училища под зад коленом... Ладно, Алеха,— отложил Роман свое удивление на потом.— При моей системе обучения я мог бы знать сейчас четыре тысячи восемьсот шестьдесят немецких слов, а я не знаю. И плюсквамперфект ни в зуб ногой... Дурак дураком перед этим плешивым пнем. Срамота!

— Значит, батька драл вас мало. Меня вон драли, как сидорову козу, потому не дурак и считаю быстро.

Пятницкий от души захохотал, испугал собаку и, верный себе, тут же весь удар перенес на собственную персону: на самом деле, лупить надо было. Не так учили, видите ли, не то учили... Сам-то что? Каким местом думал?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Раздосадованный Пятницкий заперся с Курловичем в своей комнате. Курлович давно поджидал его с актами на списание израсходованных снарядов, автоматных патронов, гранат, горючего, обмундирования, закопанного вместе с убитыми.

В дверь постучали.

— Войдите,— недовольно отозвался Пятницкий.

Вошел старшина Горохов. Козырнул, подарил комбату улыбку самого большого калибра.

— Пополнение привел, товарищ комбат! — стукнув сапогами, радостно доложил он.

Пятницкий засобирался незнамо куда, поправил под ремнем складки, застегнул ворот.

— Много?

— Девять человек.

Пятницкий было потускнел, но что делать. В голой степи, говорят, и жук — мясо. При его бедности и девять человек — великое дело. Спросил Тимофея Григорьевича, где сейчас вновь прибывшие.

— Тут, у крылечка. Приказал вас обождать.

— Стройте, сейчас буду. Хотя... Вот что, Тимофей Григорьевич. Соберите всех, кто поблизости,— и сюда, вместе с новичками. Будем знакомиться.

— Тех, что кабель проверяют, звать? — обеспокоился старшина.

— Их не трогайте. Передайте, чтобы сильно рваный не мотали. Новый обещали, немецкий.

Пополнение присылали и раньше, не без этого. Одного-двух для затыкания прорех в некомплекте, успевал перекинуться парой слов — и все. Остальное на командиров взводов перекладывал. Распивать чаи на передовой комбату негде и некогда. А сегодня... Сегодня все условия посидеть в помещении, по которому едва ли ударит снаряд, поговорить, сколько время позволит, всей солдат-

ской артелью щец похлебать... Потом, когда люди в шинелях, все равио что в бане, хотя и ие голые. Поди разгляди, кто и что из иих зиачит. А тут ордеиа, иашивки красные и желтые — вся биография иа гимиастерке. Правильиее оцеият друг друга, сойдутся быстрее.

Ромаи мельком покосился иа свою гимиастерку, где с иедавиих пор рядом с Красиой Звездой хватко угиездился ордеи Алексаидра Невского. Таиться, что ли? Не вороваи, поди...

Невелика у Пятиицкого батарея после боев, к тому же часть людей иа различиых работах. Поэтому комиата с иетроиутой обстаиовкой бежавших хозяёв, где расположился старшииа с каптеркой и спал Шимбуев, вместила всех. Те, кого Горохову удалось собрать, вошли с иаполиеииыми котелками. Расположились иа подокоииках, иа ящиках с коисервами и коицеитратами, а то и просто иа полу. Шимбуев возиамерился было сиабдить комбата тарелкой пошикариее, полез в посудиый шкаф, ио передумал. Догадливый малый проявил доморощеииую тоикость: выставил перед Пятиицким котелок, ложку вытер о подол гимиастерки.

Народ разиошерстиый. Трое, судя по выправке и иедавио шитому обмуидироваиию,— из запасиого полка, последиий призыв, остальиые, пожалуй, из госпиталей: постарше этих трех, пожившие. Лесеики иашивок за раиеиия, медали. Да и с лиц еще ие стерлось сожалеиие об утрачеиiом госпитальиом, пусть отиосительиом, ио покое. Поэтому показались увалистей и леиивей других. Пятиицкий не спешил поддаваться иачальиому впечатлеиию, оио зачастую обмаичиво.

Троица из запполка, похоже, побывала в руках хорошего служаки, вои какие вышколеииые. Ну, а эти? Тот, что примостился иа ящике, сдается, казах. В косых щелочках век — зеркальио-бурые и быстрые глаза, а усы... Такую черноту редко встретишь в природе. И ие медаль у Ходжикова, как показалось виачале, а ордеи Славы. Рядом с иим — толстоиогий, с гиевиыми складками на лице. Две полоски за раиеиия. Крутилев вроде бы. Долговязый, сидящий иа мешке, хмурится что-то, иа сапоги поглядывает, пошевеливает ими. Обмуидироваиие ие по комплекции, а сапоги жмут. Не забыть сказать Тимофею Григорьевичу, а то куда ои в каидалах этих.

Глянул на четвертого, и к сердцу будто мягкое тепло прикоснулось. До чего же доброе, радостное лицо, столько в нем желания сказать хорошее, сделать что-то приятное. Пятницкий залюбовался солдатом и неожиданно спросил:

— Чему радуетесь, Мамонов? Так ваша фамилия, я не ошибся?

— Верно, товарищ лейтенант. Петром Ивановичем звать. А радуюсь... Письмо от жены получил, поклон от всей деревни. Даже неловко. Конечно, когда ты хорошо к людям, то и они к тебе...

Мамонов смутился. Пушкари — те, что от Гумбиннена с Пятницким, и те, что сегодня прибыли,— повернули к нему головы. Женя Савушкин, уже видевший в Мамонове нового хорошего приятеля, задрал подбородок, смотрит, в щелке рта белизна влажных зубов виднеется.

— Вы не смущайтесь, Петр Иванович,— подбодрил Пятницкий.

— Видите ли, товарищ лейтенант... Если бы я трактор или пару лошадей... Для колхоза бы заметно, а то иголки какие-то...

Мамонов рассказал, что на всю их деревню одна иголка осталась, да и та заточенная. Маруся, жена, написала ему об этом в госпиталь, поделилась горем. Выручила медсестра: раздобыла два пакетика трофейных иголок, вложила в письмо Мамонова с запиской: «Товарищи из цензуры! Сделайте, чтобы драгоценный подарок дошел до супруги отважного солдата Мамонова, пролившего кровь в боях с немецко-фашистскими захватчиками». И подписалась: «Медсестра Маша». Получила жена подарок, теперь вот сообщает, что в каждую избу по иголке досталось.

— Раздала! — ахнул кто-то изумленно.— Дура твоя жена. Шалава какая... Я бы ей раздал...

Все уставились на мясистого и дряблого рядового Гарусова, сидевшего рядом с Васиным на сеннике старшины. Он кривился и поматывал головой. Женя Савушкин настолько оторопел, что соображать перестал, не знает, как отнестись к случившемуся. Васин знал как: прочно ухватил Гарусова пальцами-тисками за мочку уха, подтянул к себе, тихо сказал что-то. Гарусов зажал опаленное ухо, продудел не очень воинственно:

— Видали мы таких учителей.

Пятннцкнй нахмурился. Откуда такой? Вот уж верно — не было печали...

Не стал смотреть иа Гарусова, улыбнулся Мамоиову, сказал, чтобы все слышалн:

— Молодчина ваша жеиа, Петр Ивановнч! Бесценная жеищина, умиица!

Эта похвала еще больше задела Гарусова. И лейтенаит туда же! Фыркнув, Гарусов заворочался на сеннике и, увидев рядом с лейтенаитом собаку, озарился ядовитой улыбкой. Комка терся о ногн Пятиицкого, подкидывал лапы, безбольно хватал пастью руку, прнпадал мордой к полу н ие знал, что еще надо сделать, чтобы вымаиить хозяина нз переполиеиной людьмн комиаты.

Гарусов поймал взгляд Пятницкого, спросил нагловато:

— Что, с собачками воюем?

Васин сунулся к Гарусову с разъясиеииями, помянул сто редек. Шнмбуев исподтншка показал кулак. Гарусов сквозь зубы вытолкнул похабиое. Старшииа Горохов перегляиулся с парторгом Кольцовым — еще этого им ие хватало!

— Тнхо! — властио прнкрикнул Пятннцкий н повернулся к Гарусову: — Не с собачкамн, с фашнстамн воюем, рядовой Гарусов. Вы откуда прибыли?

— Я-то? Из запасного полка.

— Вставать надо, когда с командиром говорнте, товарищ боец.

Гарусов поспешио подиялся, иеумело поправнл ремень.

— Специальиость?

— Телефонист, товарнщ комаидир.

— Это хорошо, Гарусов. Рад. Телефоиисты очеиь иужны. Пойдете в отделение сержанта Липцева.

Из запасиого полка оказалась и тронца в иовом обмундироваиии. Как однн — огиевикн. Тому, белобрысому, восемнадцать, другнм восемиадцать нсполннтся в этом году: одному летом, другому — осенью.

Особенно порадовалн четверо, успевшие июхиуть пороху. Ходжиков воюет второй год, дважды ранеи. Кроме Славы еще н Красной Звездой иагражден, но не получил. Размииулся с выпиской из Указа: оиа в госпнталь, он — оттуда.

После ухода солдат в комнате Пятннцкого остался

сержант Кольцов. Пятницкий догадался, почему задержался парторг батареи.

— О Гарусове, что ли? — спросил бодро.— Зря беспокоишься. Костяк у нас здоровый, обстругается.

— Не обстругается — обстругаем,— сказал Кольцов.— Поговорить, комбат, надо. В нашу группу еще двое добавились — Мамонов и Ходжиков.

— Заработался, из головы вон, что в батарее секретарь партячейки есть. Извини, Михаил Федорович.

— Собраться бы вечерком. Теперь нас опять семеро. Парторг дивизиона обещался прийти.

Роман подосадовал, что самому не пришло на ум собраться. Поговорить действительно надо, непременно надо. Батарея — не взвод, тут у командира задачек побольше, будь голова хоть с котел — один не решишь. А задачки с такими действиями, что ни приказ, ни авторитет звания и должности не помогут.

От самой границы цивильных не видели, теперь население стало попадаться. Какое требуется с ними обращение? У одних на сердце столько скопилось, что не в силах прощать никому, другие, напротив,— очень отходчивы, готовы во всю ширь распахнуть свою русскую душу. Вчера из прочесанного леса вышел один. Нашел скрадок, отсиживался, ждал, пока русские из деревни уйдут. Голод вытолкнул. Вот его бы за несдачу в самый раз к стенке, а славянам весело: какой худющий, какой заросший. Откармливать начали, парикмахер нашелся, собрался побрить несчастненького.

О гражданских и говорить нечего. Славяне готовы свой паек отдать. Эти цивильные быстро нос по ветру настроили. Осмотрелись, воспряли. Прут с мисками прямо к солдатским кухням. Своего гражданского, будь это где-то в России, на ружейный выстрел не подпустили бы к расположению воинской части, а тут...

Барахло это самое в пустующих домах... Коли брошено — взять можно. Брали. На портянки, на ветошь для чистки пушек. А тут разрешили посылки с фронта родным — раздетым да разутым за время войны, истощавшим на карточной системе. Что в посылку положишь? Барахло это? Противно же, унизительно...

Порассуждали вот так кандидат партии Пятницкий и член ВКП(б) с тридцать пятого Кольцов и спросили друг друга: как тут быть?

Пятницкий сидел хмурый, озабоченный. Жестко по-

смотрел на Кольцова и сказал непреклонным голосом:

— Будет кто из шкафов тащить — под суд отдам! Глазом не моргну!

— Где же выход? — мягко спросил Кольцов.

— Пойду в полк к замполиту, к самому Варламову! Есть же трофеи. Государственные склады, скажем... Пусть выделяют для солдат. Уйдем на передовую, эти трофеи до рядового Ивана вряд ли дойдут, начнут хапать по домам. Навоюем тогда...

— Сходите,— поддержал Кольцов.— Я с парторгом полка поговорю. Есть еще одна штука... Вчера огневики первого взвода клад в огороде нашли. Связки отрезов, новые костюмы, платья...

Пятницкий от коварного сообщения нащурился на Кольцова, спросил язвительно:

— Какой это, к черту, клад, Михаил Федорович?

— В земле — значит, клад,— усмехнулся Кольцов.

Пятницкий перестал пытливо разглядывать Кольцова, ухмыльнулся.

— Клад, говоришь? Ну, а что в недрах земли — достояние народа. Здесь народ — победившая армия.

— О чем разговор, комбат. Мы не возьмем — трофейщики заприходуют, на склады свезут.

— За мой компромисс ухватился? Ладно, Михаил Федорович. Посмотрим, как другие коммунисты рассудят.

Было о чем поговорить, о чем посоветоваться. Взять хотя бы тот недавний случай. Встретили группу женщин, угнанных гитлеровцами в Германию. Как ее? Маруся, кажется... У Мамонова жена — Маруся, госпитальная сестра — Маруся, и эта, из-под Минска, тоже Маруся. Кругом Маруси... Беременная эта Маруся. У бауэра работала. Туда же время от времени пленных пригоняли. Ослабела Маруся перед полоненным матросиком. А тут один долдон — освободитель называется! — пристал, поганец: от немца да от немца. От фрица, говорит, прижила. Если и от немца, то что? Ну, скажи, лейтенант Пятницкий. Или ты, парторг Кольцов...

Только вышел Кольцов, заявился Гарусов.

— Разрешите обратиться, товарищ командир.

— Слушаю. Садитесь, чего нам стоять,— сказал Пятницкий.

Солидно-тяжелый Гарусов улыбнулся в ответ, взял у стены стул. Бескровные десна и мелкие, с интервалом, почернелые зубы в изъединах мешали понять смысл этой улыбки.

— Боюсь, командир, что буду плохим телефонистом. Надо катушки таскать, по линии бегать. Какой из меня бегальщик, я ведь конторский работник. Полегче бы куда,— Гарусов поерзал пухлыми пальцами по коленкам.

Пятницкий с оторопелым удивлением пособображал над тем, что услышал, но заговорил о другом — не о том, что хотелось Гарусову:

— Скажите, Гарусов, что произошло, что вы там с бойцами?

— Ничего особенного, товарищ командир. Я сказал что-то, они тоже. Бывает же... Я вот насчет...

— Насчет полегче? А как — полегче? — весело удивился Пятницкий.— На войне нет легкого. Катушки таскать, по линии бегать — это не все, товарищ Гарусов. Война многое другое заставит. Окопы, например, рыть. Как остановились — берись за лопату, выкопал себе в полный рост — огневикам беги помогать. Им не только для себя в полный рост, для пушек чуть не котлован надо, для снарядов ровики с нишами. Да разве одно это. Ведь война, товарищ Гарусов, фронт, люди гибнут. В любой должности надо солдатом быть — стрелять, ходить в атаку... Вы больны, Гарусов? У вас ограниченная годность?

— Да нет, болел, потом ничего, призвали вот...

Ну что, лейтенант Пятницкий, скажи что-нибудь, посочувствуй, пожалей, должность, наконец, найди без рытья окопов, без стрельбы и опасности. Вон как у тебя сердце-то обливается, глядя на бедненького товарища Гарусова. А может, подумаешь немного да в роту Игната Пахомова уйти посоветуешь — на должность солдата Боровкова, которого одиннадцать раз ранило, а в двенадцатый подло — насмерть. Чем Гарусов хуже его? И моложе, и бодрее выглядит, и ран на теле нет.

Разбередив больное, Пятницкий сказал все же спокойно:

— Разве могут быть на фронте вольготные должности? Нет их, товарищ Гарусов.

Гарусов поднял на Пятницкого усталый, упрямо-недружелюбный взгляд, проснпел осевшим голосом:

— Я не говорю — вольготных. Просто полегче. Мог бы при вас состоять вместо этого... Или писарем.— Он для чего-то поднес руку к лицу, посмотрел на заросшие волосами пальцы.

— Ах, вот оно что! — снова весело задело Пятницкого.— Вместо Алехи Шимбуева? Тут, понимаете, заблуж-

дение какое-то, Гарусов. Ординарец командира батареи должен быть разведчиком номер один, лучшим нз всех. Он спит меньше другнх, а ходит в десять раз больше. Он обязан отлично читать карту, владеть оптическнми приборами, рацией, корректнровать артиллерийскнй огонь. Вы умеете работать с картой? Вот вндите. Только такие, как Шимбуев, имеют право «состоять» прн командире. Вы понимаете, что в этом смысле вам с Шимбуевым не потягаться, вне конкуренции Алеха Шимбуев. Что касается котелка каши для командира или умыться принести... Алеха Шнмбуев разумный пареиь и понимает, что у командира не всегда бывает время не только сходить за кашей, но и проглотить ее. Пнсарем? Курлович охотио уступил бы вам это место, да я не соглашусь. У Курловича глаза нет. Вернее, глаз есть, только... Заставь защурить здоровый, он другнм таракана в миске не увидит, съест таракана. Вот, а комнссоваться отказывается. Да н писарь он постольку-поскольку, чаще в орудийном расчете, бумаги в затишье между боями составляет. Вы зиаете, сколько убито в последнем бою? Вот какие пироги, товарнщ Гарусов.

Гарусов сопел, обтнрал шапкой лоб н поводил взглядом из угла в угол.

— Так ладио, я пойду,— прохрнпел он. Лицо его набрякло, сделалось серым.

— Идите, Гарусов. Липцев заждался, подн. У него в отделении всего два связиста осталось. Липцев толковый связист, многому у него научитесь.

Шаркая ногами, Гарусов направился к выходу. Глядя ему в спину, Пятницкий все же ие выдержал, посочувствовал далеко не молодому, ие очень-то бодрому телом и духом солдату. На самом деле, какой из иего связист. Сам мучиться будет и других измучает. Что за умник прислал его сюда! Санитаром в госпиталь, на склад армейский... Мало ли должиостей для такнх. И характерец у Гарусова, как видио, ие хлеб с повидлом. Не успел котелка каши с ребятами съесть, а намутил, неразумный.

На улице взвизгнула собака, жалостно заскулила. Чуть погодя вошел Шнмбуев — взъерошеный, заикается. Так и прет из Алехн — ругнуться, да как тут при комбате ругнешься. Выдавил сквозь зубы:

— Вот паскуда, иадо же, какая паскуда...

— Ты чего, с нарезки слетел? — чуя неладиое, спросил Пятиицкий.

— Этот бугай, новенький. Не в настроении от вас... Пнул собаку ни за что ни про что.

«К черту,— внутренне вскипел Пятницкий,— на кой мне ляд такой психованный. Пусть забирают обратно, хоть на кудыкину гору. Без него обойдусь».

Утром следующего дня, готовый к маршу на новый участок фронта, артиллерийский полк вытянулся колонной вдоль шоссе. Вернувшись из штаба дивизиона с нужными указаниями, Пятницкий присел на ребристую подножку машины Коломийца. Набегавшийся Комка притулился к голенищу сапога, дремал, не ведая, какую простую в общем-то и совсем не простую в частности решает задачу его новый и добрый хозяин. Русский он или немец — не собачьего ума дело. Брошенного, голодного, его обласкал этот человек, накормил, дал имя, которое чем-то связывает с незабытым прошлым. Это — главное, об остальном Комка не хотел и не умел думать. А Роман Пятницкий думал, хотя и не хотел думать. До щемящей тоски жалко оставлять собаку. Взять с собой? Куда? Как? Что потом?

Командир отделения тяги Коломиец высунул конопатую голову из кабины и, будто читая мысли комбата, сказал:

— Поскулит-поскулит и перестанет. Прибьется к кому-нибудь. Вон фрицевы бабы из бегов стали возвращаться...

Пятницкий молчал, понимая правильность сказанного. Но когда уже тронулись в путь, он долго не решался посмотреть на плывущую назад правую обочину. И не посмотрел бы, да Коломиец с ласковой горечью выдохнул:

— Не отстает, паршивец.

Роман сделал над собой усилие и повернул голову. Затеснило в груди. Комка, вывалив язык, шел большими скачками. Когда машина набирала скорость, он отставал, скрывался из виду, но стоило замешкаться колонне — снова нагонял, кося морду влево. Из кузовов что-то кричали ему, а он все пластал и пластал над жухлой прошлогодней травой свое поджарое тело.

Пятницкий готов был остановить машину, подобрать собаку, но откуда-то сзади, может, через машину, через две, протрещала длинная автоматная очередь. Комка за-

пнулся об этот треск, ударился о землю, перевернулся с лета два раза и потерялся за кустарником.

— Останови! — вскричал Пятницкий и схватился за баранку. Машина вильнула, Коломиец с усилием выправил ее, оттолкнул руку Пятницкого.

— Комбат, образумься, мы же в колонне.

Пятницкий обмяк, обессиленно откинулся на спинку сиденья.

— Кто, кто посмел?

Коломиец рассерженно повторил за комбатом:

— Кто-кто... Кроме Гарусова — кто еще мог?

Пятницкий с Кольцовым шли следом за Шимбуевым, который уже побывал на КП батальона. Вспаханное с осени, не успевшее затраветь поле парило под начинающим припекать солнцем. Ноги скользили на отталости, как на арбузных корках, кожа зудела от пота. Пятницкий оглянулся на приотставших связистов. Согнувшись под тяжестью рации, размеренно шел командир отделения связи Липцев, улыбаясь, мурлыкал что-то Женя Савушкин, следом пыхтел Гарусов. За его спиной, распуская кабель, поскрипывала в станке катушка.

Шли наизволок. За бесконечно вытянувшимся по горизонту гребнем возвышенности погромыхивал самый передний край войны. Потом уже начнется — Роман знал это — спуск к морю: на вновь подклеенном листе карты краешек был голубым. Нет-нет да посвистывали малосильные на излете пули, в стороне лопнули две сдуру залетевшие мины. Пятницкий крикнул, чтобы не скучивались, и ускорил шаг, даже пробежал немного. Он бы и дальше бежал, но остановил раздавшийся позади запоздалый вскрик. Оглянулся. Гарусов, трясясь, постанывая, скидывал станок с кабелем. Швырнул в грязь, сел на него и обхватил руками толстую голень. Лицо солдата лоснилось от пота. Охая и стеная, Гарусов покачивался и смотрел на пропитывающую материю кровь. Она красила пальцы заволосатевших с тыл рук. Пачкаясь в липком, сержант Кольцов распорол штанину и сердито успокоил:

— Да не стони ты. В мякоть же. И неглубоко засела.

Гарусова перевязали. Пятницкий подозвал Шимбуева, распорядился:

— Проводи до медпункта, мы тут сами доберемся.

Гарусов поспешно оборонился:

— Не надо, я дойду. Я знаю куда.

Чего это он шарахнулся от Шимбуева? За автоматную очередь по собаке побаивается?

Непредвиденная задержка заставила спешить. Неподалеку от пехотного КП Шимбуев проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Войне вот-вот конец... Прокантуется в госпитале, потом будет ходить пузой вперед: мы паха́-али!..

Пятницкий в раздумье посмотрел на него и примиряюще сказал:

— Не надо так, Алеха. Он шел в бой. Ранен не в пьяной драке — пулей фашистской.

Преданный ординарец презрительно фыркнул и зашагал вперед комбата.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В начале марта Хайльсбергская группировка немцев была окончательно отрезана от центральной Германии и от Кенигсберга. Сотня метров за сотней, фольварк за фольварком — мешок этот суживался, сдавливался, уменьшался в объеме и в двадцатых числах, прижатый к береговой кромке, продырявленный во многих местах, лопнул. То, что было теперь перед наблюдательным пунктом Пятницкого, не походило на передний край. Это был узкий участок побережья, раскисший от разлива ручьев и речушек, тесно забитый войсками противника. Плотный артиллерийский огонь, дерзкие штурмовки «ильюшиных» даже в мерзкую погоду вышибли у немцев всякую надежду баржами да баркасами перебраться на косу Фрише-Нерунг, которая шестидесятикилометровой естественной дамбой отделяла залив от моря, и противник вынужден был прекратить сопротивление.

Происходящее здесь не было похоже на виденное пушкарями Пятницкого в предыдущих боях. Теперь не россыпь и горстки, а тысячные толпы пленных кучились, сбивались в колонны и направлялись на сборные пункты.

Пятницкий возвращался на НП с огневой позиции, смотрел на неиссякающий поток изможденных, заросших щетиной людей с ранцами из телячьих шкур, с притороченными к ним одеялами и котелками, с рубчатыми

цилиндрами противогазных коробок, приспособленных для хранения харчишек. Колонна двигалась с вязким шарканьем сукна и кожи, сырым хлюпаньем грязи, кашлем и болезненным сопением. От нее исходил запах окопной человеческой неухоженности. Шли с погасшими, обращенными в себя взглядами,- и глаза пленных казались бессмысленными, пустыми до потери цвета.

О чем думали? Что заботило? Каким виделось завтра?

Поговорить бы с которым, проникнуть в душу, увидеть, что там?

Пятницкий вспомнил свой визит к цивильным немцам, свою позорную попытку говорить на их языке. Комбат, герр оффицир... Молчал бы в тряпочку...

Правда, было с кем поговорить — знали русский язык, всосали с молоком матери. Брели в общих колоннах, в такой же травянисто-тусклой немецкой форме, и не отличишь сразу, не подумаешь, что мужик из тернопольских, винницких или еще каких российских краев. Отличать помогали сами немцы. Увидев советского офицера чином повыше, они со злорадной брезгливостью выталкивали их из строя и заискивающе кричали: «Руссиш ферратер!»

Но с этими Пятницкому говорить не хотелось. Много виноватых в том, что земная кора пропитана человеческой кровью до самой мантии, эти виноваты вчетверо.

Обособленно, заложив руки за спину, в расстегнутом до белья офицерском мундире, навстречу Пятницкому шел обочиной рослый, с вызывающе поднятой головой немец. Шел прямо, всем видом показывая, что не собирается и шага ступить в сторону. Кровь ожогом застопорилась в жилах Романа, каменно свела мышцы. Ударились плечом о плечо. Роман колыхнулся, устоял. Немец не изменил позы, не оглянулся, не сбился с шага. Пятницкий в бешеной злобе крутнулся следом, рука машинально рванулась к кобуре, цапнула застежку и замерла.

Широкий заносчивый затылок, мускулистая распрямленная спина, сцепленные холеные руки на пояснице, а ниже — набухшие кровью лоскутья брюк, обнаженное, залитое кровью бедро, рванина человеческого тела...

— Сволочь,— процедил Роман сквозь зубы, перепрыгнул канаву и, спрямляя путь, пошагал вдоль протянутой на шестах линии связи. Гневная дрожь утихала долго и неохотно.

Днем в затишке даже пригревало, впору шниель снимать, но выйди иа открытое место — так дунет с моря, что шапку на ушн натягнвай. Наблюдательный пункт на то н наблюдательный, чтобы вндно с него было, место подобралн не иа юру, какой ии иа есть — кустарничек по бокам, но все равио продирало до костного мозга. Да н ие деиь еще. Утро только-только зарождалось.

Женю Савушкнна, ходившего иа лнню чннить кабель, промочнло до нитки, пробрало ветром, н теперь он сидел на дне ровнка, ломал хворостинки, жег костерок, грел руки н шмыгал сырым носом.

Чтобы сдружнться на войне, хорошнм людям и одного боя достаточно, а Женя Савушкин н Петр Ивановнч Мамонов воевали вместе целых восемь дней. Взанмиую и добрую человеческую прнвязаиность Пятницкнй прнметнл сразу н по снле возможностн старался не разлучать товарищей. Вчера иа глазах у Женн ранило Петра Иваиовича. Когда разрезали сапог и Женя увндел, что осталось от ступнн, закричал в голос.

Провожая Мамоиова, зналн: теперь-то уж будет дома, дождется его славная жеищнна по нменн Маруся, одарнвшая деревню бесценнымн нголкамн. Каждый, кто был поблизостн, что-ннбудь да суиул в мешок Мамоиова: кто пару белья, кто мало стнраиное полотенце, кто совсем иовую гнмнастерку, прнпасенную на лучшне времеиа. Женя горевал вдвойне: нечего было подарнть Петру Иваиовнчу, разиесло Женнн вещмешок тем же снарядом.

Пятницкий отвел Женю в сторону, достал нз полевой сумкн книжку невеликую в обтрепанной и тонкой обложке — на ней солдат Васнлнй Теркнн скручнвает цнгарку, спроснл Женю:

— Помнншь, тогда вслух чнталн? Понравнлась? Хотел сразу подарить тебе, возьмн сейчас и подари Петру Иваиовнчу. Белье — вещь, конечно, цеииая, но изиоснтся, а кннжка долгой памятью о тебе будет. Напншн на ней что-ннбудь.

Самую малость, ио все же легче на душе стало. Вздохнул Женя:

— Как он теперь без иогн-то?

...Увез Мамоиов память о Жеие, а вот Роману Пятннцкому так инчего н ие остаиется на память о Жеие, кроме самой памятн...

Случится все это буквальио через иесколько дней. Седьмая батарея едва-едва успеет переместить две пуш-

ки к дороге, вымощенной от замка к форту, как немцы вновь навалятся танками и самоходными орудиями, пытаясь пробить путь для пехоты, рвущейся на помощь осажденному гарнизону форта. Контуженый, ослепленный Васин, единственно живой из расчета, ощупывая поворотный механизм, прицел, панораму и яростно ругаясь, еще будет пытаться незрячим вести огонь. Женя Савушкин отшвырнет телефонный аппарат (связи так и так нет, кабель давно в лапшу искрошен), бросится к прицелу орудия.

— Васин, подскажи, я буду!

— Женька?! — встрепенется обрадованный Васин.— Нет ли воды у тебя? Глаза вот... Хоть малость увидеть...

— Нету, Васин. Водки немного,— беспричинно повинится Савушкин. И это порадует сержанта. Он ухватит флягу и, жадно промочив горло, взбодрив себя, выльет остатки на давно не стиранный платок, протрет синюшные наплывы на лице и с болью, с зубовным скрежетом разлепит веки. Но увидит Васин лишь смутную, расплывчатую тень Жени Савушкина, контуры пушки да путаницу прореженного осколками кустарника. Глазами Васина станет связист Женя Савушкин.

— Васин! Слева от рощи танки прут! — закричит наблюдавший за немцами Савушкин.

— Не вижу. Женька, в бога, в Христа... Становись к панораме!

Матерясь от боли, слепоты, беспомощности, Васин все же доползет до разрушенных снарядных ниш, ухватит за петлю ящик, потянет к пушке. На ощупь отыщет казенник и, вцепившись в рукоятку затвора, опустит клин, дрожащими руками всунет снаряд в захолодавшее хайло патронника.

— Женька, уровень проверь! Может, сбило!

— Где он? Я только наводить умею.

Не заругается, только засопит Васин.

— На прицеле справа... Увидишь — пузырек плавает. Барабанчиком риску на ноль подкрути. Видишь?

— Вижу! Сделал!

— Танки где?

— Далеко, кажись, мимо идут.

— Метров сколько?

— Пятьсот, наверно, не меньше.

— Не стреляй, впустую будет. Подпусти малость.

Прижаренный солнцем, мокрый от пота и крови, Ва-

снн еще раз доберется до ящнков со сиарядами. По путн иаткиется иа труп. Трогая в кровн и грязи лицо мертвого, спросит:

— Жеиька, кто это?

— Вовкой звать. Из запасного который. Не знаю фамилни. Там вон, рядом, Ходжиков и Крутилев еще...

Обогиув мертвого, Васии нащупает ящик с броиебойиымн, задыхаясь, обессиливая, подтащит к стаиниам орудия. Слева загремят выстрелы полковушек. Напоровшись на нх огоиь, иемецкие таики рассредоточатся, отойдут друг от друга, а головиой резко повериет к позиции Васииа.

— Один сюда наладился! — что есть силы гаркиет Савушкни.

— Не спешн, Жеиька. В гусеницы илн в башню. В лоб — без толку...

Васии не успеет договорнть, орудие оглушающе грохнет, и Васииа едва ие пришибет отпряиувшнм казеиииком.

— Ты что, дурак, говорю же — блнже!

— Ои вороику обходил, бок подставил!

— Ну?

— Дымит, гад! — не скроет Жеия мальчишеского восторга.

— Еще одиим саданн! Заряжаю!

— Не иадо, Васни, иемчура выскакивает, по ннм пехота садит!

Обо всех этих подробностях Ромаи Пятннцкий узиает, когда, тяжело раиеиный, окажется иа койке в медсаибате, рядом с младшим сержаитóм Васиным. Расскажет Васии н о том, как Жеиька подобьет еще один таик и как «паитера» напрочь нскорежит их пушку и насмерть изувечит Савушкииа.

Но все это будет потом, иесколько дией спустя...

Простыл Жеия Савушкнн, а Пятиицкому казалось — всхлипывает. Что еще ему сказать, чем успокоить?

За восемь дией безотдышиых боев, что мнаули после переформировки в Цифлюсе, полк подполковиика Варламова сиова поредел, ощутимо пострадал и третий дивизиои. Огоиь иемецких береговых батарей, развериутых для стрельбы по суше, виезапио иакрыл штаб дивизиоиа. Погиб комаидир восьмой батареи Павел Еловских, тяжело ранило начальника штаба н комаидира дивизиона капитаиа Сальинкова. Начальинк штаба еще инчего,

выживет, а вот комдива, пожалуй, поднять врачам не удастся.

О далеких и недоступных ему командирах горевалось Жене совсем не так, как о Петре Ивановиче, будто отца или еще кого-то близкого потерял Женя.

Поглядывая на старшего лейтенанта Зернова, сидевшего за стереотрубой, которого вчера толком не успел разглядеть, Пятницкий переговаривался с Женей Савушкиным. Одни сучки, толщиной с карандаш, собранные окрест, лежали кучкой у ног Жени, другие он доставал из-за пазухи. Роман любовался игрушечной теплинкой, пока не обратил внимание, что сушняк, который у Жени за оттопыренной пазухой, горит жарче и ярче, чем тот, что лежит на дне окопа. Встревоженный, окликнул Савушкина:

— Женька, подойди-ка сюда.

Савушкин поднялся, настороженно посмотрел на Пятницкого, забегал глазами. Пятницкий отвернул у него полу расстегнутой до ремня шинели и с трудом сдержался, чтобы не накричать.

— Дубина стоеросовая, ты каким местом думаешь? Мало тебе того урока?

— Дак, я помаленьку...

Черт с ним, когда помаленьку — сплошь и рядом использовали на растопку порох немецких орудийных зарядов, но ведь Женька этими полуметровыми макаронинами набит, как рыба икрой перед нерестом. Попадет искра — и живой факел.

Старший лейтенант Зернов оторвался от стереотрубы, спросил, что случилось.

— Недавно один обормот едва не насмерть,— пояснил Пятницкий.— Вырыл ячейку, как для телеграфного столба, две гильзы с порохом туда, сам залез, огонь развел. Извержение вулкана устроил, даже немцы всполошились. Едва загасили дурака.

Зернов укоризненно посмотрел на Савушкина. Посчитал несвоевременным как-то иначе обозначить свое вступление в должность.

Прибывший из далекого тылового госпиталя старший лейтенант Зернов принял взвод от сержанта Кольцова, сегодня с рассветом спешил познакомиться с передним краем противника, если то, что он разглядывал в стереотрубу, можно было назвать передним краем. Сидел Зернов без шапки, и ветер шевелил на его голове, как ко-

вылльный султан, непослушно отделнвшнйся от густых темных волос, ненормально седой внхор. Оглянувшнсь на Пятннцкого, старшнй лейтенант сказал про свое наблюденне:

— Ннчегошенькн не вндно. Туман чертов.

Конечно, хотелось бы вндеть, но это желанне, пожалуй, в большей мере было рождено любопытством, чем необходнмостью, вытекающей нз сложнвшейся обстановкн. Главные событня теперь там, на правом фланге, где, скованная со всех сторон, продолжала ожесточенное сопротнвленне группнровка гнтлеровскнх войск, зажатая непосредственно в Кеннгсберге.

Ветер гнал облачные космы по-над землей, трепал, обчесывал нх о гнутые, косорукне сосны, н вндность понизу немного очнстнл. Справнться с тем, что было повыше, ветер был слабоват. Тяжелые, упнвшнеся влагой брюхато-провнслые н угрюмо-аспндные тучн почтн не двнгалнсь, упрямо заслонялн солнце от прозябшнх солдат в волглых шннелях. Старшнй лейтенант Зернов маялся душой, боялся встретнться взглядом с Романом Пятннцкнм. Ума не прнложнт, что делать. Воевать так воевать, а то...

— Старшнй лейтенант, ты давно на фронте? — спроснл его Пятннцкнй.

Зернов настороженно посмотрел на комбата, подумал: «Глядит н гадает, наверное, что я за тнп. Взвод прннял — н нн пальцем о палец...» Ответнл:

— На фронт я, комбат, попал в сорок втором, а воевал в общей сложностн полтора месяца.

— Ранення? — понимая, спроснл Пятннцкнй.

— Да, н все тяжелые. Третье — в августе прошлого года.— Зернов усмехнулся: — Схлестнулся с «Велнкой Германней». Что спроснл-то? Не прнглянулся?

— С чего взял? — строго сказал Роман.— Мнительный какой! Переживаешь, что рукн сунуть некуда? Успеешь, наработаешься. Вот повернем на Кеннгсберг, не то еще будет... Стоп...— вдруг остановнл себя Пятницкнй. Только теперь сознанне зацепнлось за смысл сказанного Зерновым о «Велнкой Германнн». Что-то памятное было в этом помпезном названнн немецкой танковой днвнзнн, слышанном совсем недавно н совсем от другого человека.

Недоуменно поворошнв память, Пятннцкнй спроснл:

— Где ты, говорншь, схлестнулся с «Велнкой Германней»?

— Под Вилкавишками, у самой границы.

Пятницкий уставил взгляд на Зернова и произнес с расстановкой:

— Тридцать семь снарядов... Валька, последний взводный... Двести человек...

— Ты что? О чем ты? — в замешательстве смотрел Зернов на Пятницкого.

— Тебя Валентином звать?

В предчувствии чего-то невероятного Зернов едва слышно ответил:

— Валентин Николаевич.

— По отчеству не слышал.— Пятницкий тяжело опустился на станок с катушкой телефонного кабеля.— Значит, Валька Зернов... Что тебе о Павле Еловских известно?

— О Павле? Ничего. То есть комбат мой. А ты? Ты знаешь его? Где он?

Пятницкий молчал, смотрел на противоестественно седой клок волос, разделявший надвое слегка вьющуюся шевелюру Зернова.

— Надо же,— покачал головой.— Чуб твой под Вилкавишками побелило?

— Нет. Это у меня с детства,— ответил растерянный, ошеломленный Зернов и выкрикнул: — Что ты мне о чубе! Ты о Павле! О Павле скажи!

Пятницкий будто не приметил этой вспышки, сказал с горечью:

— Он ведь тебя убитым считал, Валентин... Так и не узнал, что ты живой...

Долго никто из них не решался нарушить молчание. Наконец Зернов выдавил:

— Убит Паша? Когда? Расскажи, что знаешь?

— Еловских в наш полк после прорыва пришел. Как и ты, из госпиталя. Комбатом-восемь. Три дня назад в бою за фольварки...

Роман рассказал о Еловских все, что знал. А что он знал? Много ли знал?

— Гора с горой не сходится...— угрюмо проговорил Зернов.— Не-е-ет, человеку с человеком тоже сойтись не пришлось.

Зернов встал, походил от изгиба до изгиба окопа, снова сел на футляр стереотрубы, заново обтянутый обрезками плащ-палатки разведчиками Кольцова восемь дней назад в Цифлюсе. Втянув губу, прильнул к окулярам.

Подкручивая маховнчок горизоитали, ои ощупывал миогократио усиленным зрением то, что ие мог увидеть час иазад.

Серые, редкие клочья тумаиа бродили по огромиой свалке машии, пушек, броиетраиспортеров и иному воеииому добру, беспорядочио разбросаииому по склоиу до самой воды и ставшему хламом. С вывереииым постояиством, подиимая пеииые гребии, волны пошевеливали иеуклюжие плоскодоииые баркасы, прибитые к береговому песчаиику, баюкали возле уреза тела мертвых.

Зериов оторвался от прибора, потер ладоиями лицо, сказал куда-то вниз, в землю, о том, что ие оставляло его и ие могло сейчас оставить:

— Меия убитым считал... Нас подобрали. Двоих. Актюшин без иог, а я — вот ои... Нет, зиачит, Павла...— Зернов подиял взгляд.— Ты знаешь, комбат, о его семье? В Киеве, всех. Исчез иа земле род Еловских. Павел был последиим...

Зериов болезиеиио улыбнулся шмыгающему носом Жеие Савушкииу. Сучки, которые собрал Женя, былн сырыми и грели плохо. Зернов, видио, приметил никудышиое иастроеиие пария, потрепал его по шапке, спросил:

— Солдат, почему у тебя ноги разиые?

Жеия с сомиеиием посмотрел на свои ухлюстаииые сапоги.

— Чего это вы, скажете тоже...

— А как же, смотри: одна иога правая, другая — левая.

Лучше костерка согрело Жеию шутливое слово, оскалил удивительно белые зубы.

Зериов, освобождаясь от гиетущих дум, выскочил иа бруствер и, утопая в песке, взобрался иа соседиюю дюиу, поросшую местами цепким стелющимся кустарником. Спросил оттуда:

— Комбат, долго иам еще сидеть у самого сииего моря? Что ты там про Кенигсберг помяиул?

Пятиицкий подиялся к Зериову. Сказал, ие отвечая иа вопрос:

— Тяжело было Павлу... Ты-то как тогда? Друзья ведь...

Зернов умоляюще попросил:

— Не надо об этом, комбат. Мало ли что в те проклятые минуты... Всякое думалось. Павел исполиял свой долг, я — свой. Что моглн — сделали... Искал его. Напи-

сал в часть — сообщили, что ранен. Разыскал госпиталь — сообщили, что выбыл.

Только теперь Пятницкий ответил на вопрос Зернова:

— В дивизионе никто ничего толком не знает, но думаю, что скоро снимут нас с этого участка — и на Кенигсберг.

— Долго с ним чикаются. В январе еще подошли... А смогут немцы, как мы, например, в Сталинграде?

— Поживем — увидим,— ответил Пятницкий и подумал, что не исключается другой вариант: не в Кенигсберг, а в Берлин перебросят. Вот уж где народу поляжет... За каждый паскудный фольварк зубами держатся, а уж за столицу рейха...

Мысли Зернова шли в том же направлении. Спросил Пятницкого:

— Комбат, а если на Берлин?

— Куда пошлют. Мне все равно.

— Не скажи. Человек честолюбив и на смертном одре,— невесело улыбнулся Зернов.— Если умирать, то в Берлине все же... солиднее, что ли.

— Солиднее, Валентин, вообще не умирать,— ответил Пятницкий и ткнул рукой в направлении песчаных куртин, где ложбинками пробирались двое.— Наши, похоже. Коркин с Васиным, кому больше. С Коркиным не знаком еще?

— С Коркиным перекинулись парой слов. Он вчера вторую звездочку на погоны нацепил. Ты-то, комбат, почему в лейтенантах засиделся?

— Ну, это не от меня... Точно, они самые,— перестал сомневаться Пятницкий.— Понятно. На море посмотреть захотелось, может, и трофеем каким поживиться. Вон у Васина рожа какая крученая, он и подбил Коркина, не иначе.

Подошедший Коркин поспешил упредить неизбежное:

— Не в оправдание, комбат. Понимаешь, извелся весь. Вот и решили с Васиным навестить вас. Пушки вычищены, как на парад, гильзы собраны...

— Разрешения не мог спросить? По телефону хотя бы, Коркин? — прервал его Пятницкий.— Как в артели какой-то. Старшина не вернулся?

— Нет еще. Ему Греков приказал машину присмотреть, какая поновее,— Коркин засмеялся.— Как же, Юра Греков — исполняющий обязанности командира дивизиона, ему теперь без персонального «мерседес-бенца» никак нельзя.

— Я же Тимофею Григорьевичу наказал коней и повозку! — возмутился Пятницкий.— Когда ему машиной заниматься!

— Так он и кинется за машиной, держи карман шире,— успокоил Коркин.— Горохова не знаешь, что ли? Да вон он, легок на помине. Не дядька Тимофей — витязь.

В россыпи редкого, гнутого-перегнутого ветрами сосняка, что тянулся вдоль гребня прибрежной возвышенности, показался всадник. Вид у него был далеко не богатырский, но конь под ним... Буланый жеребец, тугой под шкурой, в белых чулках на тонких беспокойных ногах, гордо нес грациозно вскинутую голову, покусывал удила и, заламывая мускулистую лебединую шею, казалось, с презрением взглядывал на седока.

— Где это ты разжился, Тимофей Григорьевич? — восхитился Коркин.

Старшина с трудом высвободил ступню, засунутую в стремя, как он сам говаривает, по самое некуда, неловко сполз брюхом с седла, тогда уж, поддержанный Коркиным, извлек из стремени вторую ногу. Махнул рукой в сторону моря:

— Там.

Васин, восторженно смотревший на коня, схватился за повод.

— Какая красивая... Бежевая, да? Дай прокатиться, дядька Тимофей!

Расстроенный Тимофей Григорьевич выдернул чембур из рук Васина, передразнил:

— Кра-си-ва-я... Жеребец это, дурак ты бежевый! Пошел вон, мамкин сын!

Захлестнув чембур за пучок веток, Горохов стал возмущенно говорить Пятницкому:

— Что это творится, Роман Владимирович? Разве это люди? Кто их на свет произвел, чью они титьку сосали? Как их назвать? Ладно, когда людей, если война придумана... Лошадей-то за какие грехи? Пропасть сколько! Весь овраг доверху. Друг на друге, друг на друге... Сгоняли табуны и били, били из пулеметов. Может, посмотрите?

— На людей насмотрелся,— сквозь зубы ответил Пятницкий.— Этого еще не хватало... Рысака-то куда? На парад, что ли?

— Попробую в упряжке, не годится — в хозвзвод

отдам... В кустах стоял, взял повод — затрясся, шкура ходуном заходила. Даже лошади умом тронулись от всего этого...

Пятницкий запустил пятерню в черную щетинно-жесткую гриву коня, ласково поскреб. Конь мотнул мордой, приподнял, покачал переднее копыто, напомнил Роману Упора. Такой же холеный и сытый. Только Упор вороной. Пятницкий сунул стремя под мышку, примерил на вытянутую руку, озорно подмигнул Васину — сойдет! — и взял у Горохова повод.

Не кавалерист Тимофей Григорьевич, хотя и при конях в колхозе — на телеге больше. Но все же. А комбат-то куда? Городской ведь, ему ли верхом! Тимофей Григорьевич, снисходительно прощая, покачал головой. Пятницкий вставил носок в стремя, легко и ловко взлетел в седло, пригнетился. Конь строптиво и сбивчиво покопытил землю, но, почувствовав уверенный и требовательный нажим шенкелей, успокоился и сторожко ждал следующей команды. Она пришла с болью врезавшихся удил. Жеребец вскинулся передней частью, высоко поиграл чулками.

Пятницкий посмотрел на восхищенных товарищей и внутренне смутился театральности сделанного, прикрыл смущение шуткой:

— Представление окончено, можно разойтись!

Спрыгнул с коня. Подавая повод Тимофею Григорьевичу, предостерег:

— Держите жеребца подальше от начальственных глаз — враз замахорят.

Женя Савушкин, влюбленно смотревший на комбата из окопчика, крикнул:

— Товарищ лейтенант, вас!

К телефону Пятницкого вызывал Греков.

— Пятницкий, какого черта копаешься? Срочно в штаб полка!

— Ты чего как цербер? В силу новой должности, что ли?

— Подь ты...— разгневался Греков.— Понял, что я сказал?

— Зачем хоть вызывают?

— Придешь — узнаешь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Первым, кого увндел Пятнкцкнй возле штаба полка, был командир девятой гаубнчной батарен капнтан Костяев. Он сндел на дышле бесколесной брнчки в распахнутой шннели и, забросив ногу на ногу, пнсал на тетрадном лнстке, прнстроенном поверх целлулонда планшеткн.

— Садись,— сдвнгаясь выше по оглобле, Костяев переложил карандаш в левую руку, поздоровался.— Чего запыхался? Гналнсь за тобой?

— Греков подхлестнул,— усажнваясь, ответил Пятннцкнй.— Что за экстренные сборы?

Поннмая, что больше не напншет нн строчки, Костяев сунул пнсаннну в планшет и с треском прндавнл кнопкн-застежкн.

— Кто-то решнл, что воевать не умеем. Учення якобы, в войну нграть будем.

— Еслн будем драться на улнцах Кенигсберга, Хасан, какне тут нгрушкн,— возразнл Пятннцкнй.— Кенигсберг — не Гумбнннен, не Прейснш-Эйлау. Столнца прусской военщнны, крепость. Не грех н поучнться кое-чему... Уже сказалн об ученнях?

— Кто скажет? Варламов наш? Черта лысого он скажет, как всегда, будет тянуть до последнего,— Костяев поморщнлся, сплюнул в сторону.— Изжога замучнла, соды бы... Он н взводным-то в сюрпрнзы играл, а сейчас н подавно. Слышал, что полковннка ему прнсвоилн? Замараеву н Торопову — подполковннков.

— Откуда мне знать, снжу у моря, жду погоды.— Пятннцкнй простодушно улыбнулся.— Можешь передать начальству мон сердечные поздравлення... Но откуда об ученнях нзвестно?

— Седуннн, адъютант Варламова, по секрету всему свету. У него, поди, моча-то не держится, а тут... Сегодня Седуннн вообще не от мнра сего. Вежливый, учтивый, только что шарннры не скрнпят в пояснице. Одну новость, правда, зажал. Вякнул о должностных перемещеннях — н захлопнулся. Из прнказа, говорит, узнаете... Вон товарнщ Греков топает, может, он что знает.

Подошел начальннк разведкн днвнзнона Греков, замещавшнй комдива. Счнтая, что телефонный разговор — это почтн что вนделнсь, не поздоровался, восклнкнул с наигранной веселостью:

— Сидите, боги войны? По машинам пора.

— Не так туманно можешь? — сердито спросил Костяев.— Все же командир дивизиона сейчас, должен быть осведомлен.

— Нашел командира! Калиф на час. Мотаюсь, как соленый заяц. Ни зама, ни начальника штаба.

— Значит, о перемещениях ничего не знаешь?

— Абсолютно,— заверил Греков и показал покрасневшими от хлопот и усталости глазами на штабной домик, где подсобралось порядочно народу, стояли две бортовые машины, «додж».— Побегу, не задерживайтесь.

— Может, Грекова оставят на дивизионе? — посмотрел ему вслед Пятницкий.

— Вряд ли. Вот Павла Еловских бы.

— Павла — это верно,— подтвердил Пятницкий и почувствовал неловкость от сказанной неправды. Вспомнился застольный разговор в Цифлюсе, и Пятницкий убежденно подумал: «Нет, не мог бы Еловских командовать дивизионом», но обрядовая, освященная обычаем превосходная степень, употребляемая в разговорах об убитых хороших людях, взяла верх. Пятницкий не очень твердо, но повторил: — Павла — это верно.

Костяев кивнул в сторону группы офицеров.

— Гляди, Гриша Варламов зубы скалит. Значит, на сегодня страшного для нас нет, а сюрпризы будут.

Варламов в новой бекеше с полковничьими погонами, с огромным планшетом, какие можно увидеть только у летчиков, стоял в окружении штабных офицеров и от всей души смеялся над чем-то сказанным сдержанно улыбающимся начальником штаба Тороповым. Увидев приближающегося Костяева, Варламов, покинув свою веселую свиту, пошел навстречу.

— Здравствуй, Хасан. Что ты желтый такой? — озабоченно спросил Варламов и подал руку.— Ты не шути с этим. Отправлялся бы в госпиталь.

— Хватит об этом, Григорий Петрович,— нахмурился Костяев.— Придет время — лягу.

«Он и взводным-то в сюрпризы играл,— вспомнил Пятницкий слова Костяева и подумал: — Значит, вон еще когда свела их судьба!»

Варламов подал руку и Пятницкому. Задержал на нем острый, глубоко проникающий взгляд и снова обернулся к Костяеву.

— На твой отказ о назначении командиром дивизио-

на, Хасан, я мог бы положить с прибором. Подсунул бы генералу на подпись — и все. Только вот начштаба мой с его убийственной логикой... Жалеет тебя. Замом к новому командиру дивизиона все же пойдешь, тут, Хасан...— Варламов свирепо свел брови.— Укомплектовали, называется... Одиннадцать офицеров на весь полк из резерва прислали. Где мне кадры брать? Рожать прикажешь? — снова посмотрел на Пятницкого. С хитрецой сверкнул зубами, спросил: — Пятницкий, твоя точка зрения: годится Костяев в заместители командиру дивизиона?

Пятницкий смущенно вздернул плечи, но ответил с твердой убежденностью:

— Какие могут быть сомнения, товарищ полковник.

— Слышал, Хасан? Раз Пятницкий одобряет — так тому и быть,— Варламов хохотнул и поспешил к «доджу», где уже ждала его штабная свита. Костяев с Пятницким направились к «студебеккеру», возле которого стоял Греков и, дико тараща глаза, торопил их рукой. До того, как взобраться в кузов, Костяев успел сказать:

— Вот и начались сюрпризы.

Километров через пятнадцать, миновав развалины какого-то фольварка, хранящего терпкий запах гари и перекаленного кирпича, машины остановились. Дальше офицеры во главе с полковником Варламовым продвигались бездорожьем, в полосе недавних боев — среди сокрушенного, развороченного, раздавленного, взорванного и расшматованного военного и невоенного имущества.

Костяев разжился у военврача «фунтиком» питьевой соды, боль в желудке притупилась, и он шел теперь бодрым. Не скрывая удивления, разглядывал последствия побоища. Не выдержал, подтолкнул Пятницкого:

— Как ты находишь сию картину? Будто после гигантского кораблекрушения море выбросило все это.

— Так оно и есть,— согласился Пятницкий.— Фашизм идет ко дну, и чтоб ему ни дна ни покрышки.

— Ко дну-то ко дну, только не хочет, сволочь, тонуть в одиночку.

Среди трупов, сметенных весенним половодьем в кюветы, рытвины, воронки, приваленных замусоренным илом и морской травой, вздутых и не найденных зимой похоронными командами, были трупы наших бойцов. Среди разбитых, горелых танков, покрытых охряными разводья-

ми коррозии и мертво разбросаиных вдоль дороги, были и «тридцатьчетверки».

Артиллеристы выбрались иа возвышеииость, изрытую и перепахаииую мощиыми сиарядами и бомбами. Она обдута, успела обсохиуть и кое-где примолодилась остроперыми всходами зелеии. Двадцатипятилетиий полковиик Варламов словио бы даже порадовался умучеииому виду своего «войска», хотя и сам — видио было — вымотался ие меиьше других. Ои прошел к чему-то приземистому, серому, похожему иа огромиую кучу гравия. Над цеитральиой горбииой этого иавала вздыблеииой путаиицей торчала погиутая полудюймового сечеиия арматура с иеотделимо присохшими к ией кусками бетоиа.

— Приходилось видеть такое? — спросил Варламов.

Кому ие приходилось видеть доты! Но куда до этого тем, что встретились, скажем, иа реке Алле!

— Вот такими сооружеииями,— продолжал Варламов,— опоясаи Кеиигсберг, ими эшелоиирована иемецкая обороиа в глубииу.— Варламов расстегиул лётиый плаишет — большой и иелепый для его иевеликой и сухой, без грамма жира, фигуры, загляиул в иаписаиное под целлулоидом.— Опориые пуикты «Эйлеибург», «Деихофф», «Коииц», «Король Фридрих»... Миого, черт бы побрал. Эти укреплеиия под слоем земли заросли лесом, стеиы казематов трехметровые, иа виешиих обводах фортов — заполиеииые водой рвы шириной в двадцать и двадцать пять метров и глубииой — диа ие достаиешь. Гариизоиы от трехсот до пятисот человек, вооружеиы скорострельиыми орудиями, огиеметами, пулеметами крупных и мелких калибров. Перед всем этим миииые поля, проволочиые заграждеиия, эскарпы, иадолбы,— полковиик обвел рукой простраиство от места, где стояли, до разрушеииого фольварка, где просматривались обороиительиые сооружения, возведениые иашими саперами. Показал это простраиство и пояснил: — Это учебиое поле предоставлеио иам иа три дия и три иочи. Задачи, которые сейчас поставит перед вами иачальиик штаба, восприиимайте в соответствии...— Варламов замолчал, обериулся к подполковиику Торопову: — Приказ объявлеи, Сергей Павлович? Нет? Что же вы,— с фальшивым упреком произиес полковиик Варламов.— Надо объявить. Так что, товарищи офицеры, задачи иа тактические учеиия восприиимайте в соответствии с тем, что сейчас услышите.

Так вот ои, сюрприз полковиика Варламова!

Прнказ был тот самый — о перемещениях, о назначеииях на иовые должиости, о прнсвоении очередных воиных званий. Было иазвано и нмя Ромаиа Пятницкого. Приказ перешагивал через ступень и присванвал Пятинцкому зваиие капитана, кроме того, объявлял о его назначении комаидиром дивнзнона вместо раиеного капитана Сальиикова. Но и это не все. В дивизиои Пятницкого сводилнсь гаубичные батареи всего полка. Седьмую прнказаио сдать капнтаиу Седуииniу (вот чем объяснялось его иеобычиое поведеине!).

Вот это сюрприз так сюрприз. Такого иикак не ожидал Пятиицкнй, жаром прихватнло. Несколько успокоили, пpндали твердости следующие строки приказа: заместителем к иему иазиачен Хасаи Костяев, только что произведенный в майоры. Еще бы иачальиика штаба дельиого!

Будто читая его мысли, подполковиик Торопов сказал:

— Вопрос о иачальиике штаба в гаубичный дивизиои капитаиа Пятиицкого сегодия решится. Прислаи кадровый офицер, дело зиает шире дивизиона.

Детали учеиия утрясли с учетом того, что основу боевых порядков при прорыве первой позицин и в уличных боях будут составлять штурмовые отряды иа базе рот и штурмовые группы на базе батальоиов с придаиымн им артиллерней, таиками, самоходиыми устаиовками. Дивизнои Пятницкого, оснащеииый иаиболее мощиыми системами, придавался группе прорыва майора Мурашова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

После такого крутого поворота в судьбе, от которого голова все еще ие иа месте, Пятиицкий готов был к любым иовым поворотам — ие предугадаиным, обязательио возиикающим после виезапиостей,— только ие к такому. Правда, иеожидаиость эту иазвать поворотом можио с иатяжкой — дорога прежней осталась, ио зато уж — всем иеожидаиностям иеожидаиность. Хлеще и ие прндумаешь.

В командирской палатке днвнзиона за столом иачальиика штаба снден Спартак Аркадьевич Богатырев —

властио внушительиый, вызывающий прежиее почтение и уважительность. Что бы ни знал про него Пятиицкий, иазвать поганкой язык не повернется. С первого взгляда все такой же Богатырев, неизменный, но со второго, третьего взгляда можно заметить — совсем не такой, каким знал. Осунулся подполковник, седины добавилось, да и не подполковник вовсе — с одним просветом погоны, капитанские. Вот кто, выходит, кадровый, вот кто зиает дело шире дивизиоиных масштабов! Упоминалась же фамилия — капитаи Богатырев. Богатырев и Богатырев, знакомая фамилия не проскользиула мимо ушей, шевельнула приглохшее, перегоревшее — и только. Но возьми вот, тот самый! Чудеса, аж дыбом волоса. Спаясиичать: «Не кажется ли вам, что мы где-то когда-то встречались?»

При появлеиии Пятиицкого Богатырев подиялся, сказал начальнику связи, который был тут же:

— Идите пока, потом закончим.

Ого, уже за дёло прииялся! Что ж, это хорошо. Только зиал ли он, с кем дело-то делать придется? Судя по всему — знал: ие удивился, будто ждал прихода Пятницкого.

Начальиик связи вышел. Погруженные в молчание, остались стоять друг против друга два капитана.

Для Пятницкого эта встреча — внезапность полнейшая. А Богатырев, как уже поиял Роман, был готов к ней. Само собой, до какого-то времени у Богатырева и мысли не было, что встретится с Пятницким, во всяком случае, до прихода в полк. Предвидь он это, постарался бы резко изменить служебный маршрут. Но узнал он только в дивизии, и пути для заднего хода у него не было. Ну, может, и был — в ту же полковую артиллерию. Богатырев отверг это – не тот путь. Не воспользовался, не позволило чувство собствеиного достоинства Не скрестились бы дороги — тогда ладно, а уж если скрестились... Не мальчишка — в прятки играть. Волевой был человек Богатырев, а воля — это не только способность добиться, но и отказаться от чего-либо.

Не собирался Пятницкий паясничать — «где-то, когда-то»,— не в его натуре. Смотрел на Богатырева, путался в толчее мыслей, ие мог уловить нужную, значительную Молчит Богатырев? А что ты ждешь от него? Когда представится тебе, непосредствеиному комаидиру: такой-то прибыл в ваше распоряжение? Вроде бы неплохой выход. Армейский механизм, он такой — из любой ситуа-

ции вывезет. Пятки вместе, носки врозь, а чувствительные тонкости — сатане на забаву. Действуй по уставу, завоюешь честь и славу... Тьфу на тебя. Не станет Богатырев представляться, сам же примешь за издевку. И Богатырев понимает, не глупее тебя, знает, что так подумаешь. Славненькое дело, извольте радоваться...

Богатырев сличал Пятницкого с тем юным лейтенантом, следил за его душевным бореньем и ощущал удушливую тягость молчания. Форсировать события не спешил — пусть все же первое слово будет за Пятницким. Житейская мудрость подсказывала, что Пятницкий, тем более этот Пятницкий, не соблазнится возникшими обстоятельствами, не унизится до пошлого мщения, милого сердцу солдафонов с положением. Не будет этого — остальное все уладится.

Роману Пятницкому молчание — тоже в тягость. В конце концов, он здесь хозяин или кто? Низко согнулся под скосом палатки, достал сунутый в угол раскладной, из крестовин, стульчик, поставил поудобнее, сел на его брезентовый верх. На опорном столбе высмотрел гвоздь для фуражки. Богатырев сесть воздержался. Пятницкий кивнул на его погоны, спросил:

— Что так?

Теперь Богатырев смотрел на Пятницкого сверху, смотрел внимательно, думал. Все логично. Ни по фамилии не назвал, ни по званию. «Что так?» — и все. Даже не спросил, почему и как здесь оказался. Может, Пятницкому все известно и нет надобности спрашивать?.. Почему же нет надобности? Он ведь спросил: «Что так?» Ответь на это, тогда ясно будет — почему и как ты здесь оказался. Но надо ли с этого начинать? Больно уж исповедью станет попахивать...

Смотрел, не отвечал Богатырев.

Возмужал парень, обдуло войной, обсушило. Раньше скуластость не так замечалась. Взгляд не ломается, твердый...

Что на дивизион поставили — не диво, проекция еще в учебном полку угадывалась. Кому-то такое — даль безбрежная, ему — совсем не даль. Даже та встряска не сбила с пути — на две ступеньки вверх за короткое время... У тебя тоже ступеньки, только в другую сторону, аж подковки сбренчали. Закономерно, Спартак Аркадьевич, закономерно... но как же ответить Пятницкому? Не

исповедоваться же иа самом деле. Но и молчать дальше в твоем положении совсем негодио...

На вопрос «Что так?» постарался ответить поиятио и как можио короче:

— Развал. Подготовка запасииков — из рук вон. Ииспекция как сиег иа голову...

Не оправдывается, обид ие высказывает, думает Пятиицкий, уже хорошо. Все же ие удержался, спросил жестко:

— Сеиокос вам тоже припомиили?

Вот оио что!.. Не забываешь, меия вииоватым видишь? А думал ли ты иад тем, Пятиицкий, что я ие мог иначе? Может, себя иадо было подставить, прикрыть тебя, взводиого? Кому это иужно? Учебиой дивизии? Для нее Пятницкий — дешевле и безболезиенией. Это и иаверху поиимали.

Богатырев сухо вытолкиул фразу:

— За то мне выговор по партийной линии, а за это...— дериул плечом, обращая виимание иа погои,— а за это — вот...

Выговор... Пятницкий сдавил зубы, посмотрел исподлобья. Вам выговор, а меня из комсомола поперли, военному трибуиалу предали. Помню вашу речь зажигательиую: «Пусть каждый извлечет урок». А в чем он, урок, так и ие поиял никто. Вы сами-то поняли, товарищ Богатырев? Почему ие извлекли? Теперь вот сюда, мие в подчинеиие. Не терзает вас? Считали, что человек — пеиь придорожный, можио и скобляиуть походя тележной осью, ободрать до сердцевины? Может, и сейчас так считаете? Выкииьте мысли о подлой вседозволенности. Не позволю, Богатырев, ии одиой душе не позволю! Опасно такое, можно и ось обломать. Вон, обломали вроде...

Возбуждеиный этими мыслями, Пятницкий потер рукой лоб, прислонился к опорному шесту палатки, глухо, с нажимом спросил:

— Слишком строго с вами? Так считаете? Я другого мнеиия, Спартак Аркадьевич. Если учесть кое-какие мерзости личного плана, то...

Не возразил, ие возмутился Богатырев, промолчал, только чуть дернул иосом да кровь ко лбу и вискам прихлынула.

Пятиицкий пожевал губы, охладил иазревающий гиев, твердо, ребром прижал ладоиь к столешиице:

— Точка иа этом, Спартак Аркадьевич! — Все же,

вглядываясь в лицо Богатырева, спросил вызывающе: — Со мной будете работать или?.. Нет-иет, я ие настаиваю, просто до коица хочу ясиого. Так как?

Богатырев, чтобы ие походить иа вытянувшегося в строевой стойке солдата, все время искал отвлекающее заиятие: переложил бумаги иа столе, даже прошелся взад-вперед. При вопросе «Так как?» стал через голову сиимать ремешок плаишетки. Повесил иа гвоздь — под фуражку Пятиицкого, ответил замедлеиио:

— Переиначивать поздио. И ие вижу особой иадобиости.

Смиряясь, Пятиицкий сказал:

— Мие тоже так кажется.

Пора бы о деле поговорить, времени в обрез, ио встреча с Богатыревым воскресила из прошлого ие только плохое.

...Прогретая под солицем пыльная дорога по берегу Клязьмы... Упор, идущий в ровном и твердом галопе... Неухожеииые избы деревии... Колодезиый журавль... Прощаиие с Настенькой...

Вглядываясь в картииы иедавнего, заиятый думами, долго молчал. Очиулся от иеловкости затянувшейся паузы и иепредвидеиио для себя спросил:

— Упор-то жив? — Оттого, что Богатырев все еще стоит, ие садится, иеловкость усилилась. Раздражаясь на себя, резко сказал: — Да вы что стоите? Садитесь.

Богатырев сел, встретился с ожидающим сердитым взглядом Пятиицкого, ответил спокойио, во всяком случае, виешие спокойио:

— В пехоту коией передали. Машииы теперь.

О том, что живо

Наша литература уже имеет богатую традицию художественного освоения темы Великой Отечественной войны. И каждое произведение встречается и прочитывается с особым вниманием. Потому что тема эта неисчерпаема. Уверен: остается, что сказать и писателям будущего. Может быть, в чем-то они будут раскованней и даже объективно глубже тех, кто не отделяет события войны от событий своей жизни, от личной памяти, от обжигающих невыдуманными деталями конкретной судьбы, конкретного боя.

Книги писателей-фронтовиков о войне изначально достоверны как свидетельства очевидцев. Они написаны на материале, за которым названия реальных воинских частей, имена реальных героев, места, реально обозначенные на географической карте. Это чувство фактической достоверности, подлинности описанных событий остается по прочтении повестей свердловского писателя Анатолия Трофимова «Угловая палата» и «Лейтенант Пятницкий». В их основе — память писателя-фронтовика, прошедшего тот же путь, что и его герои.

Анатолий Иванович Трофимов родился 20 декабря 1924 года в многодетной крестьянской семье в селе Киселево Тюменской области. В раннем детстве переехал в Свердловск, после школы работал прокатчиком на Верх-Исетском металлургическом заводе. В августе 1942 года, когда ему шел только восемнадцатый год, был направлен в военное артиллерийское училище. Свой боевой путь начинал командиром взвода артразведки, потом командовал батареей. Был ранен, лечился в госпитале в Вильнюсе. Потом опять воевал на 3-ем Белорусском фронте, 1-м Украинском, участвовал в штурме Берлина, освобождении Чехословакии.

После войны Анатолий Трофимов много лет отдал журналистике: работал в армейских газетах, после увольнения в запас — редактором заводских многотиражек, заведующим отделом областной газеты «Уральский рабочий».

Его первые публикации в печати относятся к 1944 году. Сначала это были стихи, потом очерки. Многолетняя газетная работа стала школой для писателя. Он научился ценить факт, отталкиваться от него, видеть за фактом определенное явление. И первая изданная им небольшая книга была очерковой — рассказ о народных дружинниках «Визовские» (1960).

В этом движении автор увидел не только практическую форму участия рабочих в наведении общественного порядка. Оно оказывало воспитательное воздействие и на самих дружинников, выявляло их активную жизненную позицию, укрепляло чувство рабочей ответственности.

Писательский опыт А. Трофимова накапливался в работе над рассказами, вошедшими в его книги «Просто соседи» (1962), «Одному идти трудно» (1964), «День рождения» (1966)

В 60-е годы Анатолий Трофимов работал в областном управлении внутренних дел, руководил кабинетом передового опыта. И надолго тема солдат правопорядка, их тревожных буден, тема воспитания человека стала в его творчестве ведущей. Он написал ряд документальных очерков, в которых восстановил страницы истории свердловской милиции. На материале подлинных событий построены детективные рассказы и повести: «409 рубинов» (1971), «Пять вопросов и один» (1972), «Сто белых слонов» (в первом варианте — «Вхожу без стука») (1973), «Чертова дюжина» (1983). Трижды повести отмечались дипломами на конкурсах Союза писателей, МВД и КГБ СССР, он лауреат премии им. Н. И. Кузнецова.

А память о военной юности жила: героями очерков, рассказов и повестей А. Трофимова становились фронтовики.

Память разматывала ленту прожитого, когда приходили письма от однополчан. Она тревожила ночами, когда вдруг снились лица погибших товарищей.

«Памятные места Великой Отечественной... Можно забыть какие-то другие, но эти...» — так Анатолий Трофимов начал рассказ о поездке по местам военной юно-

сти «Встречи через тридцать лет» (Урал, 1977, № 5). Изменились места былых боев, совсем незнакомые люди населили их. Неуютно чувствовал писатель себя сначала, словно пришел из прошлого. Но вот его взгляду открылась излучина реки, вот приметился столетний дуб, вот отыскался подвал с обвалившимся сводом...

И уже слышатся голоса, уже ожили — нет, не в писательском воображении, а в памяти фронтовика — товарищи: ездовой Огиенко, связист Женя Савушкин, санинструктор Липатов, командир батареи капитан Будиловский... Не там ли, у этих памятных мест, уже писались страницы повести «Лейтенант Пятницкий»? Ведь названные в очерке реальные бойцы и командиры под своими подлинными именами вошли и в повесть. Тогда же, рассказывая о поездке и творческом замысле, Трофимов писал: «Она не будет документальной, эта повесть. Просто постараюсь рассказать о своих сверстниках, шагнувших со школьного крыльца прямо в войну,— о рядовых солдатах и о тех, кто в девятнадцать лет командовал взводами и батареями. Они не будут реально существовавшими Савушкиными, но я по возможности наделю их всем тем, что было хорошего и не совсем хорошего в моих друзьях, не щадивших жизни во имя Родины».

Так и появились сначала «Лейтенант Пятницкий» (1978), а пять лет спустя «Угловая палата».

Действие повестей Анатолия Трофимова («Угловая палата», «Лейтенант Пятницкий» — в такой последовательности их ставит хронология сюжетного содержания) происходит в Прибалтике и Восточной Пруссии летом и осенью 1944 и в начале 1945 года. Они разные по своему сюжетному материалу. В первой автор повествует о буднях военного госпиталя, о труде врачей и медсестер, о возвращении к жизни раненых. Действие разворачивается неторопливо, писатель старается быть внимательным к настроению, переживаниям своих героев, к деталям быта. Во второй повести Трофимов рассказывает о нескольких днях наступления, о жарких боях и потерях. Здесь действие развивается стремительно, повествование хроникально. Буквально десятки лиц — солдат и командиров, пехотинцев и артиллеристов — проходят перед нами, и мы не всегда успеваем вглядеться в них, запомнить, потому что стремительна сама смена ситуаций и событий в ходе сражений.

Но повести связаны между собой. И не столько хронологически и немного фабульно, сколько сквозной идеей. Она видится мне в утверждении необоримости жизни. Писатель воскрешает трагические обстоятельства: смерти, кровь, страдания людей. Но герои вспоминают мирное время, мечтают, как сложатся их судьбы после войны, влюбляются и радуются. И мы видим, как человеческое противостоит тому, что несет в себе война, оно побеждает в душах людей, возвышает их, наполняет жизнь высоким смыслом.

В каждой из повестей в основе сюжетного движения — судьба молодых людей. В водовороте событий, калейдоскопе встреч, неизбежных в условиях войны расставаний и потерь они — Маша Кузина и Роман Пятницкий — невольно оказываются центром притяжения. Конечно, как убеждает нас писатель, и в силу каких-то личностных качеств. Но, думается, и потому еще, что в самой их молодости — надежда жизни, та надежда, которая и помогла выстоять.

Медсестре Маше Кузиной из повести «Угловая палата» нет еще и восемнадцати, а она уже многое испытала, всего насмотрелась. Но не очерствела, не потеряла интереса к людям, не разуверилась в лучших чувствах и надеждах. Ее любят врачи и сестры, раненые, все, кто оказывается рядом с ней. Любят за доброту, открытое сердце, душевную теплоту, обаяние юности. И за какую-то необъяснимую, природой в ней заложенную способность сострадать. Вспомним, как она появилась в госпитале: крохотная, худенькая, в чем только душа держится. И терпеливо втолковывали девчушке, как трудно работать санитаркой: купать-умывать, подавать-убирать, кормить-поить раненых и контуженых. И вспомним ее ответ: «Что тут трудного?.. Такие же дети, только большие».

В суждениях Маши Кузиной, ее поступках, отношениях с ранеными, старшими и сверстниками, в ее девичьих тайнах, радостях и страхах писатель отмечает нечто исконно народное, коренное. «Все-все у Машеньки,— пишет Анатолий Трофимов, откровенно любуясь своей героиней,— было от плоти земли, от избы, в которой рождаются, живут и умирают: взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на правду и неправду, добро и зло».

На первый взгляд действие «Угловой палаты» в ос-

новном локально. Но перед нами не история выздоровления, а судьбы людей. Раненые обитатели угловой палаты госпиталя постоянно размышляют, оценивают, переоценивают прожитое, вглядываются в будущее. В их судьбах, переживаниях — боль и надежда всей страны.

Поздно, к самой смерти мужа, младшего лейтенанта Василия Курочки, приезжает из глухой рязанской деревни его жена Арина Захаровна. Сам ее приезд еще больше укрепляет всех в борьбе за жизнь, в преодолении страданий, в желании вернуться в строй. Стены палаты как бы раздвигаются, раненые не оторваны от того, чем живет армия и тыл. И это тоже лечит. Лечит замкнутого, угрюмого командира батальона Петра Щаденко, утверждает в его мальчишеской правоте вчерашнего детдомовца, солдата Борю Басаргина, поднимает на ноги рассудительного начальника штаба артиллерийского полка Агафона Смыслова, помогает снова обрести веру в себя оставшемуся без руки художнику Владимиру Гончарову. И вылечит, поможет вернуться в строй Ивану Малыгину, изнуряющему себя суровым внутренним судом. Он один остался жив из разведгруппы, совершившей дерзкий рейд во вражеском тылу. Последним погиб его друг и земляк Вадим Пучков. Тяжело раненный, Малыгин в трагической ситуации, требовавшей терпения и выдержки, толкает Вадима на неосторожный шаг. На госпитальной койке, когда вернулось сознание, когда стала возвращаться жизнь, Малыгин мечтает лишь об одном: «Я еще поднимусь, я еще...»

Событийно «Угловая палата» заканчивается в преддверии нового наступления Советской Армии. В ней примут участие и многие герои повести. Но перенося действие на фронт, в окопы переднего края, Трофимов в «Лейтенанте Пятницком» знакомит нас с другими солдатами. Он рассказывает о том, как в Восточной Пруссии, на подступах к Кенигсбергу, они продолжат то же святое дело, что и в боях за освобождение родной земли.

Хроникальное начало в военных повестях Анатолия Трофимова придает динамизм повествованию, держит читателя в напряжении. Трофимов не дает развернутых портретных характеристик, не углубляется в биографии, не задерживается на описании внутреннего состояния. Его герои раскрывают себя через поступок, открываются читателю в действии. И этим остаются в нашей памяти.

Но пройденный каждым военный путь — это не толь-

ко походы и бои. Ои и по времеии может быть разиым: и все четыре года, и иесколько дией, а то и часов до первого боя. Но в каждом миге своем войиа испытывала иа иравствеииую стойкость, иа чистоту помыслов, иа подлиииую человечиость. И Трофимов рассказывает, как люди выдерживали это испытаиие.

«Повесть о лейтеиаите Пятиицком» оставляет светлое впечатлеиие. Мы ие можем ие почувствовать открытой, искреиией симпатии писателя к своим героям. И иесправедливым будет возможиый упрек в приукрашиваиии, идеализации. Трофимов пишет о том, что в судьбе его поколеиия стало самым зиачительиым, определяющим. И таково уж свойство человеческой памяти, и иидивидуальиой, и всего иарода, что в прожитом, особеиио если оио дорого и свято, отбирается самое светлое, одухотворяющее, позволившее выстоять, скоицеитрировавшее в себе лучшие качества тех, с кем был рядом. Да, писатель ромаитизирует своих героев. Оии у иего молоды, порывисты, чисты в помыслах, храбры. Время, это увеличительиое стекло памяти, укрупиило их черты, слило их облик с тем почти легеидариым образом, каким извечио благодариые потомки представляют солдата-защитиика. Но у Трофимова ие даиь традиции, а свое, иа десятилетиях иастоеииое, терпкое и ромаитическое зиаиие себя в обстаиовке тех лет и своих сверстииков, павших и выживших. Это и дает ему право иа ромаитизацию.

Вот как представляет писатель связиста Жеию Савушкииа: «Молодеиький, до глянца умытый и жизиерадостиый». Жеия иежио привязаи к своему комаидиру. Отправляясь с Пятиицким и ордииарцем комаидира батареи Степаиом Торчмя в передовые окопы, к пехоте, чтобы иепосредствеиио с поля боя корректировать огоиь, ои берет себе ту катушку с проводом, что потяжелее. В бою ои искреиие радуется, что у него все ладится, что успевает без иапомииаиия сделать все, что положеио. Когда под миииометиым обстрелом, в придорожиой каиаве, Пятиицкий взгляиул в его лицо, то «встретил такой радостиый, озориой взгляд чистых голубых глазищ, такой блеск молодых зубов, обкусывающих липовую веточку, что растерялся даже. Ои играл, забавлялся, этот пацаи! Жеиька ие тяиул сейчас проклятый кабель, ие тащил иа себе ломающую ребра тяжесть катушек, ие обдирал ладоией торчащими из паршивой изоляции стальиыми

жилками, не вгонял их под ногти, не обмирал со страха за целость аппарата...» В детской непосредственности Савушкина та бесшабашная молодость, когда беда не беда.

Двадцатилетний лейтенант Роман Пятницкий на батарею прибывает из штрафного батальона. Но нет в душе его озлобленности, нет смертной обиды и на того, по чьей вине оказался в штрафбате.

Юношескую чистоту помыслов, надежду на мирное будущее, в котором человек должен быть счастлив, выражает целомудренная любовь Пятницкого к Настеньке. Эта девушка для Романа и в штрафбате, и, после восстановления в звании, на батарее талисман и броня против озлобленности. Нет, в бою лейтенант крут и по-солдатски ожесточен, особенно в эпизоде, когда группка фашистов выкинула белый флаг, а потом предательски открыла огонь. Но и в этом бою он не забывает, что ведет его ради добра и жизни.

В повестях Анатолия Трофимова немало деталей, которые щемящей болью напоминают о суровой правде войны. Как бы со стороны рассказано о девушке-снайпере, она сама так и не появляется перед читателем. Но вот, говоря о ней, бывалый солдат Хомутов проговаривается: «Веселая такая, красивенькая, а людей убивает». Одна фраза, и сказанная вовсе не в осуждение. Но, думается мне, не случайная.

Война шла и за красоту, красоту родной земли, людей и жизни. Победить можно было, лишь осознав, что каждый в ответе за эту красоту. Не кто-то посторонний, по должностной обязанности, по воинской присяге, а именно каждый, по внутреннему порыву, защищал ее. «Давайте, люди, никогда об этом не забудем»,— призывал поэт. Этот призыв и слышится в военных повестях Анатолия Трофимова. И обращен он не только к тем, кто прошел фронтовыми дорогами, но и к тем, для кого такой дорогой ценой был завоеван мир. Обращен он к каждому из нас.

Юрий Мешков

СОДЕРЖАНИЕ

Трофимов А. И.

Т 760 Угловая палата. Повести / Послесл. Ю. А. Мешкова.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988.— 400 с.

ISBN 5—7529—0079—4.

В пер.: 1 р. 80 к. 100 тыс. экз.

Почти полвека отделяют нынешнего читателя от событий, описанных в книге. Автор, чья юность пришлась на годы Великой Отечественной войны, рассказал «о своих сверстниках, шагнувших со школьного порога в войну,— о рядовых и тех, кто командовал взводами и батареями, о возмужании в восемнадцать».

В однотомник кроме заглавной вошла также «Повесть о лейтенанте Пятницком».

Т $\frac{4702010200-083}{М158(03)88}$ 46-88 **ББК 84Р7**

Анатолий Иванович
Трофимов

Угловая палата

Художиик В. Д. Сысков
Художествениый редактор Н. В. Даиилов
Техиический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Т. А. Дрябииа, Н. И. Туигусова

ИБ № 1738

Сдаио в иабор 18.04.88. Подписаио в печать 17.08.88. Формат $84 \times 108^1/_{32}$.
Бумага типографская № 2. Гаринтура литературиая. Печать высокая.
Усл. печ. л. 21,1. Усл. кр.-отт. 21,1. Уч.-изд. л. 22,6. Тираж 100 000.
Заказ 134. Цеиа 1 р. 80 к.

Средие-Уральское киижиое издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351,
Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151,
Свердловск, пр. Леиииа, 49.